8.1973

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия»
Москва

Год издания 19-й

АВГУСТ 1973

№ 8

СОДЕРЖАНИЕ

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА — Стихи последних лет *(Предисловие Петра Динекова. Перевод с болгарского Маргариты Алигер и Лорины Дымовой)* 3

ПЬЕР РУАНЕ — Кастель *(Повесть. Перевод с французского Г. Ерофеевой)* 9

ЯН КОЗАК — Святой Михал *(Роман. Окончание. Перевод с чешского Л. Васильевой и Т. Мироновой. Под редакцией Л. Лерер)* 66

ЛЮСИ ФОР — Двое *(Рассказ. Перевод с французского Л. Богуславской и Н. Кудрявцевой)* 129

АЛАН СИЛЛИТОУ — Начало пути. *(Роман. Перевод с английского Р. Облонской)* 144

Литературное наследие

Два поэта, или к вопросу о предтечах. К 450-летию со дня смерти Ульриха фон Гуттена *(Перевод и вступление С. Апта)* 191

Критика

ПЕНЧО ДАНЧЕВ — В своих преображениях единый *(Перевод с болгарского А. Опульского)* 193

Обсуждая напечатанное

А. ЗВЕРЕВ — Литература на глубине 206

Писатель и время

МАРИН ПРЕДА — Возврата быть не может *(Составление, предисловие и перевод с румынского М. Фридмана)* 214

Публицистика

Идеи мира в наступлении (Зарубежные писатели о внешней политике Советского Союза) ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ, ЭКТОР МУХИКА, МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА 223

ЯН БЕРЕЗНИЦКИЙ — Слагаемые успеха (Публицистические заметки на кинематографические темы) 227

Культура и современность

Заметки на полях

Э. Баталов — Где кончается «пустыня»? М. Туровская — Куда делся реализм. К. Мяло — «Иисус Христос — суперзвезда» 249

Наши гости

Д. Ершов — Против оскудения духовной культуры! (Гость редакции — Арвид Рундберг) 259

Среди книг

Издано в СССР

Морис Вакс мах ер — Музы не молчат. Л. Будагова — Еще одна встреча. Н. Бонецкая — С любовью к людям 262

Издано за рубежом

С. Ильинская — «Наивысшее счастье человека». Вик. Ерофеев — Бунтарская иллюзия идиотизма 268

Из месяца в месяц 271

Авторы этого номера 287

На вклейке: картины из коллекции А. ХАММЕРА (экспонаты московской выставки).

На обложке. «Учащаяся женщина». Гобелен художников Розмари и Вернера Ратайчик (ГДР).

© «Иностранная литература», 1973 г.

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

Стихи последних лет

■

С болгарского

Поэзия подлинного вдохновения

Имя Елисаветы Багряны впервые появилось в болгарской литературе в 1915 году — тогда Йордан Йовков взял у молодой студентки два стихотворения и без ее ведома напечатал их в журнале «Съвременна мисл». После этого Багряна несколько лет ничего не публиковала. А с 1921 года ее стихи стали уже регулярно появляться в печати — более пяти десятилетий живет Багряна в нашей литературе. И как живет! Жизнью большого творца, который не снижает своего высокого поэтического полета.

Багряна не раз говорила, что в творчестве своем она всегда обращалась к нестареющим традициям народной песни и лучшим достижениям болгарской поэзии — от Ботева до Яворова, от Пенчо Славейкова до Димчо Дебелянова. Следует добавить — она училась и у великих поэтов мира. Но все это, разумеется, лишь истоки. Чтобы творческие поиски превратились в высокое искусство, нужна не только богатая поэтическая культура, но и самобытный талант.

Появление первой книги Багряны «Вечная и святая» в 1927 году — плод глубокого и подлинного вдохновения. В этой книге нашли самое чистое выражение чувства и волнения женщины. Вместе с тем «Вечная и святая» — это бунт против общественного лицемерия, против замкнутого мещанского существования, призыв к простору, к свободе. Поэтесса чувствует себя потомком древних бурных времен и ощущает в себе древнюю непокорную кровь. Перевоплощаясь в болгарскую крестьянку, она хочет разбить оковы рабского быта:

Плечи мои смуглы, косы — мягче шелка.
И пока огонь в очах моих не гаснет,
Мне познать бы, мама, молодость и счастье —
Молодые годы сладки, да недолги.

Уберу на зорьке дом и дворик тесный,
Серп возьму я острый, полечу я в поле.
Запою беспечно про любовь да волю —
И леса в Загорье задрожат от песни[1].

Вся ранняя поэзия Багряны — это протест и призыв, протест против того, что сковывает молодость и взлет человеческого духа, и призыв к манящему счастью. Много испытаний выпало на долю поэтессы, но даже когда Багряна пишет о мучительных встречах и расставаниях, в стихах ее ощущается глубинный оптимизм — ее вера в человека, ее вера в жизнь. Эта вера органически привела ее к принятию новой эры в развитии болгарского народа и человечества — к великому социалистическому строительству. Не только в книге «Пять звезд», непосредственно посвященной первым послевоенным годам, но и в последующих двух своих книгах — «От берега к берегу» и «Контрапункты» — Багряна держит руку на пульсе нашего времени.

Удивительна жизнестойкость таланта Елисаветы Багряны. Печатает Багряна — взыскательный художник — сравнительно мало: два или три цикла в год. И каждый раз ее новые стихи вызывают наше восхищение свежестью переживания, большим поэтическим искусством. Багряна — современница нескольких поэтических поколений, и, однако, ее поэзия не кажется нам устаревшей. Всегда верная себе, неизменная

[1] Перевод Лорины Дымовой.

в своей поэтической сущности, Багряна в то же время постоянно ищет и оказывается созвучной ходу времени. Она «модерна» и современна, не подчиняясь никакой моде.

В чем же тайна жизнестойкости ее таланта? Может быть, прежде всего в том, что поэтический образ Багряны всегда вырастает из лично пережитого, прочувствованного, увиденного собственными глазами; поэтесса не ищет себе пищи в чисто литературных или каких-нибудь других вторичных впечатлениях и тем более в формалистических спекуляциях. Когда ее спрашивают: «Что вас больше всего поражает в жизни?» — она отвечает: «Сама жизнь. Чем дольше я живу, тем больше удивляюсь самой жизни».

Поэт, непрерывно черпающий из лично пережитого, должен жить богатой духовной жизнью, обладать необычайной эмоциональностью. Но не кроется ли в поэзии, которая идет исключительно от пережитого, опасность превратиться в интимно-психологическую, в предметную хронику личной судьбы? Действительно, Багряна не является поэтом больших философских обобщений, ее поэзию нельзя назвать интеллектуальной в современном смысле слова. Но вместе с тем надо отметить, что мир ее поэзии не сводится к психологии чувства. Конкретное переживание в стихах Багряны всегда несет в себе поэтическую идею, рожденную самой жизнью, самим переживанием, органически пронизывающую художественную ткань произведения. И это одна из наиболее существенных особенностей поэзии Багряны. Любое ее стихотворение является законченным произведением со своей поэтической идеей. Поэтому стихи Багряны «запоминаются», то есть живут в сознании читателя и, разумеется, в истории литературы.

Поэт-гуманист, Елисавета Багряна в каждом произведении раскрывает свое отношение к миру. И это связывает ее с лучшими традициями болгарской поэзии. Болгарская поэтесса Багряна национальна своей тематикой и образностью, глубокой связью с поэтическим миром народной поэзии, богатой выразительностью языка, смелым и дерзким раскрытием души болгарской женщины — чуть ли не во всем ее историческом развитии. Важнейшая национальная черта творчества Багряны — ее стремление к общечеловеческому, как ни парадоксально это звучит на первый взгляд. Не потому ли, что интернациональное и общечеловеческое всегда были присущи болгарской поэзии — от Ботева до Вапцарова?

И еще кое-что я хотел бы добавить: Багряна вносит в нашу поэзию самоотверженную и нежную, бунтарскую и созидательную женственность и глубокую, волнующую искренность. При этом женственность ее не переходит в сентиментальность, а искренность — в мучительное самоистязание. Она достигла в своем поэтическом мире гармонии и внутренней сосредоточенности, которые являются чертой большого таланта, высокого духа, подлинного искусства.

В свои 80 лет Багряна все так же живет насыщенной творческой жизнью, она все так же духовно молода. Все пристальнее вглядывается Багряна в судьбу своего народа, исполненная искренней веры в его настоящее и будущее и бесконечной любви к родной земле и жизни, к природе и красоте.

Вопреки всем трудностям и испытаниям, выпавшим на долю поэтессы, я бы назвал творческую судьбу Елисаветы Багряны счастливой. Счастливы и мы, ее современники, имеющие возможность слушать ее поэтический голос. Я убежден, что будущие поколения позавидуют нам.

ПЕТР ДИНЕКОВ

Внезапная песня

Как начинают горлинки с рассветом,
я слышу... Запоздавшая весна,
в окно ударив нереальным светом,
зачем меня ты будишь ото сна?

Я думала, что я уже не слышу
чудесные звучанья в дивный час,
и для лучей, позолотивших крышу,
я думала, мой взгляд уже погас.

Но что-то в сердце вздрагивает сладко,
как пробужденья жизни добрый знак.
Власть бытия — великая загадка,
наружу рвется, как весенний злак.

Я словно горсть земли — промчавшись надо мною,
весенний ветер уронил зерно,
и, вот, согрето жизнью и весною,
внезапной песней проросло оно.

Перевод МАРГАРИТЫ АЛИГЕР

Вершины

Когда я была маленькой,
мне мама казалась
недостижимо большой.
А крыша отцовского дома
касалась небес.
Витоша была для меня
самой высокой на свете.
И думала я:
если на самый крутой ее склон
я подняться сумею —
схвачу я рукою луну
и к ней привяжу
веревку
бумажного змея...

Когда через много лет
попала я в Нидерланды,
узнала я, что и на самой низкой земле
есть у людей свои Альпы.
Они их любят, гордятся ими
и с радостью всем их показывают.
А это холмик.
Его высота
всего лишь сорок восемь метров,
но его называют —
Малые Альпы.

Теперь-то я уже знаю,
что у каждого есть свои Альпы —
для него самые большие,
самые высокие,
самые любимые
(иногда недостижимые).

Что из того,
что чужой чей-то глаз
равнодушно измерит их объективом,
вычислит точно их высоту
и найдет их название несправедливым?

Альпы
остаются Альпами...

Две картины в зимнем окне

В окне моем зима давным-давно,
она — как черно-белая гравюра.
А я одна... И все смотрю в окно,
но не с тоской, не горестно и хмуро,
а с тем спокойствием, что с каждым днем
во всем вокруг я вижу все яснее.
Оно в реке, застывшей подо льдом,
и от него так сердце цепенеет...

И снова заслоняет гор гряда
мне горизонт высокими плечами.
Он, светлый и изменчивый всегда,
сегодня недоступен и печален...

А было лето. Смуглые, беспечные,
привыкшие к горам и высоте,
мы шли с тобой через ущелья вечные
к Дуная перламутровой черте...

Я вижу — через поле, сквозь сугробы
шагает торопливо человек.
Но почему не ищет он дорогу?
Куда идет он прямо через снег?
А может быть, спешит он к остановке?
Нет, я о нем не знаю ничего.
Вот скрылся он, сутулый и неловкий.
Дойдет ли он? Дождутся ли его?

Над этим полем был рассвет так розов,
когда мы там бродили до утра.
И ты сорвал и протянул мне розу.
Давным-давно... А кажется — вчера...

Зачем раскинул тополь в волнах снежных
своих ветвей чернеющую сеть?
Недолог отдых здесь у птиц мятежных,
у них одна судьба — лететь, лететь...

Но помню я, как, весь в дыму зеленом,
качался тополь в радости хмельной...

А нынче ветер мчится вдаль со стоном
и черно-белая гравюра предо мной.

Родник-исцелитель

Старинный хисарский мотив

Вода целебная
повсюду здесь клокочет.
Над каждой трещиной
клубится белый пар,
из каждой впадины
бьет теплая струя.
Любой родник
свою имеет силу,
для каждой боли здесь
целебный есть глоток...

И я пришла сюда
в надежде суеверной
найти лекарство

от тягчайшей
тайной боли.
Из всех источников подряд
пила,
живой водою мыла лоб,
глаза
и окуналась
в воды чудотворные —
но не нашла я,
не нашла спасения:
не отмываются
от глаз моих — глаза твои,
от уст моих — уста твои,
от ладоней моих — ладони твои,
от сердца моего — сердце твое...

От этой боли
исцеленья
нет.

Крепости

Не смеем встречаться.
Не смеем глядеть друг на друга.
Не смеем с тобой говорить...

Шаги твои направятся к моим,
но вдруг на полпути застынут.
На миг скрестятся наши взгляды,
но тут же оттолкнутся друг от друга.
Слова зажгутся в сердце,
но, не достигнув уст,
погаснут.

Воздвигли сами крепостные стены мы
из прошлых,
из неаннулированных лет,
из счастья,
из любви
и из утрат,
из жизни
и судьбы
людей любимых.
Незыблемые стены.

А в тайных водах мыслей
руки наши,
как руки тонущих,
все отыскать друг друга
пытаются.
И медленно слабеют,
едва друг к другу
прикоснувшись.

Но, как всегда,
уста молчат.
Молчат — чтобы не лгать.

И каждый в свою крепость
заточен.

Перевод ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

Моя земля

Траектория длинная долгого дня моего
неуклонно к закату спешит,
и нет ей дороги назад.
Далеко-далеко от меня
и восход и зенит,
и окончится смелый полет мой,
приземлившись в последний закат.

И усталое сердце мое,
как перезревающий плод,
напоенное солнцем и росами теплого дня,
перестанет бороться с земным притяжением
и упадет,
упадет, озаренное, наземь,
растворится в земле,
когда-то родившей меня.

А сегодня, родная земля, ты взволнована новым рассветом.
И кукуют кукушки в лесах,
как часы, заведенные вновь.
Я не стану считать,
сколько лет мне до смерти —
не верю я старым приметам.
Кукованье кукушки
всегда предвещает
весну и любовь.

Близок день твоего равноденствия,
а чем я тебя одарю?
Я не сею, не жну, не пряду
и не строю дома —
не обучена этой науке.
Хлеб, который я ем,
и мой дом,
и одежду мою —
это все для меня
сотворили другие благословенные руки.

Я могу только сердцем
тебя до последнего вздоха любить,
вместе с птицами петь тебе песни
зарею лесною,
неизменно с тобой говорить,
на весь мир о тебе говорить,
дорогая земля моя,
обновленная новой весною.

Перевод МАРГАРИТЫ АЛИГЕР

ПЬЕР РУАНЕ

Кастель

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского Г. ЕРОФЕЕВОЙ

Серые носилки «скорой помощи». Точь-в-точь как бабушкина скатерть. У бабушки была привычка собирать хлебные крошки для воробьев, приподняв скатерть за четыре угла. Тридцать лет спустя картина конца обеда у бабушки возникала перед доктором Бланом всякий раз, когда носилки появлялись на пороге пункта «скорой помощи», а двое полицейских поднимали четыре угла над тем, что осталось от тела пострадавшего, накрытого казенным одеялом.

— Женщина,— сказал бригадир.— Автомобильная катастрофа. Только что еще была жива. Почти полчаса вытаскивали ее из машины.

Закончив дежурство, доктор Блан собирался уезжать из межрайонной больницы к себе в клинику. Он приподнял одеяло. Размозженное лицо под прядями волос, рассеченная щека; верхняя губа, вывороченная на скулу, похожа на бифштекс. Совсем как на анатомической таблице, белеет челюстная кость, окаймленная десной с аккуратно вправленными зубами. Выше, на месте глаза — кровь, ткань и кость, красно-буро-лиловое месиво глазной впадины. И беспрерывные, чуть слышные стоны, напоминающие жалобный писк плохо прикрытого крана.

— Следите, чтоб не продуло,— говорит Блан полицейскому и опускает одеяло. Он приподнимает другой конец. Кровь на чулках, кровь на юбке, на рукавах.

— Немедленно в операционную, начинайте выводить из шока,— приказывает доктор Блан врачу-интерну.

И обращаясь к дежурной:

— Осмотрите вместе с доктором Куком. Если понадоблюсь — я в клинике Крапонн.

Знакомый с порядками полицейский берет сумку пострадавшей и направляется с ней в приемное отделение.

Укол для поддержания сердечной деятельности. Ножницы со скрипом разрезают ткань пальто, креп платья. Хирургическая сестра ругается, дойдя до двойного шва на рукаве, который никак не поддается. Интерн внимательно осматривает руки и ноги, стараясь найти вену для переливания крови. Обе ноги переломаны. Правое колено размозжено. Руки опухли от гематом. Одновременно он замечает, что с правой стороны рёбра образуют острый выступ.

— Не стоит ломать себе голову,— говорит он,— сделаем разрез.

Студентка-практикантка, пораженная его тоном, спрашивает себя, а как он ее найдет, эту вену. Интерн смазывает йодом внутреннюю поверхность лодыжки, делает антисептический укол и надрез. Он вытаскивает вену из мякоти соединительных тканей и протягивает под ней две нитки кетгута, чтобы удержать ее на поверхности.

— Группа «Б»?

— Да, я проверил,— отвечает анестезиолог.

Острием ножниц интерн прорезает вену и вставляет трубку, подталкивая ее легкими движениями большого и указательного пальцев. Убедившись, что кровь начинает поступать, он крепит пластмассовую трубку.

— Можете пускать быстрее.

По селектору сообщают: «Доктор Кук будет готов через пять минут».

Интерн регулирует зажим на ампуле с кровью и делает два шва на разрезе вокруг зонда. Бросив взгляд на сосуд, он увеличивает поступление крови. Затем начинает более методичный осмотр повреждений.

— Кислородную маску придется держать около рта,— поясняет анестезиолог,— зонд применять нельзя: у нее разворочен нос.

Явные переломы обеих ног, перелом грудной клетки. Кости рук, видимо, целы, хотя отек распространился уже на плечи и верхнюю часть груди. Интерн сжимает ладонями бедра и надавливает. Из-под кислородной маски доносится крик: перелом таза.

— Ну, и каша! Судя по состоянию лица, череп, вероятно, тоже задет. Надо сделать снимок. И позвоночника тоже.

Под маской чувствуется жизнь. Стоны продолжаются, временами усиливаясь. «Переливание оказывает свое действие»,— думает интерн. Пострадавшая даже начинает говорить. Первые слова — обычные причитания: «Больно... ох... больно... ооо...» И снова — надрывающие душу стоны. Интерн машинально поправляет зажим ампулы.

— Оох... больно... оооох...

Невнятное бормотанье — язык наталкивается на сломанные зубы. Опять стоны и снова бормотанье. Анестезиолог слегка отводит кислородную маску, все склоняются над пострадавшей. Она прерывисто дышит.

— Ооох, как больно, ужас. Сделайте укол спламагила, очень больно, ооох, скорее, спламагил или долорил, очень больно, оох.

— Она говорит, чтобы ей сделали укол спламагила или долорила...

— Откуда она знает? — бормочет интерн. «Уж не наркоманка ли? — думает он.— Тогда анестезиологу достанется во время операции, да и давление подскочит. Поди знай, что у нее с сердцем и печенью».

Практикантка, неподвижно стоя в отдалении, глазами ищет следы уколов на бедрах. Ничего не видно. И пальцы рук не узловаты и не худы. Большие, красивые, ухоженные руки, с аккуратно подстриженными ногтями, покрытыми светлым лаком. Маникюр сделан в парикмахерской. Практикантка рассматривает тяжелые пряди светло-каштановых волос, разметавшихся по простыне, остаток шиньона с торчащими шпильками.

Шиньон уложен мастером своего дела. Девушке кажется, что ее руки ощущают густую массу мягких длинных волос. Волосы блестящие, ровные, хорошо расчесанные щеткой. Женщина следила за собой и, должно быть, умела себя подать — наверно, была красивой. Когда ножницы хирургической сестры резали лиловое платье, практикантка отметила, что оно из отличной ткани. На полу валяются жалкие обрыв-

ки платья вперемешку с клочьями бежевого белья и подвязками, перерезанными пополам. Сегодня утром эта дама надела бежевую комбинацию, лиловое платье, уложила волосы в гладкий светло-каштановый шиньон, а без четверти двенадцать все это стало грудой израненного отечного мяса, с которым деловито возится интерн. И это кровавое месиво вместо глаза, эта щека — вскрытая и вывернутая, эта белеющая челюстная кость, обнаженная, будто выставленная для обозрения на уроке анатомии... Но практикантка заставляет себя смотреть: ведь им говорили, что контакт с телом больного — решающее испытание для студента-медика.

— Нельзя ли поднять немного голову? — спрашивает анестезиолог.— Наклон очень неудобен для маски.

— Осторожней, неизвестно, как там затылок и позвоночник,— говорит доктор Кук.

Практикантка не заметила, когда он пришел. Кончиками пальцев он берет голову за виски и легонько поворачивает ее. Стоящий справа интерн подсовывает руку под ухо пострадавшей и слегка приподнимает голову. Лицо, которое было видно лишь в профиль, повернуто теперь почти анфас.

— С этой стороны меньше повреждений,— отмечает интерн тоном механика в гараже. Слегка замешкавшись, он рассматривает голову, поддерживая ее рукой.— Тьфу ты черт! — вдруг не к месту восклицает он.

Доктор Кук приподнимает брови:

— Что там еще?

— Тьфу ты черт! — повторяет интерн громче.— Вот чертовщина!

Его взгляд переходит с доктора Кука на анестезиолога, ассистента, хирургическую сестру, практикантку, которые стоят застыв на месте, озадаченные его восклицанием.

— Это же Кастель! — вырывается у него. Они по-прежнему стоят, ничего не понимая.— Ведь это же Кастель! Точно.

— Кто? — машинально спрашивает хирург.

— Кастель! Конечно она! Я узнал ее. Посмотрите с этой стороны. Это Кастель, я уверен!

— Какая Кастель?

— Она, точно. Я дежурил у нее в клинике...

Он сообразил вдруг, что его объяснения никому непонятны. Здесь он один знает клинику Крапонн. Тогда он им объясняет:

— Я работал с ней еще три недели тому назад. Это — доктор Кастель. Андре Кастель-Мору, реаниматор доктора Блана.

— Вот дьявол! — восклицает Кук.

«Да, совершенно верно,— гнусавит дежурная по селектору,— из приемного покоя сообщили, что документы — на имя доктора Кастель-Мору».

— Позвоните в клинику Крапонн,— приказывает Кук гнусавому голосу селектора, не отворачиваясь от пострадавшей.

— Ооо, как больно, о-оо, дайте же спламагил. быстрее...

Селектор: «Мы как раз звоним в клинику».

— Все готово к снимкам? — спрашивает доктор Кук и велит интерну наложить на ноги шины. Он проводит пальцем по лбу пострадавшей.— Мадам...

— Мадемуазель,— поправляет интерн, склонившись над ногами в другом конце койки. И тут же ему и практикантке одновременно приходит в голову мысль, что в такой момент эта поправка звучит нелепо.

— Мадемуазель,— мягко зовет доктор Кук и снова проводит паль-

цем по ее лбу. Красивый высокий лоб. Удар не повредил его. Только небольшое темное пятно запекшейся крови около волос.— Мадемуазель...

Высокий лоб, продолжающий прямую линию носа, выпуклый над бровями. Кожа гладкая, чистая, очевидно привыкшая к рукам массажистки, одна горизонтальная морщинка посредине.

«И кожа, и лоб говорят о здоровом организме,— думает доктор Кук.— Морщинка же — скорее признак упорных занятий или воли, чем возраста».

— Сколько ей было лет?

— Тридцать, тридцать пять, не знаю точно, может быть, чуть больше. Дайте, пожалуйста, другую шину.

Лоб говорит об уме. Или упорстве. С таким лбом смотрят прямо в глаза. Лоб человека, который не сдается. В этот момент доктор Кук ловит себя на том, что он ударился в патетику, и снова обращается к хирургии.

— Мадемуазель...

— О-о, быстрее же...

— Мадемуазель... Мадемуазель Кастель-Мору...

— Сколько ампул ввели?

— Это вторая...

— Мадемуазель, посмотрите на меня...

Доктор Кук закусывает губу. Что за глупая фраза? Ведь он не знает, цел ли под этим кровавым месивом глаз и способен ли он смотреть, видеть...

— Мадемуазель Кастель...

Снова тихие стоны, и невозможно понять, реагирует ли она на слова.

— Нужно поддерживать больных в состоянии бодрствования,— поучает Кук практикантку.— Ни в коем случае не давать заснуть, забыться.

«Для рентгена все готово»,— доносится по селектору.

— Ей хуже,— говорит анестезиолог.

Стоны прекратились.

Доктор Кук — на левой руке, интерн — на правой ищут пульс. Удары все реже и реже.

Кук:

— Коллапс. Давление?

— Пятьдесят пять.

Голос по селектору: «Вас ждут в рентгеновском отделении».

— Слышим,— говорит Кук.— Пустите еще кровь. Надо активизировать сердечную деятельность. Кальция. Тысячу кубиков. Мадемуазель... посмотрите на меня...

Кожа на лбу стала синевато-прозрачной. Бровь над заплывшей раной не реагирует на призывы. Нос, только что припухший, вытягивается, заостряется...

Не выпуская стетоскопа, интерн слушает беспорядочно бьющееся сердце, которое вот-вот откажет. Поврежденные органы то судорожно сопротивляются, то сдают, действуя каждый сам по себе, вразнобой, губя друг друга, вместо того чтоб оказать помощь.

— Немного налаживается,— сообщает интерн, как радиокомментатор во время решающего, финального матча.

Доктор Кук:

— В другой раз, пожалуй, не наладится. Ну, что поделаешь. Две ампулы пнотандина, быстрее!

«Меня избили. Избили страшно. До смерти. Бросили умирать».

— Холодно,— говорит она,— ужасно холодно. Холодно.— Слова звучат неприятно глухо, невнятно, наталкиваясь на кровоточащую мозаику щеки, которую Пуди собирал в течение двух часов.

«Избили до смерти. Всю избили. Исколесовали, замучили на Гревской площади. Так мучать больше не разрешают. Брошена умирать. Больно всюду. Страшно больно. Тошнит. Умираю, умираю от холода».

— Холодно,— произносит она,— очень холодно. Холодно.

— Тридцать градусов,— говорит практикантка. Блан делает ей знак, чтоб не возражала.

«Страшно избита, страшно наказана. Избита до смерти. Приговорена к смерти. Но ведь теперь такого не бывает. Боль в животе».

— Сделайте мне спламагил, быстрее...

— Уже сделали, Кастель, дружочек,— говорит Блан.

— Спасибо...

Франсуаза пользуется этим проблеском сознания, чтобы еще раз попытаться заговорить с нею.

«А, это Франсуаза. Меня избили до смерти. Андре — это я. А это — Франсуаза. Я вас ждала... Ах, вот и Франсуаза... Верно... Свидание...»

— Андре...

— Франсуаза... (Снова этот глухой звук: «ф» и «р» сдавлены щекой).

— Вы меня узнаёте, Андре...

— Франсуаза...

— Она узнаёт меня...

— Андре, вас будут хорошо лечить...

— Сделайте же мне спламагил, мне ужасно больно.

— Но это уже сделано, душенька Кастель. И это, и все остальное,— говорит Блан.

— А, спасибо...

«Но мне больно повсюду, внутри, снаружи, болят руки, ноги, живот, голова, грудная клетка... нельзя ломать грудную клетку.

А, это Франсуаза. Встреча в полдень. Спламагил. Спасибо, месье. Больница. Несчастный случай».

— Франсуаза, мне очень больно...

— Вас будут хорошо лечить... Вы узнаёте меня?

— Да, Франсуаза.

— Она в сознании, видите...

«Но как холодно, как она избита. Считают конченой. Она в сознании. Это я в сознании...»

Но она сознает лишь свое тело. Ее сознание бродит внутри измученного тела, как крот в лабиринте своей норы. Вокруг нее все потеряло смысл, и лицо Франсуазы, и лицо Блана. Они слишком много говорят, говорят пустое. Ее сознание-крот пробирается в колено. Как оно болит, страшно болит. Боль поднимается к животу, болит живот, болит ужасно.

— Послушайте, Андре, вы помните адрес вашей мамы?

— Да, Франсуаза. Не беспокойте ее...

«Теперь рука, болит рука и голова, и сознание возвращается на место, в голову... Голова болит ужасно».

— Франсуаза.

— Да, Андре, я здесь...

— Послушайте, Франсуаза, я умру...

— Да что вы, не надо, здесь все, все стараются ради вас.

— Я умру, Франсуаза, но умоляю, сделайте то, о чем я прошу.

— Да, Андре, я сделаю все, что вы хотите...

— Я, конечно, умру, Франсуаза. Вы видите, я слышу, понимаю. Я, конечно, умру. Сегодня вечером. Который теперь час? Франсуаза, я прошу вас об одном: не дайте мне умереть от холода. Накройте меня, Франсуаза. Я готова умереть, но не от этого холода.

«Страшно холодно. Ужасно больно. Франсуаза ничего не делает. Никто ничего не делает».

Андре снова уходит в свою боль. Снова никто и ничто не существует для нее.

— Давление? — спрашивает Блан.

Андре молчит. Ей неприятно, что она не может ответить. Такое с ней в операционной впервые.

— Шестьдесят,— отвечает не ее, чужой голос. Андре чувствует досаду.

— Больше не поднимается.

В операционной соображений не высказывают. Только факты. Каждый комментирует про себя и знает, что думают другие. Андре привыкла работать с Бланом молча.

Шестьдесят. Это уже по ее части. Она понимает, что это значит. Ее мозг работает. Она бесстрастно оценивает свое состояние:

«Шестьдесят, и больше не поднимается. Твои дела неважны, голубушка. Дальше уж некуда».

Ей хочется сказать, что надо влить еще одну ампулу крови.

— Еще одну ампулу,— говорит Блан.

Она знала, какие мысли бывали у нее, когда у больного не удавалось поднять давление выше шестидесяти. Кровеносная система точно дырявый оросительный шланг: разрывы, защемления, внутренние и внешние кровоизлияния возле переломов. Влить еще ампулу? Это не поднимет давления, все уйдет в места кровоизлияния, превратится в маленькие лужицы крови, рассеянные по всему телу.

— Сколько всего влили? — спрашивает Пуди у Блана.

— Доктор, не дайте мне, по крайней мере, умереть от этого холода. Я хочу умереть по-хорошему. Пожалуйста...

Блан:

— Придется вскрыть еще...

Его голос совсем рядом и вместе с тем где-то далеко. Голос Блана без самого Блана.

«Твоя песенка спета»,— говорит себе Андре, склонившись над собственным изголовьем.

Пуди:

— Выдержит ли она?

Андре хочет ответить. Ведь отвечать надо ей. Вызвала ли она кардиолога? Вопрос очевиден. Надо срочно действовать. Андре понимает, что, оставив его без ответа, она совершает оплошность. Но она без сил, нема, беспомощна. Не было случая, чтобы Пуди или Блан спрашивали о чем-нибудь в операционной, и Андре задержалась с ответом. А сегодня она молчит. Это она-то, всегда такая старательная.

Не ее, чужой голос — по какому праву? — отвечает, что давление все то же: шестьдесят.

Блан говорит, что было бы, пожалуй, слишком рискованно ввести еще две ампулы, впрочем, там будет видно.

Голос Блана откуда-то из тумана:

— Попробуем в последний раз.

Две ампулы? Хорошо, если они есть в запасе. Но Андре не посылает за ними. Сегодня не ее дежурство. И отделение не ее. Отделение чужое. И ассистенты у Пуди и Блана чужие. А где Пюилоран? Он тоже здесь, но ничего не говорит. И Сорэз. Все четыре хирурга клиники здесь, на этот раз все вместе. Собрать их вместе — целая

история, даже если это необходимо. И вдруг они здесь, хотя это не клиника, я знаю, а больница Блана. Межрайонная больница Шарбоньер. Все собрались здесь, и я тоже. Больно, очень больно. Больно до смерти. Здесь все и даже Франсуаза Пюилоран и Мари-Луиза Сорэз. Ведь они-то не врачи. Но вечно оказываются там, где дело касается клиники. Да еще каждая, отталкивая другую, старается пробраться вперед [1].

И снова боль. Кроме боли, ничего; Андре погружается в нее, как в вязкий асфальт, из которого никак не выбраться. Позвать других? Но они по ту сторону, а она чувствует себя как ныряльщик, который не может вынырнуть. По временам она всплывает. Вот они — Пуди, Сорэз, Блан, Франсуаза Пюилоран. Вокруг нее, с нею и далеко-далеко от нее. Четыре головы точно в вате. Почему сегодня одни только головы? «Голова Пуди, голова Пюилорана, и ничего больше вокруг, я вижу их с трудом, из-за раны или из-за коматозного состояния... голова Блана, только голова. голос Мари-Луизы, непереносимо резкий, да вот...»

И снова она проваливается в страшную пропасть.

— Нельзя,— говорит доктор Блан,— нельзя спать, Кастель.

«Он меня все время раздражает, этот Блан. Почему сегодня без конца говорит он? Ведь сегодня не его дежурство по клинике. Он дежурит завтра. У него две операции, первая — в восемь тридцать».

Андре:

— Извините меня, доктор, я боюсь, что у меня не хватит сил дать завтра наркоз вашему больному...

Блан:

— В этом, конечно, главная проблема!

Но других проблем нет.

Он не представляет себе, чтобы она смогла. Самой же ей иногда кажется — да, иногда — нет.

Андре:

— Позвоните, пожалуйста, мадам Суаль по телефону пятьдесят четыре — тридцать пять — ноль два от восьми до десяти вечера.

Слова с трудом вырываются из маски лица, раздавленного, зашитого, смазанного йодом. И все же слышен знакомый голос Кастель, хотя совсем-совсем слабый. У доктора Блана тошнота подступает к горлу. Он бормочет успокаивающие банальности.

Андре повторяет медленно, стараясь произнести как можно отчетливей:

— Пятьдесят четыре — тридцать пять — ноль два.

Это ей не кажется: все, что осталось живого в израненной ткани, функционирует безотказно. Обрывки прежней жизни вызывают привычные реакции: у Андре четкая память.

Блан снова повторяет:

— В этом, конечно, главная проблема!

Прежняя жизнь, прежние заботы. Естественно, а какие же еще могут быть у нее теперь заботы? Вот только мешает боль. Но это уж другое, другой мир за гранью поверхности.

Андре снова просит доктора Блана извинить ее за то, что она, возможно, прийти не сможет. Она не любит причинять хлопоты, и ей

---

[1] В полдень у Франсуазы Пюилоран было назначено свидание с доктором Андре Кастель-Мору в ее квартире, на набережной Бонди в Лионе. Там она встретила двух полицейских, искавших квартиру, чтобы сообщить о случившемся, поскольку телефон не отвечал. Перед тем как отправиться в межрайонную больницу Шарбоньер, госпожа Пюилоран, энергичная сорокалетняя дама, заехала за доктором Пуди, одним из четырех хирургов клиники Крапонн, подающим большие надежды в области пластической хирургии. *(Прим. автора.)*

не хотелось бы, чтобы сегодня вечером из-за нее сорвалось дежурство.

Она просит покорнейше ее извинить. Но она совсем не уверена, что и завтра утром сможет прийти в клинику. Или, может быть, ее нужно бы на минутку доставить туда сегодня вечером, чтобы подготовить к операции больного юношу, которому она завтра должна давать наркоз. Да, в крайнем случае на такси или даже на машине «скорой помощи», которую, быть может, по просьбе Блана ей дадут в больнице. Андре не уверена, что работа поможет ей получить отсрочку у смерти. Но она вдруг преисполнена, охвачена иллюзией, что жизнь, прежняя жизнь, начнется снова. Перечеркнуть ошибку и начать прежнюю жизнь. Андре просит извинить ее, вымаливая отсрочку. Встать с постели, выйти из боли, выйти из своего тела, как из халата, и пойти осмотреть больного перитонитом из палаты 115, которого придется повторно оперировать.

Вы должны ее понять. Это как слишком свежий траур. Слова — еще больше, чем дела,— продолжают свой привычный ход. Кому из нас не хотелось бы отказаться наотрез: «Это невозможно!» Произошла внезапная остановка, но мысль движется все по той же траектории. Охватить разом масштабы катастрофы невозможно — поначалу видны лишь неприятности. Те, кто спускался в преисподнюю, знают, что она открывается ступень за ступенью. Человек не хочет, не может, не желает поверить, что он туда попал. Его прежняя жизнь не отошла еще в прошлое.

Франсуаза (с неизменной энергией, порывы которой приходилось иногда сдерживать):

— Может, надо позвонить какому-нибудь мужчине?

Но Андре снова в забытье. На этот раз оно немного походит на сон. Давление не улучшилось, но с сердцем не так плохо. Ампулы, уколы, переливания, вливания кое-как установили в организме относительное равновесие.

Четыре хирурга отошли подвести итог: переломы черепа, левой челюсти, лобной кости, шейных позвонков, ребер, тазобедренной кости и колена. Практикантка отважилась спросить интерна, означает ли это фатальный исход, и доктор Пюилоран авторитетно ответил:

— Ни одно из этих повреждений само по себе не указывает на фатальный исход. Но это примерно так же, как с ожогами: свыше тридцати трех процентов общей поверхности и... Но она — крепкая женщина...

Застегивая пальто, Пюилоран добавляет:

— Хорошая была женщина. Очень...— Он не доканчивает, чтобы не расплакаться при коллегах. А их уже много в коридоре: весь день звонил телефон, сообщая новость.

Ночь холодная. На каждом перекрестке доктор Пюилоран притормаживает машину, ему на ум все время приходит печально-торжественная фраза: «С прискорбием сообщаем, что доктор Андре Кастель-Мору...» Въезжая в Лион, он замечает на подоконниках ряды мигающих свечей — то в одном, то в другом, то сразу в нескольких окнах: 8 декабря — День непорочного зачатия.

«Есть, значит, люди, возродившие обычай,— думает хирург, остановившись под красным светом,— а в шестьдесят восьмом году говорили, что с этим покончено».

С тех пор как кончилась война, католики в смутной надежде все ожидали часа избавления от гнета церкви. Пюилоран помнил, как кардинал Жерлье приветствовал Петэна на ступенях своего собора.

Его друг Доменак [1] так и не смог оправиться от этого удара. А вот семинаристы Перраша ринулись на помощь алжирским террористам. По настроениям своих пациентов Пюилоран чувствовал, что энциклика о противозачаточных средствах (куда более строгая, чем о спасении евреев во время оккупации) переполнила чашу терпения. Приходские активистки и не подумали отказаться от методов предупреждения беременности и постепенно стали обретать привычку действовать независимо от церкви. Они сохранили, однако, некоторые приходские замашки: в мае 1968 года нагородили уйму комитетов и без конца выступали по этому злободневному вопросу. И проявили такую же непримиримость, как некогда на занятиях по катехизису. Они заставили всю Францию рассчитываться за поведение епископов в 1943 году.

Франсуаза Пюилоран как-то заметила своему мужу, что он слишком часто развивает мысль об этих парадоксах на обедах в городе. Лион — зловонная дыра, где любая банальность порождает мистические настроения...

Пюилоран мысленно перечислил приглашенных на сегодняшний вечер, кто из них уже слышал его рассуждения на любимую тему? Конечно, Кастель. Но она не придет.

Сестра-монахиня обращается к доктору Пешодье, старому институтскому товарищу Андре:

— Она снова мечется...

Теперь, несмотря на вливания, Андре терзает жажда. Она знает, что это естественно, неизбежно: большая потеря крови, отеки в местах повреждений тянут воду, как губка, все запасы жидкости и минеральных солей организма мобилизованы, стянуты в пораженные места, покидают мышцы, ткани и слизистую так быстро, что переливание крови уже не восполняет их утраты. Андре много раз наблюдала такие случаи, много раз помогала больному в подобной борьбе, и потому сегодня ночью ее не удивляет то, что происходит внутри нее самой. Она почти спокойна: у нее уже нет сил тревожиться, терзаться, испытывать страх. Однако наблюдая за собой, она обнаруживает хорошо знакомые симптомы, складывающиеся в ясную картину.

Она прекрасно сознает причины — химические и биологические — той жажды, которая ее мучает. Но от этого она не проходит, эта жажда, терзающая рот и все внутренности до того, что ей кажется, будто ее сейчас вывернет наизнанку, как палец перчатки. Непереносимая жажда.

Она просит пить. Это лишено всякого смысла. Даже если бы она могла пить, жажды не утолишь. Но это все — медицина. А она хочет пить. Пить ртом, пить, что пьют все, пить большими глотками. Она умоляет, чтобы ей дали пить. Пешодье пытается влить ей в рот ложечку воды. Нет. Тогда он предлагает дать ей из поильника немного травяного настоя. В ее состоянии капля настоя не повредит. Можно доставить ей это последнее удовольствие. Пешодье злится на себя за эти мысли.

Но она не хочет настоя, она хочет кока-колы. Как раз того, чего нельзя. Пешодье представляет себе, как липкий шипучий напиток попадает на раны. А она хочет кока-колы, ей необходима кока-кола. Она с нежностью вспоминает рекламу из журналов: запотевшая бутылка в крошечных ледяных капельках. «Пешодье, Пеш, во имя нашей дружбы, дай кока-колы. Пеш, умоляю».

---

[1] Главный редактор католического журнала «Эспри». *(Прим. перев.)*

Пешодье устоять не может: когда больной тебе очень близок, в конце концов забываешь, что он больной, и начинаешь относиться к нему как к близкому человеку. Пешодье пытается уговорить Андре. Ночная сиделка тоже говорит, что в больнице кока-колы нет. А в такой час все магазины закрыты. «Умоляю, кока-колы. В кафе у вокзала Перраш есть кока-кола, я уверена».

Пешодье идет к машине. Через час он появляется с коробкой, полной бутылочек, у постели, возле которой дежурит один из его коллег и сестра-монахиня. Андре неподвижна, ее голова по-прежнему повернута неповрежденной стороной к подушке, она, видимо, спит, издавая какие-то звуки ртом. Она шевелит губами, думают окружающие, зная, однако, что губ у нее нет.

Как только первые капельки попадают из поильника в рот, магическое видение рекламы исчезает. Не хватает изображенного на ней запотевшего стакана.

Вместо восхитительного вкуса напитка Андре вдруг ощущает во рту вкус крови и лекарств. С неизменной вежливостью незамужней женщины она говорит: «Спасибо, Пеш». Она затихает, потом со вздохом бормочет: «Пить» — и снова затихает. Каждый раз, когда она затихает, у нее спешно проверяют пульс.

Ранним утром все становится отчетливей, каждый жест и звук. Наступает небольшое облегчение. Андре не видит, но чувствует, как больницу и окружающий мир заливает свет — будто на полотнах Вермеера, как в нем четко вырисовывается каждое движение сестер. Призрачная отрешенность от всего.

Ей больно. Замерев на минуту, она прислушивается, где болит. В голову приходит глупая мысль: проверяю, что побито. Передышка на рассвете — время подведения итога. Боль повсюду. Она изувечена; сломаны ноги, разбита голова, повреждены внутренности. Теперь к ней уже пришло сознание необратимости. Андре знает, что она бесповоротно приговорена к смерти или к пожизненному страданию. Приговор свершился. Она понимает, что наказана страшно,— она даже не подозревала раньше, что такое может быть. Это — чудовищное наказание. И она плачет оттого, что такое выпало на ее долю. Ее так унизили, как только можно унизить человека, и даже больше. Ее растоптали, свели к нулю, обратили в ничто.

— Почему?

За что такое наказание? Должен же как-то объясняться чудовищный приговор, свершившийся над нею. Она готова его принять. Нет, Кастель, ты просто вынуждена принять его. Я и принимаю — но за что? Она всегда выполняла все честно, готова к тому же и сейчас. Но прежде чем умереть, она хочет понять — почему? Она перебирает в памяти все, что было с нею, год за годом: работа, годы учения, мальчики, детство. Ничто не предвещало такого исхода. Разве заслужила она этот страшный суд?

«И все же десница господня настигла меня, разверзнув небеса, заклеймив меня каленым железом, меня среди толпищ других, среди веков».

Натура рассудительная, Андре всерьез спрашивает себя, не совершила ли она первородного греха. Но где он, в чем он, этот первородный грех? Пусть его укажут. «Меня заставили платить — я плачу. Но за что?»

Когда доктор Блан приходит ознакомиться с листком состояния больной, прикрепленным в ногах кровати, доктор Кастель-Мору больше не предлагает ему своей помощи в клинике. Между двумя при-

ступами нестерпимых болей она продумывает распоряжения на случай смерти.

Она просит сестру — оказывается, эту больницу, одну из последних, обслуживают монахини,— чтобы матери не сообщали, насколько тяжело ее состояние. И чтобы мать не выезжала немедленно. Желательно также не сообщать подробностей брату и сестре.

Температура начинает ползти вверх по мере того, как солнце поднимается над горизонтом, а люди начинают заниматься своими делами. Лихорадка подступает волнами, бросая вновь и вновь несчастное, истерзанное тело на скалы боли. Боль ударяет в голову, ударяет в живот. Между двумя волнами Андре видит то руки монахини, то Блана, то еще чьи-то, которые обрабатывают ей рану на лице или регулируют вливание. И новое погружение в боль. Давление? Не блестящее. Пульс тоже. В моче кровь, отмечает монахиня. Это не имеет большого значения; трудно представить себе, чтобы почки не были повреждены. «Много видела я больных и оперированных и никогда не отказывалась от борьбы. Но на себя я бы сейчас много не поставила: никогда мне еще не доводилось видеть такой тяжелой больной».

— Доктор, боюсь, что вы напрасно стараетесь.

— Держитесь, Кастель, я на вас рассчитываю.

Сколько времени? Какой сегодня день? Второй или третий? Сразу же, как у всех раненых и вдов, начинается новый календарь: она отсчитывает дни от начала новой эры.

Нагрудный крест. В поле ее зрения над простыней появляется священник. Никакой наигранной веселости; он не проповедует свою религию бодро-веселым тоном, как в армии. Он не настойчив и не вкрадчив. И вовсе не пытается скрыть серьезности положения больной. Андре отмечает и ценит, что он не зовет ее «дитя мое».

— Мадемуазель, если вы пожелаете получить причастие, знайте, что я здесь. Я вижу, что вы в состоянии принять решение. Если у вас есть необходимость поговорить со мной...

Духовник произнес имя бога. Господня десница, разверзшая небеса? Как объяснить ему или как спросить его об этом? Это слишком долго и утомительно. Пришлось бы объяснять ему всю глубину понесенного наказания, а у нее не хватило сил рассказать об этом даже кому-либо из своих друзей-хирургов. Да и какая связь между поразившей ее карающей десницей и богом, о котором говорит духовник?

— ...если вы захотите, чтобы вам помогли найти облегчение в молитве, знайте, что я здесь, в вашем распоряжении...

Андре думает: «Он неплохой малый, этот духовник...»

И тут же: «Он не произвел на меня никакого впечатления». Она слышит, как отвечает ему, и думает: «Нет, тебе меня еще не зацапать». И тут же явственно слышит эту фразу, произнесенную голосом отца.

Надо бы рассказать духовнику о похоронах отца, о настойчивых просьбах плачущих теток, о кюре, который упорно отказывался совершить церковный обряд, о причиненном вдове унизительном оскорблении, которое готовилось на протяжении всех сорока лет кипучей деятельности покойного. Из-за этой деятельности они и не хотели отпустить ему грехи. Но все это — из другого мира; духовник ведь не может знать, сколь глубоко это влияет на последующие поколения.

Голос отца говорил, что человек здравомыслящий должен сам находить выход из положения и что его-то уж не удастся поймать в ловушку в минуту несчастья.

Андре отмечает, что духовнику и ее еще не удалось поймать.

Без всякого вызова, не в порядке самозащиты — просто доктор Кастель-Мору делает клиническое наблюдение.

Она не хочет быть одураченной — это внутреннее сопротивление, оказанное кюре, эта верность своим принципам являются, пожалуй, единственным критерием ее состояния. Но кто знает, не изменятся ли взгляды Кастель-Мору, если ей станет хуже?

Духовник — термометр ее состояния. Она смотрит на духовника и прислушивается к себе. И впервые доктор Кастель-Мору перестает верить, что она умрет в конце недели.

— Третий день...

Передышка на рассвете. Белый передник сестры усугубляет впечатление, будто кровать — на полотне Вермеера. Андре вдруг замечает, что монахиня не отходит от нее ни на секунду. Она ухаживает за ней с таким рвением, которого от сестер и требовать нельзя. А ведь есть и другие больные. Андре знает, какой усталостью в ногах расплачиваются сестры за такую самоотверженность. Ей хочется быть повнимательней. Она извиняется, что причинила столько хлопот. Спрашивает, как работается сестре в больнице. К какому ордену она принадлежит? Разве доминиканки работают в больницах?

— Ведь доминиканки, как правило, принадлежат к вифанийской общине, перевоспитывающей падших девиц?

Все это говорится едва слышным голосом, проникающим сквозь преграду зашитых и распухших губ, что придает странное звучание вежливым фразам.

— Вифанийки — это другая ветвь. Мы все очень изолированы, поэтому я не знаю.

Смотрите-ка, сестра-то отбрыкивается... Андре становится на минуту забавно, несмотря на ее состояние. Но заведя разговор о доставляемых ею хлопотах, она приступает к волнующему ее вопросу:

— А как другие?

— Какие другие?

— Другие пострадавшие.

Андре знает, что она изрядно искромсана.

— Как другие? Были ли... убитые?

— Нет, вы одна ранены.

— Вы добры ко мне, сестра. Как вас зовут?

Андре как бы обрывает начатый разговор, но сама при этом думает, что чаще всего именно так отвечают тяжелораненым, щадя их. Она дремлет, погружается в забытье, снова приходит в себя. И несколько раз задает все тот же вопрос, пока монахиня переставляет предметы на ее столике.

— Вы уверены?.. Пожалуйста, узнайте в приемном отделении, нет ли...

— Вы единственная пострадавшая, единственная жертва катастрофы. Совершивший ее виноват целиком и полностью.

Жертва? Она наказана!

Андре погружается в размышления, в воспоминания.

— Сестра...

— Да, мадемуазель...

— Ведь Жаклине Ориоль[1] удалось выкарабкаться...

— Ну конечно, мадемуазель.

— Но если есть погибшие, лучше сказать мне об этом, сестра.

---

[1] Жаклина Ориоль — известная французская летчица, тяжело пострадавшая в авиационной катастрофе и вернувшаяся в авиацию после излечения. *(Прим. перев.)*

— Пожалуйста...

— Сестра...

— Да, мадемуазель.

— Жанина Шарра[1] тоже ведь выжила...

Андре снова уходит в себя. Взвесив все, она говорит сестре Жанне-Батисте о своем намерении бороться за жизнь:

— Вы знаете, сестра, я тоже способна выкарабкаться. Ведь Жаклина Ориоль смогла. И Жанина Шарра. И я тоже смогу.

Все утро она возвращается к этим двум именам, как к покровительствующим ей святым. К ним — и только к ним. Она одержима ими. А мысль ее движется дальше: путь нащупан.

«Франс-суар» и медицинская печать сообщали о сотнях случаев борьбы человека со смертью. Готовя дипломную работу, Андре собрала подробнейшее досье об удивительной реанимации советского лауреата Нобелевской премии физика Ландау, у которого после автомобильной катастрофы четырежды наступало состояние клинической смерти, но величайшие специалисты, съехавшиеся со всего мира, вырвали его мозг из небытия. Однако Андре могла представить себя лишь на месте женщины. И к тому же Ландау спасли жизнь другие. Это была их победа. У нее не создалось впечатления, что сам Ландау проявил волю в этой борьбе. Вот Жаклина Ориоль стремилась к этому, Жанина Шарра тоже. И они сумели выжить. Андре цепляется за все, что напоминает ее случай. Ей приходят на ум не медицинские показания, а обрывки газетных сообщений, запомнившиеся общеизвестные случаи.

— Не надо так волноваться...— говорит сестра.

Она щупает пульс, скорее для того, чтобы подержать руку умирающей. И тотчас чувствует, что дело не в лихорадочном состоянии. Больная говорит не от сильного возбуждения — она всерьез предлагает действовать вместе, она готова бороться за свою жизнь.

— Да, мадемуазель, я тоже думаю, что вы выкарабкаетесь. Так же, как и они.

Да, если кто-нибудь и может выбраться из такой бездны, то именно эта женщина. Что-то в ней есть настоящее. Она нацеливает свою волю к жизни на самое главное. То немногое, что у нее осталось, не будет растрачено даром. Она не борется со смертью — она стремится жить.

Сестра Жанна-Батиста часто видела, как в таких битвах, когда остается лишь слабая надежда, победу одерживали люди правильные. Правильные или, скорей, настоящие, цельные люди, чья жизнь была подчинена определенной идее. Те, кто верил, что им предстоит что-то свершить на земле, и кто честно шел к осуществлению своей цели. Такие, в решительную минуту перенеся все, возвращались на землю, и это было как бы вознаграждением свыше. Да, это именно так, заключила сестра, проверяя, нет ли воздуха в игле шприца.

Он всецело виноват? Слова из другого — интеллектуального — мира. Они не доходят больше до сознания Андре. Она распята, прикована к постели ранами, изувечена, опустошена, унижена, с сознанием бессилия, более мучительным, чем переломы. Если случилось непоправимое, можно ли рассуждать о том, кто прав, а кто виноват. Когда жертва скончалась, правые находятся. Но как быть, когда человек изуродован и жив и останется жить со своими увечьями?

---

[1] Жанина Шарра — известная балерина, получившая тяжелые ожоги в театре во время спектакля и вернувшаяся на сцену после выздоровления. *(Прим. перев.)*

Сестра Жанна-Батиста — та тоже играет свою роль честно. Разве можно говорить о дружбе с телом, единственный помысел которого — выжить и которому нечем поделиться с внешним миром? И все же между сестрой и Андре установилось нечто вроде дружбы — некая общность интересов. Монахиня вдруг перестала называть Андре «мадемуазель» и перешла на обращение: «доктор». Она, конечно, почувствовала, что мадемуазель Кастель-Мору, врач, требовательный к пациентам и сестрам, подходит к себе с той же меркой, что и к другим. Поэтому сестре удалось заставить Андре проглотить какое-то питательное пюре, что было расценено почти как подвиг.

Организм настолько ослаб, что отсутствие питания не вызывает чувства голода: у него нет потребности усваивать пищу. Мозг мадемуазель Кастель-Мору бунтовал и возмущался поведением желудка.

Сестра помогала борьбе всем своим существом. Если вам хочется узнать, переживают ли подсознательно врач или сестра страдания своих пациентов, взгляните на их рот, когда надо заставить больного пить: всеми своими мышцами они делают всасывающие движения, которые должны появиться у больного. Этого не изменит и двадцатилетний стаж. Те же, у кого рот остается неподвижным, не годятся для таких профессий.

На шестой день сестра Жанна-Батиста спросила, не настала ли пора устроить небольшое пиршество, и доктор Кастель-Мору согласилась: ей понравилось, что сестра прибегла к психологическому воздействию меню. Для сестры понятие настоящего пиршества означало устрицы и жаркое. Что скажет по этому поводу Андре? Веко здорового глаза моргнуло в знак согласия. Но попробуйте достать устриц и жаркое в межрайонной больнице, да еще в воскресенье после полудня. Однако сестра их все-таки раздобыла, и Андре снова машинально поставила ей высокий балл за работу. Но она не смогла взять в рот ни устриц, ни жаркого.

На восьмой день хирурги из клиники Крапонн положили конец этой идиллии, получив разрешение взять к себе Кастель-Мору. Да, конечно, вы правы, сестра, за ней не смогут нигде ухаживать лучше, чем здесь, в больнице. Но там она будет у себя. Да к тому же, поскольку они все время дежурят у постели больной, к чему эти утомительные переезды?

Андре по-прежнему страдала безмерно. Но боль переместилась. Сконцентрировавшись в месте перелома таза, она все мучительнее и мучительнее раздирала живот; страдания усугублялись вздутием, вызванным полной неподвижностью больной. Она была настолько слаба, что решение перевести ее в клинику граничило с нарушением норм ухода за больными.

Но персонал клиники, по-видимому, использовал все ухищрения современной техники для перевозки этой исключительной больной. «Торжественный кортеж мертвой королевы»,— думал комиссар полиции, глядя, как вассалы доктора Кастель-Мору несли ее, неподвижно вытянувшуюся, на носилках, как на щите.

Все были в этом кортеже, даже какой-то скоморох, ринувшийся следом на своей машине. Такого любителя несчастий всегда можно увидеть за каждой пожарной машиной, за каждой машиной «скорой помощи».

Воображая себя героем происшествия, он был уверен, что им восхищаются зеваки, завидуя его ловкости.

А в пяти метрах от машины этого болвана Андре кусала себе губы, чтобы не кричать от боли. Поначалу шофер вел машину с предосторожностью заботливой матери, но из-за преследующей его машины, которую он заметил в зеркале, не решался замедлить ход и резко

тормозил на перекрестках. Каждый толчок отдавался разрывом гранаты в животе больной.

А тот сзади, опьяненный воем сирены, с трудом удерживался, чтобы не засигналить изо всех сил. Без этого его наслаждение было неполным. Он пригибался к рулю и отклонялся на внутренних виражах, точно ребенок на деревянной лошадке. И даже начал выводить: «Ду-ду-ду».

На восьмой день после катастрофы Андре поступает в клинику Крапонн в качестве пострадавшей. И постепенно начинает привыкать к своему новому положению. Здесь у нее свои воспоминания, свои заботы. Она мечтала вернуться в клинику на свое место, и вот она больная из двенадцатой палаты. И именно так к ней впредь будет относиться старшая сестра мадемуазель Ревель. Ревель потратила почти целую ночь, размышляя, как переместить больных, чтобы Кастель-Мору заняла двенадцатую палату. Странное, неожиданное чувство — оказаться под опекой Ревель. Клиника, как известно,— одна большая семья. Но ее иерархическая структура полностью нарушилась после катастрофы.

Ревель подкладывает ей судно. Какое страшное унижение для Андре, которая даже не обращала внимания на эту процедуру до тех пор, пока она совершалась не в ее клинике. С этого момента между двумя женщинами зарождается скрытая вражда.

Ревель, решившая, что персонал клиники должен превзойти себя для спасения Андре, считает, что той нужно как можно скорее обрезать волосы. В больнице хватало других, более срочных дел, и за восемь дней на голове образовались корки из крови и пыли, не говоря о запутанных, свалявшихся волосах на затылке.

— Ой, не надо, они такие красивые! — вырывается у одной из сестер, мадам Лакруазий. Андре правильно понимает этот возглас: нельзя же отнять у нее последние остатки красоты.

— Подумайте, милая Лакруазий, для чего они мне в моем положении?..

Но Лакруазий все же получает разрешение у старшей сестры и принимается распутывать и расчесывать прядь за прядью, буквально по волоску.

Лакруазий ничем не напоминает святую. Эта чувственная женщина наслаждается жизнью во всех ее проявлениях. Она бы удивилась, если бы кто-нибудь ей раньше сказал, что для нее будет непереносимо видеть, как у человека отняли возможность пользоваться радостями жизни. Она подсознательно сделала ставку на жизнь и ее радости. А теперь три дня подряд между процедурами у других больных она незаметно проскальзывает в двенадцатую палату и снова и снова расчесывает Андре щеткой волосы. И доктор Пюилоран, который всегда подшучивает по поводу ночей этой пышной женщины, не узнает даже, что три ночи подряд, закончив дежурство, она не покидала двенадцатой палаты, сидя там в потемках на неудобном пластмассовом стуле. Это было сильнее ее. Она представляла себя на месте Кастель. О-о, ей не хотелось бы, вовсе не хотелось бы оказаться в таком положении. Если бы она сумела выразить то, что чувствовала, уж она бы поторопила мадемуазель Кастель не оставаться в подобном состоянии.

Для Андре в двенадцатой палате дни и ночи смешались. Грани между ними стерлись, время течет монотонно. Лишь в зависимости от улучшения или ухудшения состояния пределы вселенной раздвигаются или сужаются. То мир ограничен стеной напротив, то он дохо-

дит до коридора, то сокращается до краев постели. Одеяло на ней обрамляет или заключает в себя тусклую вселенную: линия горизонтальная, линия вертикальная. В минуту улучшения лица, проходящие между одеялом и стеной, обретают значение. В другое время — ничто не существует.

Профессор Сен-Жукс и его семья появляются между постелью и стеной — приветливые лица, напоминающие о прежних воскресных встречах. Андре говорит им: «Вот видите...» — и впервые после несчастья чувствует, как горло у нее сжимается.

Девятнадцатилетний Жан-Луи бледнеет. И профессор выводит его в коридор, поддерживая под руку. К счастью, никто, в том числе и сам Жан-Луи, не успевают осознать, что иногда тошнота равносильна признанию в любви.

Два раза пытались давать морфий. Но он не снимал боль, а если и снимал, то едва-едва. Впрочем, бывают ли степени у боли? Еще до того, как вместе с введением наркотика исчезает страдание, рождается страх — чудовище, сжимающее Андре, как спрут. Внутри, снаружи. Кричать от ужаса? Но слишком поздно. Все так сдавлено, что крика не получается. И бесконечные провалы в сознании.

Просыпаешься от жажды. Вечная жажда. А пить все еще приходится из поильника, всасывая воду языком, стараясь не шевелить губами, опухшими, тяжело давящими на десны. Надо просить, что-то говорить. Делать невыносимые усилия. И Андре отказывается. Она не может двинуть рукой, сиделка подносит питье к ее рту. Даже сама мысль о том, что ей придется напрячься, чтобы пить, отнимает у нее последние силы и вызывает слезы отчаяния. Отказаться от всего, что там, за пределами постели.

День или ночь? Андре приходит в себя то ли после сна, то ли после беспамятства или наркотика. Мадам П., которая лежала как-то в этой клинике, стоит у ее изголовья. Но ведь посещения запрещены... Мадемуазель Кастель-Мору внутренне возмущена нарушением порядка.

Мадам П.:

— Боже мой, Кастель, но это же невозможно.— Ее подбородок конвульсивно вздрагивает под носовым платком.— Нет, нет, Кастель, это невозможно.

Она не в состоянии протянуть принесенный букет. Кастель-Мору вспыхивает:

— Прошу вас. Я понимаю, что видеть это неприятно, но нельзя же в присутствии больной так вести себя.

Не думайте, что Кастель так безупречно владеет собой, как ей кажется. Ее вспышка раздражения вызвана, без сомнения, еще и другим. Кому приятно вдруг выяснить прозвище, которым вас за глаза нарекли коллеги. Из слов мадам П. Андре с огорчением узнала, что сотрудники клиники ее называли просто Кастель. Ей было неприятно узнать, что больные переняли у сестер привычку звать ее так, как в течение долгих лет к ней обращались хирурги, хотя раньше ее это никогда не задевало.

Для множества оперированных, которых она подбадривала перед наркозом, а потом вела вплоть до выздоровления, она была как бы частью клиники, столь неотъемлемой и необходимой, что у них возникала потребность наделить ее каким-то прозвищем. В конце концов это было выражением признательности. Однако Андре, настоящий боец медицины, высоко державшая знамя клиники в борьбе со всеми стихиями и прежде всего в борьбе с донжуанскими повадками хирургов и консультантов, не терпела, когда появлялись малейшие

признаки расхлябанности. В ее присутствии сестры обращались к ней не иначе, как «мадемуазель», а оперированные — «доктор».

Мадам П. получила разрешение прийти еще раз.

— Но обещайте, что вы будете вести себя лучше.

Нелегальной посетительнице не пришлось задумываться, удобно ли, прощаясь, поцеловать больную: она не смогла бы найти место для поцелуя на изувеченном лице.

Мадам Лакруазий, которую Андре заподозрила в том, что она помогла мадам П. пробраться в палату, воспользовалась случаем и рассказала ей, что в день катастрофы к вечеру температура у больных по всей клинике поднялась на пять десятых градуса. Конечно, как только стало известно о происшедшем, было решено не говорить об этом оперированным. Но сестры ходили такие взбудораженные и потрясенные, что больным ничего не стоило выведать у них правду.

Азалии запрудили коридор. В клинике число вазонов у дверей палаты говорит о популярности больного, а величина привязанных бантов показывает социальное положение посетителей.

Лакруазий вносит азалии в палату и ставит их на пять минут с той стороны, куда повернуто лицо Кастель. Море азалий с пурпурными волнами цветов тянется от изножья кровати до самой стены.

Мадам Демонже, старший врач отделения в больнице имени Эдуарда Эррио, где когда-то работала Андре, поражена такой массой цветов. Кастель рассказывает, как плакала мадам П. (а может быть, ей только кажется, что она рассказывает об этом), и вдруг понимает, что мадам П. живет жизнью клиники, питает к ней ту инстинктивную привязанность, какая появляется у новорожденных к запаху и теплу склоняющихся над их колыбелью людей.

Теперь Андре ясно видит, чем она была для своих больных. Азалии говорят ей об этом. И она вдруг замечает, как заботятся о ней сестры, каким вниманием окружают ее коллеги, и проникается признательностью за все, что было сделано для нее.

И как внезапное просветление до ее сознания доходит: а ведь такое уважение к ней вызвано тем, что в течение пятнадцати лет она, вероятно, делала все свое дело по-настоящему хорошо. Она поступала правильно всю жизнь. Нет, это неверно, она не совершила никакого греха, за который надо было бы расплачиваться. «Я отрицаю первородный грех, я отрицаю вынесенный мне приговор; меня уничтожили, меня больше не будет, но пока я существую, никто не может запретить мне быть довольной тем, как я прожила жизнь; горжусь ли я этим — не знаю, но довольна — о, да!»

— Мадам, если бы мне пришлось начать жизнь сначала, я делала бы все так же. Я не сожалею ни о чем. Я стала бы вновь учиться тому же, избрала бы ту же специальность, все-все то же самое.

Она долго переводит дух. А затем снова обращается к мадам Демонже, но на самом деле говорит это себе, чтобы оправдать охватившее ее лирическое настроение:

— Я делала все это вместе с вами, мадам...

«Если бы мне пришлось начать сначала... я должна начать сначала... я начну сначала.

Одна-единственная просьба к судьбе: когда-нибудь вновь встать на ноги. Тогда я опять сделаюсь врачом».

К этому времени ее мать приехала в Лион—Андре наконец согласилась на это.

— Видишь, ты произвела меня на свет крепкой, и это пригодилось.

Мадам Кастель-Мору приняла похвалу как должное, не заметив иронии, и гордо выпрямилась в кресле.

Мать и дочь уважали друг друга, но между ними никогда не было понимания.

Для матери слова о том, что она произвела на свет здоровую дочь — а это так,— были простой констатацией, почти товарной оценкой. Она не почувствовала, что в устах младшей дочери они звучали как медицинское заключение, вынесенное тоном превосходства. Андре неизменно задевало то, что мать не принимает ее как врача всерьез.

Родители всегда чувствуют себя неловко там, где работают их дети. Ведь они здесь не пользуются никаким авторитетом. В семье Андре не было принято открыто проявлять свои чувства. И в больнице бедная мать была лишена возможности выказать свою материнскую привязанность: она не могла ни поцеловать дочь, ни приготовить ей что-нибудь вкусное. Но, конечно, у нее дома на кухне за покрытым клеенкой столом ее дети в любое время получат чашку кофе с молоком, какими бы ни были их возраст и профессия, что бы ни случилось с их лицом. Но ни матери, ни дочери нечего было и думать об этом — они и не думали. Так будет, когда в этом появится нужда. Андре предчувствовала, что ее мать вызовут слишком рано. Мадам Кастель-Мору пробыла в клинике Крапонн полтора дня, но ей разрешили бывать у дочери только по полчаса утром и вечером. Несмотря на краткость посещений, они отнимали у Андре все силы — пришлось даже откладывать лечебную гимнастику.

Инструктор лечебной гимнастики, хирург и сестра втроем перевернули раненую на живот, шепотом передавая указания друг другу, чтобы согласовать движения. Ее заставили приподнять голову и даже плечи над постелью дважды, трижды, еще раз.

Потом с теми же предосторожностями ее перевернули на спину: хирург и сестра подложили руки под ягодицы и приподняли ее, а физиотерапевт подсунул подушечку под место перелома. Ей пришлось лежать в таком положении довольно долго, чтобы позвонок не сросся неправильно. Предосторожность была не лишней, если судить по возникшей при этом боли.

Каких чудовищных усилий это потребовало! Однако решение ускорить переход к двигательным упражнениям было принято в тот вечер, когда ее навестила мадам Демонже. С рентгеновскими снимками в руках доктор Блан убедил Андре, что такие упражнения не опасны для сломанного позвонка, и ей немедленно захотелось ознакомиться с планом восстановительной гимнастики, составленным известным профессором Жюлиа. Она так и не узнала о нем, ибо в этот вечер не выдержала перенапряжения. Ей делали массаж дважды в день, так как мускулы быстро слабели: срастание переломов поглощало и выкачивало из них все соки. Усталость Андре дошла до такого предела, что у нее болела кожа, и прикосновения пальцев массажиста казались ей ударами дубинки. Она худела, а живот оставался вздутым; к тому же Андре страдала оттого, что не могла повернуться на бок.

А как затылок? И что с правым коленом? Она твердила доктору Пюилорану, что там что-то не в порядке. Колено стало зеленым, потом сине-лиловым. Может, боль причиняет образовавшийся отек. Нет, настаивала Андре, тут что-то другое. Она вновь и вновь мысленно задавала себе вопрос, который задавали на конкурсе при поступ-

лении в больницу: почему ей не удается приподнять с постели пятку. Что же до затылка, то он причиняет ей острую боль в одном месте, как раз здесь, и надо сделать рентген черепной коробки, чтобы выяснить все до конца. По ее настоянию были сделаны новые снимки. Бесконечные переезды из палаты в рентгеновский кабинет и обратно. На снимках колена обнаружилось, что кроме разрыва связок повреждена коленная чашечка. Снимки же затылка показали еще один, не обнаруженный ранее перелом черепа. Андре почувствовала прилив гордости: она не ошиблась в своем диагнозе. Все-таки не мешало бы хирургам как-нибудь соблаговолить выслушать ее. Ей всегда казалось, что она раздражает их, находя какие-то неполадки у оперированных. Она подозревала, что они объясняли ее настойчивость упрямством. Приходилось быть навязчивой и приставать к ним, пока симптомы не подтверждали ее правоту. Тогда она радовалась, что задержалась ради этого в клинике. А хирурги в таких случаях говорили Андре, что она настоящее сокровище, без которого клиника не могла бы существовать. Однако в следующий раз они не были более сговорчивы. Андре понимала, что в глазах господ хирургов у нее было два недостатка: она была терапевтом, и главное, она была женщиной. Наша гордячка считала, что ее принимают недостаточно всерьез. В отместку она запечатлевала в своей безукоризненной памяти все случаи, когда она ставила правильный диагноз раньше, чем они. Итак, колено было занесено на эту воображаемую доску почета. Хотя хирурги были разоблачены и посрамлены, Андре выразила им свою признательность. Она с нетерпением ожидала новой операции.

Операция состоялась утром в день Нового года, поскольку на праздники клиника опустела и появилась возможность осуществить этот триумф косметической и ортопедической хирургии. Три часа подряд виртуоз своего дела доктор Пуди выправлял ей нос и восстанавливал орбиту глаза, сделав подсадку свиной косточки.

А на другом конце стола доктор Пюйлоран ассистировал профессору Жюлиа, который не пожелал уступить никому из своих коллег операцию коленной чашечки. Они закончили операцию много раньше, чем Пуди. Андре спокойно пришла в себя[1].

Через день после операции на нее надели ортопедический воротник. Она ждала этого дня словно праздника — с тех пор как протезисты пришли снять с нее мерку. Втроем они приподняли ее и под простыней натянули на рубашку корсет из кожи и стали.

Мадемуазель Ревель тщательно затянула шнуровку и застегнула ремни. До чего горько, когда сам не можешь сделать ни единого движения, когда с утра до вечера и с вечера до утра полностью зависишь от этих женщин, даже в самых что ни на есть интимных мелочах. С каждым часом обострялось чувство унижения от того, что она превратилась в жалкий мешок костей, которым распоряжаются другие.

Протезист сделал для нее не воротник, а шедевр и без конца повторял, что все удивительно впору. Протезист был курильщик. Всякий раз, когда его левая рука оказывалась у лица, Андре к горлу

[1] Значительно позднее она узнала из уст заинтересованной стороны, что В., примчавшийся из больницы св. Луки, все эти три часа провел, забившись в угол операционной, раздираемый, с одной стороны, желанием оказать ей помощь, с другой — волнением, вполне естественным для человека, который видит в таком состоянии столь близкое ему существо, и, наконец, боязнью, что под наркозом она проговорится и вызовет улыбку у его коллег. *(Прим. автора.)*

подступала тошнота, а откинуться назад она не могла. Конечно, у него были желтые пальцы. При ее слабости малейший намек на запах разрастался до гигантских размеров, становился непереносимым. Когда сиделка склонялась над нею, чтобы дать ей пить или поправить простыню, запах духов или пота вызывал у нее такое головокружение, какого она не знала даже, когда летала на самолете. И Андре, вспоминая свою врачебную деятельность, не без удовольствия говорила себе, что была права, ни разу не брызнув хотя бы каплю одеколона на свой врачебный халат. При одной мысли об одеколоне ее вырвало. На этом и закончилась в то утро эпопея с ортопедическим воротником.

К вечеру на нее снова надели воротник, и инструктор лечебной гимнастики с помощью двух ассистентов перенес ее в кресло под наблюдением самого великого Жюлиа. Кресло было возле кровати. Но путешествие казалось нескончаемым. Ее катили, раскачивали, наклоняли. Голова кружилась отчаянно. Не осмеливаясь кричать, Андре надеялась, что обморок избавит ее от мук. Она была уже на грани потери сознания. Но доктор Жюлиа обладал большим опытом.

Когда ее, наконец, посадили, внутри корсета все куда-то провалилось — так падает в глубину мешка груда монет из автомата. Каждый мускул давил на расположенный ниже, легкие давили на брюшную полость, кости всей тяжестью тянули вниз, и Андре казалось, что ее сердце подвешено к аорте — висит, совсем как телячье на крюке в мясной лавке. Все ее внутренности были словно свалены в кучу друг на друга, и это причиняло ей боль. Беспощадный воротник тянул вверх подбородок и затылок, точно хотел оторвать их от туловища. И все это вместе вызывало головокружение, усиливавшее ее муки. Слабость была невыносимая.

У Андре из зрячего глаза потоком лились слезы, она молила о пощаде: ничто не стоит таких мук, пусть ее оставят в покое, пусть лучше она проваляется в кровати всю жизнь. «В постель, ради бога, в постель, я вам приказываю, разве вы не слышите, что я приказываю? Чего же вы ждете?»

Довольный результатами, решив, что на сегодня хватит, профессор Жюлиа велел перенести ее в постель через десять минут. Неподвижное, безжизненное лицо... В этот вечер от нее уже ничего нельзя было добиться.

Семь часов утра следующего дня. Чудесные мгновения рассвета, обманчивое чувство улучшения, когда больной может пересмотреть весь свой путь вниз с вершины райского холма. Андре не терпелось повторить вчерашний урок. Ее цель — снова оказаться на ногах. И ничего больше. Пусть Жюлиа решит, когда наступит этот день. У него разработан план действий. Жюлиа теперь для нее — отец и брат, он поставит ее на ноги.

Он заставил ее просидеть на пять минут больше, чем накануне. Этот Жюлиа — подлый тиран, настолько зазнавшийся — еще бы: главный хирург больниц,— что он даже не пожелал выслушать мнение скромного врача; его методы лечения невыносимы, она умрет от них. И все же, поборов себя, она поблагодарила его, когда ее снова уложили в постель.

Настоящий специалист, занимающийся восстановлением трудоспособности организма, каждый день требует от больного больше того, на что он способен. Он заставляет своего пациента превышать пределы возможного, когда каждое усилие становится страданием.

— Вы увидите,— говорил ей профессор Жюлиа,— что окажетесь на ногах гораздо раньше, чем думаете.

Привыкнув считаться с опытом профессоров, она допускает такую возможность.

Большинство больных, которых вел профессор Жюлиа,— из числа перенесших дорожные катастрофы или несчастные случаи на работе,— вовсе не спешили вернуться в строй. Сначала они глубоко переживали увечье, а затем начинали пользоваться своим положением. Они ревностно следили за тем, как бы им не снизили степень инвалидности, опасаясь, что получат меньше компенсации. Они стремились как можно дольше оставаться на положении тяжело пострадавших, чтобы получать страховку или пенсию, но прежде всего им хотелось убедить в собственной слабости самих себя, уклониться от всякой активной деятельности.

Ортопеды составляли для них программы, хоть и знали, что больные не будут им следовать. Соответственно программы усложнялись. Для тех же, кто собирался их выполнять, они поистине выходили за пределы человеческих возможностей.

Но Андре принадлежала к тем, кто был готов и на это. Юность ее, да и вообще вся жизнь, по воспоминаниям представлялась ей сплошными годами обучения. Она относилась к науке, как гастроном — к меню. Меню было разнообразным, но у нее был хороший аппетит. К концу июня она разделывалась со всем по порядку: закуски, первое, жаркое, сыр и десерт. Да и в настоящих ресторанах она поступала так же. «Я переела»,— блаженно жаловалась она пригласившему ее знакомому. Но в следующий раз принималась за еду с тем же аппетитом. И меню, и науки равно влекли ее: она не понимала, как можно не хотеть всего того, что там предлагалось. Каждый год в сентябре, когда она была еще ребенком, ей не терпелось приступить к занятиям, а позже каждую осень ее охватывало желание подняться на новую ступень жизни. Несмотря на все страхи, она ни разу не провалилась на экзаменах — она жаждала их.

Она не могла представить себе, чтобы к меню, составленному Жюлиа, можно было приступить с другим настроением, хотя это причиняло страшные физические страдания. Через две недели, когда она думала, что преодолела все трудности, поставленные перед нею профессором, он выдвинул новые задачи.

Казалось бы, совсем ничтожные. Жюлиа велел распилить гипс на обеих ногах; вначале одна, затем другая нога вынимались из этих футляров на время упражнений; надо было довести сгиб ноги с 90 до 120 градусов. Но эти тридцать градусов — вы бы даже не заметили разницы, для нее же это было тридцатикратное четвертование, утром и вечером, после чего у нее наступал полный упадок сил.

И зачем все это! При каждом новом задании первые два дня ею овладевало отчаяние, и она говорила по телефону Жюлиа, что уже дошла до потолка своих возможностей.

Сидя на краю ее постели, секретарша доктора Пюилорана, прошедшая подобный курс лечения, простодушно объясняла на свой крестьянский лад:

— Вы понимаете, Андре, это как дорога — то вверх, то вниз. Сейчас вы внизу.

Третьего февраля, через два месяца после катастрофы и через месяц и два дня после операции ей впервые удалось самостоятельно сесть в постели. Андре попросила позвать находившегося в клинике доктора Пюилорана, чтобы при нем повторить свой подвиг: ей требовался экзаменатор, который засвидетельствовал бы ее достижение по всей форме. Но два раза подряд на протяжении пятнадцати минут — это было уже слишком. Она почувствовала такой же сильный страх, как перед экзаменом на звание бакалавра философии. Она была исто-

щена до предела. Девиз: вновь обрести вертикальное положение — стал единственной ее мыслью, навязчивой идеей.

Визиты и подношения участились.

Клубника на рождество, зеленая фасоль в ту пору, когда она еще редкость, соблазнительные продукты, выставленные в витринах магазинов вблизи больницы, шампанское, причем лучших сортов,— и все это для больной, которой почти ничего не разрешено есть! Каждый пытается откупиться от несчастья, принося все самое дорогое. Старается изо всех сил, боясь даже представить себя на месте пострадавшей. Милая, почти детская потребность не видеть невыносимой реальности.

По традиции в больницу приносят апельсины, считая, что зимою вместе с ними дарят частицу лета, отчего больной перестает чувствовать себя больным. Но болезнь, увы, не покидает человека.

Андре говорили:

— Все идет отлично. Какое улучшение!

А когда видели на ее лице недоверие, бодро добавляли:

— Вы не представляете себе, как вы выглядели пять недель тому назад.

Нет, она видела себя в зеркале. Красивую, с устойчивым положением в жизни. Освободившуюся от денежных забот. Годы учения, семейных неурядиц, бедности остались позади. Всего лишь около трех лет назад она стала жить, не стесняясь в средствах.

Нет, Андре видела, какой она была раньше. Поэтому те, кто говорит ей об улучшении...

Раньше? У нее не хватило времени осуществить свои планы, воспользоваться своими возможностями. Она продвигалась постепенно. И вдруг у нее все отобрали. Начать с нуля, хуже того — с минус ста, с минус ста тысяч. Жизнь нельзя прожить дважды. Она никогда уже не станет такой, какой видела себя в зеркале.

— Что бы вам доставило удовольствие? — спрашивали у нее с отчаянием, чувствуя каким-то образом, что, несмотря на ее восклицания, самые роскошные подарки не вызывают у нее радости.

— Мне хотелось бы, милый Пеш,— ответила она вдруг Жаку де Пешодье,— чтобы меня отнесли в мою ванную комнату.

Он тут же, как добрый друг, начал строить планы, предлагать водолечение, болеутоляющие ванны в грязелечебницах Барботан-ле-Бэна. На самом же деле ей хотелось вытянуться в своей ванне и смотреть на потолок. За два месяца до катастрофы она оклеила его обоями с птицами. Она позволила себе эту двусмысленную роскошь не без смутных угрызений совести, после долгих сомнений: ей нравилось в ванной чувствовать себя кокоткой. Господин Шапю-Малар — «противная сторона», как его неуклюже называли те, кто говорил с Андре о дне, когда она была низведена до нынешнего состояния,— итак, господин Шапю-Малар со своей машиной не дал ей возможности насладиться до конца этим удовольствием.

Как ей объяснить Пешу, единственному человеку, которому она призналась, чего бы ей хотелось (быть может, потому, что он приходил к ней с пустыми руками, словно поступая в ее распоряжение), как объяснить ему, что предел ее мечтаний — разглядывать переплетение птиц на потолке? Созерцание потолка — вот ее единственная перспектива. Она жила теперь в лежачем положении. Потолок клиники был выложен звукоизолирующими пластинами, напоминавшими шахматную доску. Каждый квадрат состоял из двадцати семи рядов с двадцатью семью ячейками. Мысль запутывалась в бесчисленных математических комбинациях.

На рассвете, когда она чувствовала себя лучше, Андре решала,

что непременно спросит у Пуди, основного держателя акций клиники, не вредна ли для больных такая навязчивая клетка.

Если не считать этих кратких и спокойных размышлений на рассвете, она ограждала себя от внешнего мира, уходя в свой собственный. Она думала только о мускулах. Спать ради мускулов, есть ради мускулов. Ее охватывал мрачный энтузиазм, стремление создавать мускулы. Во время еды она чувствовала, как в ослабевших мускульных тканях откладывается белок.

Она понимала, что оказалась на дне лунной пропасти, что это отвратительно, страшно, беспросветно. «Но еще пятнадцать дней назад я бы не поверила, что смогу делать то, что делаю сегодня, что меня уже держат ноги, что боль в спине уже меньше, что я жива, если не вдаваться в подробности. Что я смогу снова заняться своим делом. А остальное? Поглядим. Если бы я умерла, сказали бы «останки». Остального нет, это все, на что я могу рассчитывать».

В палате — ни одного зеркала. И она знает почему. Она ощупала свое лицо, как только смогла шевелить руками. Ежедневно она следит за скользящими по ее лицу пальцами — и мыслями — хирургов и перевязочной сестры.

Она знает, что ей смотреть не на что — и без того уже все ясно. Но, оставшись одна между обедом и процедурами, она тайком вытаскивает коробку из-под карамели и мучительно возится с ней, пока не откроет, а потом, набравшись сил, позволяет себе взглянуть на внутреннюю поверхность крышки из желтоватого гладкого выгнутого металла. Изображение искажено, раздуто, узнать в нем себя так же трудно, как когда-то в детстве, когда она ребенком рассматривала себя в других конфетных коробках. Она разрешает себе это — отдает ли она себе в этом отчет? — только потому, что изображение остается туманным. Дно коробки едва отражает образ, на который можно глядеть, зная, что он не является окончательным и бесповоротным. На него можно смотреть, надеясь на что-то другое.

Гимнастика с 9.30 до 10 часов утра. Во второй половине дня — полчаса в корсете, а затем с каждым днем немного больше. Ее сажали в кресло бодрой, а возвращали в постель обессиленной, скованной болью, вызывавшей ежедневно приступ слез. У Андре хватало сил на полтора часа в день, тогда как у других их хватает на шестнадцать. Шум, чье-то появление, необходимость ответить на вопрос приводили ее в отчаяние, которому не было конца. И как им дать понять, чтоб они замолчали.

Визгливым, пронзительным голосом, которого она у себя никогда раньше не замечала, Андре приказывает своей дорогой Сюзанне, чтобы та немедленно вышла. Растерянная сиделка крутится в двенадцатой палате, переставляет то туда, то сюда флаконы, в сотый раз протирает тряпкой тумбочку по той простой причине, что она не может оставить мадемуазель одну. Ей невыносима мысль, что мадемуазель может что-то понадобиться, а ее не будет рядом. «Ну, конечно же, надо позвать Сюзанну, извиниться и сказать ей, что я все понимаю, ценю и благодарю ее. Но мне так никогда и не удается это сделать».

Так и не собравшись ее позвать, Андре постепенно погружается в сон, пробуждается от сознания, что надо утешить Сюзанну, и снова не находит для этого сил. Ах, почему, почему этот Шапю-Малар не нанес своего удара более точно — раз и навсегда?

Кто-то входит... кто-то сказал, что... страшно плоская пьеса, где происходит скучная смена персонажей, без всякой интриги. Дверь палаты — как объектив проектора: кто-то появляется, за ним еще кто-то. Каждый приходит со своими делами, своим видением мира. За каждым меняется свет коридора, как на фотографиях: слишком

резкий свет после полудня, темная передержка сумерек. Отдельные, не связанные между собой картины сменяют одна другую — судьба всегда откладывает на потом приведение в порядок разрозненных диапозитивов. А между двух таких картин темнота и провал сознания, потом свет становится серым и пробуждается мысль. Человек без внутренней жизни выжить не может. Доктор Кастель-Мору мысленно делает пометку: надо быстрее пробуждать у больных умственную деятельность.

Единственный просвет в сером существовании: консультации врачей у ее изголовья. Ее не слишком тревожит то, что на этот раз объект консультации — она сама. Медицина — ее сфера, клиника — ее дом.

Она жалела лишь, что такие консультации становились все реже по мере того, как отдалялся день катастрофы. Полтора месяца. У нее успели отрасти ногти. Она достает пилочку из сумки, лежащей на тумбочке. Приходится держать руки на весу. При третьем движении пилочки они падают. Надо передохнуть. Снова поднять их, начать заново. Не столько беспомощность, сколько усталость вызывает слезы.

В сумке беспорядок. Полицейские кое-как сложили в нее содержимое, рассыпавшееся в тот миг, когда прошлая жизнь кончилась. До... после... и без слов ясно — до чего. Разве хватит смелости думать — после чего... просто «до»... и «после»...

На лакированном боку сумки — длинная царапина, по которой Андре часто водит указательным пальцем. Сумка — единственная свидетельница происшедшего, единственный осязаемый след. Эта сумка — и ее тело. Сама она не видела, как все свершилось. Ничего не помнила.

Андре решает навести порядок в маленьком женском мирке своей сумки. Она раскладывает на простыне ключи, губную помаду. Очень медленно. Ведь она вступила на запретный путь. И знает это. Ей уже давно ясно, что когда-нибудь она достанет свою сумку и совершит непоправимое. За помадой идет платок, за платком — документы. Те самые, по которым установили ее личность. Ничего интересного. За документами появляются квитанции, за квитанциями — аспирин, за аспирином — одинокая перчатка. Ничего интересного.

Все идет по порядку, задуманному ею, роковому. Она оттягивает непоправимый момент, вынимая из сумки одну за другой вещицы, не имеющие никакого значения. Не интересны ключи от квартиры, в которую она с тех пор не входила. Одна вещь следует за другой до того момента, который надо по возможности оттянуть, когда сумка станет пустой, когда Андре обожжет пальцы о последний предмет, оставшийся на дне. Страшный момент, когда Ева сорвет яблоко.

Сумка пуста. Осталась лишь пудреница. Сейчас Андре откроет ее нажимом ногтя. Она знает, что Лакруазий убрала все зеркала по доброте души: эта чувственная женщина как будто кожей угадывала, как будут вести себя окружающие ее люди, поэтому она и была хорошей сестрой, несмотря на обманчивую внешность. Андре делает вид, будто размышляет по поводу Лакруазий, а в действительности еще раз обдумывает то, что собирается совершить. Как только она начала наводить порядок в сумке, у нее появилось чувство вины, которое раньше не было ей знакомо, за исключением разве того дня, когда она списала контрольную по географии.

Она знает, почему Лакруазий не хочет, чтобы у нее было зеркало. Она знает, каким может оказаться любой человек, пострадавший в катастрофе. Любой... «Но я? Чем стала я? Как плохо видно. Что это за изображение с закрытым веком? Что за лицо, у которого веко не под-

нимается, когда я хочу, чтобы глаз смотрел на меня так же, как я смотрю на него».

Рука с открытой пудреницей медленно опускается на простыню.

В ней все молчит, все замерло. Не издать ни звука, держать все на запоре, чтобы не дать прорваться потоку мыслей.

Рука медленно поднимается и держит круглое зеркальце прямо перед лицом. Глаз. Но глаза нет. Рука опускается.

До пяти часов вечера она будет снова и снова повторять этот жест, медленно, автоматически. Затем она закроет пудреницу — раздастся знакомый щелчок, который сегодня вечером не разбудит в ней никаких чувств,— и она положит сумку на ночной столик.

— Вы выщипали себе бровь,— заметит Лакруазий.

В двенадцатой палате царила странная атмосфера. Сестра поняла, что Андре знает. Она говорила со всеми по-прежнему. И только, пожалуй, одна Лакруазий в течение трех дней чувствовала, что Андре находится как бы в полусне. За эти три дня она ничуть не продвинулась в лечебной гимнастике.

Поднять ноги, согнуть колени, сто двадцать градусов к концу недели — ради чего? Поднять руку. Открыть веко. Это — да, но...

Птоз века. Или еще хуже.

Она видела, как хирурги перешептываются между собой. Они приводили врачей-окулистов чаще, чем других. Они говорили о большой гематоме, «естественной после операции, сделанной доктором Пуди первого января», из-за которой веко опухло и оставалось неподвижным. Пуди поспешил еще раз подробно объяснить Андре, как удачно была сделана операция в орбите глаза.

А затем они вышли в коридор.

«Я обезображена».

В глубине палаты сгрудились у двери мужья приятельниц. От них пахло табаком. Три молодые женщины, с которыми она подружилась во время практики в Париже, решили устроить встречу у ее постели в Лионе. Милый жест и неожиданное развлечение.

Мужья быстро перезнакомились и столковались. На них не было подтяжек, и все же Андре готова была поклясться, что они любят водить большими пальцами под подтяжками. Привычная удовлетворенность собой, цивилизованность на уровне хромированных баров и антрекотов в ресторанах на Елисейских полях. Тот, кто летает на реактивных самолетах, курит сигареты «Стивезан». Если вы настоящий мужчина, пользуйтесь одеколоном «Брют фор мен». Такие ездят в отпуск на Таити, другие — нет. Они, впрочем, тоже.

Стесненные поначалу обстановкой палаты, они быстро освоились, неожиданно обретя свой собственный мир: ведь говорить о катастрофе — это говорить о машинах. «В Лионе, как и в Париже, эти типы из предместий не умеют водить машину». Машины под номером 75[1] принадлежат расе господ, на номере 78 ездит мелюзга, вечные пассажиры второго класса, на 77 — деревенщина, приезжающая в Париж по четвергам. А дальше — совсем уж жалкие водители, из тех, что ездят по Седьмой национальной дороге.

Новое деление Парижского района на департаменты поставило их перед дилеммой, которую они не могли разрешить вот уже три года: машины из Нейи регистрировали под номером 92. Они говорили «Нейи», хотя двое из них жили в Булони, а третий и вовсе умолчал

[1] Под номером, оканчивающимся на 75, зарегистрированы машины в Париже. 77—78 относятся к парижскому району. *(Прим. перев.)*

о том, что он из Тиэ. Все равно их волновало то, что машины из Нантерра регистрируют под номером 92 и это бросает на благородный Нейи[1] несмываемое пятно.

— Заметьте, мне повезло, я зарегистрировал машину по месту работы — в Восьмом округе.

Разжигаемая играми, проводимыми по телевидению, настоятельная потребность доказывать себе, что тебе везет во всем.

— Да, но осторожно с документами... Меня однажды остановили полицейские...

Голоса их звучали так, точно они объяснялись с полицейскими, а видом они напоминали жалких нарушителей правил.

— Агент моей фирмы не возражал. Он обслуживает Нейи и западные районы Парижа. Однако все зависит от марки машины. В некоторых случаях люди не могут зарегистрировать машину в Париже, если хотят сохранить своего агента.

— Трудности могут возникнуть при техосмотре. Из-за этого нельзя выбрать какую хочешь марку.

Немного терпения — и голоса пропадут. Болезнь развивает в человеке по крайней мере одну способность: выключаться в середине разговора, хотя вокруг народ, выключаться незаметно. Андре мысленно перечитывала письмо Ива: «...В жизни Боннара было не больше послеполуденных летних часов, чем в жизни других людей. Однако он сумел отобразить их свет на своих полотнах и в том нашел себя как художник. С моцартовской прозрачностью в течение всего года он писал летний полуденный радостный свет. Я вижу эти картины, озаренные светом одного мгновения, а писал их Боннар с 1910 по 1914 год. Мгновение полноты жизни, длившееся четыре года!..»

Ив верен себе... Ему необходимо блистать знаниями, но одновременно и делиться ими. Ив с его постоянными советами, жаждущий, чтобы им восхищались. Одна из его излюбленных тем — впечатления о Боннаре. Надо отдать справедливость: если отбросить всю его поверхностную мишуру, он гораздо содержательнее, тоньше, одухотвореннее, чем вот эти трое, которые говорят о веревке в палате повешенной. Ив — неуловимый и неудовлетворяющий. Сам-то он бывал ли чем-нибудь захвачен и удовлетворен? Андре до сих пор была ему признательна за то, что он открыл ей окно в мир из ее маленького медицинского мирка: благодаря ему она мыслила шире.

Около двери в глубине палаты дело идет к развязке: мужья размышляют, удобно ли отправиться обедать к Бокюзу без предварительного телефонного звонка.

Сосредоточиваться на приятном... Ив, конечно, прав. По крайней мере, на словах. Но может ли он похвастаться, что умеет делать это лучше других?.. Почему люди подсознательно считают более благородным заострять внимание на тяжелых моментах жизни? Мечтать о том, чтобы супруги в часы раздоров вспоминали в основном о мгновениях безоблачного счастья!

Но, дорогой Ив, это не очень-то получается, когда ты погружен в бездну горя.

На двадцать четвертый день Жюлиа поставил ее на костыли. Однако и речи не могло быть о том, чтобы начать ходить в подлинном смысле слова: судя по рентгеновским снимкам, коленный сустав еще недостаточно окреп, чтобы можно было ступать на левую ногу. Но остальной части тела надо было упражняться в непривычном способе

---

[1] И машины из Нейи, и машины из Нантерра регистрируются под номером 92. Нейи — аристократический пригород Парижа, а Нантерр — промышленный центр. *(Прим. перев.)*

передвижения. Повиснуть на костылях. Приподнять один из них и выставить вперед. Перенести вес тела на выдвинутый вперед костыль. Подтянуть к себе второй костыль, держась на ноге и на другом костыле. Перенести тяжесть тела на второй костыль. Как будто ничего особенного. Но подмышки, плечи и спина должны приспособиться к усилиям, для которых они не созданы.

Ей становилось страшно при мысли, что ее увидят на костылях. Каждый день Андре придумывала новые причины, чтобы отсрочить визит брата, сестры и их детей, которые до сих пор так и не видели ее.

Калека не столько стесняется своей инвалидности, сколько страдает от чувства неловкости, возникающего вокруг него.

Если она останется обезображенной, уродливой, она будет специализироваться в лечении прокази. Она поедет врачом в мир, где все изувечены и обезображены. Впредь она будет принадлежать только этому миру. Там ей не придется страдать ту долю секунды, которая сейчас нужна каждому пришедшему, чтобы овладеть собой, прежде чем заговорить с нею.

Не думайте, что это пустые слова,— она принадлежала к тем, кто выполняет задуманное; два года специализации и затем — Убанги.

Африканская деревня станет для нее курсом окончательного излечения. Африканская деревня. Там не только прокаженные. У негров в коже есть особый пигмент, который не вытравить. Они умирают с ним. И всю жизнь при них та доля секунды, когда белому приходится овладевать собой. Так и она. Она превратилась в негритянку. Спустилась с высоты, на которую вновь не подняться. Ей не отделаться от изувеченного глаза. Никогда, до самой смерти. Нет, негры — это ее выдумка. Среди своих они красивы и живут полноценной жизнью. Ты не негритянка, ты — прокаженная, «Прокаженная, я уеду к прокаженным и буду работать, прокаженная среди прокаженных, которые станут смотреть на меня без испуга».

Она попросила принести что-нибудь о Ламбаренэ. Ее возмутили методы, которые там применялись, и тогда она решила выяснить, как работает Рауль Фоллеро[1].

Она бросает банальную фразу:

— Самое трудное — это терпение.

Он каждый раз подхватывает:

— Со мной было то же, когда я был на излечении в туберкулезном санатории...

Уходя, он говорит:

— Я провел в санатории год. Я знаю, что это такое, и могу тебя понять. Через несколько лет ты увидишь, что в наших испытаниях есть не только отрицательная сторона. Но тебе понадобится на это время. Во всяком случае, знай, что существует человек, который тебя понимает, который всегда рядом с тобой в твоих испытаниях.

Когда после этих вежливых фраз закрывается дверь, Андре обдумывает эти слова сочувствия. Она рассматривает их со всех сторон — так человек, только что получивший подарок, перекладывает его с руки на руку.

Она ничем не пренебрегает, ни от чего не отказывается. Она готова учесть все: не так много у нее подобных предложений.

---

[1] В Ламбаренэ работал известный ученый и врач Альберт Швейцер: Рауль Фоллеро — другой специалист, занимающийся лечением прокаженных в Африке. *(Прим. перев.)*

Но взвесив все как следует, она, не кривя душой, мысленно отвечает: нет, тебе не понять; когда ты вышел из санатория, об этом никто не догадывался.

И медленно, громким голосом, на всю двенадцатую палату, где, кроме нее, никого нет, добавляет:

— Я же, дружище, буду ходить с этой отметиной на физиономии всю жизнь.

Что за театральная реплика! Я мог бы заново описать всю сцену, поведав вам, как Андре выкрикивает эту фразу растерявшемуся благородному человеку, и заставить ее разрыдаться.

Но Андре не такова. Она не бросает слов понапрасну. Она умеет разумно использовать свои возможности: когда речь идет о делах, она не сердится, но и не позволяет увлечь себя в сторону. Она не станет спорить со своим посетителем: ему не понять, он не видит принципиальной разницы. Она должна разобраться во всем сама.

В таких случаях остаешься наедине с собой. Но и наедине она не из тех, кто вводит себя в заблуждение. Она принимает факты такими, каковы они есть. Она видит всю их беспощадность и повторяет беспощадную фразу: «Я буду ходить с этой отметиной на физиономии всю жизнь!..»

И когда она произносит это в двадцатый раз, фраза пронзает ей сердце. Не думайте, что двадцать первый удар клинком менее болезнен, чем предыдущие. К такому не привыкают.

Ей больно, и она плачет. Плачет не от жалости к себе и не от отчаяния. Она плачет, как плакали бы вы, если бы вам выкручивали руки. Ей изуродовали лицо, ей изуродовали всю жизнь! Она та же и уже не та. Внутренне она стремится продолжать прежнюю жизнь со всем, что в ней было: знаниями, надеждами, опытом, планами, расчетами, целями. И желаниями. Все в ней жаждет этого.

Но на ее лице начертано, что ей придется избрать другой путь. И она ощущает в груди ту же боль, какую ощущает космонавт, когда резко меняется орбита. Больно до слез.

Вот уже три месяца, как глаз закрыт. Опущен занавес. Не оба глаза, нет, один открывается, хотя она хочет, чтобы открылись оба. А слева занавес закрыт.

Три месяца, как она не знает, откроется ли глаз и что там окажется, если он откроется. Страх где-то в желудке при мысли о том, что, выздоровев, она будет по утрам видеть себя в зеркале.

Днем при посетителях она не выдает своих волнений. Но в два часа ночи? Тогда она остается наедине со своими мыслями о будущем — реальном, а не с радужными планами подростка. Кто расскажет о слезах, которые проливают в два часа ночи в больничных палатах?

Кто признавался ей в них? Она перебирает в памяти своих больных. Она была с ними доброй, мягкой, умелой. Но делила ли она их одиночество в два часа ночи? Смутное беспокойство иногда приводило ее поздно вечером к их изголовью. Но наступал момент, когда все уходили и на больного опускалась плита молчания.

Последняя болезнь Овезина... Она заходила к нему каждый вечер перед уходом из клиники. Она подготовила семейный заговор, оптимистические диагнозы, фальшивые этикетки на ампулах.

Она вспоминает о перешептываниях в коридоре, когда после какого-нибудь замечания больного врачи обсуждали, что̀ ему удалось узнать и насколько он им доверяет.

Она знает теперь, чем оборачивается такая игра. Овезин перед смертью был обречен на одиночество.

Может быть, ему хотелось по временам раскрыть свою душу, но

его жена, скрывая отчаяние за лихорадочной деятельностью, переставляла на камине цветы или выносила из палаты чашку. Может быть, у него была потребность перед смертью разобраться в себе. А ему разглаживали простыни, взбивали подушки и оставляли его наедине со смятенными, горькими мыслями.

Одного.

И он улыбался жене, своим коллегам-врачам, говорил о детях. Он стал им подыгрывать. И Андре, как и все остальные, позволила ему умереть в одиночестве.

Она прикусывает палец так, что сводит скулу,— ее душит несправедливость существующего миропорядка.

Эти грустные размышления наводят ее на мысль о статье, которую «Нувель обсерватёр» посвятил памяти отца Булоня — первого, кому в Париже пересадили сердце. Она попросила разыскать ей этот журнал. Ее друзья-хирурги радовались, когда у нее возникали такие желания, поднимавшие ей настроение, и сожалели лишь о том, что это случалось редко. Они собирались позвонить в «Прогрэ»[1], чтобы выяснить дату смерти священника, но безупречная память Андре избавила их от хлопот. В агентствах по распространению печати, однако, не нашлось нужного номера. И, конечно, его раздобыла Сюзанна, отыскав в котельной, где по недосмотру скопились старые газеты и журналы из приемного отделения.

«В прошлый вторник, утром, в Париже, в верхней части улицы Фобур Сент-Оноре событие социологического характера перевернуло все расчеты префектуры полиции...»

Ну и что?

«...В прошлый вторник, когда доминиканцы окуривали елеем тело Шарля Булоня, парижане, видимо, предчувствовали. .»

Мне-то что до этого?

«Если бы отцу Булоню стало плохо в коридорах больницы Бруссе, его через полторы минуты привели бы в чувство на операционном столе врачи, для которых это было бы почти обыденной операцией. А через несколько дней ему вставили бы в грудную полость электронный стимулятор, не доверяя больше его неповинующемуся сердцу.

Однако дело в том, что в эту пятницу отца Булоня в больнице Бруссе не было...»

Вот начинается.

«...Его не было там, потому что он не мог там больше находиться. Так проявилось психосоматическое явление неприятия, с которым столкнулся профессор Дюбо, хотя все предосторожности биологического характера были приняты.

Чтобы сохранить свою жизнь, отцу Булоню следовало оставаться в больнице. Но если бы он там остался, он умер бы от бешенства или тоски...»

Приближается.

«Итак, он оказался в безвыходном положении, а вместе с ним хирурги и врачи, с которыми его связывал уговор. Можно ли его назвать новым Фаустом? С той разницей, что за свое проклятие отец Булонь заплатил сполна на этой земле. В течение 17 месяцев его душа и тело испытывали все муки преисподней.

Счет, по которому он заплатил сполна, был предложен им самим. Целых полгода он умолял известных хирургов произвести эксперимент с его сердцем. Известные хирурги не скрыли от него возможной опасности. Их не в чем упрекнуть, однако это ни в коей мере не меняет дела: отец Булонь претерпел двойное мученичество».

---

[1] «Прогрэ де Лион» — лионская ежедневная газета. *(Прим. перев.)*

Прошлой осенью эту статью обсуждали в столовой клиники. У врачей было такое чувство, что статья отчасти направлена против всего медицинского мира, и реакция на нее у всех была одинаковой, хотя при этом им слегка импонировало, что нападкам подвергаются парижские врачи, конкурировавшие с Лионом в области пересадки сердца. Вернувшись из Парижа, куда он ездил за разрешением открыть свою клинику в Улленсе, Жак де Пешодье подогрел настроения своих лионских коллег, рассказав о том, каким бледным и молчаливым был профессор Дюбо, окруженный багровыми от возмущения сотрудниками.

— Черт побери! На что ему жаловаться? Статья же выгодна ему, не то что его фотография во «Франс-суар», где его сняли за молитвой.

Ив, конечно, стал бы иронизировать: врачи — вроде генералов, которые считают, что только они способны писать о войне. Наступит время, когда больные завладеют правом говорить о болезнях. Ив утверждал, что врачи держат в своих руках болезни как частные участки леса под охоту. Андре не терпела подобных заявлений, и они из-за этого ссорились.

Читая статью, врачи обратили внимание лишь на пять строк, где говорилось о них. Они не заметили всего остального, что посвящалось больным. Андре вспомнила об этом только через четыре месяца.

«...Образ этого страдальца с пересаженным сердцем встречался на каждом шагу. Газеты пели дифирамбы «его общительному характеру». Над колыбелями детей прикалывали его фотографии с теплыми пожеланиями и благословениями; радиостанции обращались к нему с просьбой поднять моральный дух покинутых матерей-одиночек.

Говорили, что этот человек «забывал о себе ради других». Удобное объяснение, позволившее «другим» забыть о том, что в Бруссе находился Шарль Булонь — не только «сенсация» для телевидения и журналов, а просто — «больной» Шарль Булонь.

Не так-то легко «забыть о себе», когда подвергаешься подобной операции.

Три недели тому назад Шарль Булонь заявил консилиуму потрясенных врачей: «Я выброшу ваши лекарства вон, если вы не выпустите меня отсюда».

Он вышел из больницы. Врачи не находили себе места. В час ночи он вернулся. Он возвращался всякий раз, точно был на привязи, храня верность соглашению, заключенному с профессором Дюбо. Таких, как он, здравомыслящие люди охотно называют образцовыми больными с «развитым чувством ответственности», освобождающим вас от всех хлопот.

Говорили, что он «сотрудничает» с профессором Дюбо, и это было верно. Однако их лепта не была одинаковой. Вечером Дюбо вешал в шкаф свой белый халат и, погасив свет, уезжал домой. Шарль Булонь оставался на больничной койке. Все двадцать четыре часа в сутки. В два часа ночи так же, как в часы посещений. Знают ли посетители, какие мысли одолевают больного после операции в темноте ночи?

...Дав обет предоставить себя для медицинских исследований, он стал покорно выполнять роль сочувствующего свидетеля. Все его публичные заявления после операции, фотографии, все, что он писал, было обусловлено контрактом.

...Конечно, это объяснялось его профессией кюре, конечно, он и раньше публиковал полные оптимизма книги. Но можно ли представить себе, чтобы человек удовлетворился ролью почетного гостя на крестинах, подписывал открытки выздоравливающим и выступал по радио с выражениями симпатии радиослушателям?

Предположить, что отцу Булоню во имя благих намерений ничего не стоило принять эту позу, значило бы найти слишком удобную отговорку. Кто знает, что может сделать человек из благодарности к людям, которые ему помогли?

Но даже самые безмозглые болваны не посмели вложить в уста священника того, что он пошел не задумываясь на двойные — физические и моральные — мучения, связанные с пересадкой сердца, потому что для него, человека верующего, не имело большого значения, оставаться ли на земле или подняться этажом выше...»

Андре была постоянной читательницей «Нувель обсерватёр». Ей никогда не было свойственно пустое фрондерство, и она ценила журнал за то, что он поставлял ей каждую неделю необходимую порцию «пастеризованных» сомнений и твердой убежденности в том-то и том-то; там белое изображали белым, а черное — черным, людей делили на добрых и злых и неукоснительно освещали последние новинки в области культуры.

Когда она была девочкой, родителям лишь однажды пришлось столкнуться с ее причудами: хотя ей предоставили стипендию, она не захотела идти в лицей и настаивала на поступлении в современный коллеж. За все лето так и не удалось уговорить ее отказаться от принятого решения. Она думала таким образом сохранить своих друзей; лицей же, по ее мнению, был заполнен воображалами. Никто, в том числе и она сама, не догадался, что это было проявлением верности начальной школе. Ей хотелось получить более традиционное образование. Возможно, этим и объяснялось ее пристрастие к пространным статьям скупо иллюстрированного журнала.

Верная его подписчица, она считала, что лучше воздерживаться от споров об отце Булоне. И все же любая статья по вопросам медицины неизменно казалась ей неуместной или чересчур поверхностной.

Андре захотелось вдруг перечитать эту статью из-за того, что — как ей помнилось — там говорилось о проблемах, вставших перед больными по ночам. К сожалению, ответа она не нашла и продолжала кусать палец, стараясь подавить ощущение необъяснимой несправедливости.

Прежний мир, тот, что существовал за пределами коридора, дважды робко заглянул в двенадцатую палату. Андре почувствовала запах зимы на щеках Франсуазы, а однажды по влажным пятнам на плаще Лакруазий обнаружила, что на улице дождь. На прозрачном пластиковом капюшоне сестры остались капельки влаги.

Словно вдруг отдернули занавес, и перед нею открылся далекий мир. Но едва она осознала эти впечатления — они потухли и больше не возникали.

Первого марта Андре почувствовала зависть, смотря по телевизору фильм с Эвелиной Тульза.

Актриса на экране была красива и умело использовала свою красоту. Оператор тоже всячески ее подчеркивал. Камера показывала зрителям ее лицо то в одном, то в другом ракурсе, как бы совершая некий священный танец во имя красоты. Затем дали несколько крупных планов. Два глаза. Два трепещущих века. Андре чувствовала, как в домах взгляды зрителей прикованы к Эвелине Тульза. «К ней, а не ко мне».

Понимая, что это глупо, Андре выключила телевизор и рассердилась на себя за это.

Она мысленно еще раз пережила увиденное: после трех месяцев, проведенных на больничной койке, каждое событие переживается

по нескольку раз. Прошлым летом на одном из обедов кто-то из врачей говорил о том, как Эвелина Тульза пыталась покончить с собой. Подробно рассказывал, как ей промывали желудок. Каждый раз, когда речь шла о женщине, Андре переживала ее беды. На этот раз это не напоминало самоубийства ради рекламы.

Андре убеждает себя, что у этой женщины с прекрасным лицом, с красивым ртом, не обезображенным шрамами, и беспрекословно повинующимися веками, тоже были неприятности, было какое-то горе.

Ну что ж, недаром народная мудрость гласит, что внешность обманчива. И тут же она просит Сюзанну убрать из палаты телевизор. Санитар Алонсо говорит между делом старшей сестре Ревель, что аппарат можно было бы просто не включать. В общем-то он хорошо относится к нашей больной, и от него пошла привычка называть улицу, где началась эта история, «бульваром Кастель».

Но так или иначе, с телевизором или без него всегда наступает час, когда дверь палаты закрывается и в комнате воцаряется одиночество. Ночь. Ночи. Ночь за ночью. И приходит час, когда одним думается о том, что как-нибудь все войдет в норму, а другим — что теперь им придется идти в одиночку. Одним? Нет. Это слово следует писать только в единственном числе: одному.

Ночь в двенадцатой палате клиники Крапонн.

Пришлось бы написать девяносто семь совершенно одинаковых глав — таких же, как и эти бессонные ночи. И в каждой из девяноста семи глав двести девяносто семь одинаковых абзацев по количеству бессонных минут. Все до единого одинаковые, одинаковые до тошноты, до исступления. Девяносто семь ночей на Андре находили приступы тоски, то нараставшие, то затихавшие, изредка прерывавшиеся взрывами слез, не облегчавшими до конца ее душу.

Стремясь избежать этого, она принимала на ночь снотворное, которое на следующий день приводило к еще большей депрессии. Трудно сказать, лекарства ли вызывали новые слезы или слезы побуждали ее принимать лекарства, но она плакала.

Минуты, похожие одна на другую, ночи, похожие одна на другую, и так снова и снова. Ручаюсь, вы запустили бы книгой в стену палаты. Ей же приходилось привыкать. Но порой у нее внезапно рождалось искушение закрыть книгу раз и навсегда.

Закрыть книгу, закрыть глаза, закрыть навсегда. Неужели же этот идиот Шапю-Малар не мог выполнить предначертание судьбы до конца?

Долгожданное наступление свежего, ясного утра, когда приближался час занятия гимнастикой. По средам и пятницам Жюлиа заходил проверить, как продвигаются дела.

Андре не терпелось показать свои достижения, как когда-то экзаменационные отметки. Она всегда усердствовала больше, чем нужно, чтобы отметки были только отличные. Она получала их и так, но никогда не была уверена заранее.

Она вышла из народа — вечно существующего, уверенного в своей доброй воле, в своих способностях, но отнюдь не в своих успехах. Из той породы людей, у которых из поколения в поколение при каждом новом режиме новые правители требуют новых доказательств силы, и они неизменно их представляют, зная, что так будет и дальше.

Андре провела свое вполне счастливое детство в таком квартале, где посредственных отметок было недостаточно, чтобы открыть дорогу в будущее. Беспокойный от природы характер не позволял ей быть довольной собой. Да и отец не считал нужным хвалить ее за ус-

пешно сданные экзамены. Он отправлялся поделиться хорошей новостью с родственниками.

Посредственные результаты удовлетворяют тех, кому достаточно держаться на поверхности. Андре же не довольствовалась обычными успехами, ей хотелось большего: постоянно привлекать внимание профессоров и экзаменаторов. Чуть сбавишь темпы, и тебя забудут, и ты затеряешься в толпе безымянных лиц. Ни одна из ступенек лестницы не стоила того, чтобы на ней задерживаться: коллеж, факультет, практика в больнице, клиническая ординатура. Так время от времени в народе рождаются таланты, прекрасные бутоны, обещающие буйное цветение. Люди с призванием пробиваются сквозь чащу и вырываются на простор, сметая преграды рутины и эгоизма. У Андре призвание к медицине появилось еще в первых классах школы — поначалу, по правде говоря, она представляла себя лишь в роли медсестры,— хотя никто так и не понял, каким образом у этого милого создания могла возникнуть мысль о том, чтобы посвятить себя борьбе с болезнями. В своем стремлении жить полноценно она переросла родителей на целую голову. Призвание у нее, во всяком случае, оказалось настоящим, ибо Андре никогда не раскаивалась в своем выборе. С начальной школы было ясно, что она, как говорилось в их краях, двинет медицину. Все написанные ею контрольные работы, экзамены на степень бакалавра, конкурсные экзамены — все это было лишь ступенями на пути к медицине.

А профессор Жюлиа ставил перед нею новые задачи. И она выполняла их с той же врожденной фаталистической верой и с той же доброй волей, как и раньше. Те же сомнения и тот же душевный подъем возрождали в ней подсознательный энтузиазм, подобный тому, который она испытывала перед экзаменами.

Не подумайте, однако, что достаточно переломать себе кости в автомобильной катастрофе, чтобы увлечься лечебной гимнастикой. Уже на следующий день после аварии Андре поняла: надо быть похожей на Жанину Шарра или Жаклину Ориоль, чтобы суметь подняться над смертью и унижением. Но и ей приходилось бледнеть от страха, заслышав шаги профессора Жюлиа. Какие утонченные пытки предложит он на этот раз?

Выполняя все новые и новые требования, она страдала от боли. Боль в бицепсах, когда поднимаешь руки, боль в коленях, когда сгибаешь ногу — девяносто градусов, сто двадцать, полный сгиб; больно в животе, когда учишься садиться; болит спина, болит все тело, когда встаешь, трещит голова, когда учишься передвигать костыли. В пылу энтузиазма за один час сгорали ее силы, которые она с трудом восстанавливала в течение целого дня. Остальные двадцать три часа, ночью и днем, у нее все болело и не было сил. А на другой день утром она снова начинала думать о том, как будет работать врачом у негров.

Жак де Пешодье появляется в просвете двери. Он садится на край постели (это запрещено членам семьи, но принято у врачей).

— Отныне самая сложная проблема — это глаз,— говорит он.

«Ах, Пеш, добрый Пеш, замечательный доктор Пеш, я уверена, что твоя клиника в Улленсе пустовать не будет». Андре внезапно охватывает волна признательности. Итак, на земле есть еще кто-то, для кого самой важной проблемой отныне является ее глаз. Пеш одной фразой уничтожил стену неискреннего оптимизма, пустых ободрений, легковесных объяснений. На несколько секунд у нее исчезает чувство одиночества. Пеш поставил себя на ее место, понял, как это необходимо, не уклонился. Он как бы взял из ее рук ружье и встал на стражу у бойницы ее страха, дав ей возможность немного передохнуть.

А другие посетители начинали сожалеть о ее разбитой машине. Они даже вспоминали о том, какой огромный счет представили в гараже одному из их знакомых в подобном случае. У этих несчастных были, однако, целы руки и ноги. Но они принадлежали к другому миру, где существовали свои заботы. Чуждые ей во всем, они не могли понять, что ее заботы были совсем иного свойства. К их миру она не принадлежала больше и не хотела принадлежать.

Тем временем посещения становятся реже. Кому охота дважды в неделю портить себе нервы?

Андре констатирует это без сожаления. Она живет только для того, чтобы этим летом начать ходить.

Опережая намеченные планы, профессор Жюлиа испытывает на ней новые средства, восстанавливающие эластичность мускулов. Это позволит приступить к упражнениям, которые считаются пока преждевременными.

После пасхальных праздников он велит Андре ступать на левую ногу. На сто девятнадцатый день она начинает ходить.

Что ж, приходится называть ходьбой — раз таков язык людей, занимающихся с больными,— это тягостное, мучительное перемещение ног, которые с трудом волочатся по земле, так что подушечку костыля судорожно зажимаешь под мышкой.

Однако наступает такое утро, когда в палате уже не хватает простора. Проблема: как открыть на себя дверь, когда стоишь на костылях?

— Подождите, Сюзанна, пусть она сама,— ворчит инструктор лечебной гимнастики.

Задача на эту неделю — дойти до поворота в коридоре. Через пять метров за ним — но это уже где-то потом, в будущем,— двустворчатая дверь, за которой большой вестибюль. Там сосредоточена вся административная служба клиники. В течение многих лет озабоченные голоса спрашивали в этом вестибюле, не видел ли кто мадемуазель Кастель. День за днем Андре терпеливо осваивала коридор, не желая думать ни о чем, кроме этой обетованной земли. Но на 127-й день почва ушла у нее из-под ног, когда она узнала по радио об аварии, постигшей космонавтов с «Аполлона-13».

— Удивительно,— сказал на другой день профессор Жюлиа,— как это ни один из журналистов не подметил, что мы свидетели падения Икара.

Двести пятьдесят тысяч километров. Три дня свободного падения. Нет, с Икаром было иначе. Андре не любит этот образ. Он сам способствовал своему падению.

Андре всем своим существом вместе с космонавтами.

— Можно выбраться и из этого положения,— говорит она твердым голосом.

Они находились за пределами человеческого существования, а ей была ведома потусторонняя мгла, через которую она только что пробилась. И ей хотелось дать им знать, что выбраться оттуда можно. Жанина Шарра выбралась, и доктор Кастель-Мору добивалась того же. У нее за плечами было преимущество стажа, авторитет, созданный 127-дневным опытом. Она надеялась, что космонавтам удастся приостановить вращение кабины. Иначе они погибнут, сказала она доктору Блану, и он был поражен, услышав то же самое в передаче последних известий по телевидению

Андре с гордостью отметила, что командир корабля Джеймс Лоуэлл действовал умело. Если бы он отклонился правей, их раздавило бы атмосферой и они погибли бы в пламени; если бы левей, их унесло бы в межпланетное пространство. Между двумя опасностями — лишь

крохотный просвет в несколько километров шириной и двести пятьдесят тысяч километров длиной. Оставалось только одно: направить корабль по прямой в эту узкую щель и спуститься по ней, если это еще возможно. Именно так — и только так — поступал Лоуэлл. Он ненавязчиво помогал тем, кто вел расчеты в Хьюстоне, как это делала и Андре при переливаниях крови. Второй пилот Джон Сюигерт работал тоже так четко, что было даже незаметно, когда они сменяли друг друга. А вот у Фреда Хейза началась тошнота, и Андре была этим раздосадована. Несмотря на все его способности, она причислила Хейза к тем, кто позволяет лечить себя или полагается на вычислительные машины. Лоуэлл же обладал каким-то особым даром — каким точно, она не знала,— который был присущ и ей самой. Он был полон решимости жить до последней доли секунды — в той мере, в какой это зависело от него. Остальное: смерть — об этом он не думал, не тратя на размышления ни времени, ни сил, и без того скудных. Он был из тех, кто инстинктивно чувствует, что надо во что бы то ни стало выбираться на правильную дорогу. И Андре увидела, как он поразительно точно устремился туда, где их ждало спасение.

Она слушала то одну, то другую радиостанцию, не нарушая, однако, послеобеденного сна, так же как Лоуэлл там, наверху — своего, ибо оба они знали, что изменение привычного хода жизни поглощает бесценные капли энергии. Через два дня она решилась попросить у Алонсо телевизор. Сидя перед камерами, обозреватели и эксперты, не покидавшие студию, обросли бородой. А Лоуэлл в космосе — Андре была в этом уверена — жалел о том, что в его аккумуляторах не хватает энергии, чтобы побриться.

Множество людей в разных странах, подражая героям, провело две ночи без сна. Им будет приятно говорить потом: «Я был при этом». Андре раздражала такая бесцеремонность: неужели миллионы зрителей, привлеченные к экранам современными фокусниками, не понимали, что, прикрываясь интересом к науке и сочувствием, они по сути дела оставались зеваками. Сгрудившись у телевизоров, они похвалялись своей усталостью и обрели, в конце концов, значимость в собственных глазах вне зависимости от космонавтов. Обернись дело плохо, эмоции зрителей стали бы только острее.

Они, конечно, таким же образом разглагольствовали до вечера и у ее разбитой машины в тот день, когда...

Впервые она представляет себе валяющиеся на земле фары, запекшуюся на руле кровь, какого-то толстого мужчину, с готовностью вновь и вновь рассказывающего зевакам о происшедшем. И ей становится стыдно оттого, что она тоже заглянула через плечо толстяка.

Оставив мерцающие на экране изображения из страха перед Алонсо, она выключает звук и, взяв свой транзистор, пытается найти техническую информацию, которой все реже и реже обмениваются Лоуэлл и Хьюстон. Здесь нет времени для приукрашиваний. После практики в госпитале Миннесоты Андре достаточно хорошо понимает американскую речь, чтобы разобраться в цифрах, скупо передаваемых в космос.

Вместе с тремя космонавтами она познала счастье благополучного возвращения в атмосферу, затем — до странного привычное ощущение спуска на воду: жизнь шла своим чередом. Она думала о том же, о чем и Лоуэлл, когда его приветствовал адмирал.

Андре спустилась на землю вместе с космонавтами, и, когда их кабина открылась среди морских волн, кокон, в котором она была заключена в течение четырех месяцев, раскрылся: теперь она снова будет читать газеты.

Пережив эти три дня, она поняла, что все у нее идет так, как нужно. Она вдыхала запахи весны, поразительно чистые и острые. Передвигаться на костылях нелегко, но каждое ее движение было точным и правильным.

И у нее появилось ощущение быстро нарастающего прогресса. Усилия не пропадают даром, Лоуэлл! Мадемуазель Кастель-Мору радуется, чувствуя, что рычаги управления действуют, несмотря на аварию.

Ни разу не дотронувшись до стены, она доходит до большого вестибюля.

Сюзанна, конечно, уже спешит распахнуть дверь. Величественным жестом профессор останавливает этот порыв. Солнечный свет, падающий слева, славит знаменитого Жюлиа. Он стоит, прислонившись плечом к оконной раме, засунув руки в передний карман белого халата, и широкая отеческая улыбка светится в уголках его глаз. Андре готова поклясться, что он подражает гравюрам, изображающим Луи Пастера, растроганно глядящего на первого пастуха, которого он вылечил от бешенства. «Какую мину он бы состроил, если бы я поцеловала его? Он заслужил это». Но она лишь говорит: «Ну вот я, кажется, снова закончила институт». Царственно величественный, он одобрительно кивает. Она находит верный жест и распахивает створку двери. Ее первый костыль ступает в вестибюль. «Медицина, ты снова принадлежишь мне! Я опять на ногах. Это не все, я знаю. Но вестибюль стал доступен»,— от этой мысли слегка кружится голова.

Навстречу ей движется Пюилоран.

— Видите, как идут дела,— бросает она ему тоном насмешливого тщеславия, под которым скрывает подлинную гордость. Пюилоран, с которым они вместе работали, доброжелательный свидетель ее достижений. В глубине души Андре довольна, что кто-то видит, как она преуспела. Ей не нужны комплименты, но ей нравится, когда об ее успехах знают. Они кажутся ей реальными, лишь когда она читает их подтверждение в чьем-то взгляде: ей это необходимо, как другим — письменное свидетельство. И на этот раз, опершись на костыли и закусив от усердия губы, она ищет взгляда учителя и друга. Взгляда отца. Ей нужно, чтоб восхищались тем, на что она способна.

Она повертывает сияющее лицо к Пюилорану, ожидая прочесть в его глазах восхищение. Но читает жалость.

Заслышав голос Кастель, он поднял голову, но вместо Кастель увидел тощую, похожую на тряпичную куклу фигуру, припадающую на металлический костыль, и массажиста, готового подхватить ее в случае падения.

Пять лет работы в клинике научили Кастель угадывать диагнозы Пюилорана молниеносно. Она замечает, как он делает над собой усилие, чтобы посмотреть на нее. И видит себя его глазами: кошмарное зрелище — металлические костыли, тощие ноги, болтающийся на теле халат. И закрытый глаз.

Сияющая улыбка, готовая осветить лицо Кастель, гаснет. Больше ничто не заставит ее появиться. Даже если Кастель захочет, как другие и как это бывало раньше, выразить чувство восхищения и гордости, Пюилоран увидит вместо этого лишь перекошенный рот и закрытый глаз.

Он тут же почувствовал свой промах. Но не успел предотвратить его. Он делает вид, будто ничего не произошло, и впервые между ними нет взаимопонимания. Андре принимает его сдержанность за отчужденность. Не встретив восхищенного взгляда, она знает, что списана со счета.

Но какой же ей хотелось встретить взгляд? Взгляд друга? Врача?

Мужчины? Внезапная мысль пронзает Кастель, вскрывает со всей очевидностью причину многих бессонных ночей: «У меня никогда не будет ребенка».

Ребенок! Она понимает, что это тоже было частью ее жизненных планов. В миссию, которую ей было суждено выполнить на земле, входило — естественно — рождение ребенка. Жизнь Кастель напоминала ракету с четко функционирующими ступенями — с каждой ступенью она приближалась к ребенку.

Почему? Она не знала, никогда не задавалась этим вопросом, но чувствовала только — и теперь поняла это со всей очевидностью,— что, последовав вековечному призванию, она не совершила бы отклонения от курса. Ее отец, конечно, ожидал, что у нее будет ребенок. У них не было нужды обсуждать между собой этот вопрос. Союз с отцом, который продолжался после его смерти, сводился к уверенности обоих в том, что жизненный путь Андре будет простым и ясным. «У меня не будет ребенка, и я обману ожидания отца».

Впервые в жизни Андре чувствует, что она сбилась с пути. Потеряла дорогу. Ракета, не слушающаяся управления, ушла в неизвестное, лишенное смысла будущее, в пустоту, страх пустоты.

Андре уже не продвигается вперед, а все кружится и кружится на своих костылях в большом вестибюле. И ворочается ночью в постели. И все время ясно сознает то, о чем ей не хочется больше думать. Раз она перестала нравиться — у нее не будет ребенка. Путь вперед преграждён. Она ищет сравнений: она — как птица, подбитая в полете, как пилот, потерявший управление при взлете. Но эти образы все равно не заслоняют правды.

Тем временем Кастель получила вызов от судебного следователя и решила явиться в суд до наступления летних отпусков. Каждый выходит из больницы по-своему: точно куклу санитары уложили ее в машину «скорой помощи», а перед зданием суда извлекли и поставили на костыли.

Адвокат страховой компании господин Альби специально прибыл на «Мистрале»[1]. Он в основном был известен как двоюродный брат и тезка бывшего главы правительства. Его замечательный талант исторгал у присяжных потоки слез и минимальные сроки наказания ревнивым мужьям, а позже — наемникам ОАС[2], с делами которых перед заседанием суда он даже не знакомился. Он приобрел, таким образом, ореол антиголлиста, позволивший ему подняться еще на одну ступень по иерархической лестнице XVI округа Парижа[3]. С тех времен, когда в моде были «Кумушкины сплетни»[4], сохранилась традиция сажать видного адвоката на почетное место рядом с хозяйкой дома в расчете на фейерверк остроумия. До сих пор никто так и не дождался такого фейерверка, но адвокатов по-прежнему охотно приглашают в гости.

Иные простодушные люди спрашивали, как его выспренние, но бесплодные защитительные речи могли обеспечить ему состояние. Однако кроме службы в суде господин Альби выступал в роли адвоката крупной страховой компании, которая заручилась услугами мэтра из-за его родственных связей. Так поступали и конкурирующие фирмы. Подобная практика не приносила особой выгоды, но зато повышала престиж фирмы.

[1] Экспресс, курсирующий между Парижем и Средиземноморским побережьем *(Прим. перев.)*

[2] Крайне реакционная организация французских колониалистов в Алжире. *(Прим перев.)*

[3] Наиболее фешенебельный район Парижа, где живет крупная буржуазия *(Прим. перев.)*

[4] Специальный раздел светской хроники в газете «Франс-суар». *(Прим. перев.)*

Да, у господина Альби было исключительно завидное положение: компания переводила ему авансы в счет будущих платежей, а по судебным искам получала сама, поэтому мэтр мог не беспокоиться по поводу платежеспособности клиентов. Это было еще одним основанием не заглядывать в их дела. Поскольку его коллеги из других фирм были из того же теста, господину Альби, по самым простым подсчетам, достаточно было выиграть половину процессов. Компания считала такой результат вполне почетным.

Мадемуазель Кастель-Мору его не интересовала. Она тем более не уделила ему никакого внимания.

Она готовилась к встрече с господином Шапю-Маларом, считавшимся виновником столкновения машин,— ведь она его еще никогда не видела. До сих пор она запрещала себе думать о нем и, как дисциплинированная больная, соблюдала этот запрет.

Ей стало теперь ясно почему. Карабкаясь со ступеньки на ступеньку по лестнице к кабинету судебного следователя, она убеждалась в том, что этот Шапю-Малар, которого она не знала, приобрел в ее жизни чрезвычайно важное значение. Ее охватило волнение, разраставшееся по мере того, как она осознавала его причины. Никогда еще никому не удавалось проникнуть так глубоко в ее внутренний мир.

Ни один мужчина не нарушал столь радикально нормального хода ее жизни. Пусть даже путем грубого вторжения. Но это свершилось. В ней поднялась откуда-то из глубины веков тревога женщины, которая подверглась насилию и следует за насильником, запятнавшим ее на всю жизнь. И дело не в том, что он тащит ее за волосы позади своего коня, не в том, что судьба связала Андре с господином Шапю-Маларом в страшном совокуплении их машин,— он оставил свой след на всю жизнь.

Она покорилась и даже находила в этом какое-то удовольствие, в котором ей было стыдно признаться самой себе,— настолько это носило зловеще-неправдоподобный характер. Господин Шапю-Малар был страшно взбудоражен несчастным случаем, из-за которого он потерял целый день. Она готова была его утешать.

Он отказывался представить себе всю глубину происшедшего. И скрывал свои чувства, следуя инструкциям страхового агента. Он вел мелочный спор с самим собой, чтобы лучше торговаться с судьей. Таким безжизненно-серым может быть только лицо человека, обвиняемого в непредумышленном убийстве и следующего советам своего адвоката!

Пять месяцев он обдумывал, что будет говорить судье, но не подготовился к разговору с Андре. Коснувшись кончиков ее пальцев, он пробормотал какую-то фразу, из которой она не поняла ни слова. Напрасно страховые компании не распространяют заранее заготовленных образцов заявлений, пригодных для подобных случаев.

Андре, конечно, не ждала ни извинений, ни притворного сожаления. Она ждала чего-то невозможного. Если бы ее заставили сказать, чего именно, она ответила бы: сочувствия. Ей казалось, что столкновение их жизней, каким бы чудовищным оно ни было, требовало продолжения. Так горничная в отеле, впервые познавшая накануне любовные ласки, бросается к лестнице, заслышав шаги из 29-го номера, и, столкнувшись со своим предметом, видит фатоватое лицо, на котором написаны страх перед неприятностями и нежелание вспоминать о случившемся. Кастель питала безумную надежду получить хоть капельку сочувствия. Но когда господин Шапю-Малар коснулся кончиков ее пальцев, она окончательно осознала свое одиночество.

Он сразу же начал отрицать свою вину. Судья заметил, что прежде он признавал себя виновным,— так записано в протоколе. Но тот

пояснил, что его преждевременное признание было вызвано потрясением. Вид истекающей кровью мадемуазель Кастель-Мору внес смятение в его душу. Ему казалось, что она сразу же умрет в больнице. Это было ужасное зрелище, господин судья.

Судья, адвокат обвиняемого и мэтр Альби — все направили полные укоризны взоры в сторону мадемуазель Кастель-Мору. Андре же вот уже больше месяца не переносила, когда на нее смотрят. Под их взглядом она ссутулилась. И это усугубило ее виноватый вид.

Мэтр Альби знал, как овладеть положением: он заговорил тоном галантной снисходительности с примесью шутливости, которая вызвала у всех чувство облегчения. Как только он взял слово, Андре перестала следить за ходом дела. Когда адвокат и истица оказались в коридоре, он таким тоном спросил, какую сумму она потребует в качестве возмещения ущерба, что она тут же решила показать ему: она не студентка, а дипломированный врач с солидной практикой, потерявший год жизни и работы. Задав ей вопрос, сколько она зарабатывала, он не записал ответа. И особенно налег на pretium doloris [1]. Она разом утратила дар речи. Разве сумела бы она объяснить этому ослу, какая бездна скрывалась под двумя латинскими словами.

Тема разговора иссякла, и мэтр Альби отбыл. Он спешил до отхода поезда нанести визит вежливости директрисе газеты «Прогрэ». По возвращении в клинику Андре, имевшая обыкновение быстро ставить диагноз и назначать лечение, тут же взяла именной бланк для рецептов и написала в компанию, что она передает дальнейшее ведение дела своему постоянному адвокату. Позже, когда Лакруазий уложила ее в постель, она, глядя в потолок, стала думать, кто из друзей мог бы рекомендовать ей адвоката, которого она уже наградила званием постоянного.

Но так и не найдя выхода, она почувствовала изнеможение. По квадратам звуконепроницаемого потолка бродило одиночество, застревая в каждой ячейке, и, когда здоровый глаз Андре выковыривал его оттуда, как выковыривают вилкой устрицу из раковины, крохотная мышка одиночества перескакивала в следующую ячейку и прогуливалась до конца ряда, а затем перебиралась в поперечный. Гонка по квадратам с неожиданными поворотами — одиночество-одиночество — долго продолжалась на потолке двенадцатой палаты, и в конце концов это напряженное созерцание вызвало у Андре сильное головокружение и тошноту, но — увы! — спасительный обморок не наступил. Ее нервы подверглись слишком жестокому испытанию.

«У меня не будет ребенка!» Ненасытная потребность жить свелась к острому желанию иметь ребенка, и теперь оно останется неудовлетворенным. Желания у нее нарастали постепенно, она знала это. Как только появились первые заработанные деньги, она увлеклась приобретением платьев, затем — обуви, сумок, модных мелочей. Потом наступил черед ювелирных изделий. Был год путешествий, посещений достопримечательностей и раскопок. Был год книг, даже целых два [1].

---

[1] Возмещение морального ущерба *(лат.)*.

[2] Хотя Кастель приятно было считать, что она сорила деньгами, и она с удовольствием вспоминала о своих увлечениях и опрометчивых расходах, на самом деле она позволяла себе лишь раз в две недели, по пятницам, во второй половине дня обойти дорогие магазины вместе с Франсуазой Пюилоран. Других магазинов она не знала, так как все остальное время проводила у постели послеоперационных больных.

Вспоминая о постепенно возникавших у нее желаниях Андре опустила одно из них, а это заинтересовало бы психологов: между увлечением ювелирными изделиями и путешествиями она приобрела машину. Но в отличие от украшений, на которые она тратила большие деньги, машину она приобрела маленькую — из боязни, что в противном случае начнут судачить. Малые габариты машины сыграли свою роль в катастрофе. *(Прим. автора.)*

Появление свободных денег не испортило Андре. Но ни платья, ни путешествия, которые изредка позволяла себе Андре, ни даже книги и музеи не заполнили ее жизни. Не заполнили ее и друзья, хотя она сумела завести их не только в медицинском мире. Ни Ив, ни В., ни, пожалуи, еще один-два мужчины (Фаже?), которых без особой уверенности называли Мари-Луиза Сорэз и Франсуаза Пюилоран.

Она проделала немалый путь, поднялась на известную ступень, но это было не все. Таинственная и простая линия ее жизни должна была с непостижимой очевидностью привести к ребенку.

Ему она объяснит — что именно? Да что придется — все и ничего, как в свое время объяснял ей отец. Этого ребенка она не приобщит к медицине, но существование его станет основой ее жизни, мерилом ценности книг, путешествий, занятий, удовольствия заниматься своей внешностью.

Его существование будет... его существование было бы... Резкая боль в груди.

«Почему ни один мужчина не привязался ко мне надолго?»

Этот вопрос терзал теперь Андре. Для того чтобы ранить, мысли не обязательна четкость. Эта — разъедала ее душу как кислота.

Ну, конечно, можно было бы сказать, что много лет ушло на учение в институте. А потом, как естественное следствие, произошла перемена среды. Там, где она жила в детстве, как бы сильно ее ни любили, какие бы связи ни сохранились, она стала лебедем среди утят. Кто из парней, которых она там знала, подумал бы о том, чтобы соединить с ней свою жизнь? А затем — работа интерном в больнице, замкнутая среда, ограниченная интересами дела и карьеры; там не женятся — там спят. А у нее, как и у любой другой, все наводило на мысль именно об этом — ведь для замужества надо иметь хорошее приданое или быть дочкой патрона.

Ковыляя на костылях, Кастель чувствовала, что все эти аргументы — лишь отговорка. К тому же она умела критически посмотреть на себя. У нее был развит инстинкт, и этот инстинкт подсказывал ей, что надо иметь ребенка.

Здоровая и уравновешенная натура, она делала в жизни все по порядку, не задаваясь вопросом — по какому именно. Начиная со школы и кончая клиникой, она любила соблюдать во всем порядок, но это отнюдь не было для нее единственным удовольствием: с ранней молодости она любила радости жизни.

Ей не приходила в голову мысль о том, что она слишком долго раздумывала, прежде чем завести ребенка. Она вынашивала его в себе с ранних лет, как до того ее родители вынашивали ее, а еще раньше — их родители и все далекие, неизвестные предки. Она унаследовала неистребимые гормоны крестьян, рабов, бородатых кельтов, волосатых доисторических людей. И она предаст кроманьонского человека?!

Сколько существ до нее — и никакого нарушения наследственности, никаких отклонений. Сколько предшествовавших ей людей ожидали, что у нее появится ребенок, который станет завершением их жизни. Один шаг — и этот шаг должна была совершить она, Андре,— и он появился бы, этот венчающий все ребенок. Ибо она была убеждена, что у нее родился бы прекрасный, умный ребенок, про которого она могла бы с гордостью сказать предкам: вот он какой!

Она вынашивала в себе ребенка с самого начала своей медицинской карьеры, и ее диплом об окончании института, и ее поездка в Грецию — в этом она была уверена — подготавливали его появление. Ее прогулки по ярмаркам за руку с отцом или лишний бокал шампанского, выпитый в тот вечер, когда она поступила интерном в больни-

ду, были одинаково важными эпизодами в длительном вынашивании ребенка, в приближении той тайной минуты, когда ему предстояло появиться. Ее жизнь была прямой, и она прямо шла к ребенку, но если ее путь был долгим, то только потому, что этот ребенок — не правда ли, папа? — должен был родиться самым прекрасным, самым способным, и еще потому, что она начала свой путь издалека.

Машина Шапю-Малара выскочила неожиданно с левой стороны и нарушила прямую линию судьбы Кастелей.

Бесповоротно.

«Почему именно я?

Почему я, почему я, почему я? — Она мечется в постели, прижимаясь к подушке то одной, то другой щекой, но ей все равно не удается стереть с лица следы чудовищной несправедливости.— Почему я? — Она вертится с боку на бок, пальцами ног упираясь в край матраса.

Почему я?»

Наступит еще одна ночь, и она будет по-прежнему метаться, стараясь заглушить все тот же вопрос, на который не найти ответа, стараясь не думать обо всех этих женщинах, которые были такими же, как и она, и все же остались целы. «Почему я?»

Она погрузится в дремоту, и тогда вновь оживут все мечты и планы ее юности. Но через несколько минут словно электрический разряд нарушит ее покой, и ее пронзит мысль о том, что все ее мечты, все надежды перечеркнуты, уничтожены, сметены. «Почему я?»

Бесповоротно.

Сто сорок третью ночь Андре Кастель будет одна, задыхаясь и проваливаясь, пробираться сквозь бескрайние топи.

Ей даже думать невыносимо о том, чтобы потребовать возмещения ущерба. Если бы это хоть пошло на пользу ребенку. Невыносимы также клиника, друзья, Сюзанна, Лакруазий, цветы, бывшие больные. Исключение составляют только инструктор, с которым она занимается гимнастикой, и профессор Жюлиа. Дисциплина вошла у нее в привычку, и по утрам она стремится сделать больше, чем предусмотрено программой, хотя профессор Жюлиа превращает упражнения во все более утонченную пытку. Если бы речь шла не о ней, можно было бы подумать, что она специально хочет причинить себе как можно больше боли. На самом же деле здесь другое: каждая женщина стремится дойти до конца своего пути — неважно, плохого или хорошего,— чтобы стать своего рода героиней. Андре нашла свою тропу и двинулась по ней вперед, невзирая на тернии, с мрачным и ожесточенным упорством, которое озадачивало и поражало мужчин.

И тут она получает извещение о том, что может выехать в Конкарно, в институт для лечения морскими ваннами.

Дружеский заговор хирургов и профессора Жюлиа привел к чуду: через полгода после катастрофы она в состоянии совершить такую поездку. Размышляя по ночам, Андре часто приходила к мысли о том, что человеку, так тяжело пострадавшему, как она, не будь он врачом, окруженным к тому же заботами своих коллег, потребовался бы год, а то и больше, чтобы добиться подобных результатов. И она давно дала себе слово выразить врачам свою признательность. Но накануне отъезда у нее пропало это желание, и, не умея лицемерить, она с трудом нашла слова благодарности.

Ей пришлось, конечно, заехать домой.

Она положила ключи на столик слева, и в квартире с закрытыми

ставнями прозвучало эхо, словно в пустой раковине. Те же запахи, и вещи на тех же местах, но все утратило былое значение. Опираясь на палки, Андре ждала, когда другая Андре выйдет из спальни ей навстречу, но приходилось помнить, что той Андре уже нет и не будет.

Туфли слегка затвердели от тепла батарей, но ногам Андре было в них просторно. Как странно звучал язык былого: спортивные туфли, уличные туфли — о каком спорте идет речь, и неужели она когда-то в самом деле думала о покупке спортивной обуви,— обувь на низком каблуке и на шпильках, первые туфли на квадратных каблуках, домашние туфли и туфли вечерние, туфли к белому платью и кремовому костюму. Неужели действительно существовал мир, в котором Андре собиралась вечером в театр и думала, какие туфли лучше надеть. Она почувствовала вдруг в руках сумочку, подходившую к туфлям для танцев, но все это возникло как бы в полусне, точно она разбирала в глубине пирамиды одну за другой вещи, принадлежавшие жене фараона, забальзамированной четыре тысячи лет тому назад.

Андре вынырнула на час из мира гимнастики, таблеток, медицинских сестер и послеобеденного сна. Здесь ничто более не соответствовало ее теперешней жизни. Квартира стала похожей на замок из песка, где любое движение могло разрушить годы ожиданий и иллюзий, стремлений и обещаний. Неужели она когда-то надевала зеленое платье для Ива? Привидения вот-вот вернутся и окружат ее прежними праздничными днями. Андре, Андре, выйди из спальни в зеленом платье, надень мои туфли, войди в меня.

Доктор Пюилоран говорит, что в квартире темно. Жаль, что он не смог произнести это более непринужденным тоном. Неестественно-развязной походкой он идет к занавесям и протягивает руку, чтобы раздвинуть их. Андре хочется крикнуть — не надо! Он открывает. Резкая, мучительная боль. Она необходима. Точно роды. Андре отрешается от прошлого.

Если Пюилоран уйдет, она разрыдается и, может быть, покончит с собой. А если не уйдет — сможет ли она жить дальше, когда так сжало горло? Он подходит к ней и медленно целует ее в лоб. Черта подведена. Она плачет. Сюзанна спрашивает, где чемоданы. Бледный, тусклый, бесконечный полдень. Они запихивают в чемоданы белье и платья, в которых, в сущности, нет больше нужды. Рука застывает на весу, мысль отвлекают воспоминания о том, чего больше нет, о мертвом.

Фаже встретили Андре в Кемпере у подножки спального вагона. Если бы она не знала, что они ее встретят, путешествие оказалось бы ей не по силам.

-

Приглушенное дребезжанье телефона у изголовья кровати. Снимая трубку, рука делает широкий замедленный жест, как в кинофильме. Те, кого родители с самого раннего детства не таскали с собой по шикарным отелям, с удовольствием представляют себя в роли кинозвезды, снимающей лежа в постели телефонную трубку. Андре отвечает телефонистке неожиданно высоким голосом, тембр которого вдруг напоминает ей ароматы и пальмы мыса Ферра два года тому назад. Там тоже был шкаф красного дерева.

Но это звонит Пюилоран:

— Все в порядке, да. Как мило, что вы позвонили. Да, они весьма симпатичные люди. О, они не дают мне лодырничать. Как поживает Франсуаза? Откуда вы звоните?

Из клиники... Телефонный провод вновь связал ее с клиникой. Сюзанна, Лакруазий, Пюилоран. Сюзанна, готовая в любую минуту расшнуровать ее корсет; массажист, готовый подхватить ее, если она оступится, знаменитый Жюлиа, готовый выругать его за это.

Они близки и недоступны. У нее перехватывает горло. Как жаль, что по этому узкому телефонному шнуру нельзя проскользнуть снова в родное тепло клиники.

— Я благодарна вам, дорогой Пюилоран, я всем сердцем благодарна вам за то, что вы сделали. Право же, попытка того стоила.

Слова Пюилорана на другом конце провода неразборчивы. Но чувствуется, что прошедшая форма глагола приводит его в замешательство: сейчас начнутся расспросы.

«Я попыталась расстаться с ними со всеми. И вот что получилось: оказывается, я больше не самостоятельна. Одна я ничего не достигну — это ясно».

Андре не умеет рассказать о своем отчаянии. В ее голове проходят мысли о поражении, но она не находит слов, чтобы выразить их. Она только повторяет высоким взволнованным голосом, в котором уже ничего нет от интонаций знаменитых актрис:

— И вот что получилось...

Он, конечно, ответит, что через два дня будет видно... В точности то же сказала бы она сама. Но себе она этого не говорит, и это ее обескураживает.

«Сюзанна помогала мне распутывать сложную шнуровку корсета. Горничная в отеле расшнуровала его весьма любезно. Но мне нужна Сюзанна. Сюзанна, на которую я могу накричать, когда у меня лопнет терпение. А здесь вообще нет никого, кто мог бы мне до того осточертеть, чтоб захотелось остаться одной». Тишина, царящая в гостинице, угнетает ее. Она попросила, чтобы с двух до шести часов вечера ее никто не беспокоил, и ее не беспокоят. Нет больше хирургов, которые вдруг врывались без причины в палату в разгар ее болезни.

Она говорит по телефону:

— Вряд ли я проведу здесь все семь недель, как предполагалось...

Пюилоран протестует, увещевает, советует. Задает профессиональные вопросы. Андре чувствует комок в горле, отчего голос ее звучит еще выше и сдавленнее:

— Мне назначили упражнения в морской воде... Нет, конечно, я не жалуюсь на это. Мне не на что жаловаться...

Ей не удается найти подходящие медицинские термины, чтобы рассказать толком. Ей не удается ничего объяснить. Никому.

Пюилоран сейчас выдвинет новые аргументы. Уж лучше сразу сообщить ему о единственно разумном решении, после того как все стало ясно.

Андре говорит:

— Не ломайте себе понапрасну голову. Я открою галантерейную лавочку. Это будет самым разумным выходом из положения.

Галантерейная лавка! Ее в конце концов прорвало. Она громко плачет — уже не стоит сдерживаться. Пюилоран должен был понять на другом конце провода нарастающую взволнованность ее голоса и слова, предвещавшие взрыв слез.

Она видит, как доктор Кастель-Мору, опираясь на палку, пытается достать моток мулине. «После всего, что достигнуто, я останусь здесь, в Конкарно, торговать галантерейными товарами!»

Больше всего Андре мучает то, что она уже и не хочет ничего другого. Если у нее хватит средств, она заведет продавщицу и будет

подсчитывать заработанные гроши. Она пытается представить себе все детали, чтобы разозлиться, но не может, Андре не страдает больше от несправедливости, не восстает против своей судьбы. И это опасно. Пюилоран, без сомнения, думает то же самое на другом конце провода. Он всегда морщит нос два раза подряд, выходя из палаты больного, у которого плохо заживают раны. Андре сердится на себя за то, что не спросила, как работает стимулятор сердечной деятельности в одиннадцатой палате — ведь он по праву гордится им.

Нет, Андре, еще не настало время начать большую игру, думать о своем дипломе врача и о прокаженных в Ламберенэ. Она очень боится, что на все это она ответит себе: «А пусть они катятся ко всем чертям!»

Она выдохлась, точно шина, из которой выпустили воздух. Она часто видела больных в таком состоянии. А теперь сама поняла, что это такое. Впервые в жизни. Подростком она всегда была полна энергии. Лишь после того, как в ее жизнь ворвался Шапю-Малар, она узнала, что значит быть скрученной болью или разбитой от усталости, но тогда в ней что-то еще сопротивлялось. А теперь она похожа на сырой, никудышный блин. Нет сил.

Начались занятия в морской воде. Палки пришлось оставить на краю бассейна и спуститься по ступенькам в воду, держась за трубчатые перила. Перила бассейна — снова кинокадр: какая пышущая здоровьем девушка не принимала возле них позу с обложки журнала? Прикосновение ладони к круглым перилам вводило в мир роскоши и побед: здесь спускаются по ступенькам, игнорируя опасность,— взгляд устремлен поверх горизонта, грудь вперед, колено поднято высоко, отведенная назад рука небрежно скользит по магическим перилам. А тут — тощая грудь, торчащие от худобы колени; держась обеими руками, прильнув животом к ступенькам, она спускалась в воду. Инструктор дважды раздраженно окликал ее, требуя, чтобы она спускалась лицом вперед. Естественно, держась обеими руками. Он не знал, что, когда Андре опускала взгляд вниз, она не видела своих ног.

Он садился с ней рядом на краю бассейна, опустив ноги в морскую воду. Надо было повторять за ним каждое движение, то поднимая ногу до горизонтального положения, то вращая ею от бедра до пятки в воде. И тут Андре пронзала такая острая боль в бедре, какой еще не бывало.

Затем она отправлялась на грязевые ванны, после чего шла на массаж, а потом — принимать паровую ванну.

Между процедурами ей разрешали прилечь в шезлонг на пять минут — ровно на столько, чтобы сердце пришло в норму.

Со второго дня начались занятия гимнастикой в зале. Лежа на спине, Андре увидела новый потолок над головой: сетку с большими звеньями, к которым, по воле ее мучителей, прикреплялась система блоков и противовесов; их надо было передвигать, принимая самые невероятные позы. Если бы Жюлиа был здесь, можно было бы, по крайней мере, обсудить применяемые методы и у Андре создалось бы впечатление, что знаменитый профессор проводит с ней дополнительные занятия. Стоило только Жюлиа посоветовать ей Конкарно, как она тут же заказала билет на поезд, настолько ей это показалось бесспорным. Теперь, когда она находилась не в клинике, уверенность поколебалась и она не видела будущего, оправдывавшего такие усилия.

Темп занятий был убыстрен еще и потому, что она приехала накануне выходных дней. Правда, зато она выспалась в воскресенье. Обед ей подавали на балконе ее комнаты, выходившем на море. У нее

не хватило бы мужества, с лицом, покрытым шрамами, тащиться, опираясь на палки, через весь ресторан. ибо в лучших французских отелях имеют обыкновение сажать одиноких дам в самом неудобном месте.

Андре жила на втором этаже в полном одиночестве и размышляла о том, сможет ли она пробыть шесть недель в этих стенах.

Она с нетерпением ожидала, когда подадут сыр, страдая от недостатка кальция, как другие страдают от жажды.

Она была уверена, что метрдотель специально для нее принес бресский сыр с синими прожилками, и поблагодарила его. Ее всегда умиляла чужая любезность. В отеле заметили это, и в следующий раз метрдотель стал действительно проявлять к ней особое внимание.

Насладившись в воскресенье сырами и послеобеденным отдыхом, в понедельник утром она явилась к врачу института, чтобы нанести визит вежливости и оформить все необходимое для получения пособия на лечение. Ее коллега предложил ей совсем новый план лечения и для начала посоветовал расстаться с железным корсетом, даже если из-за этого придется отложить упражнения, которые могли бы повредить ее позвоночнику.

Андре страшно обиделась на то, что кто-то осмеливается изменить хотя бы на йоту курс лечения, тщательно разработанный профессором Жюлиа и ею самой. Жюлиа сказал: корсет, значит, должен быть корсет.

Она изложила коллеге все, что было сделано и что предстояло сделать с того дня, когда ее принесли в клинику на носилках, до той поры, когда она собиралась возобновить там работу. И тут же обрела уверенность в себе: на третье занятие гимнастикой в морской воде она пришла, снова зная, что ей нужно.

И действительно, надо было твердо знать, к чему ты идешь, и очень этого хотеть, чтобы шесть недель с готовностью выполнять предписанный режим. С аппарата для гребли она переходила на велосипед с постепенным торможением, а затем под сильный душ. Ни сами снаряды, ни их вид ничуть не изменились со времен средневековых пыток. По временам она спрашивала себя, для чего все это. Но у нее не появлялось и мысли, что все, что она делает, не имеет ни смысла, ни пользы. Она нашла для себя довольно расплывчатое объяснение: это даст ей возможность жить для других.

Наверно, подобные методы лечения можно назначать только женщинам. Не потому ли, что они физиологически подготовлены к беременности, они способны иногда вынести часть своей жизни за скобки, уйти на время в себя, живя ожиданием — на которое не способны мужчины,— что этому наступит конец и будет продолжение жизни.

Не все пациенты в Конкарно выдерживали до конца курс лечения. Автомобилисты, еще не попавшие в аварию, напрасно считают, будто пострадавшего окружают такими заботами, что он, как на конвейере, автоматически доходит до выздоровления. Если вы свернете себе шею, вы думаете, что больница позаботится об остальном? Ничего подобного! Вам предложат перенести — и на этот раз сознательно — новую боль, разновидности которой будут меняться, как только вы начнете к ней привыкать. Вам дадут наркоз перед операцией, пробуждение после которого будет тягостным. И наступает момент, когда многие больные начинают подсознательно уклоняться от лечения, выбирая компромиссное решение между увечьем и сверхчеловеческой платой за выздоровление, которая становится тем невыносимей, чем ближе к выходу из больницы. С легким чувством стыда они займут в жизни некое промежуточное положение на время, ко-

торое им суждено прожить, получая скромную пенсию и желчно критикуя дикторш на телевидении.

Двадцать пятого июля, на седьмой неделе пребывания в Конкарно и на тридцать седьмой после столкновения с Шапю-Маларом, Кастель вернулась в гостиницу без палки.

Решив отпраздновать ее возвращение в лоно тех, кто ходит на двух ногах, Фаже, желавшие к тому же поближе познакомить Андре с бретонским образом жизни, пригласили ее в ресторан «У Мелани» в Риек-сюр-Белон. Не исключено, что там бывал и Помпиду до его избрания президентом. «До тридцати двух лет,— разразился бы Ив,— врачи собирают книги, преступив этот возраст, они уже больше не читают, но зато коллекционируют рестораны по тому же принципу, что и книги, которые они покупали ради переплетов, иллюстраций и из-за стоимости. Их уже не удовлетворяет снобистское увлечение маленькими бистро, их интересуют только самые дорогие рестораны». Острые стрелы Ива — почему только они попадают чуть в сторону от цели? В любом случае отцом ее ребенка стал бы не Ив.

За полгода переезды в лежачем положении в машинах «скорой помощи» стали привычными для Андре, но когда ей пришлось проехать, сидя на мягких подушках автомобиля, тридцать километров, ее изрядно растрясло.

Кожаный воротник с шеи сняли, но, несмотря на лето, она носила металлический корсет. Каждый раз когда она вставала, ей приходила на ум фраза из сказки о русалочке: «Ты сохранишь свою легкую походку, но будешь чувствовать каждый свой шаг, как если бы ты шла по острию ножа».

Да, но прекрасного принца не будет, иронизировала она сама над собой. Для кого же тогда это нужно? Для прокаженных? Для больных клиники Крапонн? Конечно нет. Это нужно для ребенка. Значит, теперь уже ни для кого.

Когда она вошла неуверенной походкой в зал ресторана, поддерживаемая супругами Фаже, взгляды всех присутствующих обратились на нее и шум разговора несколько стих. Она смутилась, но интерес к ней сразу пропал: она никогда не умела привлекать к себе внимание. У нее вошло в привычку при незнакомых — а потом уже и знакомых людях — сутулиться.

Андре вызывала вспышку интереса, как всякая дама, которая переступает порог ресторана. Но теперь ей казалось, что внимание привлекает только она одна. Она принимала его за сострадание, и ей хотелось выцарапать за это мужчинам глаза, хотя на самом деле их интерес к ней был гораздо более банальным.

Для светского выхода в Риек-сюр-Белон она соорудила себе прическу, причудливую, как высокобортный фрегат Светло-каштановые волосы, избежавшие ножниц мадемуазель Ревель, остались ее единственной гордостью: они сохранились такими, какими были до катастрофы. Она демонстрировала их с вызовом. Уложенные для привлечения внимания, они производили должный эффект, и она страдала от этого.

Она наслаждалась омаром, поджаренным с эстрагоном, и захотела съесть еще одну порцию вместо мясного блюда. Она устояла перед сдержанными возражениями хозяйки ресторана: ее положение давало ей единственное преимущество — право есть что угодно, лишь бы побольше. Фаже жестом дал понять мадам Руа, чтобы та подчинилась. Андре в этот момент напрасно не обратила внимания на то, что раз хозяйка ресторана настаивала на привычном порядке блюд, значит, она не видела большой разницы между нею и другими клиентами. Обильно наложенная косметика скрывала еще свежие шрамы

на ее лице, а когда Кастель опускала правый глаз, казалось, что она опускает оба. Кроме того, летом 1970 года в моде были огромные темные очки, и очки Кастель могли побить рекорд своими размерами.

Косметика и очки придавали ей вид авантюристки, шиньон же создавал впечатление аристократичности; это несоответствие, очевидно, и настроило мадам Руа против посетительницы.

— Я слишком много съела,— сказала она со вздохом после сладких блинчиков в коньяке.

Она заметила, что впервые после катастрофы она получила настоящее удовольствие от еды. В прошлом году это так шокировало В.

Ее любовь к удовольствиям, в прошлом проявлявшаяся во всем, возродилась по крайней мере в отношении омара, и доктор Кастель-Мору откровенно порадовалась за выздоравливающую Андре.

За другими столами раздавались громкие изъявления шовинистической привязанности, которую туристы питают к местам своего отдыха. Поклонники Бретани относились свысока к перенаселенному Провансу: они оживленно судачили по поводу тамошних пожаров, сурово осуждали дело Боло. Поглощенная процедурами и гимнастикой, Андре не читала газет, и ее пришлось посвятить в историю этого левака преподавателя, которого какие-то свидетели якобы застали неподалеку от очага пожаров. Туристы из Бретани дружно осуждали преподавателя, жандармов, которые бросили его в тюрьму, и судей, которые не хотели держать его там. Все удивлялись демонстрациям солидарности с ним.

— Подумать только,— возмущался Фаже,— достаточно человеку принадлежать к некой социальной категории, быть педагогом, членом профсоюза и исповедовать определенные политические взгляды, чтобы его коллеги перешли в наступление и начали протестовать на всякий случай. Странная деградация нравов! Мы преклоняемся перед политическим давлением, как идолопоклонники. Если бы этот Боло был торговцем, Нику [1] счел бы своей обязанностью принять меры по его освобождению. Вот так-то у нас!

Ничего не ведавшая Кастель не могла знать, что эта тирада была заимствована из статьи Жана Ко, опубликованной в последнем номере «Пари-матч».

— Да,— ответила она Фаже,— вот так же армия в конце прошлого века выступила в защиту предателя Эстергази [2].

Ее ответ возник сам собою. Она поклялась бы, что эти слова ей подсказал отец. Ответ был связан с давним прошлым. В свою очередь Фаже плохо понял, что имеет в виду Андре, да, наверно, и сама она тоже.

В конечном счете, если бы левые силы не выступили единым фронтом против слишком наглых показаний, Дрейфусу пришлось бы отбывать наказание на Чертовом острове. Фабрикация «дел» — явление отнюдь не новое, как считали Фаже, а само «дело Дрейфуса» было сфабриковано, возможно, потому, что левые силы на протяжении века с нетерпением ожидали нового «дела Каласа»[3], нового предлога для выступлений. Нынешние леваки проявляли странное тяготение к повторению старых сценариев и готовы были воспользоваться любым подходящим случаем, чтобы прибегнуть к старым формам проявления возмущения. Так, например, в течение двух лет они жда-

[1] Нику — лидер объединения мелких торговцев и ремесленников. *(Прим. перев.)*

[2] Истинный виновник «дела Дрейфуса». *(Прим. перев.)*

[3] Жан Калас — торговец из Тулузы; был без всяких оснований обвинен в убийстве своего сына, якобы совершенного для того, чтобы предотвратить его измену протестантской церкви, и казнен в 1762 г. Против «дела Каласа» активно выступал Вольтер. *(Прим. перев.)*

ли повторения майских событий шестьдесят восьмого года и возможности вновь усесться по-турецки посредине улицы. В этом они были похожи на ветеранов войны. Возможно, потому и Лига прав человека утратила тот ореол, которым она обладала в глазах людей, столь чистых душою, как отец Андре. И Мэндес-Франс, последнее увлечение ее отца, был, несомненно, прав, сожалея о том, что левые потеряли присущую им силу воображения. Ну, а он сам?

Тут Андре осознает, что она все чаще и чаще вспоминает отца, что у нее вырабатывается опасная привычка мысленно обращаться к прошлому. «Она опасна,— думает Андре,— потому что естественна: инвалиды войн говорят о былых сражениях, вышедшие на пенсию — о своей службе. На словах все приобретает прежний вес. То же самое происходит и с калеками, если только они не заполняют остаток жизни рассказами о своих увечьях. Сколько бы ты это ни сознавал, трудно избежать такой привычки».

Отныне Андре запрещает себе обращаться мыслью ко всему, что связано с отцом.

Фаже в это время совершали ритуал рукопожатий с мадам Руа. Андре пора было выйти из рассеянной задумчивости, почти граничившей с отсутствием. То, что ее друзья любезно мирились с этим и не тормошили ее, было симптоматично.

Флоренция, где Мария Рейнери каждое лето на август уступала свою квартиру Франсуазе Пюилоран, произвела не слишком большое впечатление на Андре.

Она приехала туда, полная недоверия. «Наслаждайтесь солнечной погодой»,— повторяли ей друзья на аэродроме. Наслаждаться? Она ехала заканчивать в одиночестве свое выздоровление, и присутствие Франсуазы ничего не меняло. Андре часто уезжала в отпуск одна и не страдала от этого, но тогда ее одиночество было временным. Отныне оно постоянно. Как она ни старалась, музеи ее больше не увлекали. Она углубилась, правда, в изучение обнаженной натуры в искусстве и прочитала два томика Кеннета Кларка, хорошо понимая причины своего пристрастия.

Гораздо больше заинтересовали ее социальные движения, потрясавшие Италию в то лето: она знала теперь, что значит слово «отверженный». Однако солидарность с отверженными, которую она ощущала всем своим существом, носила сугубо платонический характер, сколько бы она об этом ни сожалела.

Франсуазу поражало, что Андре сама делала себе инъекции. По правде говоря, доктор Кастель-Мору очень не любила этого делать. Однако, когда цель была определена и средства для ее достижения найдены — часто не без труда и отваги,— она не останавливалась перед трудностями (как-то вечером в былые времена за обедом у Пуди Луи Жокс уверял ее, что она исповедует голлистскую концепцию существования. Ему доставляло удовольствие дразнить ее).

Мария Рейнери проводила в горах любопытный опыт по выявлению причин усталости в наши дни. Она заставила вывернуть в доме все электрические лампочки, и членам ее семьи пришлось вернуться к свечам и к нормальному ритму сна, соответствующему естественному освещению. Она полагала, что при равной продолжительности сна перенесение его на другие часы в современной жизни, вызванное применением искусственного света, приводит к нервным, а затем и сердечным расстройствам.

Хотя Мария опиралась на большое количество данных, полученных при измерении давления и снятии электрокардиограмм, Андре —

не отказывая ей в оригинальности гипотезы — нашла, что в ее наблюдениях не хватает точности.

Прежде чем вернуться в клинику, Андре надо было побывать у матери. Так обычно завершались все выздоровления, и Андре не представляла себе, что может быть иначе. Ей пришлось выдержать любопытные взгляды своего племянника, а затем и соседок, которые поспешили навестить ее. Едва войдя в дом, они терялись, не зная, как быть: высказывать соболезнования или же, наоборот, поздравлять? Пожелания скорейшего выздоровления, пожалуй, уже запоздали, а с другой стороны, кумушки опасались, что из их слов станет ясно, как заметны у Андре следы увечий.

Андре избегала ходить по магазинам и скучала дома. Родные старались не касаться темы, бывшей у всех на уме. А беседы на другие темы не получалось, так как они боялись проговориться.

Пока Андре находилась в клинике, она не страдала, когда смотрели на ее шрамы. Там увидели ее изуродованное лицо еще до того, как она сама узнала об этом. Но с близкими было наоборот, и потому она подсознательно избегала встреч с ними.

Ей не терпелось снова вернуться в атмосферу своей клиники, где раны, кровь и боль были настолько обыденны, что о них думали не больше, чем о залежавшемся на складе товаре.

Как было условлено с хирургами, она вышла на работу в понедельник 14 сентября. В этот день персонал клиники оказался в полном сборе, поскольку отпуск у всех закончился. Она тщательно продумала, как проехать на троллейбусе к месту работы. Вот так вместо Ламбаренэ она очутилась снова в клинике Крапонн.

Когда Андре вошла в большой вестибюль, куда можно было спуститься со всех пяти этажей, впервые за время работы в клинике ее внимание привлекли больные в халатах и комнатных туфлях, сновавшие из палат в туалет.

Клиника напоминала корабль, на котором пациенты ехали в халатах и тапочках, покупаемых по традиции в дешевых магазинах.

Этот корабль, задраив люки, день за днем плыл по океану жизни, и люди на нем выздоравливали, температурили, глотали лекарства, зонды. Мелькали синие и вишневые халаты больных, розовые фартуки сиделок, белые наколки сестер. Больные и обслуживающий персонал — у всех был одинаково торжественный, важный вид. здесь все были служителями одного культа. На корабле самоотверженно расправлялись с болезнями, уйдя с головой в жизнь на борту, не обращая внимания на красоту берега. Родные оперированных прохаживались по коридорам в обычной одежде, но эти инородные существа не меняли привычного ритма жизни. Поступавшие больные, не успев надеть халат или получить наркоз, немедленно приобщались к внутреннему распорядку. Тех, кто вылечился или же — что тоже случалось, хотя и редко,— кого увозили через заднюю дверь, тут же списывали, а экипаж корабля оставался в прежнем составе, как монолит.

На этом корабле Андре была прикованным к топке кочегаром, которому предстояло, выбиваясь из сил, поддерживать огонь. По крайней мере так представилось ей в понедельник 14 сентября, когда она почувствовала, что эта работа — не для ее слабых мускулов.

Хирурги, ничего ей не сказав, позаботились о том, чтобы по возможности облегчить ей возвращение на работу. У Ревель, старшей сестры, появились новые привычки за время работы с врачами, заменявшими Андре. На протяжении девяти месяцев она видела в Андре только больную, окруженную особым вниманием, и теперь продол-

жала относиться к ней с той же заботливостью и тоном легкого превосходства советовала беречь свои силы.

В свое время Андре инстинктивно поняла, что иногда нужны долгие годы, чтобы по-настоящему утвердиться в своем положении, и она умело выбирала пути, избегая лишних столкновений. Сейчас она с первого же дня почувствовала, что занять прежнее положение ей не удастся — у нее просто не хватит сил.

В действиях Ревель Андре почудилось что-то похожее на соперничество или, по крайней мере, на завистливую недоброжелательность, хотя та и не была врачом, и Андре ничем не могла бы подтвердить свои догадки.

Проходя мимо комнаты сестер, она была потрясена, услышав, как новая сестра спрашивала по телефону у второго анестезиолога, надо ли делать инъекцию, только что назначенную доктором Кастель-Мору. Для Андре эта минута была не менее страшной, чем та, когда она пришла в сознание в больнице Шарбоньер. Она напрягла все силы, чтобы спокойно дойти до конца коридора; ведь если хирурги увидят ее побелевшее лицо, они могут согласиться с Ревель и перестанут поручать ей больных.

С этого момента Андре не без чувства унижения стала замечать, что отдает распоряжения более тихим голосом, так как далеко не уверена, что их выполнят. Ее так и подмывает напомнить старшей сестре, как та хотела срезать ей волосы. Но в ответ мадемуазель Ревель, вероятнее всего, изобразила бы удивление или нечто в этом роде.

Андре сдерживается, говоря себе, что с мадемуазель Ревель — учитывая характер этой особы — можно нарваться на ответ, что с такой физиономией, как у нее, да еще когда глаза смотрят в разные стороны, лучше вообще к больным не подходить.

Кстати, по поводу глаза профессор Пофик сказал ей, что, как правило, больные не слишком-то верят в естественный процесс восстановления тканей и не могут спокойно дождаться того часа, когда новое хирургическое вмешательство довершит работу природы. Андре знает, что это верно, что с такими же увещеваниями она сама обращается к больным вот уже десять лет. Известно ей и то, что у оперированных никогда не хватает терпения и теперь, попав в разряд больных, она тоже так себя ведет.

В троллейбусах, которыми до катастрофы она не пользовалась, мужчины, правда, поглядывают на нее, не замечая ее поврежденного глаза, и даже ее худоба не отталкивает их.

Ей неприятно, когда замечают ее худобу. Она по-прежнему кожей чувствует чужие взгляды. Ходит она теперь, опустив голову, заложив за спину руки: она все еще плохо видит, куда ступает, и после занятий восстановительной гимнастикой у нее надолго останется страх оступиться. Внешность и походка отразились на ее психике: у нее появилась стеснительность.

Она робела перед другими пассажирами, и это тяготило ее не меньше, чем сами поездки или ожидания на остановках. Чтобы не зависеть от других, она отказалась от предложений коллег подвозить ее. А от приобретения новой машины воздерживалась — скорее, из-за плохого зрения, чем из страха. Зрительные рефлексы у нее действительно были заторможены. Каждый раз, чтобы найти вену у больного, ей приходилось так напрягать волю, что это ее удручало.

Иногда ей хотелось обратиться за консультацией к другим специалистам, но ее терзали сомнения, что это неэтично по отношению к коллегам. Вот ведь считают, размышляла она, что врачей лечат лучше, чем других; на самом же деле врачи, хоть и говорят своим пациентам, что те могут лечиться у кого хотят, сами скованы различ-

ного рода взаимоотношениями, принадлежностью к определенной школе, соображениями конкуренции и скорее умрут от плохого ухода, чем порвут эти цепи. Итак, она утратила уверенность в себе, что сердило ее и еще больше усугубляло недомогание.

Она прекрасно понимала, что это связано с ее физическим состоянием, но, упрекая себя, она упрекала также и господ хирургов в том, что они довели ее до этого. К чему было проявлять столь ревностное усердие у ее изголовья? Они сделали для нее то, что, по их убеждению, она сделала бы для них. Она их хорошо знает, думала Андре: они действовали, подчиняясь инстинкту коллективного самосохранения. Как сигналы бедствия, телефонные звонки с невероятной скоростью собирали менее чем за час у постели пострадавшего коллеги весь состав врачей.

Словом, все, что с ней произошло, доктор Кастель-Мору увидела в свете горького прозрения, свойственного крайне переутомленным людям.

Ей вспоминалось то, что сказала Франсуаза Пюилоран: по ее словам, доктор Пуди превзошел самого себя в пластической операции ее лица утром 1 января еще и потому, что ему предоставлялась исключительная возможность продемонстрировать свою виртуозную технику перед тремя коллегами, которые вместе с ним владели клиникой. Услышав это от Франсуазы во Флоренции, Андре подумала, что подобное мнение вполне естественно в устах жены хирурга. Теперь же она полагала, что в нем была доля истины. Франсуаза так точно воспроизвела картину, описала часы, последовавшие за катастрофой, когда Андре лежала с развороченной щекой и в кровавом месиве белела кость,— Андре представляла себе все это настолько четко, как если бы сама оперировала.

Друзья-хирурги, естественно, возвратились к своим делам с чувством исполненного долга. Порывы человеколюбия и солидарности всегда высоко ценят. Отлично! Но что потом? На двадцатый визит к постели больного способны лишь праведники: труднее всего быть последовательно великодушным. Так гаснут лучшие порывы.

Но Андре ни с кем не могла поделиться своими чувствами, и это буквально убивало ее. Впрочем, кто способен по-настоящему понять, что жизнь других — столь же тяжкое восхождение в гору, что наступление старости не проходит незаметно, что и у других жизнь может быть разбита, если не из-за несчастного случая, то из-за потери близкого — даже появление первого седого волоса и то вызывает такое потрясение, что человек меняется за несколько недель. Каждый взбирается на свою гору в одиночестве. Кастель считала, что ей достался особенно трудный подъем.

Она любила свою клинику, как любят красивых мужей, и страдала оттого, что отныне ее присутствие там стало просто рутиной. Прекратились отношения влюбленности. И она страдала от этого тем более, что страсть и гордость у нее остались прежними. Как раньше, ей требовалось одно — признание, что она врач, и к тому же хороший. Мэтр Альби не признал этого и Шапю-Малар тоже, Овезина уже не было в живых, профессор Жюлиа считал свою миссию завершенной, а хирурги перестали склоняться перед ее мнением с уважением и доверием; она стала таким же сотрудником клиники, как и другие. Да, но разве четверо ее коллег не приехали к ней в больницу имени Эдуарда Эррио, чтобы предложить ей эту должность, разве это не доказательство их уважения к ней? Как бы не так! Они заперли ее в этой клинике, подобно тому как монахини-миссионерки зазывают в монастырь негритянок, чтобы постричь их потом,— ведь других-то перспектив у нее не было. Они пригласили ее работать и

теперь снова взяли. Не слишком ли рано? Она могла бы еще посидеть на пособии по социальному страхованию. Но господа хирурги вытащили ее — ради собственного удовольствия.

Рассматривая свой случай без всякого снисхождения к себе, доктор Кастель-Мору незаметно заново открывает смысл своей профессии послеоперационного врача, перед которым расстилается поистине безграничное поле деятельности. Это называют реанимацией? Но ведь жизнь вообще держится на волоске. Все мы идем к смерти: достаточно Андре задремать на минуту у нашего изголовья, и мы уйдем из жизни.

Тем не менее голос ее звучит нормально и на губах появляется улыбка, как только она переступает порог палаты. Она целиком принадлежит больным. Четыре месяца тому назад она спрашивала себя, устремив взгляд в тот самый потолок, который теперь так упорно исследуют они,— придется ли ей когда-нибудь рассказывать больным о том, что пережила она сама, для того чтобы заставить их бороться за свою жизнь.

Даже мысль, что она может спекулировать пережитым, вызывает у нее дрожь отвращения. При этом Кастель вовсе не замечает, что ничего подобного от нее и не требуется; в самом ее облике есть нечто такое, что для любого больного яснее слов.

Значит ли это, что пережитое в корне изменило ее? На этот вопрос ей трудно ответить. Конечно — и так было всегда,— при виде больного ей не терпелось поскорее вернуть его в лоно обычной жизни. Иначе для чего она стала врачом? Шапю-Малар и последствия катастрофы прежде всего отразились на ее внутреннем мире. Как бы не так! А на лице?

Для ее больных минуты покоя наступают лишь тогда, когда она измеряет у них давление. И кажется, будто она собирается их за это благодарить.

Утром, надевая халат, Андре уже чувствует себя измотанной от поездки на троллейбусе. И принимается неистово возиться со своими больными, как человек, который вот-вот сдаст сам.

Утро в операционной проходит еще сносно: все напряжено, рассчитано по минутам, подчинено больному. Она старается приноровиться к капризам изношенных легких, приспособиться к потрепанным сердцам, посматривая на показатели кардиоскопа и стремясь разгадать причину хрипов. Она чувствует удовлетворение от того, что по-прежнему быстро ставит диагноз и так же четко принимает решения.

Но во второй половине дня надо делать обход по этажам. И всякий раз ее охватывает страх, что не хватит сил дотянуть до вечера, сделать все, что ей хотелось бы сделать для каждого больного. Страшно ломит поясницу.

Вечерние посещения больных в палатах — ее и только ее дело. Тут она обходит их одна, останавливаясь и разговаривая с ними, когда ей захочется, а вот по утрам она входит в палату вместе с дежурным хирургом и мадемуазель Ревель. Хирург осматривает подготавливаемых к операции больных и, ободряюще похлопывая их по щеке, бросает какое-нибудь утешительное словцо. У послеоперационных больных откидывают простыни; хирург ощупывает повязки, проверяет зонды, швы.

В сопровождении своего эскорта он заходит в палаты и к тем, чье выздоровление протекает нормально: заботиться о людях — приятная обязанность.

Когда нет нужды раздевать больного, он не закрывает за собой дверь. И вот доктор Блан заметил, что у Андре появилась мания возвращаться и закрывать ее. Она вспоминала о таких же обходах, когда сама лежала в постели и за вошедшим хирургом зияла открытая дверь, через которую из палаты как бы уходила вся человеческая теплота. Еще стоя на пороге палаты, хирург уже думал о следующем больном: тут операция удалась — значит все в порядке. Но оперированный, слабое существо, жалкий мешок костей и кожи, так жаждет малейшего проявления участия. И Андре, понимая это, инстинктивно прикрывала теперь за собою дверь.

Во время вечернего обхода, когда слабо светились ночники у плинтусов, Андре почти не разговаривала с больными — разве что они сами обращались к ней. Например, когда она, пощупав пульс у вновь поступившего больного, опускала на койку его руку, он спрашивал, как она считает, перенесет ли он наркоз. А только что прооперированные больные еще не верили, что уже пришли в себя, и не осмеливались даже поблагодарить врача, боясь тем самым показать, что перед операцией у них не было к нему доверия. Несколько вечеров подряд они молчат, а тем временем подолгу совещаются с родными, что бы подарить врачу для выражения их признательности. Как правило, в присутствии жены или матери больные, наконец, преподносят хорошо обдуманный сюрприз, который неизменно оказывается цветами, шампанским или коробкой шоколада. Иногда, примерно раз в месяц, кто-нибудь преподносит фарфоровую статуэтку. Андре просто не помнит, чтобы кто-то спросил ее, а чего бы ей хотелось. Поэтому каждый раз подарок оказывается для нее сюрпризом и трогает ее, а больные умиляются, уверенные, что доставили ей удовольствие.

Больше всех радуются возможности поднести подарок менее обеспеченные больные, и в тот вечер, пока Сервейра-Руиз приходит в себя после удаления левой почки, его жена рассказывает Андре, сколько у них в Португалии цветов вдоль дорог, особенно в пору праздника тела господня.

Сестра, бросив взгляд на лист с предписаниями врача, кладет на столик у изголовья две пилюли:

— Одну принять сразу же, чтобы заснуть, другую — ночью, если проснетесь...

Два легких удара о поверхность столика, два отзвука в правом ухе Андре, точно это она лежит на подушке вместо господина Сервейры.

— Мадемуазель, нужно положить их на блюдце.

Жена Сервейры-Руиза вступается, боясь потерять благожелательное отношение медсестры к мужу:

— И так хорошо, доктор. У нас в Португалии блюдца не приняты, я ему дам...

— В больнице блюдца не ставят,— говорит сестра, желая показать свою компетентность.

Это верно. Новая сестра знает правила.

Андре вспоминает тот день, когда она лежала в постели и какая-то случайная сестра бросила прямо на столик две таблетки,— она почувствовала тогда, будто ее низвели до состояния вещи.

И у нее появляется неудержимое желание защитить человеческое достоинство.

У этого человека, как и у всех людей, наверняка была пора, когда он знал почет и уважение, неважно, где и когда, может быть, даже в тот день, когда, сдвинув на ухо шапку, он принял решение тайно покинуть страну и искать работу во Франции. И даже если теперь

Сервейра-Руиз из-за своей туберкулезной почки превратился в это тощее, желтое, инертное тело, на которое сестра смотрит сейчас красноречивым взглядом, где-то в глубине его существа продолжает теплиться крошечное пламя гордости за то, каким он был. И погасить это пламя нельзя.

Ему все равно, он ничего не слышит? У нее в памяти возникает голос Блана, который донесся до нее сквозь туман в больнице Шарбоньер: «Попробуем в последний раз».

Таблетки Сервейры-Руиза — на серебряную тарелку, и на колени перед ним — в знак уважения. «Пережитое научило меня думать широко и смело».

— Мадемуазель, на кухне вам с удовольствием одолжат блюдце.

Андре не хочет идти туда сама, чтобы не уронить достоинство врача, дело которого — давать указания.

Она углубляется в исследование кривой температуры. На это уходит не меньше пяти минут. Сестра возвращается, кладет таблетки на блюдце и выходит с видом человека, уже заявившего мадемуазель Ревель, что доктор Кастель напрасно усложняет работу, которая и без того... Мадам Сервейра-Руиз тем временем внимательно рассматривает пачку печенья.

Андре выходит из палаты и, опустив руки, прислоняется лбом к блестящей поверхности стены. Как болит поясница!

В коридоре появляется мадемуазель Ревель. «Да, конечно, она должна была застать меня в этом положении». Она говорит Андре, что нет необходимости дожидаться кардиолога,— ведь все идет нормально. «Да, но завтра я даю общий наркоз пожилой даме из шестьдесят пятой палаты». Ей просто не приходит в голову, что достаточно завтра утром просмотреть запись кардиолога в истории болезни.

Кардиолог приходит около десяти часов вечера, и появлению его в коридоре предшествует шум передвижного столика и громкий голос, задающий вопросы ночной сестре. Андре взрывается:

— Так нельзя, милый друг! Вы же нарушаете покой больных. Нельзя будить их в такой час, я отвечаю за то, чтобы они как можно лучше были подготовлены к операции.

— Всего два пластыря на грудь... да от этого они даже не проснутся. Их же никто не стаскивает с постели! А я с шести утра на ногах и еще не присел.

Дребезжанье электрокардиографа на передвижном столике и внезапно возникший в дверном проеме свет нарушают полутьму шестьдесят пятой палаты, в которой неподвижно лежит пожилая дама, пытаясь унять поднимающуюся дрожь и страх.

Но к чему рассказывать это кардиологу? Он так и не узнает, что у Андре ноют от усталости руки и спина и что она со страхом думает, чем кончится операция у дамы из шестьдесят пятой палаты после того, как ее столь внезапно разбудили. И глаза Андре от усталости и бессилия наполняются слезами — так же, как тогда, когда ей хотелось сказать Сюзанне, чтоб ее оставили в покое, дали ей вздремнуть, потому что ничего важнее на свете нет.

Опасения за пожилую даму из шестьдесят пятой палаты оказались не напрасными. Пюилорану не в чем себя упрекнуть. Он провел операцию безупречно, даже блестяще, если тут применимо такое слово. Бедная старушка умерла, не приходя в себя. В таких случаях хирурги и врачи не препирались: хирург обязан был сообщить о случившемся семье, так как лечащий врач на операции не присутствовал.

Андре могла и не смотреть в окно: она представляла себе, как Пюилоран, ссутулясь, бредет к своей машине.

Он поедет к другим пациентам, но весь день перед его глазами будет стоять вереница людей, которые скончались в его присутствии с начала его врачебной практики. Можно привыкнуть ко многому, но не к смерти. Вспоминая лица мертвецов с застывшими глазами и раскрытым ртом, перестаешь понимать, кому нужна эта обреченная на провал профессия. Весь день Пюилоран будет двигаться, как сомнамбула, опустошенный бессмысленностью того, что он делает. В такие дни Андре всей душой была с хирургами. Она не простила бы себе ни малейшего замечания в их адрес.

Она сменила халат и отправилась наверх. Как дела у сто семнадцатого? Как всегда хорошо, доктор.

Это двадцатидвухлетний маляр, красивый, видный парень. Рак кости в колене. Придется отнять ногу. Врач, у которого он лечился, вот уже три дня как сообщил ему об этом. По натуре пижон, он балагурил насчет протеза. Но накануне операции стал хмур, раздражителен. Его, видимо, лихорадит.

Она спрашивает:

— Что-нибудь не в порядке?

Он отвечает:

— Нет, ничего.

Она проверяет таблетки, лежащие у него на блюдце, и собирается уйти. Он ловит на лету ее руку и, уткнувшись в нее лицом, вдруг разражается рыданиями.

Младший брат, стоя по другую сторону постели, положил руку на плечо старшего и молча плачет, не в силах сдержаться.

Она растеряна не меньше, чем они. Ничто не может спасти его ногу от ампутации. А за окном парни гоняют в футбол.

— Надо думать о будущем,— говорит она.

Голова под ее рукой кивает утвердительно.

— Ну, конечно, это нелегко...— добавляет она.

Голова делает: «Нет».

Слова — такие плоские, она с трудом выталкивает их из себя, одно за другим.

И снова перед Андре возникают месяцы, проведенные в постели, перевязки, костыли, бесконечная гимнастика и ночи, сменяющие одна другую. Отрежут ногу — и этот ужас будет длиться всю жизнь, и до конца дней будет сниться, как тебе приделывают настоящую ногу. Но будет только одна нога, а ведь раньше их было две, и у всех остальных — тоже две, и по ночам будет тяжело до слез. Будет очень тяжело, а другим — нет. И они никогда не узнают, как такое бывает.

Вновь и вновь накатывает возмущение ужасающей несправедливостью, когда выгибаешься в постели, как в судорогах эпилепсии, и снова падаешь на нее в изнеможении. «Ты еще не знаешь этого, милый маляр, а я знаю, у меня не хватит сил, милый маляр, каждый день вновь спускаться со всеми вами в преисподнюю, зная, что там вас ждет».

А он — он действительно начинает думать о том, что будет дальше, так как чувствует, что Кастель на своем опыте все это знает. Он смотрит туда же, куда и она. Будет, конечно, нелегко, но будущее существует, она это сказала.

Теплая успокаивающая рука Кастель. Его рука — ледяная от страха. Будущее, о да, она его представляет себе, она его знает. «Я пройду его снова вместе с тобой, отчаянно вцепившимся в мою руку, с тобой, которого я не знаю. Да, мне придется вновь вставать

на костыли вместе со всеми вами, ловящими мою руку, так же как я однажды утром цеплялась за руку сестры Жанны-Батисты.

Милый маляр, ребенок мой, я научу тебя тому, что называют силой воли.

Да, будущее — это дорога, по которой ты будешь карабкаться каждое утро навстречу скатывающимся вниз камням, бесконечно высокая гора, взбираясь на которую, раздираешь себе в кровь руки и лицо, но взбираться надо всем вам и почему-то мне вместе с вами! Тащить их вверх одного за другим, как взбиралась я сама,— ну зачем я сказала ему, что надо думать о будущем? Только потому, что я уже знаю эту дорогу? Разве вы не видите, что я ободрала на ней все тело?»

Ей становится страшно при мысли о том, какую плату придется платить за дар, которым она теперь обладает,— дар наставлять людей на новый жизненный путь. «Где взять силы, чтобы каждый вечер снова начинать шестимесячный путь на костылях, который пройден под наблюдением знаменитого Жюлиа,— и с этим маляром, которого я, по сути дела, не знаю, и со всеми другими, кто будет ловить мою руку, чтобы вновь возвращать меня к Жюлиа, к подножью Голгофы?

Милый маляр, ребенок мой, я покажу тебе этот путь. Но как болит спина!» А по возвращении домой, когда у всех уже кончится трудовой день, Кастель придется еще делать гимнастику на ковре: колени к подбородку — выдох, вытянуть ноги — вдох. И так снова и снова.

Ему было не до забав — тому, кого звали Иисусом, когда он поднимался на Голгофу по тропинке, где сверху катились камни, если он действительно знал заранее, что его ждет. «Девятая остановка на крестном пути, которую заставляла меня читать наизусть без ведома отца — так, по крайней мере, казалось нам — восхищавшаяся моей памятью тетушка Марта: «Иисус падает в третий раз... В этот момент он думает о бесконечных наших падениях и о том, сколь бессмысленно проливать свою кровь ради такого множества грешников. Эта страшная мысль повергает его душу в столь глубокое отчаяние, что у него, точно в агонии, иссякают силы, и он падает, уткнувшись лицом в землю».

Едва ли он при этом думал о том, чтобы принять благостный вид, этот Иисус, на котором лежало бремя всех грехов человеческих. Не сам ли он взял на себя это бремя? Легко сказать! Вы привозите юношу маляра в клинику, и пусть доктор Кастель берет его на себя, а мы пойдем купим ему гостинцев.

Интересно, как бы выглядел Иисус, если бы ему сказали, что он тащит свой крест только ради собственной рекламы! Над ним пустое небо, и тщетны его усилия, как у Пюилорана, когда скончалась пожилая дама. «Или, Или! лама савахфани?»[1] Они нашли изящный перевод этой фразы, люди, покупающие гостинцы. «Боже мой, боже мой! для чего ты меня оставил?» Точно есть смысл взывать к богу, когда, уткнувшись лбом в твои руки, рыдает юноша маляр. Или когда боль разрывает поясницу.

Вы дешево торгуете вашим Иисусом! «Или, Или, милостивый боже, что делаю я здесь одна под пустым небом, на котором собираются тучи; здесь до конца дней — костыли, навсегда — несправедливость, что делаю я здесь, в то время как другие покупают гостинцы, пока и они не разобьются в машине, вначале один, затем другой и так во веки веков. Почему же именно я, зачем?»

---

[1] Евангелие от Матфея, 27, 46. *(Прим. перев.)*

Ребенком, встав на колени рядом с тетушкой Мартой, Андре глядела в спину кюре, бормотавшего свои молитвы перед намалеванными картинами, и думала украдкой: «Этому Христу, наверно, приходилось сдерживаться, чтобы не смотреть по сторонам, выискивая возможность увильнуть». Как же Кастель не подумать об этом?

О том, что происходит с юношей из сто семнадцатой палаты, никому не расскажешь, ни с кем не поделишься. Некому это излить. О, как болит спина!

Как сказать человечеству, что оно не должно впредь рассчитывать на доктора Кастель-Мору? Больные вытянут из нее всю душу. Они опустошат ее, она уже опустошена. У нее не хватит сил.

Правда, перед ней все равно пустота, серая, неизбежная; она наступит рано или поздно, лучше бы — рано; эта пустота здесь, под ее ногами. Надо сделать только шаг. И все — тебя не стало.

Доктору Кастель достаточно для этого по окончании обхода выбрать время, когда никто не помешает, и зайти в аптеку операционного отделения. Там она — с присущим ей знанием дела и с точностью, какой она всегда отличается, когда речь идет о медицине,— отмерит дозу инъекции, которая погрузит ее в небытие, и конец сложностям, привнесенным в ее жизнь Шапю-Маларом.

Вот там, налево, аптека, а направо — телефонная будка.

Доктор Кастель-Мору не испытывает страха. Остается только обдумать, как воспримет это ее мать. Но она почему-то начинает цепляться за мысль об упреках, которые будут преследовать ее в загробном мире,— дух человека слаб.

Андре поворачивает направо.

Она снимает телефонную трубку и заказывает себе новую машину, самую надежную из тех, что доступны ей по цене [1].

■

[1] Великий Жюлиа однажды воскликнул — и Лакруазий передала его слова Андре,— что эту женщину можно положить под пресс и все равно в каждой ее хромосоме будет теплиться жизнь. Поэтому при любых обстоятельствах хирурги сохраняли спокойствие. И это больше всего раздражало Кастель. *(Прим. автора.)*

ЯН КОЗАК

Святой Михал

РОМАН

Перевод с чешского Л. ВАСИЛЬЕВОЙ и Т. МИРОНОВОЙ. Под редакцией Л. ЛЕРЕР

Глава V. Гость

18

Михал собирался в путь недолго. В его дорожной сумке — на всякий случай — всегда лежали необходимые туалетные принадлежности. Катарина добавила только белье да еду: жареную курицу, кусок свиного сала и хлеб. Перед самым отъездом Михал еще раз спустился в погреб. Снял с полки три бутылки сливовицы, стер с них пыль, поглядел с минуту и одну поставил обратно. Подошел к бочке и наполнил несколько бутылок вином: одну — для себя в дорогу, остальные — для небольшого торжественного ужина, затеянного Вилемом в честь будущего депутата, который завтра должен был приехать в Поречье.

Наверху, в кухне, этого вина дожидался Адам.

Выбор пал на него потому, что Вилем был полностью поглощен подготовкой встречи, а Эда наотрез отказался заходить к председателю в дом. Касицкого же для такого дела они по принципиальным мотивам не могли, вернее, не хотели использовать. Вот и пришлось за вином Михала (для всех, кроме гостя, была заготовлена «Жемчужина Поречья») отправиться Адаму, хотя делал он это без особого удовольствия. Адам приехал на тракторе. И это имело свой смысл: бутылки, уложенные в сумку, можно было доставить учителю, который вместе с Вилемом занимался подготовкой встречи, не привлекая ничьих взоров, не вызывая лишних расспросов.

Итак, Адам стоял на кухне у Янаков и ждал. Выполняя свою миссию, он, подобно парламентеру, во всем сохранял определенную дистанцию и делал вид, будто лично его содержимое бутылок Михала совершенно не интересует.

Такому поведению Адама способствовала сама обстановка кухни. Хотя на газовой плите аппетитно шипело жаркое, кухня казалась ему холодной и неуютной. Это впечатление, видимо, усиливали и белые

Окончание. Начало в № 7.

кафельные плитки, которыми были выложены стены у плиты и мойки, и какая-то особенная, почти раздражающая чистота. Такое же чувство испытывал и Вилем в первые дни после ремонта канцелярии. Но самое сильное ощущение холода и отчужденности вызывало у Адама его отношение к председателю.

Тем не менее его дипломатическая миссия завершилась бы вполне гладко, если бы не маленькая неловкость, виновником которой оказался он сам. Чтобы не молчать, Адам без всяких задних мыслей шутливо обронил:

— Значит, наш товарищ председатель опять собрался к девочкам! И как раз когда состоится такая важная встреча, он будет в отъезде...

Катарина, в эту минуту укладывавшая в дорожную сумку мужа белую шелковую рубашку с твердым воротничком и манжетами, выпрямилась.

— Да, это он любит,— ответила она с притворно беззаботной улыбкой.

Но Адам заметил, как подозрительно дрогнул ее голос, что никак не соответствовало ни решительному характеру, ни всему облику этой статной, чуть полноватой женщины.

«Господи Иисусе! А не брякнул ли я чего лишнего?» — подумал Адам. Он, конечно, не мог и представить себе, что творилось сейчас в ее душе.

Катарина очень гордилась мужем и той ролью, какую он играл теперь в жизни села. Узнавая о несправедливых нападках, клевете, наговорах, в которых, разумеется, не было недостатка, она готова была защищать Михала, как львица, и не раз уже доказала это на деле. Но вместе с тем ее всегда охватывало странное беспокойство, когда он собирался в командировку. Особенно усилилось оно с той поры, когда перед их домом однажды остановилась машина и из нее вышла модно причесанная крашеная блондинка, приехавшая за Михалом, чтобы отвезти его в Павловицы. Они торопились, но Михал все же угостил ее своим красным вином. Катарине блондинка показалась подозрительно скромной, да и чересчур хорошенькой. К тому же она сразу приметила, что Михалу блондинка нравится. И хотя в Павловицы вместе с ними поехал тогда и Вилем, Катарина с той поры была настороже.

Долгие годы Михал был постоянно возле нее. Рядом с нею он работал в доме или во дворе. Вместе они трудились в поле и на винограднике. А теперь, когда дети улетели из родного гнезда, она часто оставалась одна. Ей не было еще и сорока, а она временами чувствовала себя чуть ли не брошенной, ей казалось, что Михал уезжает теперь все чаще и все охотней. Она уже не была твердо уверена в нем и не раз задумывалась: а не спутался ли он с кем-то? Свои подозрения она высказывала достаточно откровенно и этим только омрачала ему поездки. Незадолго до прихода Адама у них с Михалом снова произошла небольшая размолвка.

— Михал очень любит ездить в командировки,— повторила она и снова улыбнулась.— Я уж давно говорю, что он завел себе какую-то крашеную девицу.

Она произнесла это опять с деланной легкостью, но в то же время, казалось, проверяла Адама. Ее глаза были полны напряженного ожидания.

Адам насторожился. Ведь он и сам был уже двенадцать лет женат.

— Все вы одним миром мазаны,— продолжала Катарина.— Чуть что, бежите за чужой юбкой. Ни одному мужику верить нельзя.

— Ваша правда. Я тоже так думаю... — широко улыбаясь, согласился Адам.

В эту минуту вошел Михал с бутылками. Поставил их на стол, огляделся. И тотчас почуял неладное.

— Что случилось? — спросил он.

— Ничего,— отрезала Катарина.

— Так я пошел,— поспешно сказал Адам.— Эти бутылки я сразу отвезу товарищу учителю.

В дверях он остановился и пожелал председателю счастливого пути.

Адам ушел, но тягостная напряженность, которую он невольно вызвал, осталась.

— Что случилось? — переспросил Михал.

— Не прикидывайся простачком! — взорвалась Катарина.

— Ты же знаешь, почему я должен ехать,— попытался урезонить ее Михал.

— Ишь, невинный младенец! Да, знаю. И хорошо знаю, какой ты бываешь настырный, когда тебе что-нибудь от меня нужно. Прекрасно помню, как ты расставлял мне силки. Но теперь я сыта по горло — меня мутит от твоих похождений!

И Михал был сыт по горло такими сценами. Неожиданно для себя они наговорили друг другу уйму резкостей. Ни одна их стычка не носила еще столь острого характера. Михал просто не мог взять в толк, чем все это вызвано.

Между ними нередко возникали размолвки, но Михал наперед знал, как к чему отнесется Катарина и каким будет ее настроение. Иногда он тоже сердился, но в большинстве случаев терпеливо сносил ее наскоки. Он понимал, что время от времени Катарина должна высказаться, иначе она задохнется. Порою, когда слушать ее упреки становилось невмоготу (а ей, слава богу, всего было отпущено с лихвой: она могла сделать жизнь и счастливой, и порядком отравить ее), когда ему не хотелось вступать с нею в бесплодные пререкания, он исчезал из дому. И впоследствии понял, что такой способ решения споров был и действенней, и значительно приятней. Он просто подымался и уходил. Если ссора вспыхивала днем, Михал ненадолго спускался в погреб и оттуда отправлялся прямо на работу. Вечером домой не возвращался, а шел в сторожку на своем винограднике. Там он немного рылся в земле, делал прививки или осматривал завязи, прикидывая, какой может быть урожай, вдыхал запахи плодовых деревьев, растущих между рядками лоз. Он впитывал этот пряный, полный силы и спокойствия мир, божий мир; воспринимал его всеми чувствами — обонянием, осязанием, зрением... Разложив небольшой костер, он обжаривал сало или варил в котелке суп из цветной капусты с колбасой (помидоры, перец, лук — все необходимое росло здесь же). В подполе сторожки всегда стояла оплетенная бутыль с вином. Михал сидел у костра долго, до поздней ночи, потягивал вино и смотрел на звезды. О жене он забывал. Здесь ему было как у Христа за пазухой. Утром он просыпался чуть свет, еще какое-то время копался в земле, потом успокоившийся, умиротворенный шел домой завтракать.

Когда он впервые вот так ушел из дому, Катарина кинулась его искать и нашла здесь уже поздно вечером. Михал сидел на порожке, держа на коленях стакан. Он смотрел, как всходит месяц, и прислушивался к доносившемуся издалека лаю собак.

— Михал, ты здесь! — сказала она с облегчением, но и осторожно: она не знала, что с ним сейчас происходит.

Он молчал. Тогда она набралась смелости и подошла ближе. При-

села. Михал допил вино, снова наполнил стакан из стоявшей у его ног бутыли, молча протянул его Катарине. Она отпила немного и вернула стакан. Михал выпил его до дна. Примирение прошло без единого слова. Они будто выкурили трубку мира.

У Катарины, казалось, камень с души свалился. Она была сама доброта и душевность.

— Здесь у нас все осталось, как прежде, правда, Михал? — прерывисто дыша, сказала она и многозначительно вздохнула.

Она распустила волосы, тряхнула головой. Михал молча обнял ее.

Потом Катарина уже знала, где искать его в таких случаях. Но Михалу не очень нравились ее посещения. Его душевное равновесие восстанавливалось постепенно, ему нужно было время. Михал возвращался домой, когда чувствовал в этом потребность, когда был уверен, что все уже прошло. Однажды по какой-то причине — какой именно, он уже давно забыл — он прожил в своем скиту целую неделю.

И вот сейчас после перепалки напряжение снова достигло предела. Черт, что на нее нашло? Михал ничего не мог понять. Сколько он ни ломал себе голову, догадаться о причине столь неожиданной атаки ему так и не удалось.

Катарина не успокоилась, даже принявшись собирать посылку для сына. Михал делал пересадку в Братиславе и мог зайти к Павлу в общежитие. Она долго шуршала бумагой и, запаковав посылку, демонстративно положила ее рядом с дорожной сумкой Михала. Напоминала, что у него есть сыновья.

— Скоро вернешься? — спросила она.

— Как справлюсь с делами,— ответил Михал.

Он был даже рад, что уезжает.

19

Едва Вилем узнал, что Михал уедет накануне того дня, когда в селе произойдет такое знаменательное общественное событие, как встреча с будущим депутатом Национального Собрания от их области, у него словно выросли крылья. И вовсе не потому, что Михал вмешивался в подготовку или вносил, скажем, беспорядок в организацию встречи, которой занимался Вилем. Упаси бог! Просто Вилем в отсутствие Михала чувствовал себя свободнее, а значит был счастливее. Энергия била в нем ключом, он был полон всяческих идей.

А на Касицкого в это время свалилась уйма дел — он ведь замещал Михала. Поэтому уделять много времени подготовке предвыборного собрания и встречи он не мог. Согласно уговору, он должен был лишь показать гостю хозяйственный двор кооператива. Остальное, то есть самое главное,— а именно, чтобы все прошло без сучка без задоринки и чтобы гость чувствовал себя в Поречье как дома,— ложилось на плечи Вилема и Альбина. Целых два дня Вилем жил одними только приготовлениями.

Все знали, что в таких делах на него можно положиться, он был мастером организовывать всякие торжественные мероприятия. Исходил он из того, что гость должен увезти с собой из Поречья самые яркие впечатления. В душу ему должно запасть что-то такое, чего он

никогда в жизни не забудет, что постоянно станет пробуждать в нем теплые, дружеские чувства и о чем он всегда с радостью будет вспоминать. Имелись в виду разные, пусть даже маленькие, но милые и совершенно неожиданные сюрпризы; почтительное и в то же время душевное внимание, свидетельствующее об уважении, которое к нему испытывают. Короче говоря, гость должен быть окружен теплом и ощущать чистосердечное доверие; словно он у себя дома, хотя и без жены, но зато среди настоящих, искренних друзей. Такой стиль приема требовал определенных условий: ничего заурядного — того, что могли бы предложить такому гостю в любом другом месте. Вилем вообще не терпел халтуры в подобных делах. И надо сказать, что, как правило, действовал весьма успешно. Гости приезжали в Поречье довольно часто и охотно.

Когда речь шла о более или менее торжественном приеме, лучшим помощником Вилема, его правой рукой был учитель Альбин. Адам и Эда, благодаря многолетней практике, тоже накопили приличный опыт и могли устроить без особой подготовки отменный пикничок на берегу речки или на лесной поляне, даря гостю драгоценные минуты отдыха на лоне природы. Они знали очищающее величие простоты и умели быстро и ловко приготовить на костре сказочно вкусные яства из мяса. Гость, измотанный городской суетой и работой, растянувшись на траве, где тут и там валялись фазаньи перья, не стеснялся обнаружить в присутствии хлебосольных поречан жажду и голод куда большие, чем испытывал обычно. Пусть недолго, но он наслаждался сочностью, яркостью красок здешней природы, обретал душевное спокойствие, и мир ему казался прекрасным. Такой отдых располагал к непринужденным, а потому особенно полезным и действенным беседам, во время которых гостю излагались различные просьбы и пожелания хозяев. Правда, подготовка подобного приема требовала значительного труда и не всегда приносила свои результаты. Чаще всего приходилось действовать продуманно, чтобы не нарушить естественность и безыскусственность, чтобы не возникло впечатления нарочитости, унижающей и гостя и хозяина.

Такую вот встречу, с несколькими небольшими, но приятными сюрпризами, и подготовили Вилем с Альбином депутату. Вилем только так его и называл — и гость действительно был депутатом, пока, правда, от соседнего избирательного округа. В Поречье его еще не знали.

Около пяти часов начищенные, наглаженные, при полном параде Вилем, Альбин и Касицкий собрались в помещении национального комитета. Посидели недолго за прибранным столом Вилема, где стояли рюмки для первого тоста за гостя и за успех дела, а без трех минут пять вышли на площадь. Они хотели встретить гостя сразу же, как только тот въедет в село. Это тоже входило в программу, продуманную и разработанную до мельчайших деталей. Для большего эффекта — чтобы у депутата создалось впечатление, что его приезд в Поречье подлинный праздник,— вместе с ними вышли его встречать четверо пионеров в белоснежных рубашках и красных галстуках: два мальчика и две девочки, которых выбрал Альбин. Им предстояло преподнести депутату букет сирени, как только он выйдет из машины и ступит на пореченскую землю. Сирень — гордость Альбина — лишь начинала цвести в школьном саду. Еще один букет предназначался кандидату в депутаты областного национального комитета — доярке из какого-то отдаленного кооператива. Она должна была приехать вместе с депутатом.

Сирень не понравилась Вилему — она еще не совсем распустилась

и была, по его мнению, холодного, металлического оттенка. Но он понимал и Альбина — в других садах сирень еще не цвела. Самому Вилему по душе были более теплые и веселые тона. Поэтому он сорвал у забора одуванчик и воткнул его в петлицу пиджака.

Они ждали, спокойно оглядывая все вокруг.

Площадь сверкала чистотой; еще вечером поречане разровняли граблями местами укатанный, местами разрытый машинами песок. От входа в школу до фасада «Венка» протянулся большой транспарант: «Приветствуем нашего кандидата». Другой, призывающий «Все на выборы!», украшал фронтон сельмага. В школьном кабинете Альбина была масса всякой всячины, пригодной для таких дел: цветная бумага, флажки, печатные воззвания, портреты, лозунги, часть которых в результате различных перемен оказалась непригодной. Из них легко можно было составлять и клеить всевозможные новые лозунги; тем более что этим охотно занимались ученики на уроках труда, которые он мог по собственному усмотрению и назначать на любое время, когда в этом возникала необходимость. Таким образом в руках Альбина были сосредоточены, так сказать, все местные средства массовой коммуникации, и он искусно умел ими пользоваться.

— Мне кажется, ему должно понравиться,— сказал Альбин.

— По-моему, тоже,— согласился Вилем.

Он посмотрел на башню костела. Механики уже не работали, и голуби прихорашивались в нише. «Черт возьми, жаль, что еще нет часов. Вот тогда была бы встреча! Ну, ладно, и так хорошо»,— подумал он.

Но гость не приезжал, и чем дольше его ждали, тем заметнее улетучивалось радостное настроение. Задержка депутата угрожала осуществлению их изобретательного, столь хорошо продуманного плана.

Встречающие нетерпеливо ходили взад и вперед возле комитета, мрачно курили, заходили в помещение, но тотчас же снова выбегали на площадь — депутат мог появиться каждую секунду. Дети, сперва стоявшие чинно, принялись подталкивать друг друга, шалить — им стало скучно, и Альбин без конца одергивал их.

Они ждали уже около часа. За это время Вилем дважды сменил одуванчик в петлице, а Касицкий пошел на хозяйственный двор, чтобы лишний раз проверить, все ли там в порядке, и Альбин озабоченно глядел ему вслед.

— Что, если депутат приедет слишком поздно? — спросил он с тревогой.

Вилем задумался. Взвесив все обстоятельства, которые могли нарушить так хорошо подготовленную программу, он сказал:

— Да, досадно! Но единственное, что можно исключить или частично сократить,— это осмотр двора. Коровников и всякой скотины он, наверное, видал столько, что у него в голове все перемешалось. Хозяйственный двор и в самом деле не самое главное.

Он был расстроен, но не падал духом.

В это время у «Венка» остановился Густа — сегодня он дежурил. Несколько раз подходил он к комитету, обменивался двумя-тремя словами с ожидающими, снова уходил и каждый раз, оглядевшись кругом, не спеша направлялся к сельмагу. Там за прилавком, на котором можно было увидеть домашнюю утварь и мясо, почтовую бумагу и сладости, хлеб и ткани, стояла дочь Вилема — Луцка.

Густа останавливался неподалеку от витрины и глазел — в последние три дня тут был его наблюдательный пункт, но одним наблюдением не ограничивался. По нескольку раз на дню он заходил в магазин и покупал всякую дребедень: нитки, гуталин, долго выбирал

зубную щетку, хотя Луцка могла предложить ему щетки только одного образца. Он уже дважды спрашивал лезвия «Silver Gillete», а сам брился опасной бритвой и знал, что таких лезвий здесь нет. Каждый раз подолгу задерживался в магазине и был очень рад, если заведующая, пани Сайлерова, не старалась самолично обслужить его.

Сегодня Густа сперва зашел за булкой и паштетом. Теперь он стоял у витрины и прикидывал, что бы еще такое купить.

Народу в магазине было немного, и Луцка, стоя за прилавком, видела его. Она знала, что он смотрит на нее, но это вовсе не было ей неприятно. Густа был загорелый, крепкий парень, ему очень шла форменная одежда. А впервые она приметила его, когда они всем селом приводили в порядок площадь.

Немного спустя Луцка увидела, что из калитки дома напротив вышла Милка. Та сразу появлялась на площади, как только Густа занимал свой наблюдательный пункт, и заводила с ним разговор.

Густа тоже заметил Милку.

В ту же минуту звякнул колокольчик, и из двери магазина вышла Луцка.

— Ну как, приехали уже? — спросила она.

— Еще нет,— ответил Густа.— Странно что-то, правда? Но, наверное, приедут, все так готовились.

Он широко улыбнулся. И она ответила ему улыбкой.

У Луцки был тонкий прямой нос, широко расставленные глаза и выдававшиеся скулы. Но это вовсе не делало ее менее привлекательной. В глазах Луцки словно бы отражался необыкновенный цвет ее волос — они отливали медью и так же сверкали. Но самое приметное в Луцке была ее складная крепкая фигурка. Поэтому Густу нисколько не трогало, когда злые языки из зависти называли ее иногда «медяшкой».

— Луцка! — раздался из магазина голос пани Сайлеровой.

— Сейчас! — бросила Луцка.— Иду, иду!

Но она стояла до тех пор, пока Милка не вошла к себе в дом.

— Когда вы сегодня закрываете? — спросил Густа.

— На полчаса раньше. Из-за собрания,— сказала Луцка и снова улыбнулась.

Он смотрел, как она, плавно ступая длинными ногами, направилась к магазину. «До чего же хороша!» — думал он.

Колокольчик снова звякнул, и Густа с досадой побрел дальше.

Уже надвигались сумерки, и солнце освещало только узкую полоску площади, когда на шоссе возле «Венка» раздался автомобильный гудок. Показалась серо-зеленая «татра-603».

Среди встречающих началась суматоха. Густа услышал, как оживившийся Вилем крикнул:

— Ну, вот и он... Наконец-то приехал!

20

Большой зал «Венка», войти в который можно было только через пивную, оживал, когда устраивались танцевальные вечера, балы и маскарады на масленицу, в дни храмовых праздников и других торжественных дат. Был он не таким уж большим, но сейчас благодаря стараниям Альбина весь как бы раздвинулся. Стены его были празднично украшены рисунками и вышивками пореченских школьников,

большими фотографиями, отражающими благополучие и успехи кооператоров. Тут можно было увидеть коровник и птицеферму, виноградник и корзины, полные винограда, горы капустных кочанов, ящики помидор и цветной капусты. Одна стена была отведена для фотографий, запечатлевших славный и памятный день, когда поречане общими усилиями перенесли крест, очистили площадь и разбили новый сквер. Некоторые фотографии были окантованы красной гофрированной бумагой. Их соединяли друг с другом флажки и предвыборные призывы. Стены зала, казалось, пылали от ярких красок.

Вилем был доволен. Все шло как по маслу. Зал наполнился до отказа. У двери пивной началась толчея. Пришли даже несколько человек из Гаваи. Но цыгане из врожденной осторожности не растворились в толпе поречан, а держались кучкой чуть в стороне.

Впереди всех выстроился детский хор. Его выступление включили в программу главным образом для того, чтобы пришли даже те, кто не проявляли интереса к собранию.

Люди сидели тихо и чувствовали себя как-то смущенно. Взгляды всех были обращены к депутату. Его звали Петер Лукачик, он был областным школьным инспектором.

Вилем тоже не спускал с него глаз, пристально изучая выражение его лица. Он увидел на нем прежде всего печать спокойствия и упорной самодисциплины, но в то же время явную усталость. Такое лицо могло быть только у хорошего человека. На Вилема, как и на остальных, произвело также впечатление, что депутат не захотел, чтобы его сопровождал секретарь или кто-нибудь из партийных работников. Он пожелал встретиться со своими избирателями сам. Тем большими были ответственность и хлопоты, ложившиеся на плечи Вилема: ему пришлось поручиться в Павловицах, что будет полный порядок. От сознания ответственности голова у него разламывалась, он все время был в напряжении.

Первая смена в настроении поречан произошла, когда Касицкий представил им гостя и от их имени приветствовал его. Затем он с сожалением отметил, что кандидат в депутаты областного национального комитета приехать к ним не смогла.

— Я думаю,— сказал он,— что вы извините нашего кандидата. Она не смогла приехать, потому что... Короче говоря, у них в воскресенье... в общем, у них храмовой праздник. И вы можете себе представить... сколько по такому случаю у женщины дел...

Наступила гробовая тишина.

Вилем оцепенел. Проклятье! Что это Касицкого дернуло болтать такой вздор? Неужели он не мог придумать ничего посерьезнее? Вилем был возмущен и расстроен: что подумают люди! И не видел, не мог представить себе, кто и как сумел бы сейчас сгладить создавшееся неприятное впечатление.

Но ничего худого не произошло. К удивлению Вилема, по притихшему залу пронесся вздох, в котором было и удовлетворение, и понимание, раздались громкие аплодисменты — знак одобрения. Озадаченный, он неожиданно для себя убедился, что реакция собрания совсем не та, какой, по его мнению, можно было ожидать.

Казалось, всем пришлось по душе, что у кандидата могут быть такие простые человеческие заботы. К этой женщине сразу почувствовали доверие и посчитали своей. Словно речь шла о члене семьи, который не приехал только потому, что должен был жарить мясо, печь пироги или готовить другие угощения для своей родни.

Вилем смущенно улыбнулся.

Первоначальную напряженность и робость как рукой сняло. Всем стало легко и свободно. Грянул пионерский хор. Потом Альбин подтолкнул вперед Аничку Купецову. Эта девочка была как картинка — в легком воздушном платьице, с большим бантом в волосах. Она запела известную народную песню, в которой девушка доверительно открывает имя своего любимого и не боится выказать силу своей любви. Но вместо слов: «...ради Дюричка, ради Дюричка я Дунай переплывала» Аничка пропела: «...ради Петричка, ради Петричка» и так далее. Эту неожиданную для всех, но заранее придуманную замену зал встретил одобрительно, как знак внимания и уважения к гостю, который того заслуживает.

Вилем неотрывно следил за тем, как меняется выражение лица депутата, и был доволен. Еще прежде, чем тот взял слово, в зале уже установилась непринужденная, даже дружеская атмосфера.

Петер Лукачик был искушенным оратором: говорил он не слишком долго и от международных событий довольно быстро перешел к будничным делам.

— Знаете,— сказал он,— я был рад, что еду к вам в Поречье. Вы сами додумались, что вам надо делать, чтобы жить лучше. И у вас тут на каждом шагу видно, что живете вы хорошо. Вы сами поняли, что нашему сельскохозяйственному району необходим крупный консервный комбинат. Здесь может развиваться пищевая промышленность. Это превосходно! Если я буду избран, то сделаю для этого все, что окажется в моих силах. Такой консервный комбинат мог бы иметь значение для всего народа. Я поинтересовался планами и должен сказать, что убытки, которые сейчас несут кооперативы и государство, настолько велики, что вопрос вполне ясен. Поэтому, полагаю, особых препятствий не будет.

Он откашлялся. Оказалось, ему уже известно все, что предпринимают поречане.

— Я рад, что у вас есть такие люди, как Михал Янак и Вилем Губик.

О Касицком он почему-то забыл.

Вилема будто коснулся луч солнца. Депутат словно бы поднес ему бокал необыкновенно согревающего и приятного напитка.

Такое внимание к Вилему порадовало и Эду. Ему стало казаться, что депутат уже давно их знает, интересуется ими и с пониманием следит за их работой. Должно быть, он и вправду замечательный человек! Эда торжествующе оглядел зал и уставился на гостя.

А Густа, услышав имя Вилема, сразу перевел взгляд на Луцку. На ней была кремовая блузка с вырезом, отделанным тонкими белыми кружевами, и узкая юбка выше колен, настолько ее обтягивающая, что можно было даже различить каемочку нижнего белья. От нее исходил нежный запах апельсина — таких духов Густа еще никогда не встречал, и он подумал, что этот запах удивительно сочетается с цветом ее волос и глаз. Внезапно Густа почувствовал: Луцка решила больше не тянуть и, как говорится, идти на сближение.

И это было так. Ее главная соперница, Милка, все чаще вертелась вокруг Густы. Луцке стало ясно, что Милка всерьез готовит леску, крючок, наживку. Потому-то она и решила не выжидать, а действовать. Это ее решение трудно было не заметить — оно как бы выплескивалось из нее, усиливая колдовской аромат, который обволакивал Густу и делал Луцку неотразимой.

Густа отвел от нее глаза. Какое-то время он слушал оратора, но не воспринимал его слов. Мощный поток уносил его мысли совсем в другую сторону.

Затем далекий бесцветный голос усилился, и вдруг Густа услышал, как депутат, словно обращаясь к нему, сказал:

— Она стоит перед нами... Она ждет нас, прекрасная наша будущность!

И он, как по команде, снова уставился на девушку.

Она тоже смотрела на него. Глаза ее раскрылись до предела и будто поглотили его.

Густа недавно вернулся с военной службы — он был сержантом пограничных войск — и все еще не мог отвыкнуть от военной терминологии: он применял ее даже к Луцке. Восторженно рассматривал он все ее «стратегические пункты»: высотки, излучины, склоны, все заманчивые позиции. Да, Луцка — потрясающая девчонка! Казалось, мир прекрасен и улыбается ему.

Он даже не заметил, что депутат закончил свою речь. Только бурные аплодисменты заставили его очнуться.

Собрание прошло с огромным успехом.

21

— Мы приготовили небольшое угощение,— обратился Вилем к депутату, когда после собрания они вышли на площадь.— Вы говорили замечательно. После такого выступления, я-то хорошо это знаю, здорово пересыхает в горле.

Члены комитета во главе с Касицким стояли вокруг них и прислушивались к разговору.

— Может быть, не стоит... Знаете, мне теперь так мало приходится спать,— попытался было сопротивляться гость.— Каждый вечер выступления. Мне хотелось бы... Я думал...

Он вздохнул и поглядел на шофера, который все время, пока шло собрание, торчал у машины и курил с недовольным видом.

— Ничего, поднажмем на газ и нагоним,— сказал, оживившись, шофер.

— Ну, хорошо,— согласился гость.— У меня действительно жажда... Но только недолго.

— Конечно, конечно,— радостно заверил его Вилем.— Все уже готово, и мы вас не очень задержим. Посидим немножко у Альбина в школьном саду. Пойдемте, прошу!

Он решительно зашагал к школе. Остальные последовали за ним.

Был теплый звездный вечер. Они прошли через калитку по чисто выметенному двору и приостановились, чтобы, как положено, пропустить вперед почетного гостя, но так и замерли на месте, пораженные открывшимся им зрелищем.

Сад тонул в серо-зеленом сумраке. На переднем плане под раскидистой грушей сверкал в свете лампы длинный, накрытый белой скатертью стол. Посредине его на блюде лежал большой круг овечьего сыра. Это был первый весенний жирный и мягкий сыр, украшенный парниковым зеленым лучком и пузатой розовой редиской. Рядом живописно теснились блюда с ломтиками сала и домашней копченой колбасы. Были там и хлеб, и горчица, и салат из редиски с подсолнечным маслом и уксусом. Над блюдами с закусками высились бутылки с вином. На почетном месте во главе стола выстроились в ряд бутылки с красным вином Михала.

Альбин застенчиво улыбался. Он всегда сам накрывал праздничный стол, не подпуская к нему даже жену. Этому занятию он отда-

вался всей своей душой художника, подобно тому как в свободные минуты рисовал пейзажи и натюрморты с цветами. Жене нравились его рисунки. Она гордилась тем, что он мог рисовать прямо на стене — в кухне, спальне, коридоре и даже в туалете на вас смотрели букеты полевых цветов. Но у гостей, по правде говоря, более глубокое и более прочное воспоминание оставлял любовно сервированный им стол.

Альбинка (хотя имя ее было Мария, но ее так никогда никто не называл), взволнованная и разгоряченная приготовлениями, тоже высунулась из кухоньки, чтобы поглядеть, каково будет впечатление гостей.

Оно было поистине огромным!

Эда, которого Вилем взял с собой на подмогу, чтобы был под рукой, если вдруг что понадобится, стоял как завороженный. А ведь ему уже не раз доводилось видеть накрытый Альбином стол. Он уставился на подвешенную к склоненной ветке груши лампочку, свет которой, пробиваясь сквозь молодую трепещущую листву, кружевной накидкой ложился на скатерть. Да, это была впечатляющая картина. Затем в наступившей тишине он услышал стрекотание, легкое жужжание, шорох крылышек летающей вокруг лампочки мошкары; почувствовал, как в вечернюю свежесть проникают из кухни аппетитные запахи.

Депутат и шофер тоже были в восторге. Даже само это место казалось созданным для отдыха. Отгороженное густой живой изгородью из боярышника и сирени, оно было скрыто от любопытных глаз. Конец сада переходил в луг, а дальше шли виноградники. Сочная молодая листва, свежевскопанные грядки создавали впечатление, будто и впрямь находишься на лоне природы. И при всем этом кухня с ее соблазнительными запахами была совсем рядом.

Вилем откашлялся.

— Ну что ж, не будем мешкать, поскольку у товарища депутата мало времени. Итак, начнем!

Учитель принялся разливать вино. Альбинка исчезла на кухне.

Когда осушили первый стакан, депутат причмокнул языком, зажмурился и понимающе улыбнулся.

— Да-а,— протянул шофер.— После такого вина и козел запоет соловьем.

— Жаль, что с нами нет нашего председателя кооператива. Он вынужден был уехать по неотложному делу,— заметил Касицкий.

— Да, жаль,— подтвердил депутат со вздохом.— Я много слышал о нем. И с удовольствием потолковал бы с ним.

Учитель снова стал наливать вино, ему помогал Эда.

Потом появилась Альбинка. Проворно, но с достоинством она подносила полные блюда. Глаза ее сияли. Она, так же как Альбин, очень любила принимать гостей.

— Давайте сперва отведаем горячих закусок,— предложил с загадочным видом Вилем.

На блюдах лежали маленькие карпы, зажаренные в сливочном масле с тмином и луком, нарезанным тоненькими колечками. Запахло блинчиками с начинкой из жареных сморчков — тех диковинных грибов, которые появляются весной как будто специально для того, чтобы щекотать обоняние и возбуждать аппетит. Ими же были начинены и карпы. Утром Альбин вывел школьников на прогулку. Они облазили все межи и берега речки. Блинчики с жареными грибками были «фирменным» блюдом Альбина. Вместе с женой он пек их, выполнял

всю подготовительную работу и при этом всегда изобретал что-то новое.

Приступили к еде. Все было очень вкусно, и настроение заметно поднялось. Произошла только небольшая накладка. Эда заявил, что блинчики с такой начинкой — это хорошо, но если их еще запанировать и поджарить, как шницель, будет вообще бесподобно.

— Помните, мы подавали их, когда приезжал секретарь обкома? — сказал он.

Альбин обиделся: он с самого утра не присел — столько было работы! Да и на собрании надо было присутствовать — разве успеешь все сделать.

— Ну как же! — ответил он с досадой.— Но дело в том, что еще, кроме блинчиков, подают на стол.

— Альбин прав,— вмешался в спор Вилем.— Но я думаю, что вы не отказались бы от собственноручно зажаренного на вертеле барашка,— обратился он к депутату.— Барашек совсем молоденький, и это не займет много времени. Давай, Эда!

— Барашка на вертеле я еще никогда не зажаривал,— признался депутат и удивленно огляделся.

Тем временем Эда присел на корточки перед стеной зеленого кустарника, и вскоре там заплясало пламя небольшого костра. Костер потрескивал, и, по мере того как разгорался, в нем стали видны уложенные пирамидкой поленца. Альбин принес выпотрошенного барашка; он был уже посолен, поперчен и насажен на вертел.

Депутат решительно встал, подтянул брюки и, подойдя к костру, взялся за работу. Он поворачивал вертел и время от времени подкреплялся вином: бутылка стояла у его ног. Эда, присев на корточки, по мере надобности подбрасывал в костер поленца. Он терпеливо следил за вертелом, готовый в любую минуту помочь гостю, если тот вдруг утомится. Костер приятно потрескивал, изредка из него вылетали искры. Оба вдыхали в себя первый, пока едва уловимый запах жареного мяса.

На лице депутата появилось трогательно-блаженное выражение. Он был счастлив. И вот когда уже ничто, казалось, не могло усилить его спокойного и радостного благодушия, из-за зарослей бузины раздались напевные звуки цыганской скрипки. Это Керекеш заиграл «Сидит сокол на клене». В вечерней тишине задушевная мелодия песни звучала особенно проникновенно. Все притихли и смотрели на гостя.

Тот замер, удивленно прислушиваясь к музыке. Заглянул в глаза Вилема, осмотрелся вокруг. Губы его беззвучно зашевелились. Он был растроган до глубины души. Растроган и умилен.

— Ведь это моя самая любимая песня. Поразительно! — воскликнул он простодушно.

Ему виделось в этом какое-то знамение, удивительное родство душ. Он не мог и предположить, что выведать разными способами и гораздо более важные сведения было для Вилема сущим пустяком.

Кусты раздвинулись, и из темноты появился сияющий Адам. Он придерживал ветки, чтобы Керекеш мог свободно пройти сквозь заросли. Скрипка не умолкала ни на минуту. Она пела то ликующе-радостно, то печально, то тихо звенела, как родничок, то голос ее, казалось, разносился по вселенной. Даже звезды трепетали, слушая ее. Это, бесспорно, был гвоздь программы.

Депутат угостил Адама и Керекеша вином из своей бутылки. Альбин подвел их к столу, чтобы они малость подкрепились.

Правда, в этом не было особой необходимости, потому что Керекеш с самого утра играл на свадьбе в Павловицах. И Адаму, по-

ехавшему за ним, пришлось пустить в ход все свои способности, чтобы высвободить скрипача из объятий разгулявшихся гостей. Немалых усилий стоило убедить их, что речь идет о важном политическом мероприятии. Керекеша отпустили только после того, как Адам клятвенно заверил, что через часок-другой доставит его обратно. Пока шли переговоры, Адам тоже успел немного выпить и закусить. Но тем не менее оба сейчас охотно принялись за еду, желая отведать всего, что приготовил Альбин.

Время шло, у всех было так хорошо на душе. Сгрудившись у костра, хозяева не сводили с гостя глаз. А тот от избытка чувств решительно заявил, что никому не доверит барашка и действительно зажарит его собственноручно. Так никто и не смог убедить его хоть немного передохнуть. Время от времени все наполняли стаканы и выпивали.

— А рыбка была неплоха! — вдруг заявил Эда.

Только сейчас до него дошло, что он, вероятно, обидел Альбина. Почувствовав необходимость исправить ошибку и в то же время желая создать впечатление, что все же Альбин был не прав, приводя свои доводы, он продолжал:

— Должен сказать, что мало кто умеет готовить так искусно, как наш Альбин. Нет и не может быть ничего лучше, чем карпик, начиненный грибками и поджаренный на сливочном масле. Но я не имею ничего против, если рыба приготовлена с чесноком или, скажем, запечена в пергаментной бумаге. Тогда в нее кладется несколько ломтиков сала и немного луку, перца, лаврового листа или тмина. Когда вы потом разворачиваете пергамент, оттуда на вас пахнет таким ароматом! Весь запах рыбы, весь ее смак остаются при ней! Ничто не улетучивается. Да еще образуются ручейки жирного густого сока, и по ним, наподобие лодочек, плавает тмин.— Эда рассказывал, смакуя, как истинный гурман.— Должен признаться, что мне очень нравилось, когда моя мама, после того как испечет хлеб, сушила в печке рыбу, пронизав ее стебельками укропа. По сей день помню, какой чудесный запах был у той рыбы. Только все это — ничто по сравнению с тем, как умел готовить рыбу старик Бартович. Помнишь, мы ходили к нему, когда он нас звал? — обратился он к Вилему.

— Еще бы не помнить,— ответил Вилем, поднося ко рту стакан.

— Ведь каждая рыба требует своего,— продолжал Эда.— А этого часто и не знают. Многие воображают, что умеют стряпать, а жарят рыбу на том, что под руку попадает. Бартович говорил, что это самая большая ошибка. Даже преступление! Одну рыбу, говорил он, надо жарить на сале, другую — на сливочном масле, для третьей, скажем, нужно подсолнечное масло. У него в запасе всегда было даже гусиное сало для определенной рыбы. До чего ж вкусные готовил он котлеты, но для этого смешивал мякоть разных рыб, потому что у каждой — свой вкус, смешивал по-своему и никогда не уминал. Поэтому котлета получалась пышной и хрустящей. Она просто таяла во рту. Такой рыбы, наверное, теперь уже никому не отведать.

— Точно. Ни одна женщина никогда так не приготовит,— согласился Вилем.

— Бартович был строг даже в мелочах. Без конца ко всему придирался.

— Это я знаю,— сказал Вилем.— Однажды мы с ним пекли картошку. Я зарыл в золу, а Бартович рассердился и говорит: «Вилем, ты что, решил ее сварить?» Вытащил картошку из золы и положил сверху. И только когда от нее перестал идти пар, когда ушла вся вода, он снова зарыл ее в золу. Он со мной тогда даже разговаривать

перестал. Наверное, посчитал, что я тоже совершил преступление.

— А с чем вы ели картошку? — спросил Эда.

— С гусиным салом и чесноком. Это вкуснее всего.

— Я все люблю,— заметил Эда.— Лишь бы было вкусно да вдоволь. И терпеть не могу тех, кто ест только потому, что надо есть.

Вилем собирался что-то возразить, но тут заговорил гость:

— Мне хотелось бы записать для жены какой-нибудь из ваших рецептов.

— Не стоит,— заметил Эда.— Раз вы будете нашим депутатом, вы и приезжайте к нам почаще.

— И то правда,— согласился гость.— Но все же я хотел бы знать, на чем жарить линей. Мы с женой их очень любим.

— На гусином сале,— сказал Альбин.

— Вот до этого я бы никогда не додумался,— признался депутат.

Он вытянул ноги и с довольной улыбкой отпил прямо из бутылки.

Вид и запах жарящегося барашка и кулинарные рассуждения Эды раздразнили у всех аппетит. Разговор о еде не умолкал. Каждый предлагал и расхваливал то, что любил сам. Они жевали сочное куриное филе, впивались зубами в гусиные ляжки, обсасывали свиные ребрышки, поджаренные с можжевеловыми ягодами. Едва съедали одно, сразу же наваливались на другое. Такой способ стряпни и угощения обладает огромным преимуществом: никогда не зависишь ни от каких мелочей, всегда все в достатке. И можно беспрестанно наслаждаться едой, не боясь несварения желудка. Все в меру посолено, поперчено, поджарено, все сочно, хрустит и аппетитно пахнет. Все, до последней крошки, услаждает. И сколько угощений ни готовил бы гостеприимный хозяин, кладовая остается полной.

Пока еще только вдыхая запах поджаривающегося барашка, они пили из стаканов и бутылок и без конца чокались. Взаимопонимание и дружеские чувства росли и крепли прямо на глазах.

— А еще очень вкусно, если смолоть и смешать мясо косули и свинину, завернуть в капустный лист и тушить в сметанной подливке,— заметил Альбин, сидевший у костра.

— А копченостей ты не добавляешь? — спросил Эда.

— Немножко сала. Тогда и подливка приобретает свой вкус,— разъяснил Альбин.

На короткое время наступила тишина. Ее вдруг нарушил Вилем.

— Капустный лист...— сокрушенно произнес он.— Черт возьми, как только вспомню, что его мог бы иметь каждый, но пока не имеет, потому что горы капусты гниют на полях и никому до этого нет дела,— меня охватывает такая злость!..

Он умолк. Все переглянулись и, казалось, чего-то ждали.

— Сделаем все возможное, чтобы консервный завод был построен,— с воодушевлением заговорил окончательно растроганный депутат.— Не представляю, что могло бы помешать осуществлению нашего плана. Вы по этому поводу не беспокойтесь!

Отпив еще немного из своей бутылки, он что-то замурлыкал себе под нос.

Тут Эда встал и неуверенной походкой направился к Вилему, который, стоя с бутылкой в руке у стола, накалывал на нож кружок сыра.

— Послушай, Вилем, мы сейчас могли бы совершенно спокойно выложить ему все наши просьбы, если они у нас, конечно, есть. А с консервным заводом, мне кажется, ты попал в точку! Господи, див-

люсь я этому Касицкому — почему не закинет удочку, не попросит чего-нибудь для кооператива.

— Нет, так нельзя. Товарищ депутат может подумать, что это просто ловушка, а не дружеский ужин. Ведь мы устроили все для того, чтобы наш гость почувствовал, как мы рады, что именно он будет представлять нас в Национальном Собрании. А может быть, даже и в правительстве. Должен тебе сказать — это большой человек! Он может вмешиваться в очень важные для нас дела. Он решает или присутствует при решении вопросов, где и что строить, кому дать субвенцию... Или помочь попасть в институт, когда там уже не будет мест. И вообще... Я думаю, пока мы ничем не должны ему докучать.

— И все же...— стоял на своем Эда.— Сейчас, думается мне, самый подходящий момент... Ну, как хочешь.

С трудом переставляя ноги, Эда вернулся к костру. Все заботы вылетели у него из головы. Хотелось только, чтобы выборы продолжались долго либо чтоб они происходили чаще. Он сидел около депутата, вернее, они вместе жарили барашка — Эда все время подкладывал в костер поленца. И это так хорошо на него действовало — чем дальше, тем больше он осознавал, как здорово они сработались, и неожиданно для самого себя понял, что испытывает к депутату симпатию и даже какое-то теплое чувство.

Это был чудесный вечер. Никто уже никуда не спешил; взоры всех были прикованы к вертелу. Наконец барашек был готов, и все накинулись на него. Отрезали кусочки сочного мяса; маленькие ломтики хлеба служили тарелками. Жевали шумно, облизывались, кости бросали в огонь. И снова пили из стаканов и бутылок.

Все шло наилучшим образом, настроение было что надо! И гости, и хозяева совсем растаяли; различия в общественном положении были стерты, наступило полное и небывалое взаимопонимание. В конце концов Эда до того разошелся, что, положив депутату на плечо руку, заговорил с умилением:

— Бог мой, до чего ж изменились времена! Вспомнить только, как было... Теперь все наоборот. Раньше... Раньше вот такой депутат, если хотел, чтобы его избрали, должен был перед выборами угостить людей гуляшом, да еще выкатить бочки. Теперь ничего такого и в помине нет. Все перевернулось... Сегодня, я бы сказал, каждый кандидат знает, что его все равно выберут. То есть... И поэтому, наоборот, избиратели хотят, чтобы о них не забыли, чтобы их депутат.. Короче, они стремятся заранее показать, что они его любят, что он для них свой человек. И делают все, чтобы он не забыл о них. Но вас... вас это не касается. Должен сказать, что никогда еще не видел я такого народного депутата, как вы. Черт возьми, раз я вижу, что вы действительно народный депутат, я знаю — вы не подведете, вы будете за нас!

— Ну что вы! — Депутат сиял: вино, видно, ударило ему в голову.— Ничего похожего мне еще не приходилось слышать.

— Лично я таким делом никогда бы не смог заниматься — во все вникать, все решать! — продолжал Эда.— Без конца думать о том, чтобы все было как следует. Для этого, черт возьми, нужна голова! Мы... мы все понимаем, правда, Вилем? Мы бы тоже хотели, чтобы все шло как надо. Поэтому мы бы хотели... и мы так думаем, что после этих выборов мы с Вилемом...

— Кончай! — оборвал его Вилем.

— Ваша жена, наверное, не так уж часто вас видит,— вклинился в беседу Адам, чтобы помочь Вилему уйти от разговора, начатого Эдой.

При упоминании о жене депутат махнул рукой и подлил Эде вина — он хотел с ним выпить.

У Эды на глазах выступили слезы благодарности. Когда они чокнулись, Эда взял со стола полную бутылку «Жемчужины Поречья» и обтер горлышко. Он намеревался выпить ее в честь депутата — по крайней мере, все это так поняли. Запрокинул голову, глаза устремил в небо. Вино с легким бульканьем полилось ему в горло как бы переливаясь в другой сосуд. Одним залпом Эда выпил полбутылки. А после того как приложился вторично, перевернул бутылку вверх дном — из нее вылились всего две-три капли.

Гость был потрясен и в восхищении похлопал Эду по спине.

— Я бы так не смог,— сказал он.

— На что спорим? Вот увидите — вас выберут! — почти кричал Эда.— Мы вас выберем! Вы и вправду человек из народа, вы — наш человек!

Ему так хотелось подружиться с депутатом! Держался он совсем неплохо, хотя и выпил невероятно много.

— На что хотите поспорим, что мы вас выберем! — перекрывая все голоса, орал он.

У костра бодро затянули песню под аккомпанемент скрипки Керекеша. Но вскоре высокие, пронзительные, хриплые и диковатые, хотя и восторженные голоса заглушили ее звуки.

Пирушка достигла своей высшей точки.

22

В это время Густа совершал обход своего участка. Его сопровождала Луцка. Они дошли до молодых вербочек у речки и застряли там, а когда возвращались, обоим было удивительно хорошо.

Шли они медленно. Густа обнимал девушку за талию.

Ее крепкие длинные ноги, подчеркнутые короткой, немного смятой спереди над коленями юбкой, передвигались медленно и лениво. Волосы были растрепаны, кружева на вырезе кофточки скомканы. Апельсиновый аромат уже едва ощущался — он смешался с запахом пота и нежным запахом лежалой вербной листвы. Туфельки на каблуках Луцка несла в руке.

Они поминутно останавливались, целовались и снова шли усталой плавной походкой, тесно прижавшись друг к другу.

Когда они вышли из темноты на площадь и увидели «татру-603», Густа потянулся с довольным видом.

В тишине из глубины школьного сада доносились голоса. Можно было даже различить звон стаканов. Значит, все в порядке.

Они улыбнулись друг другу.

Густа поправил ремень и застегнул пуговку на рубашке.

Луцка смотрела на него, и лицо ее светилось. Она обвила его шею руками, не выпуская из рук туфель.

Он поцеловал ее.

Луцка небрежно, скорее по привычке, поправила прическу.

— Завтра на том же месте, да, Густа? — сказала она.

В это время ужин в школьном саду подходил к концу.

Вилем собрал в тарелку остатки еды и понес ее к угасавшему костру. По дороге он споткнулся: кто-то свернулся клубочком возле костра среди черепков, рыбьих костей, огрызков хлеба и громко

храпел. Скрипка Керекеша отдыхала на блюде, где прежде лежал сыр, рядом с пустыми перевернутыми бутылками и кожурой от редиски. Смычок висел на дереве.

— Я немного... Что-то голова у меня болит,— с трудом заговорил депутат.— В последнее время мне часто приходилось... Но так... так хорошо мне еще не было нигде. Бог мой, совсем как дома. Я среди вас — как дома. Это был чудесный вечер!

— А вы ведь здесь, среди нас, действительно дома, товарищ депутат,— сказал Вилем.— Я тоже думаю, что теперь мы будем встречаться чаще.

— Мне пора ехать,— тихо сказал депутат. Он тяжело опустился на стул и закрыл глаза.

— А где же Густа? — вдруг вспомнил Эда, когда гость уснул.

Его тоже начала одолевать усталость. Чтобы стряхнуть ее с себя, он выпил еще.

— Наверное, остался на площади, приглядывает за машиной,— высказал предположение Вилем.

— Забыли мы о нем. Нехорошо! — сказал шофер.

Он взял со стола непочатую бутылку «Жемчужины Поречья», откупорил ее и, слегка заткнув пробкой горлышко, зашагал через двор, направляясь к калитке.

Около машины действительно стоял Густа и закуривал сигарету. Он вглядывался в темноту, в которой исчезла Луцка. По селу разносился лай собак, гулял свежий влажный ветерок.

Глава VI. Удивительные истории

23

В Поречье пришла страдная пора. Весна была в разгаре. Люди трудились, стараясь обогнать время. Они высаживали рассаду капусты, помидоров. Спешили: надо было закончить посадки, пока не высохла уже прогревшаяся земля. А ведь ее еще надо было удобрить и разрыхлить. Рабочих рук и машин едва хватало. Это было большое наступление единым фронтом во имя будущего урожая. Решал буквально каждый час.

Михал разрывался на части. Он вставал едва начинало светать и ложился поздней ночью. Катарина тоже целый день, не разгибая спины, работала в поле; перед их домом постоянно кто-нибудь безуспешно пытался дозваться хозяев или стучался в запертую калитку.

И именно в то время, когда Поречье задыхалось от работы, развернулась в полную силу избирательная кампания. Кроме того, о Михале вспомнили в Павловицах, и за последние две недели по вечерам за ним несколько раз приезжала машина районного национального комитета. Михала посылали на собрания в соседние села, где дела в кооперативах шли не так успешно. Его хорошо знали всюду. Уже давно к нему нет-нет да обращались за советом и помощью.

Выступая на собраниях, Михал говорил о том, что всем им нужен консервный завод; он сожалел, что именно в их крае — самом урожайном и исключительно сельскохозяйственном — полностью отсутствует пищевая промышленность. Будучи прежде всего практиком, он щедро делился своим опытом. В Мочаранах, например, где

также закладывали новые виноградники, удивлялись, когда два года назад между рядками молодых лоз Михал распорядился посадить капусту. Виноградники все равно без конца приходилось обрабатывать: окучивать, рыхлить, поливать. И там выросли такие громадные кочаны капусты, каких никогда никто в Поречье не видывал.

А прошлой весной был такой случай: в неожиданном и бескорыстном стремлении помочь ближнему, попавшему в беду, Михал одолжил кооперативу в Горной Рыбнице два трактора. У поречан у самих работы было по горло, они не знали, за что в первую очередь хвататься, но у соседей дела обстояли совсем худо: возникла угроза, что они вообще не справятся с севом. Михал помог им безвозмездно. Сделал вид, будто забыл выписать счет. А потом получилось так, что во время жатвы поречанам до зарезу понадобился сноповязальный шпагат и они одолжили его у горнорыбницев. Вскоре после этого правление пореченского кооператива получило счет. Михала это просто взбесило. Он сел и самолично подсчитал все, что причиталось с соседей за тракторы. Кроме того, добавил еще стоимость двух бутылок вина, которые те выпили, когда пришли клянчить о помощи. По счету Михала, конечно, никто ничего не уплатил, зато напоминания о своем счете соседи тоже не послали.

Этот случай лишний раз подтвердил то, в чем Михал давно был убежден: на свете не так много людей, которые делают то, что делать не обязаны. Излишнюю щедрость и благотворительность он почитал вредными, потому что они лишь омертвляют в человеке его силы и возможности, ослабляют стремление показать, на что он способен. Мало того, они превращают его в тунеядца и эксплуататора, и, таким образом, первоначальный добрый замысел приводят к совершенно противоположному результату. Михал придерживался убеждения, что помогать надо опытом и советами, а финансовыми ссудами да подачками — только в тех случаях, когда нужно создать такие же условия и возможности, какие есть у других. В остальных случаях, по его мнению, самое лучшее и действенное средство — предоставить лодырям возможность поголодать. Дороги перед ними открыты, и все зависит от них самих. Короче говоря, Михал был убежден, что самую большую помощь людям человек оказывает тогда, когда заставляет их выявить все силы и способности, которые в них заложены,— и это относится не только к труду, но, скажем, и к любви, и к жизни вообще.

Многие удивлялись, почему Михала, который пользуется таким уважением и доброй славой, не избирают депутатом или почему, например, он не работает в каком-нибудь сельскохозяйственном учреждении в Павловицах. Кое-кому уже стало известно, что идея консервного завода родилась в Поречье. Вилем, конечно, постарался надлежащим образом подать ее в Павловицах, но всем, кто хоть немного знал поречан, было ясно, что истинным инициатором строительства консервного завода мог быть только Михал...

Да, это были трудные дни, до предела выматывавшие силы. Если бы такой темп продолжался месяца два, то и Михала бы скрутило. Катарина, хоть и была привычна к работе в поле, ног под собой не чуяла. Но она каждый вечер дожидалась мужа и допоздна стояла у калитки, выглядывая, не идет ли он. Потом возвращалась на кухню к плите, где уже был приготовлен ужин, и дремала на стуле. Когда Михал, уставший до изнеможения, возвращался домой, он иногда даже отказывался от еды и засыпал, едва голова его касалась подушки.

Частые отлучки Михала Катарина переносила мужественно и радовалась, когда слышала от соседей, что Михала хвалили в Моча-

ранах или в Горной Рыбнице. Но тем сильнее грыз ее червь пробудившегося подозрения. Ведь прежде они бы давно помирились, а вот уже столько времени прошло после последней злосчастной командировки, а между нею и Михалом все еще будто черная кошка пробежала. Теперь, когда Михал так мало бывал дома, у Катарины было больше времени на размышления. А поскольку неуверенность, как известно, порождает самые неожиданные вопросы и тотчас находит на них ответ, то подозрения Катарины разрастались как плесень. Она с трудом подавляла их в себе. И этому, надо сказать, способствовали успехи Михала.

24

После полудня Михал устало брел домой обедать. На площади он заметил непривычное оживление, хотя в эту пору большинство взрослого населения Поречья обычно спешило обратно в поле. Люди стояли на крылечках, у заборов, собирались кучками. Недалеко от «Венка», покашливая, урчал трактор Адама, на прицепе которого было полным-полно женщин с корзинками, сумками, мотыгами. Все смотрели на шоссе.

Михал огляделся. На обочине шоссе стояло такси, окруженное толпой зевак.

Руда! Михал и позабыл, что сегодня уезжает Руда Доллар.

Недавний приезд сотрудника прокуратуры, так напугавший Руду, явно был последней попыткой заставить его отказаться от поездки «на могилу отца». Но так как Руда выдержал психологический нажим, он вскоре после этого получил разрешение и все необходимые бумаги для экскурсии за океан. Михал должен был бы испытывать удовлетворение: его предсказание сбылось. Но он так устал, так был измотан, что ему это даже в голову не пришло.

Он направился к такси, которое должно было отвезти Руду в Кошице на аэродром. Руда в это время вместе с шофером подтащил к машине большой бесформенный тюк. Увидев председателя, он опустил ношу, прислонил ее к дверце и улыбнулся. Его просто нельзя было узнать. Праздничный костюм, хотя и несколько мешковатый, выглядел вполне прилично — Руда его никогда, даже по воскресеньям не надевал. Рубашка сверкала белизной, на ногах — новые блестящие полуботинки. Волосы тщательно приглажены.

— Ну, как? — спросил Михал.

— Да вот, еду,— ответил Руда.

Он весь светился радостью победы. От обычной его неуклюжести и безответности не осталось и следа. Держался он уверенно, как будто собирался заняться своим привычным делом на винограднике. Взгляд Руды все время обегал площадь. Он искал Вилема. Ему так хотелось, чтобы Вилем был сейчас здесь. Но Вилем не показывался. Впрочем, Руда и без того был счастлив. Если бы банк, где у него лежали доллары, обанкротился, он все равно не чувствовал бы себя полностью обкраденным.

— Что это за поклажа? — поинтересовался Михал.

— Багет,— ответил Руда.

— Какой багет?

— Для рамок. Ну, в которые картины вставляют.

С минуту Михал недоуменно смотрел на Руду, потом бросил взгляд на тюк.

— Бог мой! — воскликнул он.— Неужто ты собираешься вставить в рамку полученный в наследство домишко!

— Видишь ли, Михал, багет этот ручной работы. А такие вещи там ценятся,— объяснил Руда.

Он из коммерческих соображений увозил с собой позолоченный и посеребренный, украшенный народным орнаментом багет для рамок, который накупил в Павловицах.

— Мне писали,— продолжал он,— что всякое барахло ручной работы стоит в Америке кучу денег. Вот я и везу.

— Ах, вот оно что! — Михал улыбнулся.

Жена и дочери Руды, тоже празднично одетые, суетились около такси; полные нетерпения, они провожали его на аэродром.

Затем Руда с женой куда-то исчезли. Вскоре он вновь появился с бутылкой и стаканами. Наполняя их, он немного перелил вино через край — у него дрожали руки.

— В добрый путь! — сказал Михал.— Ну как, страшновато?

— Страшновато,— подтвердил Руда.— Ведь я...— Он вдруг даже как-то одеревенел.— Ведь я еще никогда никуда не ездил.

И как раз в ту минуту, когда они подняли стаканы, с грохотом и шумом тронулся трактор Адама. Одна из женщин, сидевших на прицепе, крикнула Адаму:

— Куда тебя черт несет! Подожди, пока уедут!

Но Адам нажал на газ.

Из окна канцелярии национального комитета за всей этой суетой наблюдали Вилем и Эда. Им хорошо было видно Руду и Михала, потому что провожающие толпились вокруг такси.

— Выпивают на дорожку,— заметил дальнозоркий Эда.— К ним подходит Касицкий.

— Одна компания...— мрачно буркнул Вилем.

Отъезд Руды нанес удар его чистой вере и убеждениям, даже, можно сказать, ранил его. Он чувствовал себя обманутым. В районе ему говорили, что Руду ни за что не пустят, а получилось... «Если они будут так поступать,— думал он,— если будут ставить людей в дурацкое положение, то может случиться, что останутся одни-одинешеньки как раз тогда, когда больше всего будут нуждаться в поддержке. Особенно если вдруг какие-нибудь там реакционеры и вправду задумают что-либо предпринять. У кого они найдут поддержку, если люди перестанут им верить?»

— Видно, у него где-то рука. Или кого-нибудь подмазал,— продолжал Вилем.

Это казалось ему самым вероятным.

— Да, вечно нас кто-то предает... А ты представляешь себе, какие деньжищи ухлопает Руда только на дорогу?..— негодовал Вилем.

— Ему там купили билет на самолет и прислали сюда.

— Знаю. Это, наверное, из тех долларов, которые он там получит,— вздохнул Вилем и оборвал разговор.— Уже уехали? — спросил он небрежно через некоторое время.

Чтобы показать свое безразличие, он копался в ящике стола и чинил карандаш, но кончик карандаша дважды ломался.

— Трогаются,— сообщил Эда.

Вилем снова вздохнул.

Отъезд Руды Доллара привел его в плохое настроение. Однако это, естественно, не могло повлиять на те приготовления, которыми жили Вилем и его друзья. Планы их осуществлялись гладко, без помех. После первого предвыборного собрания в Поречье распространилось и укрепилось убеждение, что председателем местного национального комитета станет Бедржих Сайлер. И снова из неизвестного

источника среди членов кооператива распространился слух, что Сайлер как работник районной сельскохозяйственной заготовительной конторы сумел бы многое сделать для Поречья при сдаче урожая овощей, поскольку с этим всегда была уйма осложнений. Об этом постоянно толковали в «Венке». Вилем, Адам, Эда и Людвик Купец основательно поработали среди тех, с кем они зимой добивались и добились очевидного для всех благоустройства села. Немалую помощь оказал им заведующий закусочной Кужела. Да и Керекеш пообещал, что вся Гавая, если понадобится, единодушно вычеркнет Касицкого из списка кандидатов.

Итак, все шло наилучшим образом. Сознание этого вернуло Вилему в момент отъезда Руды уверенность и спокойствие. Ему даже удалось наконец оточить карандаш.

— Михал направился домой,— доложил Эда.— Наверное, еще не обедал.

25

Михал устало вошел в прихожую, почувствовал слабый запах пригоревшего молока и жира. Дверь в кухню была приоткрыта. Он подумал, что Катарины нет дома и ему придется разогревать обед самому. Но она явно была здесь.

— Ты дома, Катарина? — крикнул он.— Видела Руду Доллара?

Ответа не последовало. Он открыл дверь в кухню.

Катарина сидела на диване; глаза ее покраснели от слез, руки бессильно лежали на коленях.

Михал удивленно посмотрел на нее. Окинул взглядом кухню. Стол не был накрыт. Всюду стояла грязная кухонная посуда. Гарь от убежавшего молока заглушила запах жареного мяса. На сковородке остывало жаркое. На столе среди кастрюль лежала кучка картофельной кожуры. Очистки от картошки и лука валялись и на полу. Дверцы буфета были распахнуты настежь.

Михал уставился на жену:

— Что с тобой?

В первый момент он испугался, подумал, не случилось ли что с сыновьями. Катарина молча протянула ему смятый лист бумаги.

Михал взял его. Развернул и побледнел.

— Кто это писал? — дрожа от гнева, спросил он через минуту бесцветным голосом.

Он оторвался от письма. Потом снова впился глазами в бумагу.

На листке печатными буквами было написано: «Приглядывай за Михалом. Он ездит в Павловицы к Власте».

— Так я и знала,— со вздохом сказала Катарина, и глаза ее наполнились слезами.

Она вела себя совершенно иначе, чем мог предположить Михал. Теперь, казалось ей, уже нет никаких сомнений в волокитстве мужа, и она сразу как-то сникла.

Михал опустился на стул. Локтем оперся о стол, угодив прямо в кучку очистков. Другая его рука повисла. Он испытывал одновременно и непривычное смятение, и дикую ярость, и ощущение полной беспомощности. Кто же мог такое?..

Первый, на кого пало его подозрение, был Вилем. Он знал, что предвыборная активность Вилема направлена прежде всего против Касицкого, но одновременно должна ослабить и его позиции. Михал

слишком хорошо знал Вилема, чтобы не понять, куда тот гнет. Но это... Это было уж слишком и для Вилема.

Он поднял голову. Катарина сидела неподвижно, будто даже и не дышала.

— Ты этому веришь? — заговорил он медленно и тихо.— Если б я знал, какой подлец это написал, я бы из него душу вытряс.

— Так, значит, это та самая, которую ты даже притащил сюда, к нам в дом? — всхлипывая, спросила Катарина, губы у нее дрожали

— Кто? — с недоумением спросил он.

До него ничего не доходило.

— Та, которой ты сказал, чтобы она сама приехала за тобой на машине. Хотел показать, как ты живешь.

Дыхание ее участилось.

Михал оцепенел.

Он вспомнил, что ту красивую, модно причесанную блондинку с черными глазами, которая работает в сельскохозяйственном отделе районного национального комитета и которую однажды послали сюда в Поречье за ним, действительно, если он не ошибается, зовут Властой.

Михал был настолько ошеломлен, что оказался не в силах обороняться.

— Та химическая вертихвостка... Ну, говори, как ее зовут? — пошла в наступление Катарина.

Михал сидел, неподвижно уставившись в одну точку. Потом вздохнул.

Катарина объяснила его вздох по-своему.

— Ступай к своей красотке! — крикнула она.— Ступай же!

Грудь ее высоко вздымалась.

— Ступай к ней!

Михал отчужденно смотрел на жену.

«Что делать?» — думал он. Он понимал, что сейчас, когда ему так подло и продуманно нанесли удар в спину, вызвав, вполне естественно, бурю в семейных отношениях, быть грубым с Катариной нельзя.

Он снова вздохнул и кончиком языка провел по пересохшим губам. Потом горестно проговорил:

— А я подумал, что-то стряслось с мальчиками.

Услышав эти слова, Катарина вскочила как ужаленная.

— Не устраивай комедий! — крикнула она.— Нечего детей сюда приплетать!

Распаляясь все больше, она вырвала у него изобличающее письмо и выскочила из дому.

— Катарина!

Михал бросился к двери. Он слышал, как она сбежала с крыльца. Потом увидел, как на ходу она повязывает платок. Взбешенная, она сильно хлопнула калиткой.

Михал вернулся на кухню и тяжело опустился на диван. Глаза его сверкали гневом. Кто же все-таки мог?.. Если не сам Вилем, то, конечно, кто-то из его дружков — это было Михалу совершенно ясно.

Он был потрясен; такая им овладела усталость, такая душевная пустота, что он долго сидел понурый и безучастный, бессильно опустив на колени руки, уставившись прямо перед собой.

Наконец он поднялся с дивана и медленно подошел к плите. Стоя поковырял ложкой в холодной еде. Оглядел кухню. Потом нагнулся, собрал с пола очистки, принес половую щетку. Закрыл дверцы буфета, всю грязную посуду сложил в мойку. Вытер мокрой тряпкой запекшееся на горелке убежавшее молоко, зажег газ. Набрал в кастрю-

лю воды, чтобы вымыть посуду, и поставил ее на огонь. Долго стоял и тупо смотрел на мойку. Потом снова огляделся, махнул рукой и, выключив газ, вышел из дому.

26

В тот вечер Михал вернулся домой поздно. Жену он нашел в комнате мальчиков. Она переселилась туда из супружеской спальни и уже лежала в постели. Подойдя к двери, он услышал, как она поспешно повернулась на кровати. Он осторожно вошел и остановился у изголовья. Катарина лежала лицом к стене, закрывшись до подбородка одеялом. Притворилась, что спит. Дышала громко и ровно. Он вернулся в кухню. Спустился в погреб и принес кувшин вина. Почти весь его выпил. Потом разделся и лег в постель.

Они не разговаривали и утром. Михал попытался было завязать разговор, но натолкнулся на упорное молчание жены. Когда их глаза случайно встречались, Катарина мерила его враждебным взглядом. Казалось, она испепелила б его, если бы могла.

Днем он пришел несколько раньше обычного, рассчитывая за обедом все же объясниться, но Катарина уже ушла на поле. И обеда не приготовила. Михал улыбнулся, хотя и с горечью. Да, в одном он никогда не мог ее упрекнуть — она ни в чем не была половинчатой и непоследовательной.

Он нарезал хлеба и колбасы, взял горчицу. Потом передумал: лучше сделать яичницу с салом. Зажарил и слегка поперчил ее. Когда все съел, допил из кувшина остаток вчерашнего вина. Но оно было невкусным — уже выдохлось.

Отставив кувшин, он сварил черный кофе. Глотал его обжигающе горячим и размышлял. Он знал: надо действовать, надо что-то придумать.

Его подозрение снова пало на Вилема. Когда та девушка приехала за ним, Вилем тоже отправился с ними в город. Правда, машина тогда долго стояла на площади, и девушку видели многие. Утром Михал разговаривал с Вилемом; осторожно, чтобы не вызвать подозрения, он прощупывал его. Но Вилем держался как ни в чем не бывало — будто ничего и не знал. Если принимать во внимание хитрость Вилема, то это еще ничего не значило. Написать такое, правда, могла бы и какая-нибудь соседка, с которой Катарина была не в ладах. Это тоже нельзя было исключать.

Письмо это, конечно,— несусветная чушь, и можно бы просто разорвать и забыть его, если бы не настроение Катарины. Оно не давало никаких надежд добиться сейчас ее доверия. Михал знал, что необходимо рассеять тучи подозрения,— ссор в доме он не переносил и считал, что, по крайней мере, хоть здесь у него должен быть покой. Уйти на виноградник и жить там какое-то время отшельником сейчас, к сожалению, не представлялось возможным. Слишком много было дел, к тому же подозрения Катарины лишь усилились бы.

Он посмотрел на часы. Шел третий час. Михал мрачно поднялся и вышел.

Медленно, устало брел он по пустынной площади. Только перед «Венком» увидел гревшегося на солнышке Кужелу.

Закусочная в это время дня обычно пустовала. После полудня уходил последний гость, и Кужела бывал свободен до четырех часов, когда автобус привозил поречан, возвращавшихся из города.

А до этого забегали лишь дети за лимонадом да леденцами, если они кончались в сельмаге. В погожие дни Кужела обычно выносил

стул, ставил его у стены, поближе к тому месту, где останавливался автобус и где солнышко пригревало сильнее. Он наслаждался тут редкими минутами покоя — это была для него самая блаженная пора. Если стул оказывался пустым, значит пришел какой-то случайный посетитель, и Кужела возвратится тотчас, как только его обслужит. В плохую или чересчур жаркую погоду Кужела сидел у окна. Оттуда была видна вся площадь — центр жизни Поречья. У Ружи обычно были еще дела на кухне, или, как сегодня, она пошла в сельмаг за покупками да и поболтать немножко. Муж не возражал против таких ее отлучек.

Кужела увидел председателя еще издалека.

— Как дела? — спросил он Михала, когда тот подошел поближе.

Несмотря на возникавшую иногда торговую конкуренцию между кооперативом и «Венком», Кужела при встрече с Михалом держался всегда корректно. Это означало, что он относился к Михалу с должным уважением, однако никогда не угодничал перед ним и не пытался быть с ним запанибрата.

— Дела идут,— сказал Михал.— Еще несколько дней — и самое трудное будет позади.

— Вы вроде чем-то озабочены? — заметил Кужела.

Вопрос прозвучал вполне невинно — будто просто для поддержания разговора, но Михал насторожился.

Ему послышалась в голосе заведующего закусочной какая-то странная нотка. Конечно, нетрудно и ошибиться. Он был раздражен, а в таком состоянии человек легко может прийти к необдуманному выводу; при виде дохлой кошки готов подозревать в убийстве даже мышь.

Михал остановился. Солнышко приятно пригревало. Кужела сидел на стуле, запрокинув голову и зажмурив глаза. Михалу казалось, что тот с довольной усмешкой следит за ним из-под опущенных век. У него никогда не возникло бы такое подозрение, если бы Кужела не был приятелем Вилема.

— А знаете что,— вместо ответа сказал Михал,— я бы выпил сейчас пива.

— С ромом?

— Да, влейте стопку побольше.

Кужела молча поднялся со стула и вошел в пустую закусочную. Михал последовал за ним. Кужела наполнил пивом две кружки и, сдув пену, влил в них по большой стопке рома. Потом поставил их на стол, за которым устроился Михал, и подсел к нему.

— Хорошо пообедали? — спросил Кужела.

— Просто хочется выпить,— ответил Михал и внимательно посмотрел на него.

Они подняли кружки и чокнулись. Когда выпили, Михал вытер губы.

— Ваше пиво вкуснее, чем в «Спорте».

Иногда, дожидаясь в Павловицах автобуса, Михал заходил в тамошнюю гостиницу выпить пива.

— Это потому, что у нас хороший погреб.

— А в «Спорте» все так же весело?

— В понедельник я туда заглядывал. Было так себе.

Глаза Михала остановились на кружке. Он почувствовал, как внутри его что-то заныло, и вдруг встрепенулся: сегодня — среда, письмо пришло вчера. Это значит, что послано оно было тогда, когда Кужела ездил в город.

Михал поднял кружку и шумно отхлебнул из нее. Потом поставил ее на стол, но тотчас снова сделал несколько глотков.

— Послушайте, у меня возникли небольшие неприятности, и я хотел бы с вами потолковать,— сказал он без обиняков.

— Что-нибудь с кооперативом?

— Нет, с женой.

Кужела поднял брови.

— Что такое?

— Не знаю, что на нее нашло. Короче говоря, просто не в себе,— сказал доверительно Михал.— Вам, конечно, это знакомо.

— Еще бы! Женщины — такие гадюки.

Кужела был известный бабник, и у него с женой постоянно происходили стычки; иногда он загуливал и возвращался лишь во вторник утром.

— Мне необходима ваша помощь,— сказал Михал.— Разумеется, все должно остаться только между нами.

На лице Кужелы появилось удивленно-недоверчивое выражение. Михал понял, что он колеблется. Шрам на его лбу слегка покраснел — он «заработал» его в прошлом году в день храмового праздника, когда вместе с Адамом усмирял слишком разбушевавшихся гостей из Горной Рыбницы, которые столь своеобразно отметили свою дружескую встречу с поречанами.

— Чем могу быть полезен? — спросил Кужела выжидательно.

— В общем, это пустяк,— сказал Михал.— Напишите моей жене несколько строчек. Хватит трех фраз. Надо ее немного успокоить.

У Кужелы задергалось веко. Он обхватил кружку ладонями и водил пальцами по ее острым граням. Как быть, известно что-нибудь председателю или нет — он не мог понять. А что, если Адам проболтался? Проклятая история!

— А что я могу написать? — возразил он.— Сочинять я не мастер. Может быть, Альбин напишет, ведь он учитель?

— Жена знает его почерк,— сказал Михал.— Альбин иногда мне помогает, когда у меня завал работы. Вообще, было бы лучше, чтобы письмо написал кто-нибудь не из членов кооператива. Ясное дело, подписывать его вам не надо. Все останется между нами.

Говоря это, Михал не спускал с Кужелы пристального, испытующего взгляда.

У того было ощущение, будто Михал загоняет его в угол, а он никак не может выскользнуть. Если Михал его подозревает, то отказ лишь усилит подозрение. Но откуда председатель мог знать, что и он приложил к этому руку? Неужели Адам в самом деле...

Кужела не был в этом уверен. Возможно, тут случайное совпадение, тогда уж лучше исполнить просьбу Михала.

— Ума не приложу, что писать. Сочинять я не мастер,— снова повторил он, сделав ударение на слове «сочинять». Его отказ прозвучал так, будто он считал оскорбительным предложение председателя.

— Ну и что ж,— кивнул Михал.— Я сам продиктую. Не более трех фраз. Вы должны помочь мне выбраться из этой заварухи. Для меня это очень важно.

— Понимаю.

— Ну что, начнем?

Кужела обвел глазами пустой зал. Как ему хотелось, чтобы сейчас сюда зашел хоть какой-нибудь сопляк выпить стакан газированной воды. Но никто не приходил. Он даже выглянул в окно. На площади не было ни души. До прихода автобуса оставался еще час.

— Ладно,— ответил Кужела.

Он медленно и неохотно поднялся, давая понять, что решился на

это только из дружеских чувств к Михалу и добрых побуждений помочь ему, коль скоро дома у него какие-то нелады.

Долго рылся он в выдвижном ящике под стойкой в поисках почтовой бумаги. Нарочито медленно отыскивал среди бланков заказов, счетов и чеков авторучку — он вечно возился с нею, когда нужно было подсчитывать выручку, чтобы сдать ее, отделив соответствующим образом от чаевых. И при этом все поглядывал на председателя.

27

Дома Михал держался с видом оскорбленного достоинства. Жены он подчеркнуто не замечал. Однако уловил в ее поведении некоторую перемену. Появились первые несомненные доказательства, хотя вначале и холодной, но явной нормализации семейных отношений.

Его, как всегда, ждала еда; в доме царили порядок и чистота, о чем Катарина постоянно проявляла, можно сказать, даже чрезмерную заботу. Она давала Михалу понять, что не забывает о своих обязанностях. На третий вечер произошло ослабление пугающего обоих бойкота. Закончилась супружеская изоляция. Катарина вновь появилась в спальне и смущенно заявила, что в той комнате ей плохо спится и потому она не может как следует работать. С собой она все же принесла грусть и укоризну. А спала, прижавшись к самой стенке.

На следующий день Катарина нарушила молчание, спросив, не зарезать ли курицу. Когда Михал кивнул в ответ, она сообщила ему, что у Касицких собака разорвала трех гусят. Михал не ответил. Он читал газету. Через минуту Катарина проявила озабоченность относительно их виноградника и вызвалась пойти окучивать в субботу после обеда. Михал, не отрывая глаз от газеты, холодно сказал:

— Я тоже собирался туда заглянуть.

Сквозь черную пелену печали у Катарины стало проглядывать новое, пока еще скрываемое ею волнение. Она была преисполнена удивления — смутного, какого-то беспомощного. Ходила вокруг Михала непривычно тихо и словно бы в чем-то неуверенная.

Михал ждал разговора и знал, что он обязательно последует.

Во время обеда на столе появилась вазочка с веткой боярышника. Катарина сорвала ее на меже, возвращаясь с поля. Михал ел молча.

— Хочешь добавки? — спросила она.

— Нет.

— Может, хочешь чашечку кофе? Я тогда сварю, Михал.

— Пожалуй, будет неплохо.

Катарина встала.

— Сегодня вечером тебя опять не будет?

Михал кивнул. Он знал, что Катарину распирает тайна — она уже не может оставаться с нею наедине, ей нужно поделиться, но продолжал спокойно есть.

Катарина вздохнула. Стоя у плиты, она взглянула на Михала и зарделась. Затаила дыхание.

— Я тоже могла бы, если бы...— Она многозначительно замолчала, не спуская с Михала глаз.

— Что ты могла бы? — спросил он, глядя в тарелку и продолжая жевать.

— Михал...

Она подошла к нему. Он удивленно поднял глаза.

— Михал! Я... должна тебе кое-что сказать. Знаешь, Михал...— Она вздохнула и покраснела от волнения.— Посмотри, что я получила.

Она достала из выреза кофточки и протянула Михалу сложенный листок бумаги.

— Опять? — проворчал он раздраженно.— Оставь меня в покое!

— Ты только взгляни, Михал,— попросила она.

— Ну, покажи.

Он протянул руку. Катарина заботливо развернула перед ним письмо.

С минуту он пристально вглядывался в него:

«Катарина, Вы уже давно мне нравитесь, а Михал теперь часто в отъезде. Я с удовольствием зашел бы к Вам, но не знаю, что Вы скажете. Наверное, Вы уже заметили, кто на Вас посматривает. Дайте мне знать».

— Что за чертовщина! — вспыхнул Михал.— Кто это написал?

— Вот видишь! — сказала Катарина с интонацией, которая не осталась незамеченной Михалом.

— Кто это написал? — повторил он уже спокойно.

— Не знаю.

— Он же пишет, что ты его наверное заметила. Кто это?

— Михал...

— Когда ты получила письмо?

— Я нашла его как-то вечером в почтовом ящике.

— Значит, оно у тебя уже давно?

Михал задумался; пальцы его отбивали на столе дробь. Вдруг он крикнул:

— Нет, ты погляди на них! Им только этого и надо!

Катарина изумленно уставилась на него. Она не понимала, о чем идет речь.

— Им только этого и надо! — повторил Михал.— Я, кажется, разгадал их тактику. Они хотят восстановить нас друг против друга, поссорить нас. Сперва письмо насчет меня, теперь — насчет тебя...

— Но Михал...

— Мне все понятно,— продолжал он раздраженно.— Одному надо, чтобы ты мне была во всем помехой. Другому не нравится, что мы дружно живем. Третий хочет свалить меня. Но я расквитаюсь со всеми...— Он спрятал письмо.— Им не удастся поймать нас на эту наживку.

— Что ты хочешь делать?

Катарина в отчаянии посмотрела на него. Она была унижена и разочарована. Дышала глубоко и прерывисто. Одежда вдруг стала ей тесна.

— Ничего, я узнаю, кто это писал. По почерку. В картотеке в национальном комитете можно...

— Михал,— взмолилась Катарина,— Михал, не позорься, плюнь, разорви письмо!

На глазах ее блестели слезы.

— Не бойся,— сказал Михал.— Больше такое никогда не повторится. Об этом я позабочусь!

На этот раз Михал вошел прямо в пустовавшую сейчас закусочную.

Было около половины третьего. И хотя солнце ярко светило, стул возле «Венка» не стоял.

Кужела открывал новую бочку. Он вылез из подвала взлохмаченный и вымокший, в прорезиненном фартуке. Увидев председателя, поднял брови и бросил взгляд на открытую в кухню дверь. Ружа громыхала посудой в мойке.

— Что будем пить? — спросил он.

Не дожидаясь ответа, Кужела взял две кружки и направился к бочке. Был он сам не свой. После того случая он Михала больше не видел. Казалось, председатель обходит «Венок» стороной. За это время Кужела успел дважды поругаться с Адамом, который откровенно удивлялся и даже обиделся на него. Адам не чувствовал за собой никакой вины. Об их затее знали только они двое, даже Вилему ничего не сказали. Теперь они ждали, чем все это кончится и, разумеется, имели все основания держать язык за зубами.

— Снова с ромом?

— Нет, не пиво,— улыбаясь сказал Михал.

Минуту он с веселой искоркой в глазах наблюдал за Кужелой.

— Сегодня меня угощаете вы! — продолжал он мягко.

Глаза Михала скользнули по полке со спиртными напитками. Там стояли бутылки с яркими этикетками, наполненные беловатой, желтой, зеленоватой и совершенно бесцветной жидкостью Выбор крепких напитков был не таким уж большим: посетители «Венка» чаще всего заказывали ром или водку. На некоторых бутылках лежала пыль, другие были полупустыми. В одной-единственной бутылке вишневой наливки плавали хлопья осадка — явное доказательство того, что на этом напитке Кужела не заработал бы.

— По-моему, вы должны поставить мне бутылку «Охотничьей»,— сказал Михал подумав.

— Что? — Кужела словно бы ничего не понимал.— Это почему же? — спросил он хрипловато.

Он был известный скряга. Некоторые объясняли его скупость слишком большими личными расходами, связанными с еженедельными поездками в город.

— Почему я вдруг должен ставить вам «Охотничью»? — спросил он тихо и снова посмотрел в сторону кухни.

С пустыми кружками в руках он подошел к двери, ведущей в кухню, и закрыл ее.

Михал улыбнулся.

— Так надо,— сказал он мягко.— И вы мне ее сегодня поставите.

Затем, немного помолчав, продолжал:

— Как вы думаете — ваша жена узнала бы по почерку, что именно вы писали то письмо?

У Кужелы покраснела шея и даже шрам на лбу сразу набух и казался еще не зажившим. Он собрался было помыть поллитровые кружки под краном, но руки его так и замерли в воздухе.

— Ну и подкузьмили же вы меня! — зло сказал он.— Неужели вы можете...

Глаза, вперившиеся в Михала, потемнели и застыли.

— На этом мы могли бы поставить точку, покончить со всем. Что вы на это скажете? — прервал его Михал. На словах «со всем» он сделал едва заметное, но понятное обоим ударение.

Михалу вдруг стало хорошо, ему действительно захотелось выпить, но что-то такое, чего у него самого в доме не было.

— Хотите снова меня подловить? Знаете, как я это называю? — заговорил Кужела. Но тут в дверях появилась Ружа с подносом, уставленным вымытыми кружками и стаканами, и он сразу умолк, бросив на нее свирепый взгляд.

Михал дружески кивнул Руже и обратился к Кужеле.

— Выпьем вместе,— предложил он как ни в чем не бывало.

— Это он с удовольствием,— заметила Ружа, пожилая, уставшая, болезненного вида женщина с длинным бледным лицом и тонкими сухими губами.— Чего это вы тут? — спросила она Михала.

Глаза Кужелы забегали.

— Не видишь разве, у нас дела! — буркнул он.

Ружа почувствовала напряженность, висевшую в воздухе, и с интересом посмотрела на обоих. Она молча погромыхала посудой и вернулась с пустым мокрым подносом на кухню.

Кужела, сжав губы, замер у стойки. Он чувствовал, что попал в западню. Михал никогда не позволил бы себе такого, если бы не знал чего-то. Проклятье! Дело-то было щекотливое и принимало опасный оборот. Оно могло кончиться плохо. Кужела вовсе не хотел вступать в конфликт с председателем кооператива. Хотя он и был вне себя от ярости, но понимал, что председатель предлагает ему выход из сложившегося трудного положения, в которое его втянул Адам.

Он доплелся до стола и тяжело опустился на стул.

— А это письмо я получу обратно? — спросил он.— Мне бы не хотелось, чтобы из-за какой-то глупой писульки разразилась семейная буря. Я и без того сыт скандалами по горло. Вы меня здорово обвели вокруг пальца!

— Конечно, получите. И потом все будет в полном порядке,— спокойно сказал Михал, продолжая придерживаться своей тактики. Он знал, что иногда такой способ объяснения куда разумнее, особенно если не можешь сразу попасть в точку и доказать то, что хочешь узнать сам, потому что не столько знаешь об этом, сколько догадываешься. Это относилось и к человеку такого склада, как заведующий закусочной.

Кужела поднялся, принес бутылку «Охотничьей» и две рюмки. Откупорив бутылку, он снова сел и налил водку в рюмки. Они молча чокнулись и выпили.

Кужела понемногу отходил, гнев его сменился унынием.

— Дома теперь все в порядке? — не глядя на Михала, спросил он немного погодя.

— Вроде бы,— ответил Михал.

Он пил понемногу, глоток за глотком.

В окно Кужела увидел маленького Карлушку, который прибежал за лимонадом. Он с недовольным, почти враждебным видом обслужил его и опять подсел к Михалу за стол. Задумался, снова все взвесил и пришел к единственному выводу, что эту дубину Адама с его куриными мозгами надо было тогда выгнать взашей.

Когда бутылка опустела, Михал без единого слова достал письмо и разорвал его на мелкие кусочки.

— Да, подкузьмили вы меня,— хмуро повторил Кужела.— Теперь я у вас в долгу.

Михалу было очень хорошо, должно быть, так же хорошо, как Руде Доллару, когда тот уезжал несколько дней назад.

28

Под вечер Михал, дожидаясь машины, которая должна была отвезти его в Залужицы, разговаривал на кухне с председателем местного национального комитета.

Вернувшись домой, он едва успел ополоснуться, шумно пофыркивая, холодной водой и приняться за еду, как явился Петер Касицкий.

Михал сидел, удобно вытянув ноги, Катарина хлопотала у плиты. Он наслаждался минутами покоя, остававшимися в его распоряжении, хотя и не осознавал этого. Бесконечные заседания и собрания целиком поглотили его. Он разъезжал по округе, словно чей-то упол-

номоченный, давал частные консультации и вмешивался в дела местных политиков. При этом был глубоко убежден, что никакой политикой он не занимается, а заботится только о нуждах поречан и их соседей.

— Похоже, они что-то задумали, Михал,— сказал Касицкий.— Явно хотят подставить мне подножку.

Касицкий не назвал ничьих имен, и в этом не было необходимости. Тяжело вздохнув, он продолжал:

— Ладно. Я хоть немного поживу спокойно. С меня хватит. Работать с Вилемом — значит доконать себя.

— Оставь,— возразил Михал.— Выкинь это из головы. Не уйдешь же ты теперь!

Хотя Михал и устал, но после сегодняшнего посещения «Венка» он был в приподнятом настроении. Да и вообще он был оптимистом. Тем более что, судя по всему, дела шли хорошо.

— Именно теперь, Петер, когда у нас непочатый край работы?! — продолжал он.— Знаешь, что я узнал? Кооперативы уже сейчас сдают столько молока, что молочный завод в Павловицах не справляется с его переработкой. И молоко везут в цистернах в соседние районы, чтобы там его перерабатывать. А перевозка одного литра молока обходится дороже, чем его производство. Понимаешь?

— Ужасно! Это даже трудно себе представить,— возмутился Касицкий.

— Правительство уже столько затратило на нас, что теперь, когда капиталовложения должны бы начать возвращаться в казну, оно не может остановиться; оно должно сделать еще один шаг и помочь нам превратиться в настоящие фабрики продовольствия,— говорил Михал.— И они его сделают не по доброте, а потому, что хотят расцвета нашей страны, нашей жизни. Знаешь, именно это укрепляет во мне надежду на успех нашего плана. Должны же наверху знать и думать о таких вещах.

Касицкий вздохнул и вернулся к начатому разговору:

— Я уже по горло сыт своим председательством. Говорят, что вместо меня они хотят поставить Беду Сайлера.

Хотя разговоры об этом Михал тоже слышал, но считал их бессмысленными и не придавал им никакого значения.

— Ну, нет! — резко заявил он.— Председателем комитета должен быть кто-то из членов кооператива. Все Поречье живет прежде всего кооперативом! И ты, Петер, будешь тянуть свою лямку и дальше.

— Слышал я, что цыгане из Гаваи при голосовании будут меня вычеркивать,— продолжал Касицкий.— Что ты на это скажешь?

Михал задумчиво посмотрел на него.

— Но ведь добрая половина из них и читать не умеет. Как же они?..

— Очень просто. Им объяснят, что надо будет вычеркнуть, например, третью фамилию — и все! А тогда, если то же самое сделают несколько поречан, будет вполне достаточно, чтоб меня прокатить...

Михал призадумался. Он знал, что помешать вычеркиванию — дело сложное и предчувствие Касицкого может оправдаться. При мысли о том, что Вилем и его дружки снова будут держать в своих руках всю власть в селе, он даже вздрогнул. Опять могут настать трудные времена — излишние осложнения, новые препятствия. Сам Вилем, правда, не очень мешал Михалу, поскольку держался в стороне от его дел, а в некоторых случаях сотрудничество с ним было даже полезно. Но Михалу необходим был покой, у него и так забот хватало. Ему нужен был надежный тыл.

— Они могут выкинуть такой номер,— Касицкий снова вздохнул.— До сих пор не могут мне простить, что я был против кооператива, когда его создавали. Для них не имеет значения, как человек работает и что он думает теперь.

— Разными мы родились, разными и умрем,— глубокомысленно заметил Михал.

— Но вам надо что-то сделать! — вдруг горячо заговорила Катарина, внимательно и с интересом прислушивавшаяся к их разговору.

— Да, это следует обмозговать,— согласился Михал.— Лучше всего обсудить на собрании. Поречье — село земледельческое, кооперативное. Ясное дело, местная власть должна быть в наших руках, руках кооператоров.

Перед окном остановилась машина, и Михал устало поднялся. Касицкий вышел вместе с ним.

Катарина осталась одна. После обеда, когда Михал ушел, взяв у нее письмо, она была взволнована, даже испугана тем, что происходило вокруг них. Она поплакала оттого, что все так отвратительно. Но слезы ее были вызваны не только жалостью к самой себе и тоской, но и негодованием. Катарина прекрасно знала, что в последнее время над Поречьем сгущаются тучи, и понимала, по чьей вине. И хотя ей не было точно известно, кто написал оба так взволновавших ее письма, но, услышав разговор Михала с Касицким, безо всяких разъяснений сообразила, в чем дело, и у нее сразу защемило сердце.

Она была оскорблена не только за себя, но и за Михала. Черные тучи, нависшие над Михалом, да и над всем Поречьем, казались ей поистине грозными. Сидеть сложа руки нельзя, решила она. И загорелась желанием отвести опасность, надвигающуюся на Михала.

Постояв немного посреди кухни, напряженно вглядываясь в одну точку и размышляя, она вышла на улицу, но не взяла с собой, как обычно, табуретку, чтобы подсесть к соседям, которые отдыхали после трудов праведных у калиток, наслаждаясь теплыми тихими сумерками. Она лишь на минутку остановилась возле Рачековых и перекинулась несколькими словами с Аничкой. Разговаривая, она поглядывала на площадь, где сквозь песок снова пробивалась трава.

Вдруг она увидела Вилема, направлявшегося к «Венку». Едва он скрылся за дверью закусочной, как Катарина спохватилась:

— Ох, я же хотела сходить на кладбище!

Она вернулась домой, сорвала несколько голубых ирисов, только начавших распускаться, и с букетом в руке медленно зашагала вдоль площади. Вскоре она вернулась, но шла уже по противоположной стороне площади.

Шла не торопясь, внешне ко всему безучастная; временами останавливалась, чтоб обменяться словечком-другим с односельчанами.

Подойдя к жене Вилема, она улыбнулась Они перебросились несколькими словами. Разговор не клеился — Бетка Губикова не любила Катарину: она знала, что Вилем когда-то ухаживал за ней. Но сегодня Катарина была с ней любезнее и милее обычного. Уже собираясь продолжить свой путь, Катарина вдруг обронила озабоченно:

— Да-а, кто знает, как теперь все будет...

— А что такое? — заинтересовалась Бетка.

— Да вот, слышала я, такое люди говорят...— Катарина не договорила и вздохнула.

Глава VII. Поражение

29

Вилем вернулся из «Венка» в хорошем настроении. Переживания, связанные с отъездом Руды Доллара, были почти забыты; возмущение уже угасло, хотя какое-то внутреннее недовольство сохранилось. В остальном все обстояло как нельзя лучше. В «Венке» они с друзьями немного выпили, потолковали о том, о сем. Настроение у всех было бодрое, боевое — ведь так важно для мужчин, когда они добиваются чего-то,— а это залог победы. Вилем словно сбросил с себя смирительную рубашку, ему даже дышалось легче.

Беспечный и веселый, вернулся он домой. Ни Луцки, ни жены дома не было. Но Вилем по ним и не скучал. Он разделся и лег в постель, а так как был утомлен, то через минуту уже храпел.

Немного позднее от соседки вернулась Бетка. Увидев спящего мужа, она села на край кровати и принялась его тормошить. Вилем проснулся злой и раздосадованный. Возбужденное дыхание жены напоминало ему натужный, хриплый гул мотора, когда машина медленно и долго поднимается в гору.

— Вилем!

— Оставь меня, ради бога! Ну что ты не даешь мне спать? — не открывая глаз пробормотал он.

— Вилем, не храпи, проснись... Слышишь?

Она снова принялась его трясти. Наконец он поднял голову и широко зевнул.

— Ты что, выпила? — спросил он, увидев ее разгоряченное лицо.

В храмовой праздник или по какому-нибудь другому торжественному случаю, когда они вместе заходили в «Венок», она любила выпить рюмочку вишневой настойки.

— Ты знаешь, что Сайлер собирается урезать приусадебные участки? Вы что, очумели? Как же мы тогда будем? Нет, я...— Она задохнулась, в горле у нее застрял комок.— Нет, командовать нами ему не удастся! Пусть и не помышляет,— возбужденно добавила она.

— Да ты что, выпила? — снова повторил Вилем. Он тер сонные глаза и ничего не мог сообразить.

— Он хочет порушить наши приусадебные участки! — взорвалась Бетка.— Хочет у каждого отобрать по куску, потому что сам ничего не имеет. Он разъезжает как барин в автобусе на работу и с работы. Она торгует в сельмаге. У них никогда не было даже клочка земли!

— Ты что, спятила? Не болтай чепухи! — оборвал ее окончательно проснувшийся Вилем.— Откуда ты это взяла?

Почти все члены пореченского кооператива обрабатывали (кто для удовольствия, а кто по необходимости) значительно большие участки земли, чем было положено по Уставу единого сельскохозяйственного кооператива, и тем самым, естественно, нарушали его. Но в виноградарских селах на такие вещи смотрели сквозь пальцы, да и в Павловицах никто из районных властей не обращал на это внимания. Тем же нескольким беднякам, у которых никогда не было ни клочка собственной земли,— а к ним принадлежали Эда, Адам, Вилем, то есть самые рьяные пропагандисты коллективного возделывания земли,— кооператив выделил по небольшому участку в поле и несколько рядков виноградных лоз в старом винограднике. В таких делах Михал был щедрым и справедливым.

— Это правда! — продолжала возбужденно вопить Бетка.— Все так говорят. А эта его лавочница... Ей всегда было завидно, что у нас

в хлевушке свинка с кабанчиком. Говорю тебе: Сайлера никто выбирать не станет, все его вычеркнут.— Она перевела дыхание.— Да, пожалуй, это самое меньшее, что ему могут сделать...

— Где ты это слышала? Что за чертовщина?

Сидя на постели, Вилем тер виски. Со сна он никак не мог сосредоточиться.

— Тебе-то все равно! Я знаю. Тебе это даже по вкусу! — снова заверещала Бетка. Губы ее дрожали, голос срывался. Сама мысль, что их участок земли может уменьшиться, приводила ее в отчаяние.

Много лет работала Бетка только на чужом поле, а когда они с Вилемом получили полоску пашни и несколько рядков на винограднике, она просто срослась с этой своей землей. Она всегда мечтала иметь хоть несколько виноградных лоз. Виноградник издавна считался в Поречье признаком зажиточности и достойного положения. Бетка потому еще так радела о приусадебном участке, что одна из всей семьи работала в кооперативе. Тех продуктов, которые она получала наряду с деньгами, у нее было значительно меньше, чем у соседей. И несмотря на это, в их дом уже входил достаток. В прошлом году они закололи двух свиней, никогда им не жилось так хорошо. И Бетка наслаждалась благополучием. Только теперь она начала жить по-настоящему. У нее появилась гордость, спокойная уверенность, которых она раньше не знала. Они поднялись в глазах людей куда выше, чем в те времена, когда Вилем слыл первым человеком на селе, а семья едва сводила концы с концами. Несмотря на то, что прежде у них часто бывали семейные ссоры, она всегда решительно поддерживала Вилема во всех его общественных начинаниях. А теперь с трудом сносила те смуты, которые время от времени он вызывал в селе. Она страдала, когда женщины в поле или соседки возмущались действиями Вилема. Самыми разными способами старалась она заставить мужа уживаться с людьми, вести спокойную, достойную жизнь, но пока все было тщетно. Вилема ничто не могло изменить.

— Так ты опять... опять ты к этому делу руку приложил? — спрашивала она испуганно и в то же время с угрозой.

Вилем окончательно пришел в себя.

— Господи, ни о чем таком и речи быть не может! — воскликнул он.— Ну, что ты! Ведь Сайлер не дурак, чтобы затевать такое. А если бы даже кому-то и взбрело это в голову, то перед выборами он все равно не заикнулся бы. Вот после них — другое дело. Соображать надо! Из района никаких указаний на этот счет не было — уж я-то знал бы. Завтра потолкую с ним.

Сам Вилем мало интересовался приусадебным участком — он был выше этого. Если бы не жена, с которой ему вечно приходилось вступать в перепалки, не ее настоятельные требования помочь ей, когда урожаю угрожала непогода, он, возможно, и не знал бы даже, какой именно участок земли принадлежит им. Но он понимал, какие последствия могли бы иметь слухи, принесенные Беткой, и при мысли об этом по телу его пробежал озноб.

— Завтра все утрясем,— сказал он уверенно, чтобы успокоить себя и отогнать нерадостные мысли, к которым придется вернуться поутру. Хотелось также успокоить жену. Она все еще дышала, как перегретый мотор, и обиженно шмыгала носом.

Заснуть ему теперь удалось не скоро.

Утром он вышел во двор. Потянулся. Солнце приятно щекотало кожу. Воздух благоухал. Куры бросились врассыпную, когда он направился к колодцу. Вилем снял рубашку, окатил себя до пояса холодной водой и долго растирался полотенцем, довольно поглядывая на все вокруг. Вдруг ему показалось, что за ним наблюдают. Он бы-

стро обернулся. Неподалеку от изгороди стояли Альжбета Мохначова и Аничка Рачекова. Хотя вчера днем Вилем и Мохначова, встретившись на площади, дружелюбно побеседовали, сейчас почему-то и она, и Аничка смерили его враждебным взглядом. А когда он подошел к изгороди и поздоровался с ними, они молча показали ему спины.

Вилем обомлел.

Бетка, выгонявшая на лужайку овцу, которую они недавно завели, видела эту сцену. Она тихонько всхлипнула.

Вот так все и началось.

30

Последующие события развивались быстро и неожиданно. Вилем, Адам, Эда и их кандидат Беда Сайлер не успели даже опомниться и подумать о действенной обороне, как все уже было решено. В течение одного дня в Поречье не осталось наверное ни единого человека, который бы не осуждал Вилема и его единомышленников.

Лавина негодования и глубокого отвращения увлекла за собой и некоторых недавних сторонников Вилема. Даже Михала Бабьяка, Имру Бартовича и Людвика Купеца, которые до последней минуты горячо поддерживали Вилема, охватила паника. Они поддались настроению остальных односельчан и превратились в ярых его противников. Обычно так и бывает. Те, что внезапно «прозревают», относятся к своим недавним друзьям куда с большей непримиримостью и жестокостью, чем другие, щедро поливая их грязью и требуя их крови.

Вот и скотница Валерия Матяшова, которая так поддерживала Беду Сайлера, вдруг возненавидела его. И когда утром он шел, разумеется ничего не подозревая, на автобусную остановку, она даже плюнула в его сторону.

Отныне все Поречье считало любую попытку отстранить Касицкого от руководства местным национальным комитетом кощунством. Вечером возле «Венка» собирались кучками мужчины и орали, что выставят из села каждого, кто станет поддерживать Сайлера. Кто думает иначе, пусть, мол, убирается сам. Говорили, что такого подвоха уже давно следовало ожидать от Вилема и Беды. Были начисто забыты все добрые дела. Даже про сквер и про часы на костеле (установка которых как раз заканчивалась) забыли, хотя все это было неразрывно связано с именем Вилема. И многое другое, сделанное Вилемом, вдруг приобрело совершенно иную окраску и характер, чем когда о них разглагольствовали в «Венке». Каждый представлял теперь все только в черном свете.

Вилем, Эда, Адам и Беда Сайлер после нескольких перебранок с противниками не отважились пойти вечером в «Венок». Они собрались дома у Вилема, чтобы держать совет, как быть. Луцку послали за пивом, а Бетка сама исчезла из дому.

— Знал бы я, кто распустил этот слух, так выбил бы ему все зубы,— заявил Эда.

Он выпил пиво и поставил пустой стакан на стол.

— А не Касицкий ли это? — спросил Адам.— Он, видать, запаниковал, как бы Беда Сайлер его не обставил.

— Может, и он,— согласился Эда.— Теперь ясно, какое оружие они используют и как они опасны. Реакция не брезгает ничем.

— Ты считаешь, что это Касицкий? — задумчиво произнес Беда Сайлер.

Сайлеру было лет пятьдесят; лысый, круглолицый, с глубокими складками у рта и живыми, но какими-то испуганными глазами, он выглядел сейчас совершенно беспомощным. По правде говоря, Беда Сайлер, удостоенный чести стать кандидатом в председатели местного национального комитета, влип в эту историю совершенно случайно. И не по собственной инициативе. Правда, он был достаточно честолюбив и возможность возглавить органы власти в селе, объединенном в один из самых сильных кооперативов области, встретил с радостью. Тем более что Вилем заверил его, будто все пройдет совершенно гладко. Он заранее чувствовал себя обязанным ему. Однажды он уже оценил помощь Вилема — благодаря его вмешательству жена Сайлера стала заведующей сельмагом. Вилем за эту помощь ничего и не ждал от него — никаких услуг. Когда позднее в магазине стала работать Луцка, это было чистой случайностью, сам Вилем неохотно пошел на это. А теперь неожиданный коварный удар потряс Беду Сайлера, выбил его из колеи. Вконец растерявшись, не зная, как выпутаться из этой скверной истории, он настороженно глядел на Вилема — ждал от него помощи.

Вилем молчал.

— А что, если Беда объяснит людям все как есть. Скажет, что это неправда. И мы тоже где надо, между прочим, можем сказать пару слов о Касицком, ну то, о чем догадался Адам. Может, снова все станет на свое место. Это помогло бы нам,— сказал Эда неуверенно.

Все молчали.

Вилем медленно и долго потягивал из стакана пиво. Потом заговорил раздумчиво:

— Допустим. Только надо помнить, что любой разговор об этом вызовет новую волну кривотолков. А чем больше их будет, тем хуже. Пойдут разговоры в других кооперативах, скажем, в Горной Рыбнице, где таких приусадебных участков вовсе нет. А те поедут в район и станут ссылаться на нас. Мы не можем забывать и об этом.

— Верно,— поддержал его Эда.

— Когда все прикинешь, ясно, что мы увязли по уши,— продолжал Вилем.—Ведь если за эту историю с участками возьмутся в районе, да придадут ей политический характер, и примут соответствующее решение, то нам придется его выполнять. Вот чем это пахнет, черт возьми! Но перед выборами никто, даже сам президент, не захочет встревать в такое щекотливое дело, хотя бы оно и пошло всем на пользу.

Вошла Луцка. Она принесла из «Венка» еще один кувшин пива.

— Ну что там? — спросил Сайлер.

— Ничего особенного,— ответила она.— Все, как всегда.

Луцка собиралась уйти. Она стояла у зеркальца, висевшего возле окна, подкрашивала губы и, послюнив указательный палец, приглаживала брови.

Адам с интересом наблюдал за нею.

— По-моему, в пиве есть ром,— сообщил Эда, налив себе стакан из нового кувшина. Присмиревшие и испуганные внезапно нагрянувшей на них бедой, они скромно заказали одно только пиво.

— Ах да, пан Кужела влил в кувшин две стопки рома и ничего за них не взял,— вспомнила Луцка.

Такое внимание со стороны Кужелы согрело их сердца.

— Мне кажется, с Кужелой что-то стряслось,— заметил Эда.— В последнее время он ходит как в воду опущенный. Помните, такой же он был когда контролер влепил ему штраф.

При этих словах Адам заерзал и растерянно огляделся по сторонам. Он единственный знал, что произошло с Кужелой. А началось все так. Когда Адам увидел, как растерялся и приуныл Вилем из-за отъезда Руды Доллара, он решил чем-нибудь отвлечь его, потешить, чтобы вывести из подавленного состояния. А так как знал о его неудачном ухаживании за Катариной в молодые годы и оба недолюбливали Михала, то у него и возник план послать то самое письмо. Состряпал он его вместе с Кужелой. А чтобы все выглядело правдоподобнее, Кужела опустил письмо в Павловицах. Разумеется, они никому не обмолвились ни словом и, как истые заговорщики, выжидали развития событий, рассчитывая, что потом вместе с Вилемом будут наблюдать, как рассорятся Михал с Катариной. Адам предполагал, что Катарина несколько свяжет руки Михалу и тогда Вилему будет вольготней. А это особенно важно именно теперь, в самый ответственный момент перед выборами.

Но дело неожиданно приняло скверный и совершенно непонятный оборот — Михал, видимо, что-то проведал, и Адам здорово поругался с Кужелой. А теперь его мучила совесть. Он даже подумывал о том, чтобы признаться во всем Вилему, но потом решительно отказался от своего намерения. Этим он не только не порадовал бы его, а достиг бы как раз обратного. Он не мог позволить себе, просто не имел права доставлять Вилему лишние волнения при его нынешних огорчениях и заботах. (Адам и не подозревал, что своей необдуманной выходкой обрушил лавину, которая нежданно-негаданно изменила весь ход предвыборной кампании.)

Сайлер шумно вздохнул. Все снова погрузились в размышления о горькой и безутешной действительности.

— Что же делать? — робко спросил Сайлер, нарушив долгое молчание. Он не сводил с Вилема глаз.

— Делать что-то, конечно, надо, но что именно, я еще и сам хорошо не знаю, — сказал Вилем и откашлялся.— Прежде всего надо прощупать, кого им удалось подцепить на свою удочку, а кто еще идет с нами. Мы должны знать, на чью поддержку можем рассчитывать. На Гаваю положиться можно — тут ясно. Но если у нас не будет достаточно сторонников в селе, это бросит на нас тень. С чем тоже надо считаться.

В его словах определенно прозвучала воля к действию, блеснула надежда. И Эда ухватился за нее.

— Хорошо,— сказал он.— Это мы сделаем. Прощупаем все село

Однако проблеск надежды, вызванный упоминанием о Гавае, ни сколько не порадовал Адама и Сайлера. Опять все надолго умолкли.

Первым поднялся Беда Сайлер. Он уезжал на работу очень рано, с первым автобусом, и ему надо было выспаться. Ушел он унылый и растерянный. Эда проводил его презрительным взглядом.

— Я считаю, что мы должны были выставлять только твою кандидатуру, Вилем,— заявил он.— С тобой ничего подобного не произошло бы. Особенно после всего, что мы сделали для села. Да и виноградник у тебя есть. Тебя никто ни в чем не мог бы заподозрить и никто не смог бы очернить... Черт побери, а ведь еще, пожалуй, можно было бы и переиграть! Ты, Вилем, сам должен был бы...

Глаза у Эды загорелись. Адаму передалось его возбуждение. Он приободрился, глубоко затянулся сигаретой. Но Вилем прервал эти рассуждения:

— Где уж там! Теперь это не поможет. Они подумают, что мы только для вида отступаем. Ведь кандидатуру Сайлера предложил я сам. Пятно ложится на всех нас. А как подумаю, что если бы мы тогда не начали, то и никакого кооператива в Поречье не было бы и все

жили бы по старинке, злость меня разбирает. Удивляюсь, как быстро все забывается. Нет у людей ни капли благодарности!

Он встал, посмотрел в окно. Все кругом уже окутал ночной мрак, только на столбе перед «Венком» горел фонарь. Он освещал часть площади, посыпанной песком. Ярко светились и окна закусочной — в «Венке» было полно народу.

У Вилема невольно вырвался вздох.

31

Сопротивление, оказанное сторонникам Беды Сайлера, было настолько всеобщим и стойким, что план Вилема рухнул в самом начале. Единомышленники Вилема отказались от его осуществления после первых же робких попыток. Поречане открыто выражали им свое глубокое презрение и возмущение, не скрывая желания покончить с ними раз и навсегда. Все смотрели на них, словно на каких-то террористов, которые хотят сжить со света популярного, любимого народом и им избранного президента, как на изменников, готовящихся открыть ворота крепости, окруженной врагом. Было ясно, что Беду Сайлера и Вилема никто выбирать не станет, что поречане во время выборов просто вычеркнут их в бюллетене. Вилем даже подумывал, что ему, вероятно, надо бы съездить в район и посоветоваться. Но он был настолько растерян, что у него просто опускались руки.

Ко всему еще случилась беда у Эды — на скотном дворе серьезно заболели несколько коров. Каким-то непонятным образом в кормовую смесь, которую обычно приготовлял он сам, попала мочевина. Теперь Эда ни на минуту не покидал коровника, там и ночевал. Почти одновременно произошла неприятность и у Адама. В расстройстве чувств он обработал культиватором поле раннего картофеля в Сухой долине, принадлежавшее соседнему Мочаранскому кооперативу.

Вилем ходил как в воду опущенный. Ни к чему не проявлял интереса. Был угрюм и молчалив. Казался самому себе слабым и беспомощным, как малое дитя. Хотя солнышко припекало, он наперекор всему ходил в застегнутом пиджаке, как бы желая подчеркнуть, что не замечает перемены в отношении к нему односельчан. Уже третий день не брился. Даже курить ему не хотелось, голова просто разламывалась. В таком отчаянно скверном положении Вилем еще не бывал — он оказался в полной изоляции.

Правда, когда он раз зашел в «Венок» выпить кружку пива, Кужела пододвинул ему стопку рома. Но, к немалому его удивлению, Вилем отказался. Он заплатил и быстро вышел. Его задело за живое, что, наливая ему пиво, Кужела осторожно поглядывал на двух посетителей, сидевших за столиком, которые при появлении Вилема тотчас же умолкли.

Единственным человеком, не изменившим к нему своего отношения, была его дочь. К угрозе, которая встревожила и всполошила все Поречье, Луцка отнеслась совершенно безучастно, будто это ее нисколько не касалось. Она выглядела довольной и счастливой. Если на то уж пошло, ей ведь приходилось иногда в горячую пору, сразу после окончания работы в магазине, брать мотыгу и отправляться на приусадебный участок помогать матери. Она делала это неохотно и работала безо всякого рвения, на что отец смотрел сквозь пальцы.

Свое одиночество Вилем переживал настолько тяжело, что обычное отношение к нему Луцки воспринимал как удивительно нежное, внимательное. И это согревало его — значит, он все же не совсем

одинок на свете. Он платил ей за это пониманием и снисходительностью к ее поздним вечерним прогулкам. Даже слыша ночью странные шорохи и приглушенный шепот в ее комнате, он оставался в постели и только вздыхал.

Наступил четвертый «черный» день. Вилему было особенно муторно. Голова у него трещала. Они с Беткой были дома одни. У Луцки разболелся зуб, и она уехала в Павловицы к врачу. За обедом Вилем почти не притронулся к еде, и Бетка сидела с обиженным видом на табуретке у плиты, держа на коленях тарелку.

Вилем пошел в спальню, громко хлопнул дверью и улегся на постель.

Даже через закрытую дверь он слышал, как вздыхает, всхлипывает и шмыгает носом жена. Звуки эти были резкими, сердитыми, воинственными; в них чувствовалась не оборона, а нападение, и это еще больше угнетало и нервировало его. Ее вздохи и плач сопровождались громыханием посуды и ведер — чего Вилем не переносил с детства. Он накрыл голову подушкой, но тщетно — звуки одолевали его. Они олицетворяли собой Бетку, и она представлялась ему еще более тощей и костлявой, чем была на самом деле, какой-то колючей. Единственный плавный изгиб, единственное округлое место у нее, казалось, был подбородок. Издавна накапливавшаяся горечь и неудовлетворенность жизнью переполняли его. Он предпочел встать и уйти.

Вилем направился к себе в канцелярию. Шел посередине площади: возле домов тут и там стояли соседи, греясь на солнышке. На том месте, где, пробиваясь сквозь слой привезенного сюда песка, буйно росли травы и ромашки, он встретил лесника. Тот слонялся по площади, стараясь держаться поближе к дому Рачековых. В другое время Смолак охотно поболтал бы с Вилемом, но сегодня только кивнул ему, с опаской оглядевшись по сторонам.

С отвратительным ощущением, как побитая собака, добрел Вилем до канцелярии. К головной боли прибавилась боль в желудке. Обводя страдальческим взглядом комнату, он увидел на полке бутылку пива, и в нем поднялось сильнейшее отвращение к выпивке. Такое случалось с ним редко и только после сильного похмелья. Он убрал бутылку в шкаф, чтобы она не мозолила глаза, и обвязал голову мокрым полотенцем.

Теперь уже не было никаких сомнений: они проиграли. И в своих собственных глазах он выглядел сейчас святым великомучеником Вилемом — покровителем осужденных на смерть.

Он снова вернулся к мыслям о своей жизни. Почему он такой невезучий? Всегда его преследовали неудачи, хотя поначалу все обычно складывалось наилучшим образом. Планы его были превосходны. Казалось, перед ним открывается весь мир. Но затем каждый раз происходило что-то неожиданное, и все рушилось. Жизнь становилась мерзкой, отвратительной. Вилему вспоминалось сейчас все только самое печальное, горькое, с чем ему довелось столкнуться.

«Что бы я ни делал, как бы ни старался, а под конец все шло насмарку,— думал он.— Проклятие, почему-то всегда мне все выходит боком! Как тогда, с тем летним навесом!»

32

Восемь лет назад поречане были против кооператива. Вилем сплотил тогда первых смельчаков, застрельщиков новой жизни, чтобы покончить с бедностью, со старыми устоями и открыть селу путь к рас-

цвету. Большинство поречан усматривало в этом прежде всего сомнительную и рискованную затею, оскорбительную для них. Осуждением и злорадными насмешками встречали они каждый шаг смельчаков.

Вилему и его ближайшим единомышленникам приходилось туго — все у них шло вкривь и вкось. Даже среди их сторонников были такие, которые в душе не хотели иметь ничего общего с бессмысленной, по их мнению, попыткой основать кооператив, но вступили в него, опасаясь каких-либо санкций. Настроение падало, и кооператив едва держался на ногах.

Однажды под вечер Эда пас — тогда совсем еще небольшое — кооперативное стадо в Кругах. На этом пастбище с давних пор был загон с навесом для скота. Навес был уже старый, прогнивший, стропила местами обрушились, и в дождь скотина все равно мокла под ним.

Эда, сидя с Вилемом у костра, поджаривал на огне кусочки сала, когда около них вдруг остановилась машина секретаря райкома. Секретарь хотел сократить путь, и машина съехала с шоссе на узкий проселок, который пересекал пастбище. В сухую погоду так можно было попасть в Горную Рыбницу.

Они разговорились. Нежданный гость оглядел коров, укрывшихся под навесом. Неухоженные, грязные, лежали они в навозной жиже. Секретарь возмутился. Так вести хозяйство! Это же просто издевательство!

— Да разве ваши коровы будут доиться? Ведь здесь самый настоящий свинарник! Неужели нельзя навести порядок, построить новый навес?

Эда, который с детства был не в ладах с чистотой, виновато молчал.

— Работы невпроворот,— объяснил Вилем устало.— А работников — раз-два и обчелся. И в селе нас не больно-то жалуют.

— Знаю,— вздохнув, сказал секретарь.— И все же надо решительно взяться за дело. Постройте новый навес, а корма у вас достаточно.— Он обвел взглядом пастбище.— Да и лес под боком.

Вилем пригласил его к костру. Предложил отведать поджаренного на прутиках сала. Секретарь сперва отказывался, но потом все же присел на камень, который принес ему Эда. Завязавшийся разговор проходил уже в более спокойных тонах. Воздух кругом так и благоухал ароматом трав и цветов.

— К такому сальцу хорошо бы стаканчик вина,— сказал Вилем.

— Что ж, можно сбегать,— предложил Эда, многозначительно посмотрев на запыленную «волгу».

Секретарь отправил в Поречье шофера. Эда съездил с ним. Этот вечер у костра доставил всем большое удовольствие.

Дней через десять Эда спозаранок пригнал коров на пастбище — ту ночь скот провел в хлеве — и остановился как вкопанный.

Это что — сон? Ему даже почудилось, что он слышит колокольный перезвон. Он зажмурил глаза и снова открыл их. В Кругах сиял на солнце новый загон — навес, ограда и даже просторная сторожка: и все это — из нового, свежего леса, ослепительно чистое — казалось таким воздушным, просто нереальным.

Эда подошел поближе, ощупал все своими руками. В домике были даже нары, столик и место для бидонов... Он ничего не мог понять. Еще вчера на пастбище было все, как обычно. Сегодня же на месте старого навеса только чернело огромное пятно — от навозной жижи. От прогнивших, сломанных кольев загона не осталось и следа.

Он бросил стадо и помчался за Вилемом.

Найдя его в амбаре, запыхавшийся Эда стал рассказывать о чуде. Вилем сперва подумал, что тот спятил, потом решил, что это могло померещиться спьяну. Уж ему-то, Вилему, первому было бы известно, если бы что случилось. Да и на такое дело, как постройка нового навеса, у них даже времени не было. Но все же он вместе с Эдой отправился на пастбище.

Всю дорогу Вилем клял на чем свет стоит и себя, и Эду за пустую трату времени. А когда пришел на пастбище, потерял дар речи. Потом ущипнул себя, не снится ли ему? Огляделся вокруг: не забрели ли они в другое место — нет как будто.

Оба стояли как вкопанные и молчали. А мимо как раз проходил лесник Мигалко, предшественник Смолака.

— Ну, каково? — спросил он и загадочно улыбнулся.

Мигалко-то знал, в чем дело. Ночью, когда он возвращался из леса, его пес что-то почуял, начал лаять и привел его к пастбищу. Здесь раздавался громкий стук и было какое-то странное оживление. Мигалко, подойдя ближе, увидел в свете луны две машины, груженные лесом, и человек пятнадцать рабочих. Они ломали старую ограду загона и тут же ставили новую. Собирали и сбивали заранее приготовленные стропила, балки для навеса.

— Что вы тут делаете? — спросил Мигалко.

К нему подошел секретарь райкома. Он был явно недоволен, что лесник застал их за этой работой. Они немного потолковали. А затем Мигалко продолжил свой путь. Потому-то и улыбался он сейчас. А улыбка его сбила Вилема с толку. Он понял ее по-своему. Мочаранское лесничество, которому принадлежала лесная зона Поречья, взяло над их кооперативом шефство — ни в Мочаранах, ни в Горной Рыбнице кооперативов тогда еще не было. Лесничество должно было помогать пореченским кооператорам, но пока ничего не делало. Вот Вилем и подумал, что у шефов заговорила совесть и они решили удивить поречан.

— Так это вы построили? — спросил он.

— Хорош подарок, а? — сказал лесник. Он уклонился от прямого ответа и вновь улыбнулся.

Эда предложил ему сигарету. Вилем, полный благодарности и внезапно пробудившихся надежд, добавил:

— За мной бутылочка, друг. Приходи. Вечером разопьем в «Венке».

Слух о чуде в Кругах быстро разнесся по селу, и многие, не поверив, побежали туда поглядеть.

Произошло это утром, часов около семи. Вилем решил не терять времени даром. В одиннадцать часов он — как был в рабочем костюме, с налипшими на нем отрубями — появился в кабинете секретаря районного комитета.

— Товарищ секретарь, тебе следовало бы снова заглянуть к нам,— сказал он, улыбаясь во весь рот.

— Хм... С меня пока хватит последней поездки,— ответил секретарь.

Он сидел за письменным столом, к которому был приставлен длинный стол для заседаний, где лежала уйма каких-то бумаг. Секретарь испытующе поглядел на Вилема.

— И все же тебе следовало бы приехать еще разок,— продолжал уговаривать его Вилем.

Голос его обрел некую таинственность, обещание чем-то приятно удивить.

— У вас какие-то новости?

Вилему казалось, будто секретарь дружески протянул ему руку.

— Да. Навес...— сказал он.— Мы приняли близко к сердцу твой совет, товарищ секретарь, и взялись за ум. Короче говоря, сказали себе: «Товарищ секретарь был прав», поплевали на ладони, вооружились инструментом и вот — результат!

— Смотри-ка, значит, у вас все получилось?! — насмешливо заметил секретарь.

Но тут ему пришло в голову, что Вилем, видимо, продолжает игру, которую начал он сам. Разговор стал его забавлять. Он был доволен, что удивил пореченских кооператоров, хотя сам не смог бы объяснить, почему решил им помочь. Вероятно, тот короткий отдых на пастбище (он давненько не сиживал у костра!), запах обжаренных на огне, насаженных на прутики ломтиков сала, глоток вина из захватанной бутылки — все это запомнилось ему. Но помимо того он хотел также показать пореченским руководителям, что они должны делать. И поэтому попросил на лесопильном заводе заготовить навес и все остальное.

— Во сколько же вам это обошлось? — спросил он с любезной, почти ласковой улыбкой, которая еще больше подбодрила Вилема.

— Ну... пока точно сказать я не могу. Еще не все подсчитано. Немного помогло нам и лесничество,— добавил Вилем как бы невзначай. Потом вздохнул, собираясь добавить еще что-то.

— А как коровы? Все такие же грязные? — перебил его секретарь.

Вилем было запнулся, но улыбка тут же снова заиграла на его лице.

— Понятное дело! — заговорил он.— Это все равно как с человеком — вымоется он, наденет новое исподнее, ляжет в чистую постель, и сразу ему так хорошо становится, даже дышится легче, да и чувствует он себя здоровее. Короче говоря, в форме он по всем статьям. И со скотиной так же. Тут мы сделаем все, что требуется. Но сначала, чтобы коровы не измазывались, мы решили построить навес. И что за навес — просто чудо! — вернулся он к теме, ради которой явился сюда.— Вот я и думаю, что теперь дело у нас пойдет.

Он говорил, искренне веря во все, что говорит. И чувствовал, как растет в нем вера в свои силы, а вместе с ней и гордость.

— Уже, казалось, что работа угробит нас. Но люди загорелись и сделали все необходимое. Теперь следовало бы немножко поддержать в них боевой дух. И мне кажется, небольшая денежная помощь была бы лишь кстати. Раз уж дело у нас стронулось, надо и нам пойти навстречу. Подкинуть хоть немного деньжат....

Взволнованно, но ясными, невинными глазами смотрел он на секретаря. Тот удивленно вскинул голову, выпрямился.

— Людей эта работа подняла в их собственных глазах,— гнул свою линию Вилем.— Когда все было готово, у каждого стало на сердце радостно. И вообще, теперь помощь кооперативу значила бы куда больше, это не просто деньги; у нас тогда произошел бы самый настоящий перелом. Члены нашего кооператива поняли бы: стоит им не пожалеть своего горба — и результат налицо. Можно было бы приниматься и за дела поважнее. Тогда, по-моему, можно было бы сделать все...

Наступило недолгое молчание.

Секретарь пристально вглядывался в лицо Вилема. Он вдруг почувствовал себя обманутым, оказавшимся в дураках. Его словно бы обокрали, да еще и опозорили. Он возмутился.

Вилем хоть и заметил признаки опасности, но не сумел вовремя отступить с занятой позиции. Да и не понял, почему изменилось отношение секретаря. А постичь причину этого, естественно, не мог,

поскольку ни сном ни духом не ведал, что сделал для них секретарь, и вообще никогда ни с чем подобным не сталкивался.

— Вот...— сказал он нерешительно.— Вот я и думал...

— Вон! — рассвирепев, закричал секретарь.

Он подскочил к двери и открыл ее.

— Ступай прочь! — громко, с пугающей серьезностью крикнул он.

Вилема как ветром сдуло.

Все Поречье долго толковало о «чуде». Вслед за тем на Вилема одна за другой свалились новые неприятности; он окончательно упал в глазах односельчан. Не прошло и недели, как кооператив развалился.

И все же в истории с навесом намерения Вилема были самые честные и добрые. Ведь он действительно готов был на все ради кооператива. Но что бы он ни делал, невезенье преследовало его. Что бы он ни затевал, все шло прахом. Короче говоря, он был жалкий, достойный презрения неудачник. Сам он мог объяснить это только тем, что когда он появился на свет, вокруг кровати, должно быть, бегала черная кошка.

33

В таком состоянии — с повязанной мокрым полотенцем головой и поникшими плечами — и застал его Михал. Вилем сидел, тупо уставившись в одну точку.

Когда он вошел, Вилем долго глядел на него, словно на привидение,— он не слышал никаких шагов. Потом жалкое выражение его измученного лица сменилось растерянностью, похожей почти на страх.

Он хотел было сдернуть с головы полотенце, но сообразил, что Михал все равно уже видел его. Руку с мокрым полотенцем он неловко опустил на бумаги, которыми был завален стол.

— Что с тобой? — спросил Михал.

— Голова разламывается от этих окаянных бумаг,— ответил Вилем.

Он пытался скрыть от Михала истинную причину своего тягостного настроения — ведь он готов был просто плакать.

— И я их не жалую,— поддержал его Михал.— Порою у меня от них тоже голова идет кругом.

Покрасневшие глаза Вилема испытующе смотрели на председателя кооператива.

Михал держался по-дружески, будто в Поречье ничего и не произошло. Он понимал, что все уже решено, что Вилем побежден и у них с Касицким — свободное поле деятельности. Угрызений совести за происшедшее он не испытывал. Напротив, это его даже немного позабавило. О том, кто был первопричиной такой невероятной предвыборной сумятицы, он узнал совершенно случайно и даже не слишком поверил этому. Катарина ничего ему не сказала; только по ее намекам да и по многозначительным и загадочным улыбкам он догадался, что она приложила руку к этому делу. Михал предоставил событиям развиваться своим ходом. К тому же ему стало легче, потому что самое трудное время весенней страды миновало и для него наступили поистине солнечные деньки. В то же время он сознавал, что заходить слишком далеко в истории с Вилемом и Бедой Сайлером было бы неразумно. Ему вспоминался эпизод с автобусом павловицких экскурсантов, которые, выйдя в Поречье, приняли участие в голосовании, и по телу его пробегал легкий озноб. Теперь Михал был

уверен, что в селе у него крепкая опора. И ему хотелось поскорее взяться за осуществление планов, которые он вынашивал. Михал был убежден, что для пользы дела необходимо запрячь в них и Вилема.

— Шел мимо и решил заглянуть к тебе,— сказал Михал.— Как обстоит со списком избирателей? Все в порядке?

— Да,— хмуро подтвердил Вилем, все еще сам не свой.— С этим все в порядке.

— Гм... Но меня, Вилем, беспокоит еще один вопрос. Как ты думаешь, в Гавае угомонились? Не учинят там никаких безобразий? — Михал поглядел на заросшее, диковатое лицо Вилема.— Было бы хорошо, чтобы председателем остался Касицкий, вообще чтобы ничего не изменилось. Из списка кандидатов никого не следовало бы вычеркивать. По-моему, список такой, как надо!

Вилем внимательно слушал Михала. Временами у него от волнения перехватывало дыхание. «Что у Михала на уме? Ведь он прекрасно знает, что гавайские избиратели не решат исхода выборов, если не будет поддержки в Поречье. Так что же он?..»

— Нам надо сделать все, чтобы в бюллетенях вообще никого не вычеркивали,— продолжал Михал.— Это необходимо в интересах всего села.

Он хорошо знал, чего добивается.

А до Вилема так и не доходило: ведь Михал мог бы теперь раздавить его, почему же он этого не делает?

У него еще не было уверенности, правильно ли он понял председателя. Он бросил на Михала испытующий взгляд — хотелось по выражению его лица узнать, не ошибся ли он,— но никакого недоброжелательства не заметил. И тогда, несмотря на терзавшую его тревогу, в душе Вилема затеплилась неясная надежда.

— Что касается Керекеша, то это была превосходная идея,— сказал Михал.— Мы сможем лучше влиять на них, если выберем их представителя в национальный комитет.

У Вилема отлегло от сердца, хотя настороженность не покидала его.

— Как раз это я и имел в виду. Ведь нам то и дело приходится там что-то улаживать, утрясать,— осторожно заметил он, желая подчеркнуть и свою причастность к делам.— Как вот и теперь с выборами.

— Так они не будут вычеркивать? — спросил Михал.

Вилем на секунду замер. Он понял, что председатель протягивает ему руку помощи, и ухватился за нее: не безмозглый же он дурак!

— Я слышал кое-что,— сказал он.— Но я бы... Пожалуй, мы с Альбином сможем уладить... С ними легче договориться тому, кто не состоит в кооперативе,— многозначительно намекнул он.— Порою случаются такие дела, которые никогда не предусмотришь, будь ты хоть семи пядей во лбу, а они обрушиваются на тебя как гром среди ясного неба.— Слова его звучали искренне и убедительно.— Взять хоть Беду Сайлера. Какой поклеп на него возвели, а он-то ничего похожего и в мыслях не держал.

— Знаю,— согласился Михал.

Он вынул из пачки сигарету и закурил. Вилем с волнением следил за ним.

— Понимаешь, с выборами нам надо внести ясность,— продолжал Михал.— Ведь если люди будут думать, что Беду Сайлера по-прежнему прочат в председатели, его вообще не выберут.

Относительно избрания в комитет самого Вилема Михал даже не обмолвился, но тот и сам прекрасно сознавал, что этот печальный прогноз относится также и к нему и что он более чем правилен.

— Самое лучшее для всех нас — договориться и заявить, что

председателем останется Касицкий. Это успокоит людей. Как ты думаешь?

Вилем слушал его, задумчиво покусывая губы. Он знал, что они проиграли и любое сопротивление без помощи извне было бы совершенно бессмысленным. А тут ему неожиданно дается возможность уйти от полного поражения, избежать отверженности. Он проглотил эту горькую пилюлю. Что ж, надо было смириться.

— Я...— начал неуверенно Вилем,— я точно так же думаю. Это было бы политически правильное решение,— сказал он, и ему сразу стало как-то легче.

Он вдруг поднялся и достал из шкафа бутылку, которую незадолго перед тем убрал с глаз долой. Откупорил ее и разлил пиво в стаканы. Потом выглянул в окно и озадаченно воскликнул:

— Что это там столько людей?

— Наверное, пришел автобус.

— Нет, похоже у «Венка» какая-то потасовка.

34

Происходящие в селе события привели Эду в небывало тягостное состояние духа. У него тоже было мучительное ощущение, что они окружены, что надвигается самая настоящая катастрофа. Двое суток подряд не выходил он из коровника и вот теперь — уже далеко за полдень — шел домой. По дороге заглянул в «Венок» и выпил на голодный желудок три больших стопки рома. Опрокинул их одну за другой прямо у стойки. И вконец расстроился. Он был убежден, что кто-то нарочно подсыпал в корм мочевину, иначе объяснить происшедшее несчастье он не мог. Всю свою жизнь, с самого раннего детства, занимался он одним делом — выхаживал коров, и ничего подобного у него никогда не случалось. Он был готов подозревать каждого и даже тут искал связь с предвыборной борьбой.

Эда, так же как и Вилем, всегда знал, чего хотел, но был чересчур упрямым. Он упорно отказывался мириться с событиями, если они не отвечали его представлениям, а приспосабливаться не мог и не умел. Он никогда не считал, что все потеряно. И чем труднее были обстоятельства, тем воинственнее и настойчивее он становился. Потому-то так тяжело Эда переживал теперь их бездействие. Для него и сейчас речь шла прежде всего о важном святом Деле. Ему представлялось, что они оказались в положении человека, которого во время драки пырнули ножом, а он сидит и смотрит, как льется его кровь, но не делает ничего, чтобы ее остановить. Это было невыносимо.

Перекинувшись несколькими словами с Кужелой, Эда выпил четвертую стопку рома и вышел еще более раздраженный. На площади он сразу же у «Венка» натолкнулся на Людвика Купеца. Завязалась перебранка, короткая, но острая. Эда назвал Купеца «старой крысой».

До последних дней они очень хорошо относились друг к другу. Людвик с давних пор принадлежал к самым верным друзьям Вилема. А сколько невзгод пережили они вместе! Не мог Эда забыть и того, что этой зимой, участвуя в совместной акции, Людвик действовал особенно энергично. Тем тяжелее переживал он его измену Эда назвал так оскорбительно Людвика потому, что сам представлялся себе трупом, лежащим в мертвецкой... и у него росло желание доказать себе и другим, что он еще жив.

— Чего лезешь? — спросил Людвик

Его обветренное лицо побагровело. На всякий случай он отбросил недокуренную сигарету.

Кужела, выйдя из закусочной, наблюдал за ними.

— Ты крыса... изменник,— произнес Эда с таким презрением, на какое только был способен. Да вдобавок еще и плюнул.

— Иди ты...— отпарировал Людвик, пока он еще держал себя в руках.

Эда обрадовался, даже был благодарен Людвику: ведь он дал ему повод для драки. И если дело до нее не дошло, то только благодаря Густе, который неожиданно появился перед «Венком». Заметив опасность, он вмешался в ссору недавних друзей, и через минуту ему удалось успокоить обоих. Разочарованный, Эда подтянул пояс и собирался уже уйти, как положение неожиданно вновь обострилось.

Подошел автобус. Вышедшие из него люди (среди них был и Беда Сайлер) каким-то чутьем уловили, что происходит. В адрес Эды раздалось несколько насмешек, и тучи вновь сгустились.

Новой опасности Густа не заметил, потому что взгляд его был прикован к Луцке, которая тоже вернулась из города.

У нее было чудесное настроение. После зубного врача она зашла к парикмахеру. Волосы, уложенные пышными волнами, просто сверкали над ее лбом. Красно-черный свитерок плотно облегал фигуру. Губы были слегка подкрашены розовой помадой. Она остановилась увидев Густу, кивнула ему.

— Привет, Густа!

И в этот момент раздался первый удар. Эда, застрявший, как в сетях, в толпе приехавших из города, услышав насмешки в свой адрес, затрясся от ярости. Когда же он увидел Беду Сайлера, который, поспешно опустив голову, с видом поверженного, выходил из вражеского окружения, он почувствовал, что все это имеет уже важное значение не только лично для него, но и для общества. С воплем «Ах ты, крыса проклятая!» Эда накинулся на Людвика.

Густа на секунду опешил. Он видел, как Эда двинул Купеца кулаком по лицу. Тот закачался, но как мужик крепкий, умеющий постоять за себя, вернул удар. Поднялся галдеж.

Густа кинулся к дерущимся. Один случайный удар почти сбил его с ног, но он применил несколько приемов дзюдо и развел драчунов. Луцка восторженно следила за ним. А Густа, зная, что за ним наблюдают, демонстрировал высокий класс; он был почти счастлив, что ему представилась возможность показать себя.

Однако, несмотря на его вмешательство, возникла угроза, что драка захватит и других присутствующих. Воспрепятствовали этому уже Михал с Вилемом, поспешившие сюда и вклинившиеся в толпу.

Все же потребовалось еще некоторое время, прежде чем Эда и Людвик утихомирились и всеобщее возбуждение ослабло. С непостижимой быстротой по площади разнеслось, что Михал и Вилем договорились между собой, что приусадебных участков урезать никто не будет и что не следует вычеркивать в бюллетенях ни Касицкого, ни Беду Сайлера, ни Вилема, ни Керекеша. Короче говоря, все останется по-прежнему, и драка, выходит, была просто недоразумением. Правда, многие удивлялись этому, а кое-кто выражал сомнение, но взбудораженная площадь понемногу стала успокаиваться. А вскоре успокоилось и все село.

Но Эда так ничего и не понимал.

Когда Вилем увел его в сторону, он мрачно глянул на разорванный рукав рубашки и с досадой обронил:

— Проклятый Густа — очумел он, что ли? Из-за него я только раз влепил этому подлецу Людвику...

— Что, собственно, произошло? — спросил Вилем, хотя догадывался о причине драки.

Эда сплюнул.

— Ничего. Просто я ему сказал, что он крыса и подлец. Таких людей я, Вилем, не выношу. Меня от них тошнит.

Вилем посмотрел на него долгим взглядом. Сейчас, стоя лицом к лицу с Эдой, он утратил хорошее настроение, которое появилось у него после разговора с Михалом.

— Да, все пошло у нас шиворот-навыворот... Знаешь, Эда, я должен тебе кое-что разъяснить...— почти официально сказал он.

Глава VIII. Торжество

35

Как уже говорилось, драка между Эдой и Людвиком Купецом была запоздавшим взрывом — следствием длительной напряженности. Она случилась в тот момент, когда опасность братоубийственной предвыборной борьбы была уже предотвращена и волна вражды начала спадать. Вилем несколько раз, хотя и с болью в сердце, публично заявлял, что ныне Касицкий — самый подходящий и вообще единственный кандидат на пост председателя комитета и что лично он будет его поддерживать. В ответ на это Михал снял с Вилема и Сайлера обвинение, которое вызвало такую бурю страстей и послужило причиной стольких волнений.

Уже осязаемо ощущалось, что дыхание Поречья становится размеренным и спокойным. Все страхи остались позади. Росла и крепла всеобщая вера в будущее. Душевному успокоению способствовали также и другие обстоятельства. Основные весенние работы закончились. Солнце грело вовсю. Если ночью, случалось, шел тихий теплый дождичек, то утро снова было погожее. Дни стояли — краше не придумаешь. Весна шестидесятого года была в Поречье просто великолепной. Наконец пришло и сообщение, что дождевальная установка готова и находится уже в пути.

Кто-то в «Венке» даже заявил: «Выборы в Поречье теперь, можно сказать, и не нужны. Все ясно заранее». Это заявление было совершенно правильным, хотя теперешнее единство поречан не возникло столь самопроизвольно и не было таким радостным, как в начале весны, когда они единодушно приводили в порядок площадь.

Особенно тяжело переживал все Эда. Поведение Вилема его глубоко разочаровало. Два дня он старательно избегал встреч с ним, считая и его изменником. Но Вилем, решив предотвратить полный разрыв, сам отыскал Эду и завел с ним долгий душевный разговор. Каясь, признал он поражение, которого им уже никак нельзя было избежать, разъяснил нынешнее положение вещей.

— Послушай, ведь на этом наша жизнь не кончается. А потом, по-моему, вообще ничего особенного не произошло. Между прочим, пока все остается так, как было. И если хочешь знать, наша позиция в комитете даже станет сильнее, потому что Керекеш всегда будет держать нашу сторону. Поэтому, я думаю, надо, чтобы выборы прошли совершенно гладко. Это имеет и международное значение — нашей партии и правительству важно, чтобы все кандидаты получили как можно больше голосов. Эти выборы должны пройти наилучшим

образом, потому что товарищ президент Новотный после них должен подписать новую конституцию.

С таким государственного характера доводом Эда согласился, хотя и без особой охоты.

Прямо-таки животворное воздействие на поречан оказало торжественное открытие часов на башне костела. Монтаж их завершился несколько позже, чем предполагалось по первоначальному плану. И произошло это потому, что механикам очень уж понравилось Поречье, да и Павловицы тоже—они жили там в гостинице и приезжали в село на автобусе. И все же они закончили монтаж в самую пору — за неделю до выборов. Но не уехали сразу, а задержались в селе еще на три дня. Погода стояла прекрасная, они купались в Душе и были готовы в любую минуту, если вдруг в часах выявится какой-нибудь дефект, тут же все исправить. Мастера хотели сдать свою работу с отличной оценкой, чтобы никто и никогда не мог на них пожаловаться.

Пуск башенных часов состоялся в субботу, накануне выборов, и начался он небольшим богослужением и освящением. В обряде, состоявшемся в сквере перед костелом, на сей раз приняли участие почти все жители, празднично настроенные, торжественные. Сознание, что речь идет о полезном для всех деле, стерло обычно как-то проявляющиеся религиозные различия. В сквере буйствовали яркие краски молодой зелени и огненно-красных тюльпанов. Вокруг белой, лентами и ветками украшенной башни с квадратным, холодно поблескивающим, словно пластина льда, циферблатом кружили голуби. Все было прекрасно, настолько прекрасно, что никто не посетовал, когда два уставших голубя уселись на большую стрелку часов и та под их тяжестью немного сдвинулась вниз. Напротив, всем, кто стоял, задрав вверх голову, это показалось даже забавным.

У Марко в тот день был особенно густой и певучий голос. Он не только освятил часы, но и благословил кооператив и все село, покропил на все четыре стороны, где простирались пореченские поля, сады и виноградники, и попросил всемогущего быть милостивым к тем, кто украсил его дом башенными часами, дать им хороший, обильный урожай хлеба, овощей, фруктов и особенно богатый урожай сладкого и сочного винограда. Потом он призвал верующих, чтобы утром после ранней обедни они, помолившись сообща, отправились выполнить свой гражданский долг и чтобы единодушно избрали всех выдвинутых кандидатов.

— Бог видит все,— сказал Марко.— И даже то — вычеркнет кто-нибудь кандидатов в бюллетене или нет.

Он говорил об этом горячо, можно сказать, с воодушевлением, несколько нарушив даже закон — ведь агитация накануне выборов запрещена.

Но на это никто не обратил внимания. Интересы поречан, их стремление к единству — вот что было для всех самым важным.

Даже такие отпетые безбожники, как Вилем и Адам, после этого богослужения были в каком-то приподнятом настроении. В костел они бы не пошли ни за что на свете, считая, что таким поступком могут только запятнать себя. Но тут, в сквере у костела, Вилем радостно улыбнулся Адаму. Разве часы, а значит и это торжество не их рук дело? Да, у Вилема было такое ощущение, что чествуют именно их. Он искал глазами Эду. Но не нашел его здесь. Эда одиноко стоял на другой стороне площади и задумчиво глядел на башню.

36

В воскресенье ранним утром (часы на костеле показывали ровно шесть) Альбин вместе с Вилемом, Касицким и водителем автобуса Штепаном Бартовичем открыли избирательный участок, украшенный флажками и цветами. На стене висели государственный герб и портрет президента Новотного, обвитый праздничной гирляндой. Они еще не успели сами выполнить первыми свой гражданский долг, как пришла чета Эштоков.

Их приход вызвал удивление — обычно в подобных случаях они заставляли себя ждать или не приходили вовсе. Но оказалось, что их столь раннее участие в выборах имеет серьезную причину. Супруги торопились на крестины в Мочараны, и добираться туда им предстояло пешком, поскольку по воскресеньям автобусы не ходили.

Пани Эштокова несла узелок с тортом. Он стоял в картонной коробке, но был так высок, что никак не умещался в ней и ее нельзя было закрыть. На замысловатых украшениях из крема, напоминающих колыбельку, лежал пластмассовый голышок. Чтобы ненароком не смять торт, пани Эштокова не выпускала его из рук. Она подошла с ним к урне и осторожно опустила избирательные бюллетени, выданные Альбином.

Тут с улицы донеслось блеяние: Йозеф Матяш, как обычно по утрам, гнал коз на выгон. Он привязал их к забору, а сам зашел проголосовать.

Блеяние коз послужило для поречан своеобразным сигналом.

Пани Сайлерова подошла к окну, отдернула занавеску и, поглядев в сторону школы, сказала:

— Началось. Можем идти.

Беда Сайлер был в полной готовности: в праздничном костюме, в начищенных до блеска ботинках. После той злосчастной истории, в которую Беда попал как кур во щи, супруги считали своим долгом проголосовать в числе первых.

Те, кто не пошел в костел, друг за другом или группками тянулись к избирательному участку. Пришел и Кужела. Сегодня «Венок» был закрыт, потому что по закону до полного окончания выборов запрещалось продавать какие-либо спиртные напитки. В Поречье, где у каждого в погребе были достаточные запасы и каждый мог выпить по своему желанию и потребности что угодно, такая мера, с точки зрения Кужелы, была просто смехотворной. Но зато у него оказалось свободным воскресенье, чего не случалось уже давно. Медленной, тяжелой походкой пришел Мохнач, потом супруги Полаки с нижнего конца села — они собирались поработать на винограднике до вечера. Площадь оживала.

Почти в то же самое время, когда к школе приплелся Адам, из калитки своего дома вышли Михал с Катариной. Катарина спешила в костел, но ни за что не хотела отказаться от радости и удовольствия пойти на выборы вместе с мужем. Они медленно, с достоинством шли через площадь.

На Катарине была кашемировая блузка, отделанная тонкими кружевами у выреза и на манжетах. Материал купил Михал и преподнес ей в знак примирения после одной из своих командировок. На груди с левой стороны поблескивала костяная брошка — летящая чайка, тоже подарок Михала. Наряд ей был очень к лицу, она прямотаки сияла. Катарина сознавала, что в спокойном ходе выборов есть и ее заслуга, поскольку она своими действиями положила конец интригам против Михала. Когда они вошли в зал для голосования, она

с улыбкой взглянула на Вилема, сидевшего за письменным столом, на котором лежали списки избирателей. Тот опустил глаза и, выдвинув ящик стола, склонился над ним, сделав вид, будто что-то ищет. Михалу показалось, что он покраснел.

Проголосовав, Катарина направилась в костел. Так как одета она была слишком нарядно и вырез блузки, отороченный кружевами, был вызывающе глубок, то перед входом в костел она набросила на плечи темный платок, чтобы не осквернить дома господня.

Эда, правда, появился позднее, но все время слонялся возле школы — хотел быть под рукой, если вдруг зачем-то понадобится. Настроение у него было плохое, и чтоб подбодрить себя, он уже с утра немножко выпил. Увидев Густу, Эда направился было к нему, но вдруг с недовольным видом остановился: Густа резко повернулся и зашагал к дому Вилема, где в эту минуту скрипнула калитка и в сверкающее солнцем утро вышла Луцка.

Настоящая толчея на избирательном участке началась приблизительно в половине восьмого, когда нагрянула беззаботная, веселая, жизнерадостная толпа цыган из Гаваи. Керекеш привел с собой всех. Впервые у них будет свой депутат в местном национальном комитете — жители Гаваи считали это прорывом вражеского укрепления и вошли в него вместе с детьми. Сразу поднялся галдеж. Пестрая толпа цыган внесла суматоху. На улице их пытался утихомирить Густа. А на самом избирательном участке сразу привалило работы, но все шло без сучка без задоринки. Никто из гавайских, так же как ни один из поречан, не зашел за ширму. Все открыто голосовали «за». Ширма находилась в углу помещения, у окна, и ее матерчатые стенки изрядно просвечивали. Если бы кто-нибудь и зашел за нее, чтобы, взяв ручку, кого-то вычеркнуть, это можно было бы увидеть.

И все же не обошлось без происшествий. Оказалось, что цыган Адольф Кендик, включенный, как и остальные, в список избирателей, куда-то исчез. Никто ничего о нем не знал.

— Где он? — спросил Вилем, раздраженно подняв брови.

— Куда-то ушел и пока не вернулся,— с полным безразличием ответил Керекеш.

— Когда ушел?

— Недели две назад, наверное.

— А ты не мог прийти и предупредить об этом заранее? — напустился на него Вилем.

— Просто ушел человек — и все. Кто его знает, может, до вечера и вернется.

— Хорошенькое дело — сиди тут и дожидайся его! А может, он в кутузке?

— Нет, это вряд ли,— сказал Керекеш.— Ада сидел пока только дважды.

Вилем и Альбин уткнулись в бумаги — они были в замешательстве; Касицкий неприязненно поглядывал на Керекеша. Он никогда не мог подавить в себе антипатию к обитателям Гаваи.

— Что же делать? — со вздохом спросил Вилем.— Неприятная история. Этот окаянный парень может испортить нам все показатели. Надо вычеркнуть его из списка.

— Верно,— сказал Альбин.— С одной стороны, это делать не положено, ну а с другой — что, если он действительно угодил в кутузку за свои проделки и нам не успели еще сообщить...

— Что тут долго раздумывать,— прервал его рассуждения Вилем.— Если он попался и сидит, то ясно, что участвовать в выборах не может. Выходит, он не должен быть в списке избирателей, и его надо исключить. Делать это сейчас не положено, ты прав. Но кто мог

подумать, что он выкинет такой номер, черт возьми! Один подонок может испортить всю музыку... если мы сообщим, что избиратель не явился на выборы. Это выглядело бы как политическая демонстрация, как протест против партии и правительства. Давайте вычеркнем его из списка и поставим печать,— распалясь настаивал Вилем.

Альбин какое-то время колебался, но потом согласился с его доводами; согласились с ними Касицкий и Бартович, затем и Керекеш. Последний аргумент Вилема был самым убедительным: ему не хотелось, чтобы на Гаваю легло пятно.

Новая волна избирателей нахлынула примерно через час, когда распахнулись двери костела. Верующие, в основном женщины, с молитвенниками и четками в руках заполнили избирательный участок. Первым получил бюллетень Марко и направился прямо к урне. По его примеру за ширму и на этот раз никто не зашел. Выборы носили откровенно демонстративный характер.

Все шло просто и естественно. Женщины торопливо расходились по домам заниматься стряпней, мужчины немного задерживались на площади. После второй волны к школе направлялись время от времени только те, кто запоздал, увлекшись болтовней по дороге.

— Как вы считаете, когда мы закончим? — спросил довольный Касицкий.

— В последние выборы кое-кто приплелся около полудня,— ответил Вилем.— А сегодня все идет как по маслу. Я думаю...— Он оглядеался и радостно воскликнул: — Боже милостивый! Да ведь мы можем оказаться первыми в районе! Это, конечно, было бы большой для нас честью, а, кроме того, мы могли бы получить... Да мы могли бы выиграть в соревновании!..

— В каком соревновании? — заинтересовался Касицкий.

— Как в каком? То село в районе, которое первым и наиболее успешно закончит выборы — то есть единодушно, без каких-либо вычеркиваний проголосует за своих кандидатов и тем самым покажет, что его жители наиболее сознательные,— получит премию в пятнадцать тысяч крон. Кто окажется на втором месте — получит десять, а на третьем — пять тысяч крон. Тем же, кто займет последующие места, вручат только грамоты. Но я, говоря об этом, имею в виду не деньги. Тут речь идет о чести. И нам следует поднажать. Который теперь час?

— Еще нет и девяти,— сказал Альбин.

Хотя у Вилема на руке были отличные часы, он вышел на порог и посмотрел на башню. Он действительно только сейчас вспомнил о соревновании. Когда в Павловицах объявляли о нем, ему и в голову не пришло, что их село может быть среди первых. Ведь тогда сложились такие обстоятельства... А сейчас все уже в порядке. Сегодня в Поречье голосуют все, как один.

— До финиша близко, время у нас отличное,— заметил Вилем,— а еще нет девяти. Мы провели все как надо, и дело у нас на мази.

Больше о соревновании они не говорили, но только о нем и думали. Альбин и Касицкий проверяли по спискам избирателей, кто еще не проголосовал, и выписывали их фамилии на отдельном листке. В три минуты десятого избирательный участок опустел.

Вилем снова вышел на порог, поглядел по сторонам. Никто не шел в сторону школы. Площадь была безлюдной, как обычно в воскресное утро.

Он вернулся, довольно потирая руки.

— Мне кажется, мы подошли к финишу. Кто еще должен прийти?

Альбин показал ему листок. До сих пор не проголосовали только двое: Цирил Матяш и дядя Касицкого — Карел.

Густа и Эда охотно согласились их проведать. Оказалось, Цирил ночью поссорился с женой и так напился, что не может встать на ноги. А дядя Касицкого после завтрака отправился на виноградник и до сих пор не вернулся.

— Может быть, послать к ним с урной? — спросил Вилем.

— Когда пойдем к больным да престарелым — заодно и к ним заглянем. Ждать больше нельзя.

Посовещавшись, решили, что Бартович и Эда возьмут урну и зайдут сначала к отцу Мохнача, который уже год хворает и дальше крыльца с помощью палки доковылять не может. Затем посетят старую Альжбету Бабьякову, уже несколько лет вообще не поднимающуюся с постели из-за рассеянного склероза. По дороге заскочат к Матяшу, и, если Карел Касицкий к тому времени не вернется, сделают крюк к Кривому полю, где находится его виноградник. По тропинке до Кривого поля можно добраться меньше чем за пятнадцать минут.

Бартович полагал, что Густа пойдет вместе с ними, но Вилем запротестовал:

— Пойти посмотреть, что с людьми, это одно. А являться с урной — совсем другое. Ему нельзя. Он на дежурстве и к тому же в форме.

— Правильно,— поддержал его Альбин.

— Кто-нибудь потом такое может наклепать! Люди ведь всякие бывают. Да и не положено ему этим заниматься.

Бартович и Эда ушли.

Вилем с довольным видом потянулся и вновь посмотрел на часы. Было семнадцать минут десятого.

— Я, пожалуй, пойду звякну,— сказал он.— Пока кто-нибудь приедет из района нас проверить, ребята уже вернутся.

— Мне кажется, надо бы еще немного подождать,— возразил Касицкий.

— Ни к чему. Потом час прождешь, пока соединят. Сегодня к ним не пробьешься, а дорога каждая минута.

Он направился в кабинет Альбина, где стоял телефон. Это был одновременно и школьный кабинет природоведения. Комната была заполнена чучелами птиц и грызунов, пробирками, наглядными пособиями, мешочками с сухими растениями.

Каким-то чудом Вилема тотчас же соединили с Павловицами. Ему ответил секретарь районного национального комитета Юрай Смуда. Они с Вилемом хорошо знали друг друга.

— У нас — все! — радостно сообщил Вилем.— Никак не мог дозвониться. Сижу на телефоне почти двадцать минут. У нас проголосовали все сто процентов. И за всех кандидатов. Никто никого не вычеркивал и даже не заходил за ширму. Как у других?

Он затаил дыхание.

Дверь в кабинет была открыта, и Альбин с Касицким слушали разговор. В это время зашел посмотреть, как идут выборы, и Михал.

— Поздравляю, Вилем! — сказал Смуда.— Вы — вторые.

— Что?! — заорал Вилем. В трубке все время что-то трещало.— Кто-то нас обогнал? Черт возьми! Кто же первый?

— Блатница. Удивляешься, дружище, да? — Секретарь засмеялся, когда ошеломленный Вилем умолк.

— Что? Повтори! — закричал, придя в себя, Вилем.

Блатница с незапамятных времен была одним из самых захуда-

лых сел в их районе, и в Павловицах вечно с нею маялись, вытаскивали из всяких бед.

— У них, знаешь ли, сегодня храмовой праздник. Мы хотели, чтобы они отложили его на неделю, но их деятели поклялись, что до восьми все село проголосует, а потом будет праздновать. Так и получилось — выборы закончили с опозданием против уговора всего на несколько минут. В Блатнице уже открыли закусочную и пивную. Да, им теперь есть за что выпить!

— Вот это да! Но в таком случае за что же им давать премию? Устраивать одновременно с выборами храмовой праздник — это уже коммерческая сделка, а не соревнование. А им отвалят теперь целых пятнадцать тысяч!

— Десять тоже на улице не валяются,— перебил его Смуда.— Скажу откровенно, я рад, Вилем, что на втором месте — вы. Молодцы! Тем более, если учесть все то, что вы сделали у себя перед выборами. В среду утром приезжайте с Касицким. Но мы еще созвонимся. Да, сейчас пошлю к вам наших ребят. Пусть поглядят, все ли в порядке.— И он, не попрощавшись, положил трубку.

Выйдя из кабинета, Вилем с облегчением вздохнул и широко улыбнулся.

— Значит, мы почти выиграли. А могли бы отхватить и пятнадцать тысяч. Вы слышали? Ну, ладно, все равно мы опять среди первых.

Его согревало сознание успеха Дела, и возвращалось несколько поколебленное чувство уверенности. Неудачи и тревоги последнего времени как рукой сняло.

— А что, если нам это отметить?! — воскликнул он. И обвел торжествующим взглядом Альбина, Михала, Касицкого.

— Когда? Сейчас? — спросил Альбин.

Касицкий и Михал промолчали.

— Ну, что вы!.. Конечно нет,— сказал Вилем.— В среду утром мы с Петером поедем в район. Там состоится торжественное заседание, где будут давать оценку итогам выборов. И вот когда мы привезем наши тысчонки, тогда и сообразим. Надо же немножко передохнуть и нам... Что вы на это скажете?

Он поглядел на Михала.

Михал и Касицкий кивнули в знак согласия. Улыбка Альбина свидетельствовала и о его полной поддержке.

— Следовало бы немного подготовиться,— потирая руки, заметил Вилем.— Но предоставьте это мне.

37

В среду с самого утра сияло солнце и на небе не было ни облачка. Вилем и Касицкий первым же автобусом уехали в Павловицы. Там, в зале заседаний районного национального комитета, состоялась небольшая торжественная встреча, где подняли бокалы за успешно проведенные выборы и за будущие успехи в работе. Выборы во всем районе прошли блестяще. Все кандидаты в депутаты областного и районного национальных комитетов были избраны и получили в целом более девяноста восьми процентов голосов. Не прошли только три кандидата в местные национальные комитеты.

Итак, район снова подтвердил, что заслуженно пользуется доброй славой, и доказал, что политическая работа ведется в нем на должном уровне. Все выражали удовлетворение и радовались насту-

пающей длительной передышке — до следующих выборов. Вилем с Касицким получили для Поречья грамоту и чек на десять тысяч крон в награду за отлично подготовленные и успешно проведенные выборы. Все происходило так, как обычно бывает в подобных случаях.

Вилем сиял. Выйдя на минуту из зала, он столкнулся в коридоре с Юраем Смудой. Они разговорились. Смуда — секретарь районного национального комитета — был как бы прямым начальством Вилема. Но он всегда держался с ним не официально, а очень по-дружески. Вот и сейчас он поделился с ним новостью, которая пока еще держалась в секрете и которую ему самому доверительно сообщил его друг. В Павловицах, сказал он, скоро приступят к строительству крупного промышленного предприятия, которое будет из привозных деталей изготовлять прицепы к грузовикам. В министерстве все уже решено. Смуда был в восторге и красочно описывал, какое будущее ожидает теперь Павловицы. На заводе будет занято полторы тысячи человек. Издавна сложившийся чисто сельскохозяйственный облик их района наконец-то изменится. Вот когда Павловицы поднимутся по-настоящему.

— Знаешь, пробить такой завод нам было не легко. Наверху шла настоящая борьба, но ведь и мы не лыком шиты! — Он был преисполнен гордости и самодовольно потирал руки.— Ты, вообще, можешь себе представить, что будет значить для нас такое промышленное предприятие? Короче говоря: мы кой-кого обскакали. А прицепы будем изготовлять и на экспорт. О нас узнают даже зулусы в Африке. Это тебе, братец, не какой-то там консервный заводишко.— Тут он запнулся.— Ах да, эта ваша идея насчет консервного завода... Знаешь, Вилем,— заговорил он доверительно,— с ним надо немного подождать. Завод автоприцепов сожрет все наши капиталовложения. И, кроме того, Вилем,— пусть это, разумеется, останется между нами — в тех районах, куда мы возим на переработку овощи и фрукты, очень приуныли, когда узнали о вашем плане: мол, тогда у них не будет хватать сырья. Своего-то у них действительно почти нет. Это же бедный край, потому там после революции и построили консервный завод. Ну, а вы, пореченцы, молодцы, ничего не скажешь! Только планы ваши, Вилем, надо немного отложить. Позднее мы к ним еще, наверное, вернемся. Ну, пока! Я пошел.

Вилем оцепенел. Что за чертовщина! Что ж теперь будет?

Он смотрел остановившимся взглядом прямо перед собой и не мог собраться с мыслями. Вначале ему показалось, что он ослышался. Может, Смуда шутит? Нет, он не шутил... Павловицы поднимутся... Район поднимется... Да, но ведь консервный завод был уже включен в план?! Нет, Вилем отказывался понимать. «Что же делать? — лихорадочно думал он.— Ведь обо всем уже рассказали людям, разъясняли, доказывали им, что консервный завод — наша насущная потребность. И это правда. Районное руководство само все подсчитало. На всех предвыборных собраниях об этом говорилось. И вот — на тебе! Что же теперь делать?» Он чувствовал себя обманутым и с горечью сознавал, что снова сел в лужу, как в случае с Рудой Долларом. «Вот дьявольщина! Мы опять оказались в дурацком положении. Что теперь скажут в Поречье?»

Наконец Вилем взял себя в руки. Обдумал, как ему теперь быть, и решил, что пока не следует сообщать своим эту новость, чтобы не испортить им настроения. Иначе сорвется и то маленькое торжество, которому все так обрадовались. Он твердо решил держать язык за зубами.

Вилем вернулся в зал. Лицо у него было расстроенное.

— Что случилось? — спросил Касицкий.

— Желудок побаливает...— с неопределенной, несколько смущенной улыбкой ответил Вилем и перевел разговор.

По дороге к автобусной станции Вилем зашел к знакомому мяснику. Еще в понедельник он заказал два килограмма молодой говядины и столько же свиной грудинки. Если их соединить, получится, как считал Вилем, самый лучший сочный гуляш. А готовить гуляш Эда мастер! Все остальное, что необходимо для хорошего настроения, а также для утоления голода и жажды, имелось в собственном хозяйстве и не требовало особых хлопот.

Дневным автобусом Вилем и Касицкий вернулись в Поречье.

38

Это был самый прелестный уголок на берегу Души; из Поречья до него можно было добраться за каких-нибудь полчаса. Тут — неподалеку от ее впадения в Черную воду — течение речки перекрывали массивные шлюзовые створы. Пока поречане не построили этой плотины, Черная вода во время бурного весеннего таяния или сильных дождей вытесняла воды Души и заставляла ее течь вспять. Тогда Душа широко разливалась, затопляя окрестные поля, образовывала омуты и заливчики. Теперь среди зарослей ивняка и ольшаника извивалась глубокая затока, наполнявшаяся водой, когда створы плотины закрывались.

Рыбы здесь было великое множество. В омутах, заросших тростником и камышом, на заре и по вечерам, высунув из воды головы, плескались карпы. У берегов, укрывшись в корягах и тине, большие темные щуки подстерегали свою добычу — подлещиков, линей, карасей, плотву. Ночью выплывали на лов угри. В зеленоватой воде затоки временами мелькал серебристый судак или водную гладь стремительно разрезал черный плавник сома. На дне прогретой солнцем речки обитали тритоны, раки, лягушки, личинки стрекоз, головастики, поденки, уйма всяких насекомых, самые разные моллюски и черви. В норе под корягой жила ондатра. На высоком, заросшем кустарником берегу устраивали себе убежища дикие кролики и ежи. С противоположного берега, защищенного дамбой, сюда прилетали фазаны, чтобы полакомиться семенами и насекомыми. За речкой простирались поля. За ними вдали повыше виднелись виноградники и вытянутой дугой поднимались покрытые лесом Карпатские горы, откуда речка брала свое начало.

Здесь, в этом зеленом царстве тишины и покоя, вскоре после полудня появились Адам и Эда. Предварительно договорившись с Михалом и Касицким, Вилем послал их сюда, чтобы они все заранее подготовили. Они выехали из села на тракторе, вскоре после того как прибыл автобус, на котором вернулись из города Вилем и Касицкий. Можно было подумать, что они едут куда-то далеко работать.

На изгибе дороги, недалеко от мостика плотины, они свернули к зарослям ивняка и ольшаника и там поставили трактор, надежно укрыв его от солнца и от глаз случайных прохожих. Эда в одной руке нес тяжелую корзину, прикрытую мешковиной, а в другой — ведро с бутылками. Адам тащил скатанную циновку из тростника, изрядно потрепанную и замызганную от частого употребления, а также пятилитровую бутыль.

Проходя по мостику, они наметанным глазом оглядели все вокруг. И сразу, не сговариваясь, оба направились к покрытой сочной травой полянке, неподалеку от берега реки.

Створы тяжелых дубовых ворот, вставленные в глубокий забетонированный желоб, были открыты. Речка текла спокойно. Через выложенный деревом водосброс, у которого в случае необходимости и закрывались ворота, с журчаньем и всплесками стекала прогретая солнцем вода. С другой стороны полянку окаймлял ольшаник. Переливающаяся на солнце пышная листва молодых деревцев отбрасывала тень, и лишь местами — то тут, то там — сквозь зеленый заслон ветвей пробивались трепещущие лучики солнечного света. Но большая часть поляны была на самом солнцепеке. Так что каждый мог выбрать себе местечко по душе. Теплый ласковый ветерок доносил запах касатика. На берегу реки — низком и пологом — громоздились принесенные течением бревна, сухие ветки и кора деревьев, пучки сена. На кустах, растущих у самой воды, тоже виднелись следы речных наносов. Кругом царило величавое спокойствие. Место это было прекрасно и днем в лучах солнца, и вечером при свете луны.

Здесь и расположились лагерем наши устроители. В тишине был слышен лишь плеск воды да стрекот сверчков и кузнечиков в траве. Адам потянулся с блаженной улыбкой. Оба разделись и в одних трусах, взяв циновку, мешок и ведро, направились к затоке — в устье ее торчали черные колья.

Раскатав циновку, Адам и Эда влезли в воду. Циновку укрепили под водой между кольями. В центре тростниковой перегородки, закрывшей теперь все неглубокое русло реки, под водой было круглое отверстие. Адам, стоя по пояс в воде, еще заканчивал укреплять циновку, а Эда уже шагал вдоль берега. Метрах в ста от устья затоки он сломал большую ветку и снова влез в воду. Он бил веткой по воде у поросших кустарником берегов, шлепал ногами, разбрызгивал и мутил воду. Он гнал рыбу вниз, туда, где стоял Адам.

Адам ждал ее в полной боевой готовности, приставив к отверстию в циновке мешок. Вначале он даже не видел Эду, а только слышал, как тот шлепает по воде,— затока была извилистой. Потом заметил, как спокойная водная гладь вокруг него заволновалась, зарябила на солнце. Показался Эда. Над его головой кружила потревоженная мошкара. Стремительно проносились, плясали, то появляясь, то исчезая, пестрые бабочки, комары, мухи, стрекозы. Сверкая на солнце, они со всех сторон облепляли Эду.

Вдруг Адам почувствовал в мешке первый сильный толчок. Он быстро приподнял мешок, сунул внутрь руку, ловким движением ухватил карпа и выбросил его на берег.

По мере того как Эда — весь в тине и водорослях — приближался к устью (временами он попадал в заболоченные места), рыбы становилось все больше, и скоро возле Адама вода кишмя кишела ею. Наталкиваясь на неожиданное препятствие, рыба искала щель, чтобы улизнуть. Но тут-то и попадала прямо в мешок. В траве на берегу билось уже штук тридцать рыбин — три щуки, несколько карпов, линей, головлей, много лещей, окуней и сазанов. Мелких рыбешек, головастиков, тритонов и двух испуганных лягушек Адам сразу вытряхнул из мешка в воду.

Усевшись на берегу, Адам и Эда принялись чистить и потрошить свой улов. Кучу внутренностей, на которую с жужжанием слетались мухи, Адам выбросил прямо в воду — пусть кормятся ими другие окуни и судаки, пусть растут и жиреют. Короче говоря, пусть подрастают для следующего пиршества.

На полянку, где был лагерь, они вернулись с доверху наполненным ведром рыбы. Двух самых больших карпов и щуку Эда нес в руках.

В мешочке у них была припасена соль, смешанная с перцем. Ничего другого для стряпни им и не требовалось. Адам послюнил палец и поднял его вверх — ветерок дул со стороны речки.

Через несколько минут вспыхнуло и весело заплясало пламя костра — дровишки для него приготовили быстро. Это была узкая и длинная — около двух метров — полоса огня. Пламя и легкий белый дым потянулись в сторону ивняка. С надветренной стороны, склонившись над костром, выстроились пруты с нанизанной на них рыбой. Большие рыбины были продеты по одной от рта к хвосту. Маленькие, нанизанные по три-четыре штуки, казалось, плыли по воздуху. И у всех рыб, в меру поперченных и посоленных снаружи и изнутри, на спинке были сделаны поперечные надрезы — чтобы не съежились. Ни пламя, ни дым их не касались. Они пеклись от жара, которым обдавал их костер.

Почти одновременно неподалеку от этого костра вспыхнул другой, обложенный камнями. Здесь в закопченном котелке жарились нарезанные вместе с зелеными перьями золотистые луковки. Вторым блюдом, по замыслу Вилема, был гуляш. На него пошло мясо, привезенное из Павловиц. Время от времени Адам с Эдой прикладывались к бутылке, что стояла рядом на траве.

В ту самую минуту, когда благоухание касатика отступило перед победно наступавшим запахом жареного лука, на тропинке показались Михал, Вилем и Касицкий. Следом за ними шли Альбин и остальные новоизбранные члены комитета — Штепан Драбек и Мохнач. Беда Сайлер с извинениями сообщил, что не сможет принять участие в пирушке, потому что работает во вторую смену.

Подойдя ближе к поляне, все как по команде остановились, вдохнули аппетитный запах и с признательностью оглядели шеренгу пекущихся рыбин и груду нарезанного кусочками мяса, которые Эда бросал один за другим в котел.

Выбранное Адамом и Эдой место всем понравилось, казалось уютным и обжитым. Чтобы впечатление было полным, Адам, с радостью взявший на себя роль хозяина, налил по стопочке. Чокнувшись, все выпили. Теперь каждый счел своим долгом помочь Адаму и Эде. Одни собирали и подносили к костру кору и ветки, другие взялись поддерживать огонь.

Когда у костра нагромоздилось столько топлива, что его хватило бы на то, чтобы запечь еще такую же партию рыбин, Альбин, на этот раз свободный от обязанностей хозяина, сбросил с себя одежду и направился к плотине.

Вода была теплая, хорошо прогретая солнцем. Разбежавшись, он с криком «гоп» ловко нырнул, вытянув вперед руки. За ним последовали остальные. Поднялся шум, возня, со всех сторон летели брызги. Потом купальщики перелезли через водосброс и уселись под ним. Спокойная, задерживаемая плотиной и согретая солнцем вода, переливаясь, падала им на спины. Это было так освежающе-приятно, что сидеть здесь можно было бесконечно долго. А те, кто уже удовлетворился процедурой водного массажа или почувствовал от него усталость, могли развалиться на залитой солнцем отмели. Наслаждение стало еще более полным, когда мучимый жаждой Вилем крикнул Адаму, который вместе с Эдой приглядывал за рыбой и гуляшом: «Принеси-ка нам бутылочку — мы хлебнем по глоточку», и Адам охотно выполнил его просьбу.

Взойдя на мостик, он спустил на веревке бутылку «Жемчужины Поречья». Вскоре ему пришлось доставить купальщикам таким же образом еще две бутылки. Альбин и Касицкий развлекались, стараясь утопить друг друга. Остальные их подзадоривали, но вместо того что-

бы хлопать в ладоши, шлепали по воде ногами. Когда Адам, не обделяя, между прочим, и себя «Жемчужиной Поречья», спускал на веревке четвертую бутылку, он решил позабавиться, и как только купальщики протягивали руки к бутылке, тотчас приподымал ее. Хохот и крик стояли невообразимые. Право пить первым предоставлялось тому, кто схватит бутылку, но приманка, на которую все бросались, без конца ускользала.

В самый разгар игры на берегу появился Марко — он ждал каких-то посетителей, досадовал, что не может пойти со всеми, но пообещал обязательно прийти позднее. Марко остановился, потянул носом... Уже у мостика слышались дразнящие запахи. Он окинул взглядом пламя костра со склоненными над ним запекающимися рыбинами, котел с гуляшом, купальщиков под мостиком.

Марко пришел в восторг. За годы своей деятельности в Поречье он научился ценить те прекрасные и легкомысленные мгновения жизни, которые связаны с едой и возлияниями. Господь создал такой живописный уголок и такие минуты для того, чтобы дать человеку облегчение и радость. Марко знал: такие мгновения нельзя упускать, ибо они скоротечны.

— Эгей! Вот это водопой! — радостно крикнул он.— Дай боже добрый урожай и в нынешнем году!

— Урожай будет, ведь вы же, пан священник, его благословили,— ухмыляясь заметил Адам.

— А как иначе? — ответил Марко.— Но вы, друзья, тоже должны приложить усилия. Ведь у нас разделение труда. Правда, вот тут мы будем трудиться сообща.— Он снова, как истый гурман, принюхался к запаху готовящихся яств.— Сейчас и я спущусь к вам!

Через минуту пан священник уже был обрызган водой и согрет первыми глотками «Жемчужины».

— Вот и хорошо. Теперь мы в полном сборе — весь национальный фронт! — засмеялся Альбин.

— А где же Керекеш? — вдруг вспомнил Михал и огляделся. Только сейчас он заметил, что того здесь нет.

— Вот тебе на! — с досадой воскликнул Вилем, он тоже совершенно забыл про цыгана.

— Может, Адаму съездить за ним? — неуверенно предложил Альбин.

— Его все равно не застать сейчас дома,— возразил Вилем.— Мне кажется, я видел его в городе. Давайте оставим ему бутылочку, и дело с концом.

Все согласились.

Настроение было преотличное. Речная вода обмывала не только белую кожу Михала, но, казалось, и его душу. Солнце ласково грело шею и грудь. На сердце стало на редкость светло и спокойно. И Михал вдруг почувствовал голод. Он вышел из воды и направился к костру. Присев на корточки со стаканом в руке, он с интересом наблюдал, как печется рыба. Серебристые, полосатые, свинцово-серые, даже черные брюшки и спинки рыб с красноватыми, желто-коричневыми, крапчатыми и черными плавниками, присыпанные солью с перцем, раскрывались над трепещущим жаром; на них образовывались веерообразные запекшиеся бороздки, по которым у больших карпов и щук стекали вниз, к головам, капельки жира. На рыбьем носу такая капелька превращалась в жемчужину; она все росла, потом падала с тихим шипением на горячие угли и превращалась в едва заметный, тонкий, как паутинка, дымок, струйкой подымавшийся вверх.

Адам уже несколько раз поворачивал вертелы, чтобы рыба за-

пеклась равномерно со всех сторон и на ней образовалась хрустящая корочка. Он подошел к Михалу и доложил:

— Эти, что поменьше, уже готовы.

Михал как зачарованный смотрел на них.

Адам и Эда, насколько это было возможно и позволял улов, нанизывали на один вертел поочередно окуня, сазана, линя и леща. Они делали так не из эстетических побуждений и не по прихоти (в мерцающем воздухе эта четверка напоминала плывущую упряжку), а по чисто кулинарным соображениям. Каждый участник пирушки получал вертел сразу с четырьмя разными видами рыб.

— Мне кажется, мы могли бы уже начать,— глотая слюнки, сказал Михал, он уже просто не мог отвести глаз от рыб.

— Но сначала выпьем?

Адам чувствовал себя неуверенно: он до сих пор не знал, известно ли председателю, кто именно сыграл с ним злую шутку с письмом, а вернее, кто подложил ему такую свинью. При разных обстоятельствах он расценивал свою выходку по-разному. Но то, каким образом Михал вышел из положения, в которое они с Кужелой его поставили, невольно подняло его в глазах Адама. Растерянность Адама, вызванная историей с Бедой Сайлером, также явилась причиной его нынешнего необыкновенного трудолюбия и усердия. За последние десять дней у него не было ни одного «окна» и держался он со всеми как можно предупредительнее. Однако в присутствии председателя вдруг становился неловким, словно бы деревенел. Вот и сейчас, наливая Михалу вина, он перелил через край. Адам очень обрадовался, когда увидел, что и остальные купальщики возвращаются к костру.

39

Все принялись за еду. Сидя на траве, сначала отведали рыбок помельче — некоторые были так пропечены, что их можно было есть прямо с костями, и они аппетитно похрустывали на зубах. Рыбины покрупнее еще допекались. Ели без хлеба, чтобы прочувствовать нежный, сдобренный солью с перцем вкус каждой рыбы. Хлеб будет хорош с гуляшом — там ведь и подливки много. Но отведать это блюдо пока никто не спешил. Бутылки то и дело ходили по кругу, и без того уже приподнятое настроение все поднималось. Наконец, очередь дошла до рыбин покрупнее. Их обглоданные кости и головы предавались огню. Когда допили последнюю бутылку, Эда направился за оплетенной разноцветными прутиками пятилитровой бутылью золотистого муската, которая охлаждалась в речке. Он поставил ее подальше от плотины, чтобы она не дразнила купальщиков. Адам взял у него из рук бутыль.

— Что ж, давайте тяпнем по стаканчику «Жемчужины»! Как я понимаю, завтра нас снова ждет работа и кто его знает что еще,— сказал Вилем.— Воспользуемся же этими прекрасными минутами. Адам! Налей-ка нам!

— Слава господу богу за щедрые дары! — торжественно провозгласил Марко. Он сидел поодаль в тени, наслаждаясь прохладой.— Я никогда не едал такой вкусной рыбы!

Марко любил поесть. И сегодня начал сразу с куска побольше. Он съел почти килограммовую щуку, небольшого карпа и теперь намеревался уничтожить еще двух окуньков.

— Честь и хвала! — произнес он, взяв вертел, на который они

были насажены, и тут же заметил: — Господи, а у меня опять пустой стакан?!

Михал полулежал, опираясь на локоть. В одной руке у него была щука, в другой — стакан. Он улыбался. Вино всем ударило в голову.

— Эда, куда ты все время бегаешь? Иди сюда, посиди с нами,— крикнул Вилем.

Эда только что вышел из речки — он тоже решил освежиться. Сосредоточенно помешал он томящееся в котле мясо и, подойдя к костру, где расположилась компания, взял одного линька. Ему было не по себе. Несмотря на окружающую красоту, на радостное настроение присутствующих, на избыток вина, его не покидало подавленное настроение. Он вспоминал, как здорово было тогда в саду у Альбина, и все не мог решить, не изменяет ли он Делу, отмечая сегодня победу Касицкого и Михала.

То ли глядя на Эду, который был явно не в своей тарелке, то ли потому, что несколько выпитых стаканов вина заставили его острее осознать, что он утаивает то, что должны были бы знать все, но только вдруг Вилем мрачно заговорил:

— Подумать только — как мог бы человек веселиться, радоваться, если не было бы на свете всяких каверзных вещей, которых ему не понять! Так вот, знайте — консервного завода у нас не будет! — Он огляделся и продолжал: — Ума не приложу, как вам это объяснить. Вместо него будут строить какой-то сборочный завод... будут выпускать автоприцепы. Это, мол, необходимо для того, чтобы район наш поднялся и чтобы у нас была своя промышленность. А прицепы эти станут вывозить даже куда-то в Африку. Вот и все, что сказал мне Юрай Смуда; больше ничего не знаю. Я, наверное, не должен был бы вам говорить это, да только гложет меня оно.

Но все уже было сказано. Наступила пугающая тишина. Слышалось только жужжание насекомых, шум воды, слабое потрескивание горящего дерева да бульканье гуляша в котле.

— Ты думаешь, это он серьезно? — нарушил молчание Касицкий.— Иди ты знаешь куда с такими новостями! Консервный завод был включен в программу избирательной кампании! Понятно?

— Да, был включен,— подтвердил Вилем.— Я и не удивляюсь, что вы мне не верите.

Все взгляды устремились на Михала. У Адама, который собирался снова наполнить стаканы и поднял бутыль, вдруг опустились руки, и он поставил бутыль на траву. Эда, склонившийся над котлом, выпрямился; с палочки, служившей ему мешалкой, капала подливка.

Михал сидел, опустив голову и оцепенело уставившись себе на ноги. В нем, как тогда, когда Катарина получила первое письмо, поднялась ярость и в то же время его охватила растерянность, сознание собственного бессилия.

— Нет это невозможно,— тихо заговорил он, и губы его дрожали.— Говорят-говорят одно, а получается совсем другое. Ведь это лишено здравого смысла. Совершенно непонятно. О чем там думают? Или вообще не думают? Это же бессмыслица! Так... так мы потеряем все, чего достигли. Кто останавливается на полдороге, тот будто и не трогался с места... Как оглянусь я на путь, что мы уже прошли, вижу — сделано немало. Правда, кое-чего нам еще не хватает для полного успеха. За эти годы страна набрала силу. Но надо бы еще крепче, увереннее стать на ноги. Вдох сделан глубокий, легкие расширились, а теперь, когда страна так растет, что-то препятствует ее дыханию. Разве им этого не видно? Что они, не умеют считать? Забыли, что дважды два — четыре? Каждый ребенок это знает. Это же

простейшая таблица умножения. Тут какая-то ошибка. Я чувствую, хорошо чувствую это. Такие ошибки отравляют нам жизнь. А они словно не знают, что надо делать дальше. Как нам теперь быть? Ума не приложу. Но что-то делать мы должны. Каждый разумный человек обязан это понять. А они разучились считать? Кто же... Кто это так мог?.. Боже, как только я подумаю... Нет...

Михал никак не мог взять в толк того, что сообщил Вилем. Это казалось ему столь же диким, как если бы посреди огромной плантации клубники кто-то построил кирпичный завод, а глину, к тому же, возил за десятки километров.

Перед его мысленным взором пробегали товарные поезда, груженные стальными прутьями, отливками, разными штампованными изделиями, колесами, ящиками болтов и инструментов. Он видел, как загромождают они железнодорожные станции и подъездные пути, где ждут отправки горы капусты, огурцов, помидоров, абрикосов, черешен, слив. Видел, как вся эта масса овощей и фруктов, уложенных в ящики, вянет и покрывается плесенью. Видел, как тракторы с прицепами, доверху груженные овощами и фруктами, возвращаются из районной заготовительной конторы обратно в Поречье. Он чувствовал гнилостный запах вокруг полевых складов, забитых овощами. Они представлялись ему жуткими кладбищами, где погребены плоды их труда, где отъедаются гусеницы, тли, мухи, черви, слизни, полевые мыши и крысы, где во множестве плодятся дикие кролики и зайцы. Он видел, как через неделю после того, как одна-единственная бабочка-боярышница отложит яички, которые разнесет ветер, и они осядут на листьях, отовсюду полезут и будут объедать листья сотни прожорливых желтых гусениц.

Михал съежился, обхватил руками колени; даже в его движениях чувствовалось, какая свинцовая тяжесть сковала все его существо. Окружающий мир, такой прекрасный и теплый, представлялся ему суровой пустыней, от которой веяло холодом. Михал был подавлен и одинок.

Вдруг словно откуда-то издалека до него донеслись слова Касицкого:

— Нет, этого не может быть. Ведь там же сидят люди с головой! Чего они, собственно, хотят — желал бы я знать? Какова их цель?

Михал молчал. Он все еще не мог собраться с мыслями. Они то теснились, то расплывались у него в голове.

Но слова Касицкого задели за живое Вилема. Он задумался, очевидно ведя какой-то спор с самим собой, а потом все же высказался:

— Наверное, там на это смотрят иначе. Возможно... возможно, тут дело связано с обороной страны. Ведь нельзя, чтобы все заводы были сосредоточены в одном месте. Но это — не нашего ума дело. И причину такого решения мы с вами никогда не узнаем. Тут безусловно что-то есть. Такие вещи с кондачка не делаются.

Тон, каким это было сказано, как будто такое обоснование допускал, но в то же время не лишен был и сомнения. Вилем просто не знал, что ему думать по данному поводу. Его обуревали противоречивые чувства. О том, что они кого-то обскакали, как сказал Смуда, он даже и не заикнулся. Он чувствовал сейчас острую неприязнь к этому выражению.

— Вот мы и сели в лужу! — зло бросил Касицкий.— Снова вернулись туда, откуда начали.

Михал медленно разнял руки, сжимавшие колени. Он уже воспринимал слабое потрескивание угольков в костре и тихий шум речки; видел разбросанные в траве бутылки, полуобгоревшие на затухающем огне рыбьи головы, и кости, и самую большую щуку, и двух

карпов, насаженных на вертел. Только теперь в поле его зрения стали попадать лица.

Взгляд его остановился на Вилеме. «Ну, да,— подумал он,— Вилем, пожалуй, мог бы теперь даже позлорадствовать. Ведь из предвыборных программ и планов — перенос креста, разбивка сквера у костела и установка часов — это, можно сказать, единственное, что поречане действительно получили».

— Ну, нет — почему же мы в луже? — сказал, печально улыбнувшись, Михал.— Ведь мы пока еще живы! А что, если нам самим взяться за дело? — Теперь это нам тем более необходимо, раз уж...— Он помолчал.— Думаю, никто лучше нас самих не знает, что нам сейчас в первую очередь надо. В конце концов, кто нам мешает самим построить такое предприятие? У нас в районе сорок восемь кооперативов и всем нужен консервный завод. Надо объединить усилия и договориться. Хотя бы с некоторыми. Может быть, лучше всего построить совместно небольшой консервный заводик и держать его в своих руках... Пусть для начала это будет совсем маленькое предприятие... Ну, скажем, начать с шинковки и засолки капусты.

Плечи его расправились, и он в упор посмотрел на Вилема.

— Капусто-засолочный пункт? Ты это имеешь в виду? — спросил Вилем изумленно.

— Да, он находился бы... вернее, должен был бы находиться близко от железной дороги. И мы бы, совместно...

— Так ты хочешь...— Вилем запнулся.— Вот чертовщина! — воскликнул он; в голосе его прозвучало невольное восхищение, но и неуверенность.— А ведь они там, наверное, не очень и задумывались о строительстве нашего консервного завода, когда решался вопрос о заводе автоприцепов.

Он напряженно перебирал в памяти все, что говорил ему об этом деле Смуда, но мысли его разбегались.

— Боже милостивый! А ведь это мысль, Михал! — радостно проговорил Альбин, окидывая всех взглядом.

Михал кивнул ему.

— Думаю, нам с Вилемом надо съездить в район и снова все объяснить там. Заедем и к некоторым соседям. Я полагаю, что среди них мы найдем союзников и компаньонов. Они страдают от того же, что и мы. С капусто-засолочным пунктом мы, кооператоры, и сами справимся. Уж на что другое, а на это сил у нас хватит. Уверен, что дело у нас пойдет,— повторил свою мысль Михал.— И самое лучшее — держать все в своих руках; управлять таким капусто-засолочным пунктом может какое-нибудь местное сельскохозяйственное объединение. А Вилем поможет протолкнуть нам это дело в районе. Верно?

Общее настроение было таким, что и Вилему предложение Михала представилось совершенно правильным и естественным. Он с готовностью подтвердил:

— Ну, ясно. Ясно, что каждый из нас сделает все, что сможет.

Остальные шумно поддержали его. Всех охватило радостное возбуждение, пирушка приобрела иное направление. Ни у кого не возникало сомнения, что настоящему делу никто и никогда не сможет ставить палки в колеса.

Один только Касицкий попытался было робко выразить опасение.

— Вот как бы нам опять кто-нибудь не встал поперек дороги,— заговорил он.— Я бы...

— Заткнуть глотку можно только тем, кто ест чужой хлеб, а мы едим *свой*,— с ударением произнес Михал.

— Так пусть его у нас всегда будет вдоволь! — провозгласил Марко и поднял стакан.

Он снова оживился, его пышущее здоровьем, круглое, румяное лицо сияло.

Все чокнулись.

— Послушайте! А начало-то у нас уже есть! Те десять тысяч, которые нам дали! Ну, что бы выборам бывать почаще?! — воскликнул Адам и засмеялся, радуясь внезапно осенившей его мысли.

Ликование было всеобщим. В речке вновь началась веселая возня.

В ознаменование того, что выход из положения найден и пирушка безмятежно продолжается, Адам взобрался на перила мостика и, сосчитав до трех, прыгнул в воду. И хотя при этом немного поранил ногу, но не очень сокрушался, скорее даже гордился своей ссадиной. Выйдя из воды и немного пообсохнув, все с аппетитом взялись за гуляш. И был он таким вкусным, как никогда еще. От полного котелка в минуту ничего не осталось. А так как от мяса и подливки жгло во рту, то приходилось часто и обильно запивать.

40

Долгий и напряженный труд, нервные перегрузки, предшествовавшие дружескому пйкнику, соединение водки с вином, полные желудки, а также непривычные спортивные упражнения в Душе и горячие солнечные ванны сделали свое дело. Несмотря на выносливость и закаленность участников пирушки их буйное настроение и боевая восторженность, достигнув высшей точки, вдруг пропали.

Исчез Эда, сказал, что идет искупаться, но так и не вернулся. Касицкий и Мохнач растянулись на траве и уснули рядом с брошенным, еще не вымытым котлом. Вилем побрел к речке, устало сел на берегу и, опустив на колени отяжелевшую голову, уснул.

Михал похрапывал в тени ольшаника; тень росла, густела и закрывала теперь почти всю поляну. Альбин и Марко, держа друг друга за плечи, тихонько пели.

Опускались сумерки. А Адам вдруг расстроился. И вообще, когда он порой выпивал и ему даже бывало хорошо,— он выглядел среди остальных грустным и отчужденным, каким-то лишним человеком в этом мире; казалось, его заедала черная тоска. Медленно побрел он к мостику и оперся о его деревянные перила.

Солнце садилось. В прозрачном воздухе за рекой четко вырисовывались контуры виноградников, а за ними — темнеющая зубчатая полоса леса. С запада по небу, как от точильного диска, навстречу им летели золотые искры. Пряный аромат касатика, снова заглушивший остальные запахи, был таким густым, что, казалось, прилипал к коже. У берега заквакала первая лягушка, запищали комары. В излучине реки у самой затоки что-то стремительно, словно ударом ножа, разрезало поверхность воды. Это вышла на вечернюю охоту щука. В полях перекликались фазаны.

Сумерки лишь усиливали мрачное настроение Адама. Ему даже почудилось, что из ивнячка доносится приглушенное девичье хихиканье, хоть там не было ни души.

Немного погодя он, сам не свой от тоски, раздраженно ударил ногой по камню, столкнул его в воду и поплелся к угасающему костру.

Альбин и Марко уже не пели; присев на корточках, они вели вялый разговор под мирное похрапывание спящих.

Адам долго смотрел на Михала. Потом подсел к Альбину и Марко. И хотя его снедала тоска, он все же не без волнения размышлял

о Михале. Он знал, что его голыми руками не возьмешь, что их председатель — человек ловкий и хитрый, как лиса,— из любого положения обязательно найдет выход, но при этом от Михала всегда исходила какая-то удивительная чистота. Сейчас к прежнему чувству добавилось ощущение, что Михал все может, он добьется всего, что задумал. Видимо,— Адам допускал это еще неохотно — Михал действительно их человек, только идет к тому, чего добиваются они с Вилемом, другим путем. Возможно, он уже давно знал, что надо им теперь делать, и даже немного обогнал их с Вилемом на том пути, по которому они должны двигаться дальше.

«Да, придется помогать Михалу, раз человек хочет, чтобы жизнь шла вперед, раз... Да, черт побери! Теперь, мне кажется, что и Михал болеет душой за наше Дело».

Адам даже испугался своих мыслей — думать о таких вещах да еще среди этих пустых бутылей и бутылок, было для него противоестественным. Он поискал глазами Эду. Но того на поляне не было: он спал в ивняке. Тогда Адам закурил и угрюмо уставился перед собой. Глаза у него слипались.

Голосов слышно не было, но зато трещали кузнечики, квакали лягушки. Все чаще можно было различить всплески рыбы в реке. В кустарнике, где недавно ласочка опустошила фазанье гнездо, пробежал, принюхиваясь, ежик. Он добрался до берега затоки, где под лопухом лежал большой уж. Едва еж приблизился, как уж предусмотрительно скользнул в воду. Его длинная гибкая спина с рядами темных пятнышек легко извивалась в воде. Головка ужа с двумя округлыми, как молодой месяц, желтыми пятнами была приподнята. Круглые зрачки неподвижно смотрели на поросшую густой травой отмель. Несколько квакающих лягушек, завидев его, мгновенно умолкли, нырнули в воду и затаились в тине.

Из норы в корнях плакучей ивы вынырнула ондатра; ее густая блестящая шерсть, казалось, была смазана бриолином. Она подплыла к камышу и с минуту грызла его. Потом нырнула на дно и вынесла оттуда на берег большую, плотно закрытую раковину. Оранжево-желтые резцы верхней челюсти, выступающие полукругом, и резцы нижней челюсти принялись за работу. Острые, как долото, они легко, с хрустом разгрызали овальные известковые створки раковины. Когда ондатра проглотила нежное содержимое, укрытое внутри раковины, на берегу осталась только кучка отливающих перламутром осколков. Ондатра снова скользнула в воду. Она кружила возле длинных мечевидных листьев касатика, вокруг толстых, мясистых стеблей камыша. Потом поплыла, управляя, как рулем, своим сплющенным хвостом, к месту, где вокруг рыбьих потрохов сновали во множестве прожорливые, ненасытные окуни.

На поляну, слегка пошатываясь, вышел Вилем: расстегнутая рубашка свободно болталась на нем. Он остановился. Громко, с наслаждением зевнул и почесал взлохмаченную голову. Поморгал припухшими веками и, лениво переставляя ноги, направился к сидящим на траве. Они курили. Среди них был и Михал. Он уже проспался.

Все устало, осоловевшими глазами глядели на зеленый, яркий и сочный мир, окружавший их. Легкий ветерок доносил до них влажное и пряное, напитанное запахом касатика, дыхание земли.

ЛЮСИ ФОР

Двое

РАССКАЗ

Перевод с французского Л. БОГУСЛАВСКОЙ и Н. КУДРЯВЦЕВОЙ

Париж, 18 февраля

Мосье!

Мне очень нелегко писать эти строки, но я сделаю над собой усилие, веря, что оно будет спасительным. Хотя, быть может, это просто внутренняя потребность высказаться. Могла ли бы я жить дальше и нести одна бремя этого наваждения?

Мосье, сначала, по воле случая, произошла наша встреча. Мир, оказывается, не так уж плохо устроен, как утверждают глупцы: ведь именно накануне того дня, когда случилось то, о чем пойдет речь в этом письме, я познакомилась с человеком, в котором сегодня вижу для себя единственную возможность спасения. Я говорю о Вас, мосье.

Я небольшая любительница светских развлечений — никогда или почти никогда я не выходила из дому два вечера подряд.— но Вы сумели извлечь меня из моей скорлупы. Едва мы вошли в дом наших друзей Д., где не были до того несколько лет, как мой взгляд встретился с Вашим. И с той минуты я уже не переставала наблюдать за Вами, равно удивленная и самим Вашим присутствием в этом светском салоне, и вниманием, с каким Вы относились к разговорам и поступкам людей, казавшихся мне в высшей степени незначительными. От Вас исходила какая-то особая доброжелательность.

Мне сообщают Вашу профессию: психоаналитик. Это слово означает для меня нечто таинственное, окруженное ореолом загадочной, необъяснимой власти. Но не в этом главное. А как его определить, это главное? Глупо, конечно, пытаться объяснить Вам, чем Вы стали для какой-то незнакомки, однако... Так вот: стоит Вам появиться — и Вы затмеваете всех, кто находится в комнате, с Вами чувствуешь себя спокойно, уверенно. Заинтересовалась ли я Вами? Конечно. Но и виду не подала, и мы не обменялись ни словом. И сейчас, когда я пишу эти строки, я даже не уверена, узнали бы Вы меня или нет.

Ну, а я — я в один миг, казалось, забыла все, что было моей жизнью до того, как Вы вошли в нее. После этого вечера я знала, что рано или поздно обращусь к Вам. И что если со мной произойдет несчастье, отныне у меня есть Вы.

На следующий же день после нашей встречи все и случилось. Это было ровно две недели тому назад.

Что же произошло? Боюсь, я не способна это описать. Как объяснить столь глубокое потрясение? Ведь оно оставило неизгладимые

последствия. То, что я считала построенным на прочной основе, рухнуло в один миг. До тех пор я жила, заботливо охраняя покой, которым мне удалось окружить нашу семейную жизнь, и в то же время не отдавая себе отчета в ее необычности. И вдруг, за одну неделю, я оказалась во власти таких страданий, которые приобщили меня к совсем другому миру, миру незнакомому, миру всех тех, кто живет не так, как я. Этот мир огромен, а я ничего о нем не знала.

Однако если я хочу, чтобы Вы поняли меня, я должна точнее придерживаться событий.

Я замужем уже четырнадцать лет и всегда считала себя счастливой. Вплоть до третьего февраля я никогда — сколь бы это ни казалось маловероятным — не задумывалась, счастлива ли я. Мое счастье было чем-то само собою разумеющимся — как то, что я замужем, что у меня нет детей, что мне тридцать шесть лет и тому подобное.

Я могла бы еще кое-что добавить к этим сведениям, больше рассказать о себе, но это кажется мне лишним, по крайней мере сейчас.

Женщин считают самовлюбленными. Иногда это верно. Но не в данном случае. Моя персона не интересует меня. Проблемы секса не волновали меня ни до замужества, ни после. Меня вполне удовлетворяла наша интимная жизнь, и я считала нашу семью нормальной супружеской парой. Все шло очень хорошо... никаких сомнений. Наслаждение — о нем пишут в романах... безусловно, немного преувеличивая... Речь идет наверняка о каких-то одержимых. А в остальном, что могло побудить меня анализировать мое существование? Я существую — и этого достаточно. Вплоть до того вечера — я чуть не написала рокового, но почему? — моя жизнь нравилась мне: ведь я не скучала. И не думала о смерти. Это вовсе не значит, что я — полная посредственность, нет, я просто рядовой человек, а в слове «посредственность» есть некий уничижительный оттенок, которого я не заслуживаю.

По правде говоря, больше всего мне подошел бы эпитет «уравновешенная». Уравновешенный человек — это, наверно, и не провидец, и не гений, и все же явление довольно редкое. Остановимся же на этом и перейдем к сути дела.

Все произошло третьего февраля. Об обстоятельствах, видимо, следует рассказать поподробней.

Мой муж — банковский чиновник. Нет, это определение неверно, оно случайно вырвалось у меня,— впрочем, оставим его, уточнив: Бернар — заместитель директора одного из отделений крупного кредитного банка. Очень скоро — примерно через неделю — он станет директором. В тридцать восемь лет занимать в Париже пост директора в банке — это не так часто встречается, и многие прийти в себя не могут от удивления. Если он справится со своей застенчивостью — а до сих пор ему не удалось ее победить,— то в один прекрасный день он, к собственному изумлению, окажется во главе отделения, связанного с социальным обеспечением.

Для меня это будет двойной победой — ведь мое замужество считается в нашей семье мезальянсом, как же: моя мать происходит из дворянской семьи с громким именем!

Живем мы в достатке, без особых забот, во всяком случае, без затруднений, что в наше время уже само по себе — ощутимая роскошь. У меня есть небольшое состояние, завещанное отцом, и то преимущество, что я не подвержена экстравагантным желаниям. Мне идут простые, скромные платья, и у меня достаточно украшений к ним. Моя мать, обладая постоянным и одновременно изменчивым вку-

сом, ни в чем не отказывает себе и при этом любит благодетельствовать другим. Вечно что-то из себя разыгрывает. Уж такая она внимательная, добрая... Ну, а мне не все ли равно — видимость это или реальность? Недавно она вновь вышла замуж за человека, который — никак не поймешь — то ли одержим манией богатства (он постоянно разглагольствует, как он богат), то ли завистью, крепко держащей его в своих когтях. У матери хватило здравого смысла не выяснять этот вопрос. Мой отчим — а он на десять лет моложе моей матери — не выносит напоминаний о моем покойном отце (ни в какой форме). Поэтому, чтобы его не раздражать, матери пришлось подарить мне, одну за другой, все драгоценности, которые, правда, были тотчас заменены «более весомыми». По той же причине ко мне перешли и все меха. Моя мать считает, что эти подарки избавляют ее от необходимости как-то еще проявлять свою привязанность ко мне.

Каждое утро к нам приходит прислуга и освобождает меня от домашних забот. В полдень она уходит, и это меня вполне устраивает: я люблю побыть одна в нашей квартире, она как бы становится моим царством. Живущая прислуга нарушила бы мой покой и уменьшила ощущение власти.

Мы редко встречаемся с друзьями. Из-за слабого здоровья мой муж любит ложиться рано; если же мы куда-нибудь идем, ему вполне достаточно моего общества. Как-то один его коллега пригласил нас на ужин. О том, чтобы отклонить приглашение, не могло быть и речи, но и у Бернара и у меня вульгарность этой пары вызвала отвращение. Особенно неприятной была жена с ее бросающейся в глаза претенциозностью и громкими рассказами о молниеносном обогащении родителей-молочников, с которыми нас непременно хотели познакомить.

Мы сочли себя обязанными через несколько недель, в свою очередь, пригласить их, однако мы выбрали для этой цели ресторан, предпочитая потратить больше денег, но не устраивать ужин дома, в более интимной обстановке, что могло повести к нежелательному сближению. Они, без сомнения, догадались о причинах такой сдержанности, и наши отношения на этом закончились.

У меня была подруга детства. Несколько лет тому назад ее муж, работавший, как и мой, в банке, получил назначение в Дакар. С тех пор мы даже не переписываемся.

Вот так я и жила, вполне всем довольная,— иные сказали бы: счастливая,— во всяком случае, жила безмятежно и без желаний в мирке, который другому человеку мог бы показаться обезлюдевшим. Так было вплоть до того вечера, когда мы праздновали в четырнадцатый раз — и, как всегда, в одном и том же ресторане — годовщину нашей свадьбы.

Там-то все и произошло.

И Бернар и я — мы оба придаем большое значение ритуалам. Первый обед с женихом без ведома моей семьи, которая ни за что не потерпела бы подобного легкомыслия, был для меня — да, да, это так! — умопомрачительным праздником. Бернар выбрал ресторан неподалеку от Елисейских полей. Тогда его элегантная обстановка поглотила все мое внимание, и я едва могла оценить кухню, безусловно заслуживавшую лучшего отношения. С тех пор раз в году мы приходили именно в этот зал, чтобы отпраздновать годовщину того, что мы называем «началом нашей жизни». В тех же зеркалах я вижу не отражение своего теперешнего лица, неуловимо меняющегося от года к году, а лицо той маленькой провинциалки, ослепленной роскошью ресторана и потрясенной собственной смелостью.

И в этом году все должно было произойти точно так же

Бернар вернулся из банка немного раньше обычного. Ушел до конца рабочего дня? Едва ли. Неужели он, обычно такой медлительный, специально поторопился? Во всяком случае, он явился в радостном настроении, держа в руке розу на очень длинном стебле,— у меня есть высокая ваза с узким горлышком специально для таких цветов, и мой муж следит, чтобы она не пустовала.

Едва войдя в дом, Бернар закрылся в ванной комнате.

Его уже ожидало виски. Мы не пьем виски каждый вечер. Не пьем его и по праздникам, а лишь под настроение — в общем, довольно редко. В тот вечер, сочтя ненужным согласовывать это с мужем, я, естественно, поставила столик с напитками перед белым диваном, нашим последним приобретением. Покупка его была связана с последующими хлопотами, и мы не сразу на нее решились, ибо к дивану придется докупать два кресла. Впрочем, я люблю время от времени вносить перемены в обстановку.

Появился Бернар, потирая руки, в темном костюме и в галстуке бабочкой — моем подарке по случаю годовщины, ожидавшем его на туалетном столике. Взглянув на стенные часы, он заметил, что у нас еще много времени. Действительно, было только семь часов, а мы не могли явиться в ресторан раньше половины девятого. Значит, из дому нам надо выйти в четверть девятого... даже позднее... Но нас занимало сейчас не столько это, сколько вопрос о том, как убить оставшееся время. И дело было не в том, что мы скучаем вместе. Нет, совсем наоборот. Почти все вечера мы проводим дома вдвоем, и я люблю эти спокойные часы, эту атмосферу доверия. Я — обычно в халате, Бернар — в домашней куртке, и каждый занят своим делом: газеты, журналы, телевизор, вышивание... Время от времени мы прерываем молчание, делясь соображениями, воспоминаниями, мыслями, возникшими по ассоциации с прочитанным или увиденным. Мы много смеемся. Но в тот вечер, нарядившись, чтобы идти в ресторан, мы не знали, куда себя девать,— словно чужаки в собственном доме, какие-то ненастоящие, от себя не зависящие, как актеры на сцене. На мне было черное платье с глубоким вырезом, и я очень старалась выглядеть так, как должна выглядеть женщина еще молодая, влюбленная, счастливая.

В тех редких случаях, когда мы с Бернаром ужинаем в ресторане, мы перед этим обсуждаем, куда пойти. И подолгу препираемся — мягко, беззлобно. У каждого свои пожелания. Но в тот вечер нам было отказано судьбой в этом милом споре. Время от времени мой муж украдкой поглядывал на газету, лежавшую перед ним; ему хотелось взять ее в руки, но он считал, что этим нарушил бы неписаные правила нежности.

К счастью, зазвонил телефон. Я сняла трубку. Звонила моя мать. Бернар сразу это понял и немедленно схватился за газету. По меньшей мере на четверть часа я занята! Я делала ему знаки, поднимала глаза к небу, я была просто в отчаянии... Надо же, именно сегодня вечером... Моя мать любовно культивировала свои мелкие заботы. Ей требовался совет.... А муж не способен был ей помочь. Вот уже три месяца, как они заказали номер в отеле в С. на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря, снега же, как назло, все нет и нет... Такого еще никогда не бывало... По правде говоря, такая погода не должна была бы вызывать раздражение у моей матери, которая вообще не занимается спортом, но в отеле будет мало обитателей. А вот это уже вызывало у нее досаду. Она звонила туда накануне. Директор уверял, что через неделю все будет переполнено, но признался, что пока занято не более четверти номеров. Моя мать приходила в ужас, представляя себе большой пустынный и мрачный

холл отеля; вот она и подумала (и хотела бы на этот счет знать мое мнение): не лучше ли при таких обстоятельствах... Форментор... Там она тоже никого не знает, однако... Короче говоря, она рассчитывает, что дочь поддержит ее и поможет на что-то решиться, иначе все эти сомнения убьют ее.

Я добрых полчаса бормотала какие-то общие фразы и противоречила сама себе. Наконец я сказала, что тороплюсь: мы хотим поехать поужинать. Моя мать, немедленно заинтересовавшись, принялась перечислять мне адреса новых «сказочных» кабачков. Я покорно ее выслушала, поклялась, что записала все адреса и еще раз поклялась, что никому их не дам. Во второй раз я не лгала.

Немало раздосадованная, я вернулась в комнату и растянулась на диване. Допив свое виски, я протянула стакан мужу, и он с весьма критической миной снова наполнил его. Он похвалил мое платье. Я поговорила с ним об его работе, об изменениях в привычном распорядке нашей жизни, вызванных его назначением на новый пост,— ведь из восьмого округа он перебрался в тринадцатый. Будет ли у него время приезжать домой обедать? Мы обсудили и это. Любопытно, что я то и дело вспоминала Вас, мосье. Передо мной вставало Ваше лицо.

Вдруг Бернар заметил, что уже десять минут девятого. Я возразила, что мы ни с кем не уславливались о встрече и никто нас не ждет. Он не унимался... Ну, к чему спешить: ведь столик у нас заказан... Вот именно поэтому... Теперь, когда, наконец, настало время выходить, на меня нашло желание помешкать. Мне хотелось что-нибудь выкинуть. Почему бы нам, например, немного не пошалить и не заняться любовью... Ужинать пойдем потом. Это будет чудесно! Но как предложить такое и нарушить незыблемый распорядок дня? Войти в ресторан в девять или даже в десять часов, пройти через зал, уже полный взбудораженной публики,— это казалось мне роскошью, доселе запретной, но в тот вечер вполне позволительной. Бернар же считал это неприличным. Я начала поддразнивать его, целовать — блаженная истома овладевала мной.

Он тоже, казалось... Однако в назначенный час, или чуть позже, мы вошли в ресторан.

У стойки бара в нетерпеливом ожидании сидело несколько пар — они с явным подозрением оглядывали каждого вновь входящего.

Только два столика в зале были еще не заняты. Они были заказаны, о чем свидетельствовали розовые бумажки, вставленные в стакан. Мы сели.

К моему изумлению, Бернар, не спросив меня, сразу заказал две порции виски. И в ответ на мой выразительный взгляд дал мне понять, что сегодняшний вечер...

Мне протянули длиннющее меню, и я немедленно погрузилась в него: люблю помечтать, когда мне предоставлен такой выбор. Однако ужин я выбрала очень умеренный. Бернар же колебался, и я увидела, что присутствие метрдотеля начинает давить на него. Тогда я попросила метрдотеля подойти к нам чуть позже. Мы сможем таким образом свободней все обсудить. Я боялась, что неловкость моего мужа привлечет к себе внимание.

Свеча освещала наш столик и букетик анемонов на нем. И это называется шикарный ресторан, а на самом деле — до чего же все уныло, банально.

Было около десяти вечера, и рыба, которую нам собирались подать, уже пылала в вине, когда они вошли. Скажу сразу главное: вошли не двое — передо мной было единое целое, некое слитное существо.

Она — брюнетка, прямые волосы, челка, светлая кожа, большие зеленые глаза. Все это я отметила с первого взгляда. Высокая, тонкая, ладно скроенная — от нее исходило ощущение силы. Она твердо стояла на земле. Одета была элегантно и просто, вся в черном — ничто не бросается в глаза, а в целом привлекает внимание. Ей очень шла эта изысканно-грубошерстная ткань, какую обычно не надевают в такой ресторан да еще в такой час. Но, глядя на нее, казалось, это ты одета не так, ибо вкус ее был несомненно безупречен.

Что же до ее спутника, то это был словно бы ее негатив. Элегантный, как и она, но совсем в другом роде. Одет он был с известной долей небрежности, не доходившей, однако, до неряшества. Гармоничное несоответствие как в парных гарнитурах Булля, где инкрустация на одном кресле соответствует рельефам на другом. Они одновременно и похожи и различны. Так же было и здесь.

Они довольно долго стояли, обсуждая что-то с метрдотелем, затем прошли к столику. Но вместо того чтобы сесть, как мы с мужем, друг против друга, они предпочли сесть рядом на одной банкетке. Столик был невелик, и им, казалось, было немного тесно.

Бернар сидел к ним спиной, но я не уверена в том, что он был бы поражен их совершенством, если бы даже мог их видеть. У меня же было такое впечатление, точно я смотрю удивительный балетный дуэт. Малейший жест у них был согласован, каждое движение казалось координированным, точно рассчитанным, необходимым.

Она взяла сигарету. Он вынул зажигалку. При свете острого язычка пламени я перехватила взгляд, которым они обменялись, и у меня возникло ощущение, что я подсматриваю. Банальность повседневности не существовала для них.

Я взглянула на Бернара. Он оживленно разглагольствовал. Но с какого-то момента я перестала его слышать. Меня часто огорчала его молчаливость. Но в тот вечер я была вознаграждена сторицей. Казалось, он вдруг открыл для себя новый способ общения... С неожиданной, незнакомой мне горячностью он рассказывал о своей юности в Руане, о матери, беспокойной и нежной, о том, как трудно было ему с отцом, который всегда казался слишком старым. И все это было мне безразлично...

Мой взгляд, словно заколдованный, то и дело возвращался к той женщине. Время шло, но не могло быть и речи о том, чтобы покинуть ресторан. Как затянуть ужин? Как попытаться понять, как разгадать тайну такого счастья...

Бернар спросил меня, в чем дело... Он встревожился... Я его не расслышала. Да нет, я всем довольна... Нет, я не устала... Напротив... Все очень хорошо... Нет, я вовсе не озабочена.

Оторваться от этой пары. Спуститься на землю. Вернуться домой. Разорвать чары.

Непривычная веселость Бернара показалась мне вдруг вульгарной. И я впервые подумала, что всегда, до конца жизни у меня перед глазами будет Бернар. Эта мысль пронзила меня и показалась невыносимой. Итак, не будет никого другого... до самой смерти... У меня возникло такое ощущение, точно я в тюрьме, и из зеркал выросли решетки.

Так, значит, до сих пор моя жизнь была сплошной мистификацией! Я увидела свое нищенское счастье во всей его безоблачной посредственности и рядом с ним — магическую нить, связывавшую тех двоих. Казалось, они могли общаться разве что с обитателями других миров. А здесь, в этом зале, они были совсем одни, отъединенные от окружающих так же надежно, как если бы находились в космической капсуле. Они не видели ничего вокруг — только друг друга.

И однако — ни нежных жестов, ни прикосновений. Зачем им эти ничтожные знаки любви? Ведь они — одно целое. Навсегда. Есть, значит, другие люди, и любовь у них — тоже другая... Физическая любовь... Я спрашивала себя...

Бернар нежно взял мою руку, а я внутренне возмутилась, но не подала и виду. Почему мне не суждено вот так же познать что-то особое, исключительное? Картина, представшая передо мной, пронзила меня острой болью. Словно удар ножом.

Я мысленно возмущалась несправедливостью жизни и снова и снова смотрела на них.

Они понимали друг друга без слов — это бросалось в глаза. Будто от одного к другому непрерывно шел поток впечатлений и чувств. Достаточно было полувзгляда, полужеста. Все между ними говорило о заранее предрешенном согласии. Как если бы они знали друг друга раньше, чем появились на свет.

А с какой спокойной уверенностью они держались! Как двое людей, по собственному выбору связавших себя навсегда. Однако сама идея выбора предполагает наличие других возможностей, сомнения, колебания. Но для них не существовало другого пути — лишь тот, по которому они пошли.

Бернар говорил о нашей жизни... она такая у нас счастливая. Он любит меня. В этот вечер — в виде исключения — он считает возможным сказать мне об этом... А я? О, я впервые... я не знала... я молчала...

Что значит «любить»? Желать другому добра? В данном случае — да! Быть собственницей, рассматривать любимого как свое достояние? Да, и это тоже. И я вдруг поняла, что это ограниченное, немного мещанское существование, которое так нравилось Бернару,— я ведь тоже его выбрала. Разве потерпела бы я, чтобы моего мужа видели рядом с другими женщинами? Я никогда не стремилась выяснить, ревнива ли я, так как до сих пор не было почвы для возникновения этого зла. Но я знала, что оно дремлет во мне. Бернар — это мое. Однажды — это было очень давно! — я зашла в банк под пустейшим предлогом: утром я намеренно забыла попросить у мужа денег, чтобы иметь возможность неожиданно зайти к нему на работу после обеда. Ничто тогда не вызвало у меня опасений. Я внимательно оглядела все вокруг — ни одна из хорошеньких девиц не показалась мне чрезмерно соблазнительной, а при виде кабинета Бернара, стеклянной клетки в конце зала, я окончательно успокоилась. С тех пор я больше не думала об этом.

И теперь вдруг у меня возникло сомнение не в муже, а в моей любви к нему. В его любви ко мне, в наших отношениях, составлявших суть нашей жизни. Я увидела другую пару, совсем на нас непохожую, настоящую... Конечно, я смотрела на этих двух незнакомцев глазами человека, одержимого древней как мир, неосуществленной мечтой. Как хотелось бы мне узнать, что лежит в основе такого союза! Они явно были завсегдатаями этого ресторана, и я могла бы, по крайней мере, выяснить их имя. Жалкий кончик ниточки, на которую можно нанизывать мечты. Представляю себе, как удивился бы и, наверно, был бы даже шокирован Бернар, услышав, о чем я спрашиваю метрдотеля,— но какое это имеет значение? Меня удержало не это. Просто я решила не узнавать о них ничего больше — лишь то, что наблюдала сама.

Вот, мосье, что произошло со мной на следующий день после того, как нас познакомили. Вы, надеюсь, понимаете, что это было для меня удивительное переживание.

Две долгих недели я предавалась мрачным мыслям, от которых

не могу избавиться и по сей день. и внезапно решила Вам написать. Я знаю, это более чем смело. У Вас есть другие заботы. Какое я имею право Вам докучать? Но Вы кажетесь мне таким добрым, готовым протянуть руку помощи. Вы так хорошо умеете читать в сердцах людей, а мне так нужно поговорить с кем-то, кто способен меня понять, ибо это, несомненно, поможет мне понять самое себя.

Конечно, мое обращение к Вам еще не есть решительный поступок, но это уже попытка пробудиться. Возможно, мосье, Вы поможете мне уяснить характер чувств и реакций, вызванных у меня личностью той незнакомки. Я описала Вам, хоть, боюсь, и слишком длинно, ситуацию, которую до сих пор не пыталась анализировать, поскольку это моя жизнь.

Я прекрасно понимаю, что злоупотребила Вашим терпением, и надеюсь, Вы простите меня. Я не жду от Вас ответа. Лишь надеюсь, что Вы не запретите мне написать Вам снова.

Прошу Вас, мосье, принять мои уверения и прочее.

Париж, 19 марта

Мосье!

Не получив от Вас ответа, запрещающего писать, я рассматриваю Ваше молчание как согласие меня выслушать.

Письмо, которое я Вам написала, помогло мне лучше в себе разобраться и придало решимости, которой дотоле мне всегда не хватало.

Итак, я решаюсь вновь написать Вам, оставляя за собой право потом, когда моя жизнь действительно пойдет по новому пути, обратиться к Вам с просьбой о свидании. Сейчас же я хочу лишь ввести Вас в курс последних событий.

С тех пор как я поняла, что не люблю Бернара, с тех пор как все, что было существом моей жизни, предстало предо мной как гигантская ошибка,— состояние длительной спячки, неосознанного оцепенения, в котором я находилась, сразу кончилось. Позднее я попытаюсь понять, угасла ли моя любовь, подобно качающемуся и вдруг исчезающему язычку пламени, или я всегда обманывалась, думая, что люблю мужа. Может быть, я неспособна... Но это мы выясним при других обстоятельствах.

Во всяком случае, с длительным ничегонеделанием в пустой квартире покончено. Больше не будет часов, убитых на пустое времяпрепровождение. Хватит бесконечного наведения чистоты, этих приступов рвения, охватывавших меня перед стенными шкафами, которые всегда казались мне в недостаточно идеальном порядке. И следовавших за этим периодов спада, когда я вяло предавалась бесплодным мечтаниям. После стольких сумеречных лет я вышла, наконец, в шумный мир людей. Я тотчас решила перестроить свою жизнь — полностью и на другой основе. Надо заново начинать — слишком многое уже принесено в жертву лжи. Теперь я знаю, что все может быть иначе. И это придает мне силы.

Прежде всего, в предвидении возможной независимости мне следовало внутренне иначе настроиться. Слишком долго я была вещью— пора становиться человеком. Я не обманываюсь насчет прочности той свободы, к которой так стремлюсь,— это всего лишь химера, она рассыплется в прах в ту же секунду, когда я вновь захочу себя с кем-то связать. Ну, так что же! Тогда, расставаясь с этой свободой, я буду твердо знать, почему я так поступаю. Ведь должен же существовать где-то — быть может, совсем близко, и потому я его не замечаю, или

слишком далеко, и потому я не могу до него добраться,— человек, действительно предназначенный мне судьбой. И если ему и мне суждено встретиться и стать одним целым, то мы найдем друг друга.

Итак, я почувствовала необходимость немедленно сбросить с себя ярмо, а заодно — почему не подумать и об этом, ибо нужно рассуждать трезво — сбросить и то ярмо, в котором я держала Бернара.

Мой первый шаг был весьма скромным: я посоветовала мужу не приезжать больше в полдень обедать домой. Его положение на работе изменилось, и это было вполне здравое предложение. Я сослалась на то, что он понапрасну теряет время и что такой распорядок дня давно изжил себя. Мне кажется, он удивился моей горячности, хотя и согласился со мной. Иногда достаточно лишь слегка передвинуть прожектор, лишь слегка сместить свет — и вся картина сразу меняется.

Осознав, что мне безразлично, на что Бернар употребит эти освободившиеся два часа, я ощутила сладкое чувство свободы: ведь тюремщик, как и узник, тоже прикован к своему месту. Но, естественно, я не могла поделиться с Бернаром этими мыслями. Как же теперь приступить к главному? Объявить о том, что я хочу снова начать работать? Сколь ни абсурдно, но для женщины моего положения свобода означает возвращение к труду, к тому самому труду, что порабощает столь многих! И сейчас, когда мой муж получил повышение и наш достаток увеличился, эта фантазия должна была показаться совершенно необъяснимой. Тем не менее надо было действовать. А там будет видно, какие пути и средства избрать в борьбе за столь справедливое дело.

В свое время я начала изучать архитектуру в Б., и хотя замужество помешало мне закончить занятия, переехав в Париж, я нашла работу у одного видного архитектора. Но как только наши материальные возможности это позволили, Бернар настоял, чтобы я отказалась от работы и проводила дни дома. С тех пор прошло десять лет. То, что он мог содержать семью, видимо, придавало ему уверенности, которой ему так часто не хватало в других обстоятельствах.

Я не сомневалась, что и теперь мне нетрудно будет восстановить с моим бывшим патроном отношения, которые долгое время были очень дружескими и теплыми, но постепенно оборвались. Наверняка он мне что-нибудь найдет, вроде того чем я занималась, либо у себя, либо у какого-нибудь из своих коллег.

Прошла неделя с тех пор, как Бернар перестал приезжать домой в полдень, и я начала жаловаться, что скучаю, что мне совершенно нечем себя занять, а это в наши дни абсолютно недопустимо,— словом, это был предлог для того, чтобы заговорить о работе... Хорошо бы поступить в какое-нибудь издательство, например, или — почему бы и нет? — по старым следам к какому-нибудь архитектору. Все произошло так, как я и предвидела, притом без всяких осложнений.

С тех пор как открытие, что я не люблю мужа, принесло мне свободу, я строю свою новую жизнь с терпением и тщательностью муравья. Меня можно сравнить с заключенным, продуманно и расчетливо готовящим смелый побег. Что сталось бы со мной, не случись того потрясения? Но ведь это потрясение — я сама его вызвала. Другая на моем месте, без сомнения, и не заметила бы той пары. А теперь вот постепенно меняется вся моя жизнь.

Всецело занятая мыслями об осуществлении своих планов, я не знаю ни покоя, ни отдыха, и если сегодня вечером я стремлюсь описать и ход событий, и течение моих мыслей, то лишь потому, что надеюсь позднее разобраться в тайных пружинах происшедшего и хочу заранее обо всем Вам рассказать, чтобы однажды прийти за советом.

Сейчас Бернара нет. Ему пришлось поехать на общее собрание банковских служащих. Написав столь банальную фразу, я вдруг поняла, что за время нашего супружества он впервые выполняет такую миссию... Неужели он обгонит меня?.. Нет, я сошла с ума, да и вообще, о таком решении всех проблем можно только мечтать... Но хватит болтать глупости...

Итак, я готовлюсь к отъезду. Хоть я и живу пока бок о бок с Бернаром в нашей квартире, все равно я обязательно уеду. Раньше я могла выносить существование без будущего, когда обыденность каждое утро наваливалась на меня с прежней силой; я проживала так безликие дни, даже не сознавая блага, каким является привычка. А теперь я жду чего-то нежданного, что не замедлит заявить о себе, потому что я зову и подстерегаю его.

Примите, мосье, и проч.

Париж, 12 апреля

Мосье!

Вы взяли на себя труд сообщить мне, что понимаете меня. Могла ли я когда-либо надеяться на такое внимание? И все же мне не хотелось бы пользоваться Вашим расположением и надоедать Вам слишком часто. Поэтому я выждала месяц, прежде чем решилась снова Вам написать, и вот теперь я в состоянии уже подвести некоторые итоги.

Положение мое определилось. Я встретилась со своим бывшим патроном Анри С. И, по-моему, момент оказался удачным. Все счастливо сложилось для первого шага! Во всяком случае, он принялся меня уверять, что вот уже несколько месяцев занимается поиском кандидата на вакантное место. А когда я выразила беспокойство, что за прошедшие десять лет потеряла квалификацию, он заметил, что квалифицированные сотрудники в наши дни встречаются довольно часто, а вот людей, обладающих определенными моральными принципами, найти труднее. Ему уже не раз случалось ошибаться, но он убежден, что со мной такой проблемы не возникнет.

Последние годы Анри С. много путешествует. Французских архитекторов высоко ценят за границей, скромно пояснил он. И это верно — во всяком случае, в отношении него. Словом, я появилась как нельзя кстати, ибо могла бы снять с него бремя каждодневных забот и дать возможность плодотворно работать. Тогда он мог бы всецело отдаться своим безумным затеям. Цитирую его почти дословно.

Жалованье, которое он мне предложил,— я этого вопроса не поднимала,— намного превосходило мои самые радужные надежды. Все решалось так просто, конечно, потому, что меня вовсе не заботит эта проблема. Меня бы ничуть не обеспокоило, если б я мало зарабатывала, а вот то, что я зарабатываю много — по крайней мере в моем представлении,— внушает мне больше уверенности в себе.

С Бернаром и на этот раз все обошлось даже проще, чем я предполагала. Я боялась, что он разволнуется, тут же придумает массу возражений. Он же, напротив, нашел мою идею удачной и вполне понял нежелание посвящать его в мои планы, пока не будет чего-то реального. Он чувствовал, что последнее время я нахожусь в каком-то подавленном состоянии, и искренне надеялся, что перемена в образе жизни пойдет мне на пользу. Он, со своей стороны, крайне обеспокоенный моей депрессией, тоже пытался что-то придумать и хотел предложить мне, наоборот, поехать отдохнуть! Но раз я решила по-другому... А потом, ведь я всегда, в любую минуту могу отказаться... Если, скажем, буду слишком уставать...

Люди так до конца и не поверят в таинственное могущество совпадений. Писатели боятся их использовать, но жизнь, которой нечего страшиться, соединяет в один запутанный клубок и случай, и общее направление человеческой судьбы.

Конечно, сильная воля много значит, но разве может она противостоять обилию свободного времени?

Мосье, через некоторое время, как Вы и обещали, Вы окажете мне любезность и примете меня, но мне бы хотелось обратиться к Вам за поддержкой лишь после того, как я совсем одна пройду хотя бы немного по избранному мною пути и сама начну понимать, верен ли он. На все, что со мной происходит, я по-прежнему смотрю как бы со стороны.

Моя новая жизнь начинается в понедельник.

У меня еще три дня на то, чтобы подготовиться к ней.

Примите, мосье, и проч.

Париж, 30 апреля

Мосье!

Наконец мое существование заполнено до отказа — так, что не остается ни секунды свободной. Это все еще удивляет меня и приводит в некоторое замешательство.

Неужели память мне изменила? Или наше бюро так разрослось, что теперь лишь смутно напоминает мне то, где когда-то я провела столько дней, исполненных трудолюбия и покоя?

Словом, не успела я там появиться, как меня подхватил нескончаемый водоворот дел. Анри уже не может без меня обходиться — в плане профессиональном, конечно, ибо в остальном... У него не только есть законная супруга и, насколько мне известно, две официальных любовницы, но еще, как я подозреваю, и немало увлечений! К счастью, этой стороной его жизни занимаюсь не я — в этом состоят основные обязанности его личной секретарши. Ей приходится следить за тем, чтобы дамы не сталкивались друг с другом, улаживать трудности и даже разрешать драматические ситуации, что уже случалось и наверняка повторится не раз. В вопросах же профессиональных Анри не перестает удивляться моей необыкновенной способности вживаться в дело и не понимает, как он мог до сих пор заниматься один всем тем, что теперь он делит со мной! (Привожу в точности его слова!)

Завтра я уезжаю в Лондон с целой кипой проектов. Анри просил меня встретиться там с ним, так как он сначала поедет в Мексику и Латинскую Америку, а уж потом вернется в Париж. Он будет отсутствовать не меньше месяца, и до его отъезда нам нужно завершить целый ряд дел. Перспектива провести два дня за границей очень меня обрадовала. Я немного боялась, как бы Бернар не начал ворчать, что работа отнимает у меня слишком много времени, но все прошло гладко. Он лишь пошутил, что будет вполне удовлетворен, если я хотя бы останусь по эту сторону Атлантики. И почему я так беспокоюсь, не такой уж он страшный тиран...

Любопытная вещь: стоит переставить пешку на шахматной доске, как все остальные вроде бы тоже смещаются. Но сейчас не время для рассуждений такого рода. Мне нравится моя новая жизнь. Я чувствую себя раскрепощенной. А отчего, если вдуматься? У меня появились всевозможные обязанности, обязательства, я стала уставать. И, однако, только теперь я до конца постигла бедность и пустоту моей прежней жизни... если только я все не придумала...

Я счастлива, мосье, что посвятила Вас во все эти события, которые начали разворачиваться почти два месяца назад. Теперь я с тру-

дом вспоминаю, что же побудило меня искать перемен. Как бы сквозь туман вижу я ту пару, из-за которой пришел в движение любопытный механизм моего освобождения, и иногда спрашиваю себя, а существовали ли на самом деле те двое и встречала ли я их. Быть может, рано или поздно все это как-то объяснится. Конечно, я имею в виду не факты, ибо они неопровержимы.

Еще раз, мосье, заверяю Вас и проч.

Лондон, 2 мая, 22 часа

Мосье!

Я должна Вам написать. Чтобы успокоиться. Простите, что так скоро тревожу Вас после моего последнего письма. Вы знаете, что я обычно почитаю за правило не слишком докучать Вам, но я просто сама не своя. Я только что позвонила Бернару — его нет дома! Это просто невероятно! Где он может находиться? Он, у которого совсем нет знакомых! И у моей матери его тоже нет... Только бы с ним ничего не случилось. Мне уже кажется, что он в больнице... И меня нет. А я здесь — и ничем не могу ему помочь. Да в самом ли деле по мне эта новая жизнь? Я так быстро начинаю волноваться... Если только Бернар... Какая-нибудь встреча... Кто-нибудь из... Нет, это невозможно... .

Анри уезжает завтра утром. Я собиралась лететь вечером, чтобы день провести в Лондоне без всяких дел. Впервые после замужества я оказалась бы одна. Меня так и подмывало вкусить холостяцкой жизни, но я решила лететь самолетом в час дня...

Еще раз простите, мосье, и проч.

Лондон, 3 мая, 7 часов утра

Мосье!

Поскольку я уже посвятила Вас в свои новые огорчения, естественно, мне приходится рассказывать и дальше.

Я только что говорила с Бернаром по телефону. Он был прелестен, в отличном настроении и клялся, что я, должно быть, не туда попала, так как вчера вечером он никуда не выходил. (Я хотела в полночь позвонить еще раз, но уснула.) Бернар заявил, что решил воспользоваться моим отсутствием, чтобы последить за здоровьем... Вчера вечером он даже не ужинал... Он заверил меня, что в семь часов ляжет с интересной книжкой... Какой? — невинным голосом спросила я. После некоторого — тут я не ошибаюсь — колебания он назвал мне роман, который читал зимой. Я очень хорошо помню, что об этой книге мы долго тогда спорили. Как видно, он был застигнут врасплох моим вопросом и не сразу нашелся.

После разговора с Бернаром на сердце у меня стало тревожно. Быть может, Бернару нездоровится и он не хочет меня волновать? Во всяком случае, нечего и думать о том, чтобы провести день в Лондоне. Уж лучше улететь ближайшим самолетом — все равно я скована по рукам и ногам. И быть может, навсегда. Спрашивается, куда же это меня приведет...

Быть свободной женщиной — разве это легко? Освободиться от другого — да... но от собственных влечений... Ведь надо от столь многого отказаться! Уже сегодня вечером сомнения, которые гложут меня сейчас, будут без труда развеяны, я убеждена, но впереди еще весь сегодняшний день. В который раз я вновь пересматриваю свои

как будто бы уже бесповоротные решения. Почему прочность брака в значительной степени зависит от того, сколько времени супруги проводят вместе? Не говорит ли это о ненадежности чувств?

Как Вы должны презирать меня, мосье...

Простите меня и примите и проч.

Париж, 4 мая

Мосье!

Опишу мой вчерашний день и перестану, наконец, надоедать Вам. Прошло ровно три месяца с тех пор, как я начала Вам писать. Эти три месяца были в моей жизни своеобразной интермедией, и теперь эта интермедия подошла к концу.

Мир за эти девяносто дней ничуть не изменился — поколебалось лишь спокойствие моей скромной персоны. Сейчас я испытываю только одно желание: вернуться в себя, уползти в свою раковину и забыть о вдруг проснувшемся тщеславии, которое едва не стоило мне счастья. Я так хочу, чтобы грядущие дни походили на те, что предшествовали тому роковому ужину. Мне кажется, за эти три месяца я обошла вокруг себя самой, как вокруг света, и теперь знаю достаточно, чтобы решить, чего я хочу на самом деле.

Я поняла, что не могу жить иначе. Разве побег мой был столь необходим, обогатил меня чем-нибудь? Впрочем, это не имеет значения... все равно никогда уже мне не стать той, что я была раньше.

Итак, вчера, в час дня, я села в самолет в лондонском аэропорту. Самолет был старой конструкции, небольшой, и когда я вошла в него, там уже было полно народу. Обычно я стараюсь сесть в первом ряду, чтобы удобнее разместить ручную кладь, которой у меня всегда предостаточно. К счастью, одно кресло еще оставалось свободным. Я заняла его, даже не взглянув на соседа, и постаралась устроиться поуютнее, что в общем-то было излишним для такого короткого пути, но всякий раз, садясь в самолет, я настраиваюсь на настоящее путешествие. Книга, сигареты, очки... Лишь отыскав все эти, в данном случае ненужные вещи, я повернулась налево. И увидела женщину с классическим профилем и гладко зачесанными волосами. Это была она... Та, из-за которой я находилась в этом самолете, та, чей образ какое-то время преследовал меня, а затем, когда события уже стали разворачиваться, незаметно исчез из моей памяти; и сейчас я вздрогнула, словно увидела привидение. Ничто не предвещало мне встречи с нею. Просто необъяснимо, что я вновь увидела ее. Будто колесико судьбы сошло с места, будто произошла ошибка. Она должна была навсегда изчезнуть с моего горизонта — а она сидела рядом со мной. Такое случается лишь однажды. Страдает ли она от разлуки, о протяженности которой я, естественно, не могла судить? Нет, конечно, не страдает: такую любовь не может убить разлука. В подобном чувстве нет места сомнениям. Вот это-то и было чудом. Убежденная в главном, я смотрела на эту жещину — спокойную, уверенную в себе, такую же, какой я видела ее в тот первый раз. И конечно, образ ее спутника незримо присутствовал рядом с нею.

Самолет тем временем взлетал. Небо в иллюминаторах из темного стало черным: в ту секунду, как мы оторвались от земли, опустился густой туман. Объявили, что на большой высоте могут быть воздушные ямы. Поэтому просили не отстегивать ремни. Самолет набирал высоту... Судя по всему, нас решили лишить обычного тепловатого апельсинового сока... Я любовалась изысканным багажом своей соседки. Все вещи были разных размеров и формы, но близкие по материалу и цвету. Они представляли собой как бы одно семейство

Мне хотелось на чем-то сосредоточить внимание и попробовать отвлечься от атмосферных неурядиц, а так как читать я не могла, я стала разгадывать фамилию или хотя бы имя моей соседки по инициалам, обозначенным на ящичке, похожем на шкатулку с драгоценностями, и на двух небольших сумках. Три буквы — М. Л. С. Может быть, у нее двойное имя? Или это первая буква имени мужа? Тут я заметила, что у нее нет обручального кольца, но это в конце концов ничего не значит, ибо она, конечно, выше всяких условностей. Интересно, сколько ей лет? Должно быть, около тридцати. А может, чуть больше. Сегодня в ее спокойствии мне чудилось что-то патетическое.

Первой заговорила она. Сама бы я никогда не решилась на это. Она протянула мне мои упавшие перчатки. Я что-то пробормотала в ответ, и тогда она любезно осведомилась, хорошо ли я себя чувствую. Действительно, воздушные ямы следовали одна за другой. Я слабо улыбнулась, и вдруг что-то всколыхнулось во мне, словно неистовые волны прорвали плотину. Я позволила накопившимся во мне вопросам выплеснуться наружу. Сначала самые банальные: как ей удается так спокойно переносить качку?.. «Я столько часов провела в воздухе и много раз облетела вокруг земли»,— ответила она и продолжила разговор: приземление будет нелегким, в любом случае мы намного опоздаем, если вообще нас не посадят на другом аэродроме, как с ней уже бывало... Да, на прошлой неделе... Она посмеялась над подобной перспективой — все непредвиденное явно забавляло ее. Как человека свободного, который наслаждается игрой воображения! Я же при мысли о том, что нас могут посадить в Лионе или в Ницце, встревожилась. Как всегда, я теряюсь перед неожиданностью. К тому же мне хотелось как можно скорее добраться до Бернара. Или хотя бы предупредить его, чтобы он знал, где я! И уж на этот раз я не ошибусь номером! Не дам телефонистке одержать надо мной верх! Ну нет, два раза подряд, это уж слишком!

Моя соседка смеялась над моим волнением, придумывала тысячи возможных осложнений. Тогда я вдруг осмелела и спросила, ждет ли ее кто-нибудь в Орли... Она, казалось, была удивлена. Нет, но она оставила там свою машину... А кроме этого верного друга, она не представляет себе, кто бы еще мог ее ждать... Сказано это было очень просто, без всякой горечи... как нечто само собою разумеющееся. Но ведь у нее есть друзья?.. Ну, конечно, у всех есть друзья. Но друзья, которые приехали бы в Орли... в два часа дня... Она сделала недоверчивую гримаску.

Тут же я узнала, что все ее время отнимает работа... она связана с заграницей и потому много разъезжает... Да, она работает для одного большого магазина... Она произнесла название, которое мне ни о чем не говорило.

Внезапно небо просветлело — мы приближались к Парижу. Меня охватила паника... нет, я не могу расстаться с ней вот так. Лучше бы я вовсе ничего не знала... Никогда... Но теперь это невозможно... И вновь за меня, без моего участия, сработал некий беззастенчивый механизм. Все, что сейчас произошло, несомненно имело какой-то смысл. И мне пришлось повиноваться и все-таки попробовать разгадать тайну — тайну совершенства, тайну успеха.

Как всякий робкий человек, я накрутила себя и с каким-то поистине злобным бесстыдством принялась выпаливать все подряд: и про годовщину, и про ресторан, и про впечатление, которое она на меня произвела, и про открывшиеся у меня вдруг глаза, и про последствия. Я смеялась, чтобы придать большую легкость словам, хотя слезы то и дело подступали к горлу. Я рассказала ей, как, дойдя в своих рассуждениях до логического конца, я обрела свободу и вот теперь

сижу в самолете рядом с ней. Она смотрела на меня, а я все говорила, объясняла, как я предполагаю строить дальше свою жизнь... Она слушала меня не прерывая, явно удивленная, но все с тем же непоколебимым спокойствием.

Какой же издерганной, уязвимой, растревоженной чувствовала я себя рядом с этой женщиной, исполненной такой безграничной уверенности в себе.

Наконец после долгой паузы она заговорила:

— Подождите, когда это было? Третьего февраля... Вы совершенно уверены?.. Но как все это, однако, странно...

И она достала из большущей сумки элегантную записную книжку с золотым обрезом. Все ее вещи были оригинальны, даже роскошны. Покусывая кончик карандаша, она пыталась восстановить в памяти прошлое, найти какие-то зацепки.

— На тот день у меня ничего не записано. Вы, правда, уверены?..

Отвечать мне казалось излишним... Ну, конечно, я точно помнила — и еще как помнила...

Она опять заговорила:

— Ах да! Но это было не приглашение... И не что-то запланированное... Поэтому я и не записала... В тот вечер мы показывали свою коллекцию... И в ресторане я была с молодым англичанином, нашим покупателем... Меня попросили куда-нибудь с ним пойти... Мы ходили в кино, смотрели отличный фильм... Но я совсем не знала этого молодого человека... Впрочем, он был очарователен... После того ужина я больше ни разу его не видела... Правда, как-то раз потом он звонил мне — мне передавали: он был проездом в Париже... А где же в это время была я?.. Так или иначе он меня не застал.

Улыбка исчезла с ее лица. Она вспоминала.

— Этот мальчик был действительно мил. Образованный, тонкий, вероятно, немного эстет,— словом, не очень современный. И чувствовал себя совсем потерянным в этой чуждой для него среде! Он говорил, что отец хочет приобщить его к делу. Но он ничего в этом не смыслит. Мы много смеялись на этот счет... Интересно, я ведь о нем забыла, а вот сейчас вспоминаю и вижу его совсем в ином свете.. Но, конечно, не таким, каким вам нарисовало воображение. Совсем не таким.

Она еще долго сидела, задумавшись, и потом сказала как-то очень значительно:

— А быть может, из нас и правда получилась бы идеальная пара, только вы разглядели это лучше нас самих... И, однако, поверьте, жизнь для каждого — лишь более или менее длительный путь, который человек проходит один, а все остальное — игра воображения. Если, например, со стороны вы производите впечатление женщины, довольной своим существованием, разве вам от этого легче? — Она помолчала и добавила уже более беспечным тоном: — Во всяком случае, вы рассказали мне, мадам, весьма занятную историю, потому что я ведь в самом деле не знаю этого молодого человека... Совсем не знаю...

■

АЛАН СИЛЛИТОУ

Начало пути

РОМАН

Перевод с английского Р. ОБЛОНСКОЙ

Часть I

Детство вспоминается мне как пора горячей, всепоглощающей любви, но хочешь не хочешь, а приходится взрослеть, и поре этой быстро пришел конец. Так что распространяться о детстве я не стану.

Заглядывать слишком далеко в прошлое нелегко, скажу одно: отца у меня не было. Без мужчины тут, конечно, не обошлось, но кто именно повинен в моем появлении на свет, я не знал и долгие годы думал, что мать, пожалуй, тоже не знает. Вот почему чуть ли не с пеленок я чувствовал себя единственным ее обладателем, и, пока не стал постигать окружающий мир, жизнь моя была прекрасна. Но когда я пытался не пускать к ней в постель своих соперников, она давала мне подзатыльник, приговаривая:

— Пошел вон, шельмец.

Если мне доставалось как следует, я и вправду убегал, а если нет, забирался под кровать и засыпал там.

Иной раз мать обзывала меня «пащенком». Но когда, по ее мнению, я вошел в разум, она бросила обзывать меня так: боялась — вдруг я пойму, что значит это слово, или спрошу у нее объяснений. Слово все равно запомнилось, но что оно означает, я узнал, лишь когда пошел в школу и отыскал его в словаре.

Мать не скупилась на тумаки, но кормила меня досыта и одевала хорошо, так что жаловаться мне вроде было не на что. Шла война (какая — не спрашивайте), и, слушая радио, которое никогда не умолкало, я только о ней и думал. Мне казалось, каждый солдат — во всяком случае те, кто воевал на стороне Англии,— прежде чем отправиться воевать, непременно стучал в дверь нашего дома, а несколько часов спустя выскальзывал с черного хода и шел навстречу смерти. Все они до отказа наливались джином, меня закармливали леденцами, а мать жила, кажется, одними сигаретами и жевательной резинкой. Вот так-то я и участвовал в войне и в победе, и если моим детям вздумается когда-нибудь спросить меня: «Пап, а что ты делал в войну?» — я вот как отвечу: «Я помалкивал и всем наслаждался».

Всему приходит конец, хотя, пока он не пришел, этого не понимаешь. Если тебе плохо, хочется, чтобы время шло поскорей, а если хорошо, радуешься вовсю, хочешь его задержать, но размеренный его ход скоро приедается. Когда мать была на работе, за мной приглядыы-

вала соседка, и я в драных колготках (а летом и вовсе нагишом) день-деньской играл во дворе, а потом мать возвращалась — в рабочем комбинезоне, с лихо зажатой в зубах сигаретой, что свидетельствовало о ее равноправии с мужчиной, я кидался к ней, хватал за руку, и мы вместе шли к черному ходу, и я крепко сжимал печенье — мать приносила его из заводской столовки, сохранив от своего обеда, и я не спешил его есть, ведь это было единственное явное доказательство ее любви.

Ни об отце моем, ни о его родне мне ничего не было известно — мать никогда про них не говорила. Зато ее родители были еще живы, и уж они-то мне столько нарассказали, что хватило на обе родни. Жили они в Бистоне, и мать возила меня туда — мы шли по улицам, потом по Фарадей-роуд до моста и тут садились в автобус, на верхотуру, чтобы мать могла курить. И сквозь сигаретный дым я смотрел на широкие просторы, что расстилались слева и справа от университета, который я поначалу принимал за больницу. А однажды летом мы пошли пешком, коротким путем, по Банди-лейн, что вилась меж живых изгородей, но мать называла ее Бандит-лейн: девчонкой она часто ходила здесь или ездила на велосипеде, и узкая, уединенная, темная от нависших ветвей дорожка эта настраивала ее на определенный лад.

В тот день бабушка мыла полы и велела мне пока посидеть, я сел было, не глядя, на то место, где всегда стоял стул. И очутился в ведре с грязной водой, вокруг которого обвились, точно змеи, скрученные влажные тряпки. Я заорал, но вопль мой потонул в яростном крике матери, тут же выхватившей меня из ведра. Ставни были закрыты, и в доме царила тьма. Дом был больше нашего, стоял на боковой улочке, поодаль от дороги, и к нему примыкал сад, обнесенный стеной. В саду высился могучий, сгнивший изнутри вяз, но дед не решался его срубить, боялся — вдруг он повалится на пристройку, где помещалась кухня, или на ограду и, разбив ее, перегородит дорогу. Сызмала я не раз пытался влезть на этот вяз, да все никак не мог — росту не хватало, но и без того я вечно попадал в переделки. И вовсе не потому, что я чувствовал себя обделенным, как принято думать о безотцовщине, но потому, что был исполнен уверенности и радужных надежд. Бабушка часто вспоминала, какой я был в детстве веселый, всегда что-то затевал, придумывал, до всего любопытный, никак не углядишь за этим ребенком, право слово: которые вот так народились, они все такие.

Однажды, когда взрослые пили чай с пирожными, я убежал со двора. На другой стороне дороги, у обочины, стоял темно-зеленый фургончик, и, не успев даже подумать, я отворил дверцу. Перед моими глазами предстал новый мир — кожа и циферблаты, ручки и кнопка, да еще громаднейший руль. Я вытянулся во весь рост и через переднее стекло увидал покатую дорогу. У меня достало сил захлопнуть за собой дверцу, а потом я ухватился еще за какую-то ручку, и она вдруг двинулась вперед, задрожала, включив что-то внутри машины, и дрожь эта отдалась в моей руке. Под ногами у меня заурчало, и я понял — в этом новом мире что-то стряслось, и тут кирпичная ограда дедова дома заскользила вдоль машины назад. Потом показался еще дом — я в ужасе мешком осел на пол и стал громко звать мать.

Машина зловеще запрыгала по дороге под гору, проскочила перекресток и уткнулась в высокие кусты живой изгороди, ободрав бок о бетонный воротный столб. Подбежал какой-то дядька, дверца отворилась — по моей голове заколотил увесистый кулак, на меня обрушился град отборных ругательств, одно из них уж во всяком случае пришлось в самый раз. Я заревел и решил, что моей в общем-то приятной жизни пришел конец. Матери, должно быть, сказали, что случи-

лось: я вдруг услыхал, как она яростно честит этого дядьку и лупит его кулаками куда ни попадя. Бабушка вытащила меня из машины, и принялась утешать, и благодарила бога, что я остался жив, и поносила тупых, безмозглых выродков — зачем оставляют свои машины при дороге незапертыми, вот сейчас она кликнет полицейского и этого раззяву упрячут под замок за убийство и похищение ребенка.

А владелец машины разогорчился до слез — ведь он полжизни копил деньги на этот фургончик, чтоб на субботу и воскресенье вывозить жену и детишек к речке, на свежий воздух. Каждую неделю он неизменно наводил на него глянец, и холил его, и, как истый йомен, задавал корму, и поил чистой водицей, и вот господь наслал на него это бесовское отродье — и поглядите, что стало с лоснящимся боком его верного железного конька.

В ту пору я еще не ведал жизни и оттого понятия не имел, какой страшный, жестокий удар нанес этому человеку, ощущал только удары, которыми он в отчаянии осыпал меня. Человечество было возмущено уже самим моим появлением на свет — оно неизменно возмущалось при виде меня, зачатого в любви, но не в законе.

Всякий раз, как бабушка на кого-нибудь обрушивалась с бранью, она потом объясняла, что это в ней заговорила ее ирландская кровь. Бабушка была женщина очень справедливая, она всегда точно знала, что хорошо, а что плохо. Чувство справедливости я унаследовал от нее, а не от матери — мне казалось, у матери его и нет вовсе: слишком много она курила и вообще чересчур была беспокойная, некогда ей было внушать мне чувство справедливости, даже если где-то внутри оно у нее и скрывалось. Бабушка и вправду была ирландка: родители ее сто лет назад переселились в Англию из графства Мейо — я узнал от нее об этом, когда стал постарше. И еще она рассказывала про голод, он разразился по вине злодеев-англичан — и я выслушал это молча: а вдруг мой отец (кто бы он ни был) тоже англичанин, и хотя бабушка вправе его поносить, у меня самого такого права нет. Я намекнул ей на это, она же в ответ расхохоталась громко и весело, как истинная ирландка, и сказала — никому ничего не известно, чего доброго, отец у меня американец, а раз так, он вполне может быть ирландцем, и в таком случае ты, мой мальчик, тоже из наших. Я не знал, хорошо это или плохо, да меня это мало трогало: весь мой мир в ту пору умещался в Ноттингеме, где мы тогда жили.

Я был избалован, как может быть избалован лишь незаконнорожденный, если только его не загубили презрением. Я посиживал на ограде и кидал камешками в прохожих, а если они меня замечали, мигом спрыгивал на пустырь. Веди себя примерно, говорила бабушка, но откуда же мне было знать, что это значит, ведь подать мне пример она не могла. Только накричит, бывало, да разразится целым потоком слов — мол, если не буду вести себя примерно, мне несдобровать. Но даже в крике этом слышалась любовь и забота, так что я в ответ смеялся, и просил еще пирога, и, конечно же, получал его.

Школа была настоящим мученьем; каждое утро мать спозаранку приводила меня к запертым воротам и уходила — в восемь у нее начинался рабочий день. Она давала мне монету в три пенса, и, когда на другой стороне улицы открывалась лавчонка, я не спеша направлялся туда и покупал пакетик леденцов, а потом, прислонясь к школьной ограде, сосал их, и во рту оставался вкус меда.

Если ребята спрашивали, кем работает мой отец, я говорил: отца у меня нет, его убили на войне,— и, кто его знает, может, так оно и было. Но даже в пять-шесть лет мне казалось, мать не вышла замуж, потому что для любого мужчины я помеха, и меня это не слишком огорчало — я привык к такой жизни и радовался, что мать всецело

принадлежит мне. Иногда она сплавляла меня к бабушке в Бистон, а сама отправлялась в Блэкпул или в Лондон, но я только радовался нежданному празднику — ведь в эти дни не надо было ходить в школу.

Дед казался мне лучше всех мужчин на свете, хотя, когда он не ходил на работу и оставался дома, он иной раз выпивал лишку пива, становился злой, раздражительный и называл меня ублюдком — по моему тогдашнему разумению это означало: мальчишка, чья мать не может найти себе мужа.

Как-то раз я подобрал на школьном дворе несколько мраморных шариков, и один мальчишка обозвал меня паршивым ублюдком. Я побоялся, как бы он не разболтал мою тайну, и здорово ему наподдал, и уж тогда ни у кого не осталось никаких сомнений, что я и вправду ублюдок. Я не больно расстроился — ведь доказательств-то ни у кого не было, зато подружился с несколькими мальчишками, которых, я чувствовал, постигла та же судьба.

Один из них, Элфи Ботсфорд, жил на Нортон-стрит, и у него не было отца. Мать его, толстуха в очках, работала на сигаретной фабрике. Долгое время я так и представлял: она сидит на скамье и весь день напролет скручивает и набивает сигареты с помощью особой машины, а другие женщины укладывают их в пачки для продажи. Элфи, ее единственный сын, в свободное от школы время больше всего на свете любил играть в камешки на мостовой. А уж если не играл сам с собой в камешки, так наверняка уписывал хлеб с патокой. По-моему, ничего другого он сроду не ел. Когда я заходил к нему после школы, его мать и меня угощала хлебом с патокой, и я уплетал все за обе щеки — моя мать возвращалась с работы только через час, а в пустой дом мне идти было незачем. Миссис Ботсфорд угощала меня и чаем, таким крепким, что от него несло йодом. Но я не привередлив и выпивал его до дна, а по ночам от ужасного этого угощенья меня мучили кошмары и я терпел адские муки.

В школе меня мало чему учили — только читать да писать. Учителя загнали меня на заднюю парту и забыли о моем существовании. Но им назло, а может из желания понравиться, по чтению и по письму я успевал хорошо. Однако меня все равно держали на задней парте, теперь уже потому, что не в пример тупицам, которые и этому-то не могли научиться, я, как видно, не требовал особого внимания. Примерно в эту пору — мне тогда было семь — мать с бабушкой пронюхали, что поблизости есть брошенный жильцами дом. Кто-то, не желая платить за квартиру, сбежал ночью в Бирмингем и все имущество, которое не поместилось в фургон, бросил на произвол судьбы. И вот однажды средь бела дня мать протиснулась в окно кухни, а нас с бабушкой впустила через дверь. Тут мало чем можно было поживиться, разве что кой-какими ложками да плошками, но в общей комнате на полу разбросаны были большущие нотные тетради. Они валялись повсюду, и, завороженный причудливыми нотными значками, я принялся их листать. Они глядели на меня черные и четкие — восьмушки, четверти, половинки, слова, которым я уже научился в школе, и я водил по ним пальцами, словно то был шрифт Брайля для слепых. Две такие тетради я взял под мышку и унес и очень ими гордился, и хотя потом они куда-то запропастились, строки беззвучной музыки еще многие годы являлись мне в беспокойных снах, виной которым был крепкий чай миссис Ботсфорд.

В Бистоне у меня был приятель, Билли Кинг, семья его жила в подвале на Риджент-стрит. Среди моих друзей он был единственным

в своем роде — за целый год знакомства он не задал мне ни одного вопроса, ни разу не спросил даже: как, по-твоему, сколько времени, или — есть хочешь? Меня это ничуть не огорчало — ведь на мне лежало несмываемое пятно, которое надо было скрывать, и в этом смысле молчаливость его была мне как раз на руку. Но когда с вечным своим неуемным любопытством я начинал сам задавать ему вопросы, тут уж я огорчался — в ответ от него только и можно было услышать: не твое дело или — кто не спрашивает, тому не врут, а если он был хорошо настроен, оттого, скажем, что ему удалось разжиться отцовской сигареткой, он вообще ничего не говорил и, поглубже засунув руки в карманы, дымил себе и дымил с важным видом. Приходилось ждать, когда ему самому вздумается заговорить, и уж тогда слова его давали в моем воображении пышные всходы, точно семена, брошенные в трехлетний пар, и всякая малость, которая приключалась с ним, вырастала в целое событие. Я упоминаю об этом потому, что отсюда, наверно, берет начало мое умение внимательно слушать и воздерживаться от вопросов, которые попадали бы в самую точку. Человек всегда расскажет больше, если ему самому пришла охота излить душу, и я любил слушать — все равно правду или выдумки, не оттого, что больше нечего было делать и нечего порассказать самому,— просто я доверчив и добродушен, и людям приятно поведать мне про свои злоключения, а когда явно врут и хвастают, слушаешь с увлечением и неважно, что там мораль не на высоте, лишь бы меня самого при этом не надували.

Но как же все-таки я мог быть прирожденным слушателем, если бабушка у меня ирландка? Вообще-то она много чего порассказала мне про наших предков, но далеко не все эти истории я мог повторить в том нежном возрасте и даже позже. А так она больше хохотала, да покрикивала, да изредка грозила мужу, когда, перебрав спиртного, он не мог работать в саду, или рявкала на дочь, если та подкидывала ей меня на целых три недели. Но деда и бабушку я любил даже больше, чем если бы они были моими родителями: их ведь было двое, а мать — одна. И вот доказательство моей любви к ним: когда мать оставляла меня дома, а сама уходила с кем-нибудь из приятелей посидеть в пивной, и мне приходилось ложиться спать одному, я не ревел и не огорчался. Но если, пока я жил у деда с бабушкой, они шли прогуляться перед сном или опрокинуть по стаканчику, я ревел и по-настоящему трусил. Если летним вечером, когда в окно заглядывал прощальный солнечный луч, я был один, мне казалось: вот-вот настанет конец света. Я был не маменькин сынок, но бабушкин и дедушкин, и уж если различать детей по каким-то признакам, так отчего бы и не по этому?

Заходя за Билли Кингом, я никогда не спускался в подвал, просто кричал через решетку, через стальные прутья под ногами. Тогда Билли сразу выбегал на улицу. В семье было еще двое детей, и родители его сняли этот подвал на условиях, что они лишь поставят здесь мебель, пока мистер Кинг не подыщет квартиру. Но так как со старой квартиры их выгнали, а новой не было, семья ютилась в этих выбеленных известкой, неуютных стенах. Однажды Билли вышел на улицу весь черный и в синяках: угольщик по старой памяти поднял решетку и ссыпал добрый центнер угля в подвал, прямо на кровать, где спали дети, хорошо еще, они сбились в кучу под тряпьем, не то головам их несдобровать бы под нежданной лавиной.

Зима запомнилась мне как самое плохое время; мы с Билли построили вокруг дедушкиного дерева йглу, уплетали там шоколад и пирожные, которые таскали из лавчонок, и в дыру, заменявшую окно, посматривали на ворота — а вдруг за нами гонятся? Ноги у нас

были мокрые — мы стояли коленками на снегу и на холодной земле, зато у нас было надежное убежище, никому и в голову не приходило, что в нем может прятаться живое существо, и мы просиживали там часами, точно разбойники с большой дороги, которые ждут: вот-вот их выудят оттуда и повесят. По другую сторону ледяных стен был подлинный и страшный мир, а в нашем пристанище, хоть оно и походило на склеп, попробуй нас достань: взрослому нипочем было не влезть в узкую дыру, которая служила нам входом; правда, по ночам, в постели, мне снилось, что кто-то пробил киркой нашу ледяную крышу и только чудом не раскроил головы нам с Билли.

Весной наш дом растаял, на земле вокруг дерева от него остался лишь черный след.

Однажды мы с Билли перелезли через чью-то ограду в стороне от Хай-стрит — там во дворе стояла тележка фруктовщика, нагруженная для завтрашней торговли. Мы перебросили через ограду сколько могли консервных банок, уложили их в тачку Билли и в темноте повезли нашу добычу прочь. Остановились у его подвала, подняли решетку и половину покидали вниз,— банки без шума скатились прямо на детскую постель. Его родители решили — снедь эта попала к ним в преисподнюю прямо с неба — и прибрали все в буфет. А моя бабушка, увидев банки, обрадовалась и две открыла к ужину, чтобы нам была прибавка к хлебу с маслом.

Тут в воротах показались полицейский и хозяин тележки, и впервые в жизни я мигом, безо всякого труда вскарабкался на самую верхушку дедова дерева. Меня зазывали вниз, но я повис на суку, точно кот, и не мигая глядел на людей, которые стояли внизу полукругом и ждали, когда я ступлю на землю, чтобы потащить меня в самую что ни на есть мрачную тюрьму. Но тут вмешались силы помогущественней моих: сук подо мной треснул, обломился, я понял — пришел мне конец и, счастливо прожив на свете семь лет, я сейчас угожу прямехонько в ад, и, падая в ужасе заорал.

Я раскинул руки крыльями, словно хотел ухватиться за само небо, свалился на землю, и тут же рядом упал сук. Меня оглушило, изрядно поцарапало, несколько зубов расшатались — могло быть и хуже, но бабушка втащила меня в дом и усадила, не переставая кричать на полицейского:

— Убийцы! Убийцы! За какой-то несчастный компот готовы убить ребенка!

Дед провел полицейского и фруктовщика в общую комнату и все уладил с помощью десяти шиллингов и нескольких стаканов отменного ирландского виски.

На другой день я спозаранку спрятался от деда во дворе. Бабушка ушла за покупками, и вдруг дед вышел на порог и поманил меня.

— Чего тебе? — спросил я.

— Поди сюда, голубчик.

Я подошел и получил такую оплеуху, что отлетел к сараю. Дед тут же рывком поднял меня на ноги и толкнул в дальний конец двора.

— В другой раз не попадайся, слышишь? Никогда не попадайся.— Он захлопнул за собой дверь и пошел в кухню завтракать.

Легко сказать — не попадайся; да разве это возможно — воровать и не попадаться? Я с радостью послушал бы всякого, кто надоумил бы, как это делать. Мне не велено было уходить со двора целую неделю, но я нарушил запрет, ловко улизнул через забор и кинулся к Билли Кингу. Припал лицом к решетке погреба, тихонько его окликнул, потом погромче, потом еще громче — он не отзывался. В подвале не оказалось ни его, ни его родных, наверно, они наконец нашли себе другое жилье. И, должно быть, где-то далеко отсюда.

В школе я любил одно только чтение, а кроме него там и вообще мало что было. Арифметику я не любил, письмо не переваривал. Книги уводили меня из школы в захватывающий мир приключений, и это был единственный способ, не прогуливая уроков, все-таки от них увиливать. Учитель то и дело ловил меня на этом, выхватывал книгу, но я всегда забирал ее назад, даже, когда, потеряв терпение, он давал мне тумака. Учитель наш был еще молодой, и я ставил его в тупик: по совести он не мог счесть меня круглым дураком — а как же не дурак, если ничему, кроме чтения, учиться не желаю?

Дома я никогда не сидел, уткнувшись носом в книгу, во всяком случае пока не ушел из школы. Не то все подумали бы, что я либо заболел, либо спятил, а мне вовсе не улыбалось, чтобы меня укладывали в постель или ни с того ни с сего звали доктора. Когда я наконец бросил ученье, я стал читать на работе, и там мое пристрастие оказалось еще бóльшим грехом, чем в школе. Из-за него меня уволили с нескольких фабрик (правда, мне все равно там не нравилось: шум, вонь, а главное, надо вкалывать), и я стал наниматься посыльным или курьером и возил по городу велосипед с багажником, нагруженным тканями или бакалейным товаром. На обратном пути я останавливался где-нибудь на мосту через канал, прислонял велосипед к перилам и полчаса посвящал книге или комиксу. И вполне понятно, меня считали толковым малым, ведь я всегда находил дорогу, но не слишком расторопным — времени на дорогу у меня всегда уходило больше, чем надо.

Однажды я неторопясь шел по городу с очередным поручением и заглянул в витрину книжного магазина. В глаза бросилось название — «Путь всякой плоти». Я стоял в своем комбинезоне и глазел на эту книгу, тут на витрину взглянула какая-то девушка, и я смутился: вдруг она подумает, меня только такие названия и привлекают. В сущности, так оно и было, но я решил не отступать. Книги о сексе всегда меня интересовали, но про эту книгу я что-то не слыхал, а издание дешевое, вот я и решил — зайду и куплю ее. Девушка, хорошенькая блондинка, по виду — шлюшка из конторских, тоже решила что-то купить и торчала как раз у тех полок, где наверняка стояла нужная мне книга. Я не пошел туда, уставился на полку с молитвенниками и библиями, только никак не мог понять, почему они оказались в том же магазине, что и книга, которая до зарезу понадобилась мне.

Продавец спросил, что мне угодно, я ответил, хочу, мол, поглядеть, выбрать, и пришлось ему заняться своим делом — заворачивать покупки. Я уже слишком давно околачивался в городе, пора было возвращаться на работу, а красотка все не отходила от полок с дешевыми изданиями — ну, ладно, приду завтра. Так я и сделал, вручил книгу служащему, который взял у меня деньги и положил ее в пакет, чтоб никто не подумал, будто я стянул ее, выходя из магазина.

Но другую книгу я сунул под куртку; было у меня такое правило: одну купил, одну стянул, тем самым получаешь обе за полцены. Я ведь не вор, чтоб брать задаром. Книга, которую я свистнул, называлась «Божественная комедия» — я думал, она тоже с клубничкой, тем более написал ее итальянец. Я очень радовался улову и в тот же вечер, едва дождавшись, когда мать уйдет из дому, сел поближе к огню и взялся за книгу. Когда я поставил ноги на ведерко с углем и жадными глазами впился в «Путь всякой плоти», я прямо горел нетерпением. Я уже знал: в книге этой серии издательства «Пингвин» интересное начнется не сразу, на первой полусотне страниц и думать нечего застать любовников в постели. Но книга оказалась здорово увлекательная, не оторвешься, и, когда в половине одиннадцатого вер-

нулась мать, я уже думать забыл, чего ждал, открывая первую страницу.

С той поры мне доводилось заглатывать и другие хорошие книги, и хотя они не доставляли мне того удовольствия, на которое я поначалу рассчитывал (впрочем, иногда и в них находились весьма соблазнительные местечки), я начал понимать, что книги — это вовсе не только секс и гангстеры. Написанное на эти темы не очень-то меня удовлетворяло: все, что было связано с сексом, казалось неправдоподобным и оставляло скверный осадок, гангстеры же как на подбор были типы отпетые и какие-то неживые, точно картонные, и, ясное дело, при первой же стычке с законом получали по заслугам. Какой же я был тогда простофиля! Может, обыкновенные подростки все такие, но незаконнорожденному это только помеха. Я читал книгу за книгой, с удовольствием пополняя таким образом недостаток образования, и мало-помалу стал замечать, что жизнь, которую я себе избрал, не так уж хороша, ведь на самом деле не я ее выбрал, а она сама заставила меня плясать под свою дудку. Скажу прямо, я был сыт по горло работой, домом, всем на свете.

Когда тлевшая во мне неудовлетворенность стала понемногу подбираться к самому сердцу, мне стукнуло восемнадцать. Мать однажды спросила, что со мной делается, я ответил — мало ли что, схватил пальто и выскочил на улицу, пока она не принялась честить меня никудышником и обалдуем. Все это было бы вполне справедливо и как раз поэтому невтерпеж слушать, оставалось только податься на Нортон-стрит, поглядеть, не вернулся ли уже с работы, из конторы литейной фабрики, Элфи Ботсфорд.

День был будний, но когда Элфи отпер дверь, оказалось, он при воротничке и галстуке, в щегольском пиджаке, в отутюженных брюках.

— Ты дома? — спросил я.

— Может, и дома, да там моя девчонка сидит.

— Это не беда,— сказал я, подвигаясь ближе.

Он шире отворил дверь.

— Ладно, заходи.— И прибавил шепотом: — Ее зовут Клодин, у нас с ней все слажено.

При этих словах я было замялся, но он по всем правилам меня «представил» (так он это назвал — прежде меня никто никому не представлял), то есть дал нам пожать друг другу руки и совершил тем самым свою первую и последнюю ошибку.

— Моя подружка, Клодин Форкс,— сказал он.— Клодин, это мой старый друг, Майкл Каллен.

Она сидела в кресле у огня, и, пока Элфи переворачивал пластинку на проигрывателе, я пытался поймать ее взгляд и подмигнуть. У нее был маленький ротик и полная грудь, и сидела она так, что тонкие ноги были открыты довольно высоко.

И Элфи, и его девчонка не больно мне обрадовались: мать Элфи, наверно, ушла, и они, видно, надеялись порезвиться наедине. Я решил: уж если сам не позабавлюсь, так хоть им помешаю, и когда Элфи пошел на кухню вскипятить чай — он надеялся, что так скорей избавится от непрошеного гостя,— я стал сверлить взглядом его милую, и в конце концов она встала и принялась искать на каминной полке сигарету.

— Не ищите, у меня есть,— сказал я и сунул ей под нос свою пачку.— Раз уж ты занялся чаем, сделай нам по сандвичу,— крикнул я Элфи.

Она не успела сунуть сигарету в зубы, как я поцеловал ее и при-

жал к себе. Она сопротивлялась, но, видно, ей не впервой было отбиваться втихоря.

— Только пикни, я скажу, ты меня первая поцеловала,— прошептал я.

От такой наглости глаза Клодин зло вспыхнули, и я поцеловал ее еще раз и так притянул к себе, что ощутил теперь ее всю.

Я зажег спичку, дал ей прикурить, и, когда Элфи увидел, как близко мы стоим друг от друга, в нем взыграла ревность. Он растерялся, но Клодин взяла его под руку и поцеловала,— дескать, не сомневайся, все хорошо; он приободрился, посадил ее на колени и не отпускал, пока чайник на газовой плите не засвистел, тогда он отпустил ее и кинулся на кухню.

Пришел мой черед, и я не стал терять время даром. Я впился ей в губы, но она зашипела как змея и оттолкнула меня.

— Бесстыжий ублюдок!

— Что тут у вас такое? — спросил Элфи.

— Его спроси,— вся красная бросила Клодин.

— Я только хотел узнать, нет ли у нее сестры, думал познакомиться,— сказал я.— Ладно, видать, я тут лишний. Обойдусь без вашего чая и сандвичей, надеюсь, все у вас остынет и зачерствеет, покуда вы будете забавляться. Раз мне не рады, я ухожу.

От дверей кухни я прибавил кой-что похлеще, Элфи затрепыхался, пытаясь вставить словечко, а у девчонки лицо стало еще напряженней, словно она уже чувствовала себя виноватой за все то вранье, которым я могу осквернить их гнездышко.

— И вот еще что,— сказал я и так уставился на Клодин, что Элфи побледнел.— Насколько мне известно, не один я тут ублюдок, и, надо думать, не один я бесстыжий.

— Заткнись! — взвизгнул Элфи и изо всех сил пихнул меня, думая вытолкнуть за дверь, но я повернулся и тоже пихнул его, да так, что он отлетел на другой конец комнаты. И вышел сам, а дверь за собой захлопнул совсем не так яростно, как они ждали.

На другой день я забыл и думать про эту Клодин, я добивался свидания с одной продавщицей, которая застукала меня на складе за чтением и, разглядев мою книгу, решила — со мной стоит, пожалуй, познакомиться поближе. И вот субботним утром прогуливаюсь я на солнышке по Уилер-Гейт и вижу: навстречу идет Клодин. Ну, я, конечно, поздоровался с ней так, словно мы сто лет знакомы. А она будто хлыстом ожгла:

— Чего тебе?

Но все-таки остановилась. На ней было темно-красное летнее пальто, темные чулки, губы накрашены ярко-красной помадой, волосы высоко взбиты.

Мне сразу снова ее захотелось, и меня ничуть не смущало, что она подружка Элфи, пожалуй даже наоборот.

— Я так и надеялся, что тебя встречу,— сказал я.— Ты уж не сердись, что я тогда сбежал.

— А больше, по-твоему, на тебя не за что сердиться? — спросила она.

— Ну, раз уж пошел такой разговор,— ответил я,— ты тоже хороша — как меня обозвала.

— А ты как дал волю рукам? Вот я и брякнула.

— Я совсем голову потерял.

— Ну, может, в другой раз не потеряешь.

— Уж постараюсь. Я не часто такой бесстыжий. Только иногда.

— По мне, слишком часто.

— Ну, со слов Элфи этого не подумаешь.

Тут она так покраснела -- ярче пальто и помады.

— Я что, лишнее ляпнул? — прибавил я, будто устыдился своей бессовестности.-- Мы с Элфи старые дружки, прямо от рожденья. Мы много о чем болтаем. Это не беда, цыпочка.

На минуту у нее прямо язык отнялся. Наконец она выговорила:

— Он тогда сказал, что больше не станет водить с тобой дружбу. Дал слово, что больше и говорить с тобой не будет.

— Ну, сама понимаешь,— сказал я,— мы старые кореши. Ему это не больно легко. Он, наверно, хотел не враз, а постепенно. Элфи не враль, не думай. Он парень первый сорт.

— Ну, уж он у меня получит.

Я возразил — лучше не надо.

— Зачем тебе это, если у вас дело слажено. Зачем все ломать из-за такой малости? Пойдем лучше выпьем чайку у «Львов» на Лонг Роу.— Клодин огляделась, словно надеялась увидеть свою мамашу и спросить разрешения.— Болтают-то все про всех,— продолжал я,— а хуже от этого никто ни про кого не думает. Хочешь, порасскажу, какие у нас дела случаются, где я работаю, да ведь ты, наверно, и сама слыхала, так что это ни к чему.

За чаем она сказала с горечью:

— Наверно, Элфи все тебе про меня рассказал?

— Сказал только — у вас все слажено, а раз так, делайте что хотите — не беда.

Мне не терпелось перевести разговор, он, конечно, сослужил свою службу, сблизил нас даже больше, чем я надеялся, но если его продолжать, может и отдалить. Мне хотелось поладить с Клодин, а вовсе не поссорить ее с Элфи, ведь после ссоры они только еще больше прилипнут друг к другу. И обсуждать их дела так, будто я ей родной брат, мне тоже не больно надо. Окажись мы в местечке поукромней, я облапил бы ее не хуже, чем тогда у Элфи,— просто чтобы поставить все на место; с этой мыслью я потянулся через стол и дотронулся до ее руки, она не запротестовала, тогда я под столом тронул ее коленку, но так быстро, что она не успела оттолкнуть мою руку и уже в следующую секунду не знала, правда я ее погладил или ей померещилось. Вот хорошо, ведь она даже не покраснела, а то когда краснела, лицо у нее становилось злое и уж совсем некрасивое.

— Ходил сейчас по книжным магазинам,— сказал я,— но что-то ничего интересного не нашел. По субботам я всегда заглядываю в книжные магазины. На неделе люблю проглядеть книжку-другую.

— Вон как. А в тот вечер я про тебя подумала — совсем неотесанный.

— Да просто я пришел к Элфи не в полном параде. Я ж не знал, что тебя встречу. Это была приятная неожиданность.

— Вел ты себя тоже не больно красиво.

— Не надо об этом, Клодин. Я тогда совсем голову потерял. Я могу быть вежливым... только не все время. Я ж не Элфи, я ведь не сидел, как он, на хлебе с патокой да на черном чае.

Она рассмеялась:

— Да ну? А он мне про это не рассказывал.

— Уж я-то знаю. Мы с ним под стол пешком вместе ходили.

— А отец у него куда девался?

— На войне убили. Как моего.

— А я уж подумала, он вовсе безотцовщина,— сказала Клодин.— Я с такими не знаюсь.

— Чего ж он не сказал тебе все как есть? — спросил я, разозлившись, что приходится его защищать.— Его старика потопили у берегов Норвегии. А моего разбомбили в Египте. Хрен редьки не слаще.

— Так это совсем другое дело,— сказала она.— Значит, погиб за родину.

— Сколько народу погибло. И им от этого не легче. Еще чаю хочешь?

— Мне пора,— сказала Клодин.— Я уж и так задержалась. Я ведь шла за покупками.

— Завтра воскресенье. Давай встретимся после обеда и погуляем.

— Ну, не знаю.— И она надула свои соблазнительные красные губки. Потом улыбнулась, и тогда стали видны ее зубки, а это мне нравилось.

— Возьми с собой Элфи, если хочешь. Прогуляемся все вместе. Он, наверно, будет доволен.

Клодин согласилась. Я посадил ее на автобус, и такая у меня в душе была радостная неразбериха, что я сразу вернулся в книжный магазин и с ходу приглядел четыре книжки. На другой день, как я и надеялся, Клодин пришла одна.

Если есть на свете что-нибудь приятнее чтения, так это прогулка с девчонкой. Книжка уводит тебя в другой мир, а девчонка привязывает к земле. Вернее, ты сам ее привязываешь или стараешься привязать, когда за кустами подминаешь ее под себя и тебе не терпится отправиться в самый долгий путь, в самую сладкую на свете ночь. Иногда я умолял ее, в другой раз подначивал, потом замолкал и пытался по-бычьи идти напролом, но проходили месяцы, а я так ничего и не добился. Мы лежали среди деревьев на участке Шоу, вдали от всех глаз, кругом было по-летнему тихо. Я зажег сигарету, передал Клодин, закурил сам. Она была в темно-красном вельветовом платье, слегка взъерошенная; сигарете она обрадовалась — курево успокаивает.

— Элфи ты не отказываешь,— пожаловался я,— почему ж меня-то не допускаешь?

— С Элфи мы вроде как обручились, а это что-нибудь да значит.

— Хочешь, давай лучше мы с тобой вроде обручимся?

— Ты только так говоришь, чтоб добиться своего,— резко ответила она, застегивая верхнюю пуговку платья, что расстегнулась, когда я ее осаждал.

— Ну, и Элфи также.

— Нет. Он не просто болтает, он и правда хочет, чтоб мы поженились.

— И я тоже,— запротестовал я вне себя оттого, что мне перечат. Казалось, если я еще раз услышу от кого-нибудь это благоприличное «обручились», я тут же убью этого болтуна, а сам брошусь со скалы.

Снова начались поцелуи, нежные, горячие, но не того я хотел, разве только если б они проложили дорожку туда, куда я стремился. Клодин стонала, и крепко меня обнимала, и кусала за ухо, но едва рука моя приближалась к запретному местечку, в ней тут же брал верх здравый смысл, глаза ее трезво раскрывались, и она, сразу остынув, отстранялась от меня. Я был совсем сбит с толку, не знал, как быть дальше, и не раз поздно ночью уходил от нее ни с чем и оттого совершенно разъяренный. Она служила в объединении городских контор и презирала меня за то, что я всего лишь посыльный. Она не уважала меня, а значит, не могла бы и полюбить, но я был не из тех, кто станет подлаживаться, лишь бы только добиться своего. Со мной ей было интересно, ведь я старый друг Элфи, да еще такой чудак — читаю книжки, этого она никак не могла понять. Но я не отставал от нее, все надеялся, что не завтра, так на следующей неделе мы с ней сдвинемся с мертвой точки. Я вцепился в нее, точно пьяница в одно-

рукого разбойника,[1] надеясь получить долгожданный куш. Я замучился от неудач и стал уже думать — может, она отыгрывается на мне, чтоб потом быть милой и приятной с Элфи. Оставалось только взять ее силком, но хотя сил у меня было достаточно, на это их, пожалуй, не хватило бы. Элфи не знал о наших еженедельных встречах, и вначале, когда я еще питал надежды, я не хотел, чтобы он узнал, а Клодин на первых порах была бы не прочь, чтобы ему это стало известно: она думала, он разболтал мне про их любовные делишки, и хотела таким образом ему за это отплатить. Но время шло, неделя за неделей — а мне они казались годами,— и я начал понимать: пожалуй, есть смысл сказать про нас Элфи или хотя бы сказать Клодин, будто я намерен ему растолковать, что к чему. Мне все ясней становилось, что ей теперь вовсе неохота посвящать Элфи в наши делишки, недаром всякий раз, как мы должны были встретиться, она осторожничала. Страсти моей не было выхода, и оттого я стал куда лучше все подмечать и соображать — все-таки польза.

Мы сидели в кафе на Парламентской улице, где встретились сразу после работы. Чтобы заморить червячка, съели по пирожному, и я уговаривал Клодин поехать за город, погулять в лесу, в поле. День сухой, погожий, стемнеет еще не скоро, но я не больно преуспел.

— Вот еще,— говорила она.— Охота была тащиться в такую даль. Лучше проводи меня домой.

— У тебя свидание с Элфи? — спросил я. Во мне вдруг проснулось подозрение.

— Хочу смотреть телевизор. Мама вчера купила. На свои сбережения. Отец ничего не мог бы купить, у него заработки похуже.

Она хотела, чтоб я шел с ней, смотрел телевизор вместе с ее родителями — они наскребли из своих грошей, купили телевизор и теперь не нарадуются, но у меня были другие планы.

— Вчера вечером мы виделись с Элфи,— сказал я невинным тоном. И в ее глазах сразу же блеснула тревога.— Поболтали о том, о сем,— прибавил я.— Ничего особенного.

— И все?

— Он вроде чего-то беспокоится. Еще пирожное хочешь? Бери. Я угощаю.

Но ей было не до пирожных, не терпелось узнать, о чем у нас была речь.

— А чего это с ним? Он сказал?

— Сказал, да только мне одному.

— И ты пообещал никому не говорить?

Я улыбнулся.

— Мы и без того друг друга не выдаем.

Пирожное смазало помаду, Клодин вынула из сумочки зеркало и стала красить губы.

— Он это из-за меня?

— Ему приглянулась другая девчонка, он думает, может, ему тебя бросить.

У нее задрожали губы:

— Ты все врешь.

— Я ему говорил, он дурак будет, если даст тебе отставку. Так его уговаривал, теперь, наверно, не уйдет.

Она огляделась, желая убедиться, что здесь нас никто не знает и не сболтнет Элфи. Вот уж тогда он как пить дать ее бросит.

— Я ухожу,— сказала она, вставая.— Одна пойду. Не ходи за мной.

[1] Автомат для азартной игры.

— К Элфи идешь?

Она не мастерица была врать, так что и не пыталась.

— Да.

— Зря. Его нет дома. Он собирался в Карлтон к бабке.

Это ее совсем убило. Она всему поверила, я даже не понимал, как можно быть такой дурой. Я взял ее руку и сжал покрепче — пускай чувствует мою любовь.

— Поедем за город, хоть в Стрелли. Там хорошо, подышишь свежим воздухом.

Клодин села, и я поставил перед ней еще чашку чая.

— Поеду домой,— сказала она,— так будет лучше.

Теперь уже встал я.

— Ну, как хочешь. Только мне надоело. В полседьмого у меня свидание с одной девушкой с нашей работы. Она каждый день приезжает из Тибшелфа. Девчонка первый сорт.

— Что ж, я и тебе разонравилась? — сказала Клодин.

— Конечно нет. Просто я хочу уйти из этой грязной дыры и прогуляться.

Полчаса спустя мы под ручку шли мимо пивной «Могучий дуб» по дороге к Стрелли. До сумерек оставалось еще часа два, с полей дул теплый ветерок.

— Ну как, не жалуешься?

И она хмуро ответила, что ей жаловаться не на что. Мы миновали церковь и свернули налево, в Весеннюю рощу. На дорожке обнималась какая-то парочка, и я сказал:

— Пойдем подальше в лес.

Клодин не хотела, и я решил — сейчас самое время ей сказать.

— Давай наконец сойдемся. Я прямо помираю по тебе, Клодин. Я еще ни в кого не влюблялся, ты первая, и мы знакомы уже сколько месяцев. Теперь уже можно.

Я притянул ее к себе, и под шорох тяжелой листвы мы классно поцеловались.

— Нет,— сказала она, когда я положил руку ей на коленку. Я раздвинул ее ноги, и она, видно, ждала, что будет дальше.

— Завтра в обед мы увидимся с Элфи, и я расскажу ему, что мы с тобой все время встречаемся.

— Ну почему ты такой бессовестный? — воскликнула она.

— Потому что хочу тебя С ума по тебе схожу Но я все ему расскажу, и тогда он уйдет к этой новой девчонке. И я тебя тоже брошу.

Она рассмеялась:

— На берегу камешков сколько хочешь.

Я тоже ответил со смехом:

— До моря далеко, а вокруг — один песочек.

Она помолчала, потом спросила угрюмо:

— Неужели расскажешь?

Я дал честное слово. Она взяла меня за руку и сказала:

— Ну, ладно.

— Что ладно? — Я хотел, чтоб она сказала мне прямо.

— Я согласна.

Мы нашли местечко, и после жарких поцелуев она легла на траву, откинула голову. Она была вся теплая, губы почему-то отдавали не только сладковатой помадой, но и горечью, и я, кажется, весь был в этой помаде. Я накинулся на нее. Клодин задвигалась, стала кусаться.

Ну почему она согласилась только ради того, чтобы я не расстроил все между ней и Элфи? И когда мы под руку шли обратно, я впер-

вые приревновал к нему. Только ревновал я напрасно, потому что хотя заманил я ее в рощу обманом, но чем чаще мы виделись с ней после этого, тем реже она виделась с Элфи, и под конец у нее все сладилось не с Элфи, а со мной, и мы наслаждались друг дружкой по нескольку раз на неделе то в парках, то где-нибудь в поле. Когда руки наши встречались после работы, у обоих дух захватывало — и мы только и могли вздохнуть свободнее, когда в лицо ударял запах травы и пышной листвы. Мы пробирались тайными тропками, потом уходили от них в сторону, в глушь, и там, под деревьями, скрытые от всего мира, раздевались донага, точно у себя дома, и я глубоко окунался в первую в своей жизни любовь. Обоим этого хотелось, но Клодин иной раз упрямилась, и приходилось добиваться своего и лаской и таской, только я ведь знал, что в конце концов получу свое, и оттого было еще слаще.

Мы уже несколько недель играли в мужа и жену, я пообвык и стал даже подшучивать над ней, и вот однажды вечером, по дороге из лесу, я спросил — а с моим корешом Элфи ей тоже было так хорошо?

Клодин остановилась под фонарем и посмотрела на меня очень серьезно.

— Сказать тебе, Майкл? Сказать? — И, не дожидаясь ответа, продолжала: — Так и быть скажу. У нас с Элфи Ботсфордом ничего такого не было. Ни разу. Хочешь верь, хочешь нет, но я говорю правду. Он ни разу не посмел. Сперва попытался, а я не далась (меня так мама учила), и он больше не пробовал, только унылый стал, угрюмый. Так что сколько времени мы с ним гуляли, а до этого не дошло.

Меня пот прошиб. Вот когда до меня доперло, что это значит — «у нас все слажено»: ведь если у нее ничего такого не было с Элфи, стало быть, я сам попался в ловушку, которую расставил ей. Теперь трудно сказать, кто кого старался поймать, но сейчас мы попались оба, это уж наверняка. Клодин взяла меня под руку и склонила голову мне на плечо, можно подумать, на нас сейчас прямо с небес польется колокольный звон. Мы шли мимо очереди на автобус, и мне казалось, люди оценивают нас каждый на свой лад и думают: вот и еще одна милая молодая парочка скоро пойдет к алтарю. В сумерках какой-то старый хрыч радостно ухмылялся, глядя на нас, а меня так и подмывало показать ему нос и сказать: «Как бы не так, папаша». Но я сжал локоть своей подружки, и едва нас укрыла тень живой изгороди, поцеловал ее.

— А я-то иду и удивляюсь, что это ты такой смирный,— сказала она.— Ну что, теперь доволен?

— Это точно, крошка.

— Пойдешь к нам сегодня, Майкл?

— Да нет. А то пропущу последний автобус.

— Устал?

— Вот еще!

Но показываться у нее дома я не собирался, тогда уж мне ходу назад не будет: понравлюсь ее родителям, считай, все равно что мы помолвлены — нет уж, это не по мне! Кругом все как очумели, пошли жениться в девятнадцать лет, жуть да и только, а я как подумаю, до чего Клодин все это принимает всерьез, иной раз прямо поджилки трясутся. Будто меня тащат к люку, до него уже рукой подать, и я скачусь прямо в консервную машину, а она выбросит меня на другую сторону вместе с Клодин в банке с этикеткой: «Идеальный брак». Я и сам не знал, почему меня такой страх берет, хотя в мои годы, наверно, так и положено. Может, я не хотел себя связывать, ведь вот же не связывала себя ничем таким моя мать. Она была женщина

свободная, независимая, такие, если только не вышли замуж, верят, что и вправду равны с мужчиной. Мы с ней не очень-то делились своими планами и потому отлично ладили. Когда-то, девчонкой, она была очень тоненькая, а теперь, под сорок, располнела. Мужчины по-прежнему вились вокруг нее, но домой она редко их приводила. А если приводила, я держался подальше: как-то было неловко — ведь она получала от них то, что я так неутомимо отдавал Клодин.

Три занятия поглощали меня: чтение, работа и постель, и всем трем я предавался как мог, сколько хватало времени и сноровки. Но теперь я начал чувствовать, что слишком крепко связал себя с Клодин, и тут-то понял — от чтения хороших книг еще не станешь мудрым. Раз можно читать и ничему не научиться, значит, и это вроде обман: выходит, и в хорошие книги прячешься от жизни: все равно как в книжонки про секс и гангстеров, смех да и только. Сперва я чуть не бросил читать, решил было — это и есть лекарство от болезни, названия которой я не знал, да передумал: лучше уж брать побольше от жизни и заодно больше у нее учиться. Мол, в чувствах моих, конечно, сумбур, но я уж во всяком случае не спятил. А на самом деле из всего этого видно, насколько я потерял голову, хотя, воображая, будто я в здравом уме, я перестал изводиться и по крайней мере почувствовал, что я пуп земли.

На фабрике мной не слишком дорожили, скорее терпели, хотя, уж наверно, я стоил тех восьми фунтов, которые мне вручали каждую пятницу. Я таскал тюки материй со складов в закройные цеха, а иногда грузил готовую одежду на машины, которые подъезжали к складу. Одно было хорошо в моей работе: одежда доставалась мне по своей цене, а иной раз и бесплатно — когда у меня хватало духу нахально пронести ее под комбинезоном. Работал я спустя рукава, но однажды предложил, как побыстрей переправлять ткани из одного отдела в другой, тут начальство поняло, что я парень башковитый, и главный управляющий спросил — может, я хочу перейти в контору. Уоллес Толкач, в прошлом майор,— рыжие усищи, рожа свирепая,— он, конечно, не сомневался, что я обрадуюсь случаю выдвинуться, и порядком удивился, когда я, в точности подражая ему, отрывисто пролаял — дай подумать.

Толкач явно был огорошен и разозлился, а я пошел грузить очередную платформу, и меня прямо трясло от напряжения, хоть я и привык обмозговывать всякие хитрые махинации, но не так-то просто было взвесить все «за» и «против». Работа будет чистая, денег больше, рабочий день короче, но даже подумать страшно, как все это подействует на Клодин. Она поверит, будто я способен преуспеть, а значит, будто я-то ей и нужен. Через неделю-другую не миновать помолвки, а если я откажусь, она больше не подпустит меня к себе. Ну, и я сказал себе и вряд ли ошибся: уж наверно Толкач решил, что это нахальство с моей стороны еще о чем-то там раздумывать и если даже я теперь соглашусь, не видать мне этого места как своих ушей: у Толкача, у старого вояки, все должны ходить по струнке, а я для этого не гожусь. В конце концов я совсем ушел с фабрики и решил подыскать другую работу.

Клодин была вне себя, все равно как если бы я не согласился на помолвку — вот легкомысленный лентяй, ни на одной работе не может удержаться.

— Просто я хочу найти место получше,— говорил я, сидя у нее в общей комнате как-то вечером, когда родители ушли из дому.— Это ведь было хуже некуда, я думал, тебе не нравится, что я там работаю. Теперь найду что-нибудь поинтересней, может, даже в конторе.

Она подсела ко мне на диванчик.

— Ох, Майкл, вот бы замечательно. Тогда я бы вправду поверила, что ты человек серьезный. Надо поглядеть в «Ивнинг пост», в отделе спроса. Я тебе помогу.

Она пошла в кухню и вернулась с газетой, держала ее точно огромную простыню, в которую собралась меня запеленать.

В этот вечер нас обуяла нежность, мы сидели рядышком и миловались, но лечь не посмели: а вдруг раньше времени нагрянут родители. Тайные эти ласки сближали нас больше, чем полная свобода в лесу. Я ушел, унося в бумажнике адреса шести различных фирм,— я искренне пообещал побывать во всех завтра же с утра пораньше.

Я ничего не стал решать, я думал о далеком будущем, а покуда предоставил все судьбе. И когда она решала за меня, я жаловался и ругался, но это не беда, все равно дело сделано и обратно хода нет. Раз я не могу ничего изменить к лучшему, пускай все идет как идет. И потому я рано научился не горевать попусту о том, чего не поправишь,— надо, мол, было поступить не так, а эдак и теперь мне жилось бы куда лучше.

Я сдержал слово: надел лучший из своих украденных на фабрике костюмов (вздумай я купить его в магазине, пришлось бы выложить двадцать гиней) и в половине десятого зашел по первому объявлению. Выглядел я неплохо — росту во мне метр восемьдесят, и, хотя после школы я не больно надрывался на работе, жиром я не оброс. Вернее сказать, я так усердно выпускал пары с Клодин и столько миль вышагивал с ней каждую неделю, что был даже худым, и, пожалуй, из-за этого, не считая всего прочего, могло показаться, будто я — парень не дурак. И держался я так, словно был года на два старше своих лет, тоже, наверно, оттого, что много упражнялся с Клодин да притом беспокоился, как бы мне с ней не запутаться вконец, так что потом и не вырвешься. По лицу сразу видно было — хлопот у человека по горло, я заметил это выражение в зеркале однажды поутру, перед бритьем, и так как оно вполне меня устраивало, решил его всячески сохранять, хотя вообще-то оно мне вовсе не свойственно. Вот, наверно, почему меня взяли уже во втором месте, куда я пришел по объявлению — в контору Питча и Блендера, агентов по продаже недвижимости.

От прежней моей работы меня теперь отделяла глубокая пропасть. На новом месте мне никогда не приказывали. Меня просили — хотя, попробуй я отказаться, выкинули бы в два счета, как и с любой самой захудалой работенки. Но я раздувался от гордости, и, когда в первый день встретился после работы с Клодин, в глазах ее стояли слезы чистой радости. Справившись с волнением, она стала меня поучать: на новом месте надо быть «услужливым», «старательным», никогда не опаздывать, всегда чисто одеваться. Это все очень даже прекрасно, сказал я ей, но меня то и дело посылают в соседнюю забегаловку за чаем и кофе, так что костюм мой весь в пятнах и подтеках, точно карта луны, а это мне не больно нравится.

Но работа была такая легкая, что я остался, и через несколько недель меня уже не посылали за чаем — наняли еще одного парнишку. Я размножал на стеклографе подробные описания домов, продающихся в Ноттингеме и в окрестностях, а когда мисс Болсовер уходила завтракать (тут это называлось завтраком, а не обедом), садился за ее стол и отвечал на телефонные звонки. В рекордно короткий срок я стал говорить куда правильней прежнего. Первые месяцы я как мог изображал молчальника, вслушивался в разговоры вокруг и подражал речам и повадкам хозяина — мистера Уикли.

Теперь, наверно, надо бы показать, как я страдал оттого, что перешел с одной «ступени» на другую, как взволнован был, что вместо кабестана или ткацкого станка управляюсь с пишущей и копировальной машиной. Может, следует сказать, как тут одевались, как сыпали остротами, как толковали о недвижимости и деньгах, как удачно женились и выходили замуж и тратили по фунту на стрижку и по пять шиллингов на чашку кофе. Но все это меня мало трогало — во всяком случае, не помню, какое это произвело на меня впечатление. Когда плывешь по морю, думаешь только о том, как бы не нахлебаться соленой воды. И смотришь только на горизонт, даже если он всего в нескольких футах, на гребне ближайшей волны.

Однако при встрече со своими дружками, которые по-прежнему в поте лица трудились на фабриках, я сразу же начинал говорить их языком, по-простецки, так же, как все у нас в Рэдфорде,— хотел показать, что не поддался чистоплюям, с которыми меня свело мое неодолимое своенравие. Но зря я напускал на себя это покровительственное добродушие, фальшивил и прикидывался, будто ничего не изменилось,— конечно же, все изменилось, и уже ничего тут не поправишь: мне отвечали ехидными улыбочками, холодными взглядами, а то и вовсе посылали куда подальше.

На рэдфордский лад, как самые неотесанные парни, я нарочно говорил при Клодин, чуял, что она воображает, будто, раз я стал продвигаться по службе, значит меня теперь можно заманить и в другую ловушку. В такие минуты я прикидывался отпетым невежей и тупицей, и тогда она глядела на меня с неприкрытым отвращением, казалось, сердце у нее обратилось в ледышку. Временами это была единственная моя защита — лишь тоненький красный ручеек живой крови отделял меня от добропорядочных кисляев. И все-таки по всем законам сердца (а я и по сей день не знаю, каковы они есть) я должен признаться, что был влюблен в Клодин.

Что-то такое иногда проскальзывало в ее лице, и уж если она что задумает, непременно так и получалось, да еще она вечно приставала с поучениями и вечно была права — из-за всего этого мне казалось, она куда старше меня, старше, чем сама говорит, и меня все это прямо в ужас приводило, иной раз на ночь глядя бросало в холодный пот. На самом деле мне это только мерещилось, но мысль эта засела во мне накрепко, и часто казалось — люди смотрят на нас и думают: чего ради такой молодой, а гуляет с эдакой теткой. Но заниматься с ней любовью было просто замечательно, и, надеюсь, она тоже так считала, и скоро мы и вправду почувствовали, что все эти рощи и поля, которые мы знали теперь назубок,— наши и мы здесь хозяева. Я был как в раю, и блаженству моему мешали только ее приставанья, чтобы я продвигался по службе. Уж не знаю, откуда она этого набралась, во всяком случае не от своих родителей: оказалось, ее мать — член коммунистической партии, а отец — шофер грузовика, и его вообще ничто на свете не интересует, лишь бы получать свои двадцать фунтов в неделю, а там хоть трава не расти. Но приставучее настроение находило на Клодин нечасто, и, пока я был начеку, я вполне мог с ним управиться.

Но потом она принялась наседать на меня, что пора откладывать деньги, и это уж совсем встало мне поперек горла. Тут я испугался всерьез — не потому, что был неспособен на это, а потому, что понимал, к чему она клонит. По правде сказать, я откладывал деньги уже четыре года — с тех самых пор, как начал работать, только она про это не знала, сказать ей было все равно что сунуть голову в петлю. Я по природе человек бережливый. Откладывал я очень аккуратно и втайне от всех: стоит проболтаться матери и она нет-нет да и попро-

сит взаймы. А разве станешь напоминать матери о долге? Разве возьмешь у нее деньги, если она и вздумает возвращать? Вот я и помалкивал. Денег накопилось не так уж много, чуть побольше сотни фунтов, но я дрожал над ними, как последний скупердяй, хотя и не знал еще, на что их пущу. И вот когда Клодин попросила — начни, мол, откладывать деньги, я испугался: а вдруг, захочу похвастать или доставить ей удовольствие и проболтаюсь.

Только однажды я коснулся своих сбережений: за двенадцать фунтов купил шикарный большой запирающийся портфель свиной кожи и каждое утро ходил с ним на службу. В нем всегда лежала какая-нибудь хорошая книга, взятая задаром в библиотеке, и поглубже припрятанный номер «Таймса». Почитывал я и книги по архитектуре и землемерной съемке — не то чтобы надеялся чему-то научиться и сдать экзамены, просто надо же представлять, о чем все вокруг рассуждают. Поначалу казалось, я брожу в потемках, что ни услышу — ничего не понимаю. Я всегда до смерти боялся темноты, но на этот раз был уверен, что сумею из нее выбраться. Я стал щеголять своими познаниями в разговоре, показывать, что уж не вовсе невежда, и сам мистер Уикли сказал — от меня, пожалуй, будет куда больше пользы, если я научусь водить машину и получу права. И вот некоторое время я каждое утро, в рабочие часы и за счет фирмы, брал уроки. Инструктор спросил, есть ли у меня какой-нибудь опыт по этой части, но я, понятно, не стал рассказывать, как шести лет от роду отпустил тормоза в чужом автофургончике и он покатился и врезался в живую изгородь.

Да, одно время я и впрямь бродил в потемках, но, уж конечно, не в такой кромешной тьме, как некий Уэйнфлит — он хотел купить дом и потому каждый день наведывался в нашу контору. Его знали, должно быть, во всех городских конторах по продаже недвижимости, и, как мне говорили, к Питчу и Блендеру он приходил уже по крайней мере полгода, по нескольку раз в неделю и всегда ровно в одиннадцать утра. Его хотели внести в список клиентов, с которыми сносятся по почте, но он предпочитал являться к нам самолично: вдруг что-нибудь подвернется, так он сразу поедет и посмотрит. Пока он получит извещение, пройдут сутки, вдруг кто-нибудь его опередит; сидя за завтраком, он будет изучать описание дома, а кто-нибудь тем временем уже внесет задаток,— кажется, только эта боязнь и не давала ему спокойно спать по ночам.

Ему было за сорок, ходил он всегда в одном и том же темно-сером в крапинку костюме, в плаще военного покроя и темно-зеленой шляпе. Чисто выбрит, на щеках сеть багровых жилок, ни дать ни взять — топографическая карта, а взгляд карих глаз, когда Уэйнфлит к нам входил, становился тревожным, словно он думал, что кто-то его опередил и уже умчался осматривать тот самый дом, о котором он мечтал всю жизнь.

— Доброе утро,— начинал Уэйнфлит нарочито бодрым тоном.— Я зашел спросить, не продается ли где-нибудь в окрестностях дом — восемь комнат, в пределах четырех тысяч фунтов. Если что-нибудь выдающееся, можно и чуть подороже.

Он всякий раз разыгрывал это, словно пришел к нам впервые, и, пока я листал наши книги, он развлекал меня вежливым трепом,— дескать, не худо бы запретить забастовки и какая нынче скверная погода. Иногда он просил показать ему дом, который его заинтересовал, но возвращался всегда угнетенный и объяснял: тут, мол, следы мокрой гнили, там — сухой гнили, или сырости, или древоточца, а то и все вместе. Или ему казалось: там слишком шумно, недостаточно уединенно, слишком мал сад — не сад, а какой-то деревенский двор, а то

участок уж слишком в низине и весной, в половодье, его может затопить. Или же слишком близко аэродром, или там слышны паровозные гудки, которых никто, кроме Уэйнфлита, не слышал, или он вообразит, будто из-за каменноугольных копей, расположенных в восьми милях от дома, может неожиданно осесть земля — вдруг однажды утром его постель уйдет глубоко под землю и он проснется, а над ним стоят ухмыляющиеся углекопы с кирками и фонарями. Если же никаких таких опасностей не обнаруживалось, он сожалел, что в доме нет парового отопления, или, поразмыслив, решал, что ему все-таки понадобится еще одна комната, или по зрелом размышлении находил, что цена, пожалуй, слишком высока.

Несмотря на все это, когда он бодро входил в контору, можно было подумать — вот решительный человек, уж наверно он никогда в жизни не колебался и по сей день в своем деле не знает сомнений. Все покорно его терпели. Однажды сам мистер Уикли повез его смотреть очень подходящий дом, который никому еще не показывали, Уэйнфлит даже предложил свою цену, и владелец дома согласился. Дело было уже на мази, по просьбе Уэйнфлита дом осмотрел инспектор, но в последнюю минуту мужество изменило нашему покупателю и он попятился, сказал, будто инспектор предупредил его, что если посильней хлопнуть дверью, дом обрушится.

— Так что мы не очень обращаем на него внимание,— сказал мне мистер Уикли.— Вы постепенно привыкнете к подобным людям. Намерения у них серьезные, но они никак не могут решиться. Они даже не хотят, чтобы вы решали за них. Как-то много лет назад одного такого клиента отвезли из этой конторы прямиком в сумасшедший дом. Он искал подходящее жилище несколько месяцев и уж до того себя взвинтил, что под конец не выдержал и взорвался: кинулся на нас с кулаками и, покуда его не увезли, буквально разнес всю контору. Вы не думайте, таких не много, но иногда появляются и уж выматывают из нас всю душу. Чуть ли не хуже всех супружеские пары, не молодожены только-только из-под венца, а такие, что прожили вместе лет шесть-семь,— они ищут дом в надежде сохранить семью. Агенты по продаже недвижимости трудятся до седьмого пота. К счастью, в большинстве люди способны сами принимать решения, хотя бы и неверные. Но, я надеюсь, рано или поздно мы так или иначе отделаемся от Уэйнфлита.

Уэйнфлит вновь появился через две недели, когда мистер Уикли уже поостыл, и опять принялся за свое. Однажды утром он столкнулся в дверях с другим нашим клиентом, помоложе; тот держал в руках листок с описанием дома и бросил нам через плечо:

— Ладно. Я сейчас съезжу туда и погляжу. Вроде как раз то, что надо.

Уэйнфлит остановился как вкопанный и аж побледнел, словно только что упустил счастье всей своей жизни:

— Это что за дом? — заикаясь, спросил он.— Что-нибудь новое?

Я рассмеялся:

— Всего-навсего домик с верандой близ Фарнсфилда. Вам это не подойдет, мистер Уэйнфлит.

На самом же деле это было как раз то, что он искал.

— Вы лжете! — воскликнул он.

Я отскочил — казалось, он сейчас мне влепит.

— Еще шаг — и я вам врежу.

Он опомнился.

— Извините. Беру свои слова обратно.

В комнате никого больше не было, и у меня вдруг мелькнула одна еще смутная мыслишка.

— Послушайте,— сказал я вполголоса, нагнувшись к нему,— я устрою вам этот дом, если хотите. Но он стоит четыре тысячи триста и ни на грош меньше.

Я подумал: надо, чтоб в этих его поисках очага и крова кто-то ему услужил сверх положенного, тогда он поверит, что не только этот дом самый лучший, но раз человек, делающий ему одолжение (то есть я), знает, что именно подходит и подобает такому клиенту, как он, значит, и в мире тоже все идет как положено.

Руки у меня тряслись: а вдруг сейчас войдет кто-нибудь из другой комнаты.

— Этот фрукт поехал смотреть дом (у него своя спортивная машина) и должен сразу же внести задаток. Последние три года он приходит каждый день ровно в двенадцать. Не знаю, с чего это он нынче заявился в пол-одиннадцатого. Да только все равно не волнуйтесь, сэр. Если вы и вправду хотите купить этот дом, для такого хорошего клиента я уж расстараюсь. Встретимся завтра в час в «Восьми колоколах». Вторую половину дня ничем не занимайте, поедем смотреть. Договорились?

Он ушел, а я напечатал на листке бумаги все, что касалось этого дома, но цену поставил не четыре тысячи, а четыре триста, чтоб завтра показать Уэйнфлиту.

Вошел мистер Уикли, увидел, что я белый как мел и весь дрожу.

— Господи, Каллен, что это с вами?

— Не знаю, сэр. Вроде грипп.

— У нас сейчас затишье, так что идите-ка вы домой.

— Да ничего, мистер Уикли, после завтрака мне станет получше.

— Делайте, как вам велено,— прикрикнул он.— Отоспитесь и все пройдет.

Я шмыгнул носом.

— Наверно, вы правы, сэр,— сказал я.

— Еще бы не прав, черт возьми.

Меня в этой фирме ценили, но сдуру я вообразил, будто так будет вечно. Я вовсе не собирался весь век там торчать, но по крайней мере надеялся, что уйду, когда захочу сам. Чем бы отправиться к себе и лечь, я поехал автобусом в Фарнсфилд — надо было повидать мистера Клегга, хозяина дома, о котором шла речь.

Заговорить о деле удалось далеко не сразу; я сказал — я интересуюсь этим домом, вроде я сам покупатель, и Клегг стал мне его показывать. Будь у меня деньги, я бы и правда от него не отказался — за домом был хороший цветник и огород, а перед домом площадка для машин, да к тому же фруктовый сад и выгон. Вот бы нам с Клодин тут поселиться — жили бы неразлучно мужем и женой, как в раю, и даже без «аминя» бы обошлись. Наверно, оттого, что на глаза мне попался этот игрушечный замок в георгианском стиле, мои мысли наконец-то совпали с мыслями Клодин.

После бесконечных хождений вокруг да около мне удалось выяснить, что человек в спортивной машине предложил за дом полную цену и Клегг согласился. Он объяснил, что от него ушла жена, дети разъехались, а для одного дом слишком велик. Ему теперь нужна лишь небольшая квартирка в Лестере, в том краю у него родня да и друзья тоже.

— Понимаете, мы прожили с женой двадцать восемь лет, и вдруг она бросила меня и ушла с человеком моложе ее на двадцать лет, а я остался ни при чем, да еще этот дом на руках. Я так его ненавижу, просто не чаю отсюда выбраться. Вам не понять, вы слишком молоды, но чувство такое, словно у меня земля ушла из-под

ног — ведь двадцать восемь лет! Слишком много воспоминаний. Они точно ядовитые змеи. И каждое убивает. Мы так были счастливы, вы даже не представляете. Безмерно счастливы. Я работал на здешней шахте инженером и в прошлом месяце ушел на пенсию. Всю жизнь работал в полную силу и наслаждался семейным счастьем. Ну, чего еще желать человеку? Нечего. Вы слишком молоды, вам не понять. Какая это благодать — молодость, когда всего этого еще не понимаешь. Вот бы оставаться таким наивным всю жизнь! А я, наверно, таким и оставался, потому что, когда год назад она сказала, что уходит, я был просто потрясен. Я сразу понял: она не шутит. По крайней мере, она хоть дождалась, пока сын и дочь стали взрослыми и уехали из нашего счастливого дома. Надо отдать ей справедливость. Самое смешное: едва она ушла, я понял — правильно сделала. Потом подумал, а почему она так долго ждала? Потом разозлился и подумал: зря я не ушел первый. Потом в долгие ночи я проклинал тот день, когда мы поженились. Потом стал думать: лучше бы нам никогда не встречаться. И под конец додумался — лучше бы мне вовсе не родиться на свет. Но теперь все эти мысли позади, и мне просто хочется уехать из этого треклятого дома, только продать его подороже.

Все это он выкладывал, пока готовил нам чай, и, когда кончил, я спросил:

— А как вам понравится, если я предложу вам на три сотни больше? У меня есть покупатель, если дом ему приглянется, он заплатит. Правда, кой-что должно перепасть и мне.

Ему это не понравилось, он стал грозить, что пойдет в контору и все расскажет, но я сказал, мне плевать, пускай увольняют, я уже присмотрел себе другое место. Просто я хочу положить ему в карман еще двести фунтов.

— Вы говорили триста,— сказал он.

— Да, но сотня на мою долю.

Мы еще попререкались, наконец он согласился, и я ушел, сказав, что мистер Уэйнфлит приедет осматривать дом завтра после обеда.

Я так был доволен, на радостях даже прошагал половину пути до Ноттингема пешком. На другой день мы встретились с Уэйнфлитом в пивной, и за кружкой пива и сыром, за которые платил он, я предложил ему поехать посмотреть дом. Понравится — может получить его за четыре тысячи триста.

— И уж будьте уверены, он того стоит,— сказал я.

Уэйнфлит совсем разволновался, даже заказал двойную порцию коньяку и стал мне рассказывать, как он двадцать лет прослужил в армии, а последние пять лет живет в Уоллатоне со своей старшей сестрой, которую терпеть не может. Я ему посочувствовал и сказал — будем надеяться, что скоро он поселится в доме, который ему по душе, и тогда жизнь у него пойдет на лад. Он сказал — не забудет моей услуги и, если дом ему понравится и достанется, он уж будет помнить, кто ему помог. Я сказал, я это только по дружбе и пускай он у нас в конторе ни слова про это не говорит, там не любят, когда кому-нибудь делаешь такое одолжение, и он, благодарный, согласился, что лучше держать язык за зубами.

— Ведь если узнают, какой я мягкосердечный, меня засмеют.

Я отправился к Клодин. Ее мать ушла на собрание, отец в пивную, и мы накинулись друг на друга прямо в кухне: мы не виделись целую неделю, потому что у нее были месячные, и нам не терпелось поскорей наверстать упущенное.

По небу скользили облака, ее дыхание кружило мне голову.

Я чувствовал, сегодня нас ждет что-то небывалое; я горячо ее целовал, а перед глазами у меня все время стоял загородный дом, который я видел накануне, неизменно освещенный солнцем, и радуга в стороне Трента, и меня так одолела чувствительность, я думал, прямо сейчас хлопнусь в обморок, будто и в самом деле заболел гриппом, который изображал накануне перед мистером Уикли. Я совсем обезумел, но от вида этого идеального любовного гнездышка безумство мое обратилось в нежность. Клодин опиралась спиной о газовую плиту, и теперь, полный несвойственной мне заботы, я заметил, что ей неудобно, и осторожно подтолкнул ее за угол, к двери в общую комнату и вверх по лестнице. Поняв, куда я стремлюсь, она как будто испугалась, но на каждой ступеньке я нежно ее целовал, и это так ее поразило, что она ничего не решилась сказать.

— Где твоя комната? — спросил я хрипло.

В горле совсем пересохло, пришлось переспросить. Но я отворил не ту дверь, увидел двуспальную кровать ее родителей между гардеробом и туалетным столиком, и мы вошли.

— Нет,— взмолилась Клодин.— Нет, милый, не здесь.

А я все целовал ее, словно не слышал, пока не затворил за нами дверь. Я зажег ночник, он тускло осветил покрывало Я понял, что Клодин чувствует себя ужасно: быть со мной здесь, в спальне родителей... После я пожалел, что на этот раз ей было не так приятно, как обычно. Зато уж я наслаждался — не передать словами. И когда я, наконец, растворился в ней, мне показалось, словно все тело стало не мое.

Мы лежали ошеломленные и не знали, что сказать друг другу. Внизу она накормила меня ужином — хлебом с сыром и чаем, больше я ничего не хотел. Были синие сумерки, и лучшего ужина я не упомню за всю свою жизнь. Клодин сидела напротив, прихлебывая из чашки чай, под ее взглядом мне стало не по себе.

— Я не против с тобой обручиться,— сказал я,— но ведь все равно мы сможем пожениться только через несколько лет. Мы оба слишком молодые.

Она мило улыбнулась, мне только того и надо было, но почему-то казалось — что ни делаю, все один обман.

— Ничего,— сказала она.— Зато мы будем уверены друг в друге, правда?

Ну, и мы порешили обручиться, только уговорились еще несколько дней не рассказывать ее родителям и моей матери, хотя матери это в общем-то будет безразлично, обзовет меня круглым дураком, да и только. Когда мы объявим о своей помолвке, я скажу Клодин про счет в банке. А он будет немалый: к тому времени я надеялся получить еще сотню фунтов от Клегга за то, что помог ему в продаже дома.

Остаток вечера я старался понравиться родителям Клодин, и миссис Форкс даже решила, что у меня вполне коммунистические взгляды, и понадеялась, что рано или поздно я непременно вступлю в Лигу молодых коммунистов. Мистер Форкс наседал на меня с вопросами о моей работе в фирме по продаже недвижимости, и я чего только не нагородил — пускай думает, что, как сдам экзамены, заделаюсь там настоящей шишкой.

Я опоздал на последний автобус, но и сам не заметил, как отмахал две мили, отделявшие меня от дома, не видал на пути ни одной привычной приметы, будто шел вслепую, по радару, который наверняка приведет меня, куда захочу.

На другой день мне предстоял экзамен на право водить машину. Я был уж до того вежлив с инспектором и при этом уж до того на-

чеку, мигом вспоминал правила, но ехал не торопясь, сохранял спокойствие и выполнял правила уличного движения до последней запятой, так что сдал экзамен с первого раза. В конторе это сочли редкостным и поразительным подвигом, и сам я был ошарашен больше всех. Сослуживцы острили, что я, видно, сунул инспектору в лапу, и мы здорово посмеялись. Два старших агента, Питер Фэн и Рон Баттер, повели меня в пивную, и в честь такого события мы все втроем выпили по двойной порции коньяку. Мы сидели в пивной «Королевские дети» и курили тонкие сигары,— я купил их для всех троих в баре и решил, что теперь вообще буду курить их вместо сигарет. Если ограничиться тремя штуками в день, это обойдется не дороже, а выглядеть будет солидно. В общем, они мне пришлись по вкусу, особенно с коньяком, и я пошел к стойке и взял еще три двойных порции коньяку.

Рон подвез меня на своем «моррисе», ему было по дороге — он жил с молодой женой в Натхоле, в домике с верандой, который они купили по дешевке. Я попрощался с ним, сказал — до встречи в нашей потовыжималке — и не очень твердыми шагами пошел к дому Клодин.

Она мигом учуяла запах спиртного — оказывается, если мужчина вот-вот должен обручиться и вдруг вместо обычной своей полпинты пива ненароком сбился на крепкие напитки, это чуть ли не смертный грех. Я снял пальто и сел.

— Нехорошо,— сказала она.— От тебя разит. Вот не думала, что ты начнешь пить виски... особенно теперь.

— Коньяк,— сказал я, закуривая сигару.

— Пожалуйста, больше не пей,— сказала она.— Я люблю тебя, но за человека, который может напиться, я не пойду.

— Я не напился,— сказал я.— Честное слово, цыпленочек. Всего три двойных. Мне это нипочем, я могу куда больше.

— А, по-моему, ты пьян.

— Это оттого, что ты не я.

— Вот и хорошо, что я не ты. Это ужасно, когда так напиваются.

Она выглядела совсем не такой милой, как накануне вечером, но я сейчас был полон любви и нежных чувств, и меня это не насторожило.

— Я получил водительские права. Вот даю слово, я больше не стану напиваться.

Она сказала — ну, ладно, и даже улыбнулась.

— Если бросишь пить, это и тебе самому на пользу, не только мне, это будет нам обоим хорошо. Вот как по-супружески она это повернула.

Я сказал: коньяк мне все равно не нравится, так что бросить мне — раз плюнуть, у него вкус противный, он глотку обжигает. При всем при том Клодин решила, что мой нынешний успех на экзамене — немалая победа в борьбе за продвижение, ведь теперь я буду фирме гораздо полезней и, уж конечно, скоро получу ответственный пост.

Подхлестнутый ее радостью, я тут же размечтался, как накоплю денег на собственную машину, и при этом втайне надеялся не только на уже существующие сбережения, но и на деньги, которые получу от продажи клегговского дома.

Мы сели на диванчике и начали целоваться, но через несколько минут пришли ее родители, и в комнате загрохотал телевизор, а стол начали накрывать к ужину. Когда папаша узнал, что я получаю водительские права и что сослуживцы поставили мне по этому случаю выпивку, он и вовсе решил, что я отличный парень; да, в этом

счастливом семействе было уж так уютно, по душевной доброте своей они готовы были относиться ко мне лучше некуда, ну, прямо как к сыну,— а все-таки я чувствовал, мне тут не место. Не то чтобы я чересчур очень смущался, наоборот, меня прямо тянуло остаться с ними и за едой и беседой вспоминать вчерашний вечер, когда я раздел Клодин чуть не донага и мы занимались с ней любовью на их широкой, замечательной постели. Вот бы здорово обрести семью — мать, отца и жену, этого требовало все мое существо. И хоть я, конечно, самозванец, которого в любую минуту могут разоблачить и выгнать под осенний ливень, я упивался их доверчивой дружбой. Вечер подходил к концу, а я думал: ай да я, добился, наконец, чего всегда недоставало,— и мне становилось не страшно, а весело. Я способен переварить это семейство и еще многое другое, я ловкач и счастливчик, и я не спрашивал себя: а они-то смогут переварить меня такого, каков я на самом деле? Мысль эта, вернее смутное ощущение, лишь изредка у меня мелькала и тут же пропадала. Несколько таких вечеров — и мы с Клодин решили объявить о нашей помолвке на следующей неделе, в день, когда ей исполнится двадцать. Казалось, все только еще крепче связывало нас друг с другом, даже вот эта маленькая, пустячная тайна.

В контору зашел клиент, он хотел осмотреть дом в Меперли, о продаже которого мы сообщили во вчерашнем номере газеты «Пост». На месте были только мы с мистером Уикли, но у него через полчаса была назначена встреча,— он досадливо скривил тонкие губы, и тогда я вызвался отвезти в Меперли этого клиента, похожего на священника. Мистер Уикли даже обрадовался.

— А машину мою вести сумеете?

— Я получил права, сэр.

— Да, верно. И совсем недавно, а водитель-новичок — самый осторожный.— Он дал мне ключи.— Так будьте вдвойне осторожны. Машина ведь моя.

Я вез пассажира, это придало мне уверенности, и я благополучно проехал по городу среди оживленного движения. Все так же строго соблюдая правила, я свернул с Мэнсфилдского шоссе и поехал в гору, в квартал вилл и больших домов, куда в детстве забредал лишь изредка.

— А вы сами видели этот дом? — спросил мой пассажир.

— Нет еще. Но он вроде в хорошем состоянии.

Я приврал, но все же этот дом был не такой дряхлой развалиной, как некоторые другие, которые мы старались всучить нашим клиентам. Хозяева давно выехали, и я водил своего спутника по комнатам, старательно закрывая за собой двери, потому что Уикли всегда советовал:

«В пустом доме затворяйте двери комнаты, где стоите: так клиенту приятнее, и он легче представит, как здесь будет, когда он привезет свою мебель. Но если в доме еще есть обстановка, если комнаты загромождены чужим хламом, оставляйте двери настежь, тогда, осматривая дом, клиент представит, как просторно здесь будет, когда все вывезут. Психологические уловки, Майкл. Опыт. Чутье. В нашем деле одними профессиональными знаниями не обойдешься!»

Уж не знаю, прав он или нет, но я всегда следовал его совету, хотя по этой ли причине клиент в конце концов покупал дом или по какой другой — сказать трудно.

Сегодня я был в ударе и так показал своему спутнику дом, будто провел здесь все детство и даже мои родители здесь выросли, а

вот теперь, как ни жаль, как ни грустно, хочу его продать; моя нареченная живет на лоне природы, а я по натуре своей рыцарь и уж очень ее люблю, поэтому, когда сыграем свадьбу, перееду к ней. Рассказать эту басню я все же не решился — очень явное вышло бы вранье, он бы ни одному слову не поверил.

На обратном пути я молчал — пускай клиент на досуге соображает, нужен ли ему этот дом. Теперь решится, пронял я его своими восторженными речами или отбил охоту покупать. По правде сказать, меня куда больше занимало другое: побывал ли уже Уэйнфлит в конторе, заявил ли, что покупает дом Клегга в Фарнсфилде? Наверно, уже заявил, и я заранее тренировался, как с благодарностью заулыбаюсь, когда Клегг выложит мне обещанные сто фунтов. Но минутами на меня находило сомнение, а один раз я ругнулся со злости — из-за угла вдруг вывернулся фургон для доставки покупок на дом и чуть не сбил мне фару.

Мы с Клодин уговорились, что сразу после работы я пойду в сторону почты и встречу ее у кинотеатра «Элита» — ей туда от дома ровно столько же ходу, как мне от конторы. На первый случай место для встречи и удобное, и приятное. Мы поцелуемся и, если не будет дождя, пойдем вверх по Тэлбот-стрит, так что центр города останется внизу, у нас за спиной Иногда мы шли по Роуп-уок, останавливались и глядели на дома, обращенные к парку, а в ясную погоду видели и затянутую дымом долину Трента.

В один из таких осенних вечеров — они день ото дня становились короче — меня вдруг потянуло домой. Я и сам растерялся — с чего это меня подмывает удрать, ведь, с другой стороны, мне очень даже хотелось пойти к ней и заняться любовью. Мы шли по улице, крепко и нежно взявшись под руки, и она горько жаловалась — начальница тиранит всех, грозится: если они не будут выполнять норму, со следующей недели заставит сидеть допоздна... И еще что-то в этом роде, во все это мне полагалось вникать, словно мы с ней сестры-двойняшки. А мне все отчаянней хотелось сбежать домой, и, когда мы подошли к Кэннинг-сэркус, я сказал:

— Знаешь, лапочка, тут я посажу тебя на автобус. Мне надо идти.

Вроде самое невинное желание, но Клодин заподозрила обман.

— Ты куда собрался?

— Домой.

Меня что-то пугало, а ей мерещилось — у меня какая-то гадость на уме.

— Да почему, чего тебе вдруг понадобилось?

У меня хватило глупости ответить по-честному:

— Не знаю, цыпленочек. Просто чувствую: мне надо домой.

Я сам не понимал, что это со мной делается, и потому дико на себя злился.

— У тебя свидание, да? Свидание?

Надо бы сказать «да» и поскорей от нее отделаться, но в ту минуту я не мог соврать, уж очень на душе кошки скребли, и я ненавидел себя за это, словно неспособность соврать меня унижала.

— Пойдем со мной,— сказал я,— тогда сама увидишь. А потом пойдем к тебе.

Но она не захотела. Я и прежде звал ее к себе, но она всегда отказывалась под каким-нибудь предлогом, а дело в том, что почти всю жизнь она прожила в пригороде и темные, мощенные булыжни-

ком улицы Старого Рэдфорда наводили на нее страх. Так что зря я ее звал.

— Ну, ладно,— сказал я,— пошли к тебе. Мне расхотелось домой.

И правда, страх прошел, и сумасшедшей тревоги, которая накатила на меня несколько минут назад, как не бывало. Но теперь уж, что ни говори, что ни делай, все оказывалось не в жилу, она вообразила, будто я и вправду хотел ее провести и только ее твердость вынудила меня пойти на попятный. Всю дорогу до Эспли она приставала ко мне, пыталась дознаться, почему это я вдруг решил уйти от нее. Пока мы шли, ее недоверие выветрилось, но вечер все равно был отравлен. Даже поцелуи утратили вкус, хотя, поцеловавшись напоследок у ее черного хода, мы и сказали, что ужасно любим друг друга. В доказательство своей любви она предлагала проводить меня до автобуса, но, дело ясное, это она просто хотела убедиться, что я еду домой, а не на свиданье с какой-нибудь девчонкой — в такую-то поздноту.

Когда я пришел домой, мать в пальто сидела за столом. А лицо печальное-печальное, прямо безутешное, я ее такой никогда прежде не видал.

— Что стряслось? — спросил я и сел напротив, даже плаща не снял.

Она не ответила, оставалось только смотреть на нее и гадать, что же стряслось. Тут я вспомнил, какие недобрые предчувствия одолевали меня, когда мы шли с Клодин через Роуп-уок, и я взял мать за руку.

Она отдернула руку.

— Отец умер.

И меня сразу отпустило. Только что мне хотелось тут же на месте лечь и помереть, а после ее слов все как рукой сняло.

— Дед?

Она молчала.

— А что с ним случилось?

— Сердечный приступ в половине шестого. Ко мне пришли из полиции и сказали, когда я вернулась с работы.

— Где он сейчас?

— У бабушки. В Бистоне. Она над ним убивается. Я когда его увидела, чуть без памяти не упала.— Минуту-другую она сидела молча.— Завтра его увезут в похоронное бюро Каллендера.

Я поднялся и поставил чайник на огонь.

— Если ты завтра утром туда поедешь, я с тобой,— сказал я и бухнул в чайничек три большие ложки заварки.

— Ладно. Поможешь нам.

— Когда хоронить?

— В четверг.

Я чувствовал себя прекрасно, замечательно, а на другое утро увидел деда в похоронном бюро, в зале для покойников, пока его еще не вынесли. Деду было уже шестьдесят пять, и, надо думать, он неплохо жил на свете, если дожил до таких лет. Он всегда был большой, рослый, а сейчас, казалось, лежит кукла — вот возьму ее на руки и заговорю его голосом, точно чревовещатель. Но нет, слишком он суров. Лежит точно столетний часовой в положенной плашмя будке, готовый подняться, едва заслышит зов трубы или учует запах тряпки, которой вытирают стойку, когда пролито пиво. Глаза закрыты, чтоб не видеть, куда он направляется, и хотя, может, кой-какие мечты не вовсе его оставили, но ясно — он мертв, окончательно и бесповоротно, и еще: царство небесное нам с ним ни к чему. Оба мы

скроены для чего-то получше, чем рай господень... Я держал его холодную руку и с надеждой думал, что когда сердце мое остановится и свет для меня померкнет, я, как и он, буду удостоен высшей чести безраздельно слиться со вселенной. Я ущипнул его ледяной нос, поцеловал каменный лоб и вышел. Тотчас вокруг меня обвились теплые руки бабушки, и от ее слез моя шелковая рубашка промокла насквозь. Она всхлипывала и говорила — я вылитый дед и, конечно, когда стану взрослым, буду такой же хороший. Мать тоже плакала, а я думал: черт возьми, он прожил столько лет, куда уж больше, разве что одолеет зверская жадность. Они решили — я совсем бессердечный и чуть меня не выгнали, но потом кроткая и мудрая бабушка сказала — я еще слишком молодой и так вот горе свое показываю, по-другому еще не умею.

Почем знать, может, она и впрямь была права? Ведь в этом своем настроении я сделал множество полезных дел. В связи с неожиданной смертью деда какие-то деньги надо было заплатить, какие-то получить, кому-то зайти сказать, что-то сообщить тем, кто может прийти на похороны, заказать продукты, чтоб было чем накормить всех, кто придет на поминки.

На службу я для пущей важности явился с черной повязкой на рукаве. Уикли посочувствовал моей утрате и, тронутый моим скорбным видом, который я сумел на себя напустить, сказал, чтоб завтра, после похорон, я не приходил в контору. Клодин, которой я позвонил среди дня, тоже от души меня пожалела, а вечером я пришел к ней, родителей дома не было, и уж тут она утешила меня в своих объятиях. Прямо чудеса, как люди воображают, будто ты неутешен, и готовы проливать слезы, и сами же растроганы и признательны за то, что ты дал им такой случай.

Бабушка желала устроить своему умершему мужу достойные похороны, и мы с матерью старались изо всех сил. Было три машины родни и друзей, и я сидел среди них в черном костюме и видел, как, повстречавшись с нами, случайный прохожий снимал шляпу. Стоя под дождем у открытой могилы, я глядел во все глаза на ящик, и меня вдруг охватило ни с чем несообразное чувство, с которым я еле совладал: захотелось спрыгнуть в могилу и стащить туда мать и бабушку, чтобы нас всех троих похоронили заодно.

Я пошел к воротам, к поджидавшим машинам, и все на свете мне было до лампочки. И смерть деда была тут ни при чем. Просто вроде я вдруг начал жить, что-то такое затеял, а доводить до конца уже неохота, пропал интерес.

Я звал Клодин на похороны, но она сказала — лучше не надо, она еще не готова знакомиться с моей матерью. А на самом деле ей просто не хотелось связываться с покойником, и винить ее за это нельзя, минутами мне и самому становилось не по себе. Но мне все равно хотелось, чтобы она пришла: ведь за время моего ухаживанья я впервые мог показать со своей стороны что-то столь же весомое, как ее семья. Ее приход внес бы некое равновесие в нашу близость, но она не могла прийти, она слишком смущалась, и я подумал: ну и что? Почему она должна приходить? Может, она на похороны своих деда с бабкой и то не пойдет. Был бы у меня отец, не будь я незаконнорожденный, я бы тоже сейчас так не старался.

В тот вечер я по-настоящему напился, у меня даже не хватило пороху пойти к Клодин, хоть я и обещал. Мы увиделись на другой день, и я сказал ей — я, мол, совсем расстроился от воспоминаний о моем милом, дорогом дедушке и прямо не мог уйти из дома с горя так и повалился на постель. Это до нее дошло, и она простила

меня и так утешила на диванчике, что я сказал: я надеюсь утешить ее не хуже, если понадобится, только пусть уж лучше ей это не надобится.

Дела по продаже и покупке домов делаются нескоро. Наверно, прежде чем заявить, что он и правда покупает тот дом, Уэйнфлит пригласил инспектора обследовать владения Клегга. И все-таки я уже стал беспокоиться, что-то больно долго ни тот, ни другой не подают о себе вестей и в конторе тоже про обоих не слыхать. Вроде осечки тут быть не должно, и я полон был самых радужных надежд, потому что в то утро, перед тем как пойти на службу (я все не мог заставить себя называть нашу лавочку «фирмой», как принято было в западном Бриджфорде), я прочел в газете, которую выписывала мать, свой гороскоп, и там было сказано: «Этот день вам запомнится. Удача в деньгах. Благополучие в делах любовных. Не торопите события. Пахнет повышением. Стремительное продвижение. Сулит вам успех».

Я весело зашагал в контору, и, как следовало ожидать, едва вошел, сияющий, минута в минуту, меня вызвал мистер Уикли.

— Затворите дверь,— сказал он.

Вид у него был неважнецкий: может, теперь его очередь слечь в воображаемом гриппе? Он раскрыл какую-то папку.

— Каллен,— сказал он,— вы смошенничали и очень неуклюже, в нашем деле такую грубую работу я вижу в первый раз. Будь это сработано потоньше и не так нахально, у меня, пожалуй, было бы искушение вас оставить. Но так вы меня просто позорите. Младенец и тот сработал бы поумней, черт возьми. Вот я вам сейчас разъясню. Ваш мистер Уэйнфлит действительно предложил Клеггу больше, чем тот вначале запрашивал — не четыре тысячи фунтов, а четыре триста. Я вам все это рассказываю, чтоб вы не повторили этой ошибки, если вздумаете проделать что-либо подобное на новой службе за спиной у вашего нового начальства. Итак, пока все прекрасно. Но приходит первый покупатель и предлагает четыре четыреста. Тогда Клегг стравливает его с Уэйнфлитом, и тот, красный как рак, предлагает четыре пятьсот. Теперь видите, что вы натворили, наглец вы этакий?

Я тоже вскипел.

— Но ведь вам это только лучше,— крикнул я,— больше комиссионных!

— Еще бы! Так вот, слушайте, чем кончилось. Опять приходит первый хват и дает уже четыре шестьсот. На этом все останавливается, и вчера, когда вас не было, покуда вы строили свои воздушные замки, пришел Уэйнфлит и с пеной у рта стал меня обвинять, что я пользуюсь невинным юношей — это про вас-то — как пешкой, чтобы жульнически взвинтить цену, но он этого так не оставит, он будет жаловаться. Ну, я, разумеется, все улажу. И, во всяком случае, этот ловкач Клегг не мог не понимать, чем тут пахнет. Но вам придется уйти, милый юноша. Забирайте свой портфель и зонтик и, прежде чем снова затевать этакие хитроумные махинации, хорошенько поразмыслите. Да, знаю, дело у вас чуть не выгорело, но помните: есть щуки и позубастей.

— Я не ждал от Клегга никакого вознаграждения,— сказал я.— Я старался для фирмы, хотел вам понравиться, чтобы получить повышение. И вообще они оба торговали дом в открытую. Что тут плохого? Я тут ни при чем.

— Не лгите, Майкл. Не ставьте меня в трудное положение. У меня здесь описание дома, вы напечатали его для Уэйнфлита, и там

стоит цена, которую вы сами сочинили. Да, конечно, вы поумнее, чем другие наши служащие, но держать вас я не могу. Я дам вам приличную рекомендацию, без места вы не останетесь. Но куда бы вы ни поступили, не пробуйте выкидывать такие номера. Не то подпортите себе репутацию.

Тут он подмигнул, а может, мне померещилось — за очками не разберешь; очень хотелось врезать ему по бледным щекам и седым усам, тогда бы у меня унялась дрожь в ногах, да только я вовсе не спешил попасть за решетку.

Я получил двухнедельное жалованье и деньги за страховку и не без сожаления распрощался с мисс Болсовер.

— Как досадно, что вы попали в беду,— сказала она,— но не надо расстраиваться.

Я улыбнулся.

— Вообще-то я рад уйти. Я все равно думал перебраться в Лондон.

Еще одна бессмысленная ложь — ведь рано или поздно мы непременно столкнемся где-нибудь на улице, и она подумает, у меня не хватило духу уехать. Она была гордая, сильно за тридцать, волосы с проседью, казалось, не подступишься, и как раз поэтому я часто воображал себя с ней в постели.

Сейчас мне хотелось видеть только одного человека, но было еще слишком рано. Что ж, получить расчет — не шутка, после такой встряски не вредно провести несколько часов за городом. Я выведал у мисс Болсовер, что тот хват перевел аванс за дом Клегга — 4600 фунтов,— так что когда контракт будет подписан, я должен бы получить по меньшей мере сто фунтов, только вот сдержит ли этот псих Клегг слово?

За городом оказалось совсем неуютно, порывами задувал резкий ветер и даже через толстое твидовое пальто пробирал до костей. Шагая под этим ветром от автобусной остановки, я вдруг до конца понял: а ведь карта моя бита. Неужели мне до самой смерти прозябать на разных фабриках — тихо, мирно, разве что иной раз вынесешь кой-что из готовой продукции и струхнешь: не очень ли заметно карман оттопырился. Естественно было бы отступить, зажить опять в безопасности, чтоб не уходила душа в пятки после каждого промаха. Но я уже не мог следовать естественным побуждениям, я вступил на путь, который был еще естественней моих естественных желаний: я твердо знал, что буду делать, и уж больше не раздумывал.

Клегг пригласил меня в комнату — то ли это была контора, то ли кабинет. Он несколько дней не брился, и щетина на лице тоже выросла седая, как волосы на голове. Он предложил мне сесть, я и сел в кресло. На стене у меня за спиной висела в рамке карта железных дорог Англии. Артур Клегг, как положено хозяину, пошел в кухню вскипятить чай, и я остался один. Не знаю, понимал ли он, зачем я явился, он ни о чем меня не спросил, ничего не сказал — может, вообразил, будто я просто шел мимо да и заглянул, у него ведь мозги набекрень. Кто его знает, чокнутого? Только по его серым прозрачным глазам ясно было, что он куда больше интересуется всем вокруг, чем я, и, пока он заваривал чай и доставал старые чашки, на проигрывателе крутилась пластинка, музыку я узнал — «Мессия» Генделя. Наверно, он весь день крутил такую вот музыку, не то живо бы спятил, не успев убраться из этой мрачной берлоги. Я сидел и думал, зачем только меня сюда принесло, а певец обещал, что трубный глас прозвучит, не миновать — но я все не знал, как взять быка за рога: ведь Клегг, конечно же, понимал, что ни гроша мне не должен за мои услуги.

Он спросил, как мои дела, и я понял — надо говорить начистоту, и рассказал, что по его милости меня только что выгнали со службы.

Он улыбнулся:

— Это в порядке вещей. А вы чего ждали?

Я не хотел, чтобы он так легко отделался, и сказал — приятно было узнать, что он получил за свой дом четыре шестьсот.

— Вы не забывайте, это ведь только благодаря мне.

— А я и не забуду, сынок,— сказал он, откусывая печенье вставными зубами.— Во всяком случае, не так быстро.

— Когда я еще теперь найду работу,— сказал я,— и чтоб продержаться, мне требуются деньжонки. Полторы сотни вполне меня устроят.

— Подняли цену, а? — ухмыльнулся он.

Мне уже здорово не нравилось, что он играет со мной как кошка с мышью, жалко, я не прихватил какой-нибудь тяжелый предмет, чтоб как следует ему пригрозить... Эта мысль была от лукавого, недаром она тут же выскочила у меня из головы, тем более что Клегг сказал:

— Если покупатель и объявился, пока деньги попадут мне в руки, еще много воды утечет. Сами знаете, он может и раздумать. Завтра приедет от него инспектор, и, если скажет, что дом в неважном состоянии, сделка не состоится или он захочет сбавить цену. А вот если все пройдет, как мы рассчитывали, я дам вам сотню. Мы ведь так и договаривались?

— Маловато.

Он налил еще чаю, поглядел мне прямо в глаза:

— На большее не надейтесь. И это, во всяком случае, куда больше, чем вы заслуживаете, но я сдержу слово. Жаль, конечно, что вы остались без работы. Ну-с, а что вы теперь собираетесь предпринять, ловкий молодой человек?

— Уеду в Лондон.

— Еще того ловчей. Надо полагать, в Ноттингеме вам скоро станет слишком жарко.

— Я ничего такого не натворил.

— А вас никто и не обвиняет. Но если я правильно вас понимаю, в Лондоне вам понравится. По носу видно... во всяком случае, будьте поосторожней.

Так он балабонил еще с полчаса про музеи и всякие знаменитые места, которые мне там непременно надо посмотреть, а я удобно развалился в кресле и слушал всю эту муть.

Когда мы прощались, он крепко сжал мою руку, пальцы у него оказались ледяные, и я пожалел его, хотя сам не знаю почему. Ведь все его неприятности остались позади, он отделался от жены и детей и не сегодня-завтра получит кругленькую сумму за свой дом. Руки будут развязаны, сам себе хозяин. Может, потому-то я и пожалел его самую малость.

Вернулся я как раз вовремя и у кино встретился с Клодин. Она обрадовалась мне, а я взял ее руку, поцеловал, прямо как итальянский граф, и она улыбнулась.

— Ты в хорошем настроении.— сказала она.— Получил прибавку? Или повышение?

— Лучше... Меня уволили. Это замечательно!

Она остановилась как вкопанная, а за нами быстро шагали два почтальона — они наткнулись на нас и чуть не сбили меня с ног. Как будто я стукнул ее кувалдой по голове и смаху вбил по колено в землю.

— За что?

— За дело. Очень даже за дело.

С холодным бешенством она швырнула мне в лицо:

— Но почему?

Надо было что-то объяснить или просто уйти, но я не мог ни того, ни другого. Истинная причина увольнения казалась мне сейчас мелкой и глупой, самолюбие мое взбунтовалось.

— Сегодня утром,— начал я и потянул ее вперед, на ходу все-таки легче говорить,— Уикли попросил меня отстучать на машинке кой-какие сведения об одном доме. Потом надо было размножить эту бумажку на стеклографе, он был не в порядке, и конец не отпечатался. Тогда Уикли обозвал меня бездельником, а я ответил, что если кто у нас в конторе бездельник, так это он. Тогда он обозвал меня вором, олухом и никчемушником, ну а я размахнулся и сбил у него с носа очки. Все кинулись на меня, оттащили, не то я набил бы ему морду. Он послал за фараоном, да поблизости ни одного не оказалось, и Уикли сказал, ладно, в суд меня можно и не тащить, все равно я скоро туда попаду, я преступник и становлюсь день ото дня хуже. Он просто не желает меня видеть. Ну, и не увидит: я сразу повернулся и ушел. Ноги моей больше там не будет. Ненавижу эту лавочку.

Я столько всего нагородил, больше некуда.

— Ох, Майкл! — воскликнула Клодин.— Что ж теперь будет!

Мы молча брели по улице, и с каждой минутой до нее доходило, как же все это худо, да и я сам только теперь это понял.

— Что ты делал весь день? — спросила она.

— Торчал в разных барах и кафе,— сердито ответил я.— Что еще мне оставалось делать после этой стычки?

— Надо было искать другую работу. Может, теперь уже нашел бы.

— Духу не хватило.

— Ну, зачем ты так себя ведешь? Ох, Майкл, ну, зачем ты это сделал? — вырвалось у нее с настоящей мукой, а какой-то прохожий услыхал и засмеялся, грязная скотина — уж конечно, представил, что же это я ей сделал. Она сказала это так, будто я убил ее родную мать. Я молчал.— Нет,— продолжала Клодин,— пока не найдешь хорошую работу, мы не можем объявлять о нашей помолвке. Да и сможем ли потом, тоже не знаю.

— Ты меня любишь? — спросил я.— Или, может, нет? Скажи, ради бога, поскорей, хочу знать, на каком я свете.

Я-то язвил, и довольно зло, но Клодин все приняла за чистую монету.

— Не знаю. Я совсем запуталась. Ох, зачем ты это натворил?

— А вот зачем, и это вполне серьезно: не желаю я работать до скончания века в этой конторе, со всеми этими очкастыми сутенерами. Продаешь гнилые дома беднягам, которые всю жизнь вкалывают, как проклятые, они хуже мертвецов, но зато им вынь да положь конуру с розовыми стенами, чтоб было где сдохнуть, или кроличью клетушку, чтоб растить свое сопливое потомство, и от этого у самого все нутро мертвеет. Хлебнул я этой работы, сыт по горло. Может, мне осталось жить всего год, так я зальюсь горючими слезами, что потратил столько времени, подлаживался к этим вымогателям. Лучше на фабрику, на самую черную работу, а такого с меня хватит. Может, я дурак и вор, но меня еще не вовсе оболванили, не стану я вот так подыхать заживо и чтоб мне давали ногой в зад, а я еще виляй хвостом.

— Замолчи! — взвизгнула она.— Не смей ругаться. Уйди от меня. Видеть тебя не хочу. Не ходи за мной.

Я стоял и смотрел, как она садится в автобус, он подошел очень кстати для нас обоих. Автобус покатил к Каннинг-сэркус, а я еще минут десять стоял, прислонясь к стене собора, и пытался понять, что же я такое натворил и почему Клодин впала в такое отчаяние, что даже бросила меня в беде. Это конец, наверняка. Я ведь хорошо ее знал, как же тут было не понять — я выбил у нее почву из-под ног, сделал и сказал что-то такое, чего она уже нипочем не простит.

Я всегда считал — не только свету что в окошке. Для человека без предрассудков что день, что ночь — все едино, а я всегда просто действовал и не больно-то раздумывал и под конец начал понимать: самое для меня подходящее — получать столько, чтоб хватало на хлеб и книги, но не трудиться ради этого в поте лица. Чем ближе к совершеннолетию, тем больше я в этом утверждался. По счастью, никто не наставлял меня насчет морали и добродетели. Мать обо всем этом не заботилась — был бы я сыт да одет, остальное ей до лампочки. Это вовсе не значит, что мы не любили друг друга, не отдали бы жизнь друг за друга. А кстати, не отдали бы! Но, пожалуй, среди всех моих родных и знакомых не нашлось бы ни единого человека, кто бы мог преподать мне какие-то нравственные уроки. В этом смысле на меня возложена была нелегкая задача — найти собственные мерила нравственности в мире, где у меня не было поводыря. Конечно, охотников учить меня уму-разуму нашлось бы немало, да только все они уж никак не годились в наставники. Еще когда я был мальчишкой, лицемеры и воинствующие святоши, которым только и надо было, что развратить меня или согнуть в бараний рог, махнули на меня рукой. Ну, а если держаться от таких подальше, человек без предрассудков, с широкими взглядами пойдет далеко.

Расставшись с Клодин, я двинулся домой, чувство было такое, будто на меня легло какое-то проклятие, навалилась на плечи непосильная тяжесть. Мать курила и читала вечернюю газету.

— У тебя такой вид, будто ты потерял всю свою получку. Что случилось?

— Меня уволили.

— От этого не помирают.

— Моя девушка меня бросила.

— Из-за того, что тебя уволили? Вот так подружка! Хорошо, что ты от нее отделался. В кладовке есть ветчина. Подзаправься.

Я тяжело опустился на стул.

— Неохота.

— Слушай ты, дурья башка. Прибавь света в гляделках. У тебя там сейчас двадцать пять свечей, а вчера было сто.— Мать налила мне чаю, нарезала хлеба с ветчиной и маринованным огурцом.— Господи! — воскликнула она.— Плачет! Вот уж не ждала от тебя. Плюнь, сынок. Не горюй ты из-за нее.

Я и впрямь чуть не плакал, если такое вообще возможно. Слезы были очень близко, и мать это заметила. Я поел и лег и всплакнул в одиночестве, тогда мне полегчало, и я уснул.

Клодин, не теряя времени, вернулась в объятия Элфи Ботсфорда — он, видно, не переставал по ней вздыхать и в дни нашего романа. Я сам встретил их неделю спустя, они шли по улице, так крепко взявшись под ручку, словно боялись, что какая-нибудь злая сила оторвет их друг от друга. Клодин от меня отвернулась, но Элфи подмигнул мне, его, видно, смешило, что я не могу подойти и поболтать с ними — ведь они явно решили держать меня на расстоянии. Но я все равно обрадовался этой случайной встрече: до этого я подумывал

повидаться с Клодин, посмотреть, а вдруг еще не все потеряно. Правда, раз она опять видится с Элфи, у меня, пожалуй, больше надежд на успех, чем если бы она сидела одна взаперти и дулась на меня, но мне что-то не захотелось рисковать: не жаждал я опять плясать под ее дудку, не ровен час — это затянется на всю жизнь. Я уже начал освобождаться от этой любви, приятно было бездельничать на новый лад.

Работы я не искал. Наполовину сократил свои расходы — теперь целый месяц мог бить баклуши. Каждое утро покупал газеты, шел вверх по холму, а потом по другую его сторону спускался в котловину города. Долго валяться в постели было не по мне. Лень еще не настолько въелась в меня. Когда в половине восьмого мать уходила на работу и наш дом пустел, у меня от тишины поднимался гул в ушах, и уже через десять минут, покуда не успел остыть чай, я был на ногах. В пальто и шарфе я заходил в закусочную, в книжные магазины, глазел на прохожих и на витрины. Когда можно не работать, город сказочно прекрасен, он совсем другой — богаче, полон всякой всячины, работая, этого вовсе не заметишь.

Я зашел в магазин пластинок на Кламбер-стрит, будто хотел купить несколько штук добрый час слушал лучшую поп-музыку, а потом сказал — мне эти записи не по вкусу, и ушел, и перед тем как подкрепиться у «Львов» чашкой чая и сырком, провел несколько часов в библиотеке. Полистал в читальне газеты: политические новости не так уж меня увлекали, но из-за политики всегда разгораются страсти, ну, вот я и проглядывал их от нечего делать и смеха ради, когда ездил на работу или удалялся после обеда поразмышлять пяток минут в уборной. Нет, мне не интересны все эти политические новости, да, по-моему, и не может быть в них ничего интересного. Я перестал покупать журналы и газеты, решил — для меня самые важные новости на свете то, что творится со мной, и новости эти опять и опять мелькали у меня в голове в виде таких вот газетных заголовков:

«МАЙКЛ КАЛЛЕН УВОЛЕН С РАБОТЫ. ПОДРУЖКА БРОСАЕТ КАЛЛЕНА».

«ДЕД УБЛЮДКА СЫГРАЛ В ЯЩИК».

Я всегда просматривал колонки спроса на рабочую силу. Бесспорное доказательство того, что я нужен, глядело мне прямо в лицо, слепило меня. Перед тем как он окончательно потерял зрение, говорил я себе, он вспоминал, что время от времени, глядя на свет, видел большое серое пятно Свободные вакансии показывали мне, как еще живут люди, ко мне протягивалась обезьянья лапа, готовая присоединить меня к ним, в глаза лезла одна дохлая работенка за другой, прямо смех разбирал: напарник шофера на фургоне и подручный каменщика, грузчик, упаковщик, сварщик, судомойка, кубовщик, младший продавец, буфетчик, фабричный — длинная, невеселая песнь во славу невыдуманной жизни въедалась мне в душу, и под конец жуть брала: как бы желчь не разлилась. Тогда я переставал смеяться и переключался на кроссворд.

Через три недели я поехал узнать, как продвинулись у Клегга дела с продажей дома. Живые изгороди ожгло морозом, они стояли поникшие, уродливые, и под ясным небом белые мерцающие поля раскинулись, точно саван, сброшенный покойником по дороге на небеса. Угрюмо здесь было и не по мне, зимой за городом все какое-то чужое. Я люблю буйное лето, щедрое на жару и цветы, и даже подумал, как тепло должно быть в эту пору на фабриках.

Я позвонил, никто не отозвался, я пошел вокруг дома — на задворках Клегг таскал поленья из-под навеса и складывал у черного хода.

— Я вас ждал,— сказал Клегг, разогнул спину и пошел мне навстречу.

Я спросил, может, ему помочь,— увидев его за этим полезным занятием, я вдруг почувствовал, что мне осточертело ничего не делать.

Он засмеялся.

— Сам управлюсь. Я нарочно растягиваю эту работу, кончится она — и некуда себя девать. Правда, еще полно хлопот с укладкой. Дом продан. Отзыв инспектора хороший, и поверенный второго покупателя тоже забрасывал пробный шар. Вот не думал, что все это так быстро разыграется. Деньги я уже все получил. А теперь вот надо съезжать — и я даже растерялся.

— Это лучше, чем сидеть на месте.

— Да-а, наверно,— сказал он.

Мне вспомнилось, как я впервые увидал этот тихий дом, не домик — игрушечка, вспомнились мои дурацкие мечты зажить здесь с Клодин, и прямо сердце защемило, такая вдруг взяла тоска по ней. Но тотчас же я подумал: дом, слава богу, продан и я его вижу в последний раз — больше сюда ездить незачем. Уж очень холодно и пусто кругом, даже страх берет.

Клегг пригласил меня войти. С первой нашей встречи он как-то постарел и осунулся, словно, продав дом, совершил большую ошибку, которую уже не поправить. Кожа у него была дряблая, изжелта-бледная, глаза пустые, водянистые, казалось, он вот-вот сляжет или зима вовсе его доконает. Этот дом помог ему устоять, но он с улыбкой уверял, будто рад отсюда убраться. Может, он перетрудился, пакуя чемоданы и укладывая книги в ящики, лучше бы оставил это рабочим, которые будут его перевозить. Я сказал — давайте помогу двигать тяжелые вещи, вроде не к тому сказал, что ему самому не под силу, а просто по-компанейски, чтоб побыстрей с этим управиться.

— Что ж, можно,— сказал он,— если вам нечего делать.

И я задержался дотемна: перетаскивал с чердака громадные корзины. Работал я споро, и тут он понял, что дел-то гораздо больше, чем ему казалось, и попросил — может, я останусь ночевать, а завтра начнем пораньше.

— Ну что ж,— сказал я. Я готов был делать что угодно, была бы еда. Мне все равно, что есть, лишь бы каждый день. Много мне тоже не надо, но вот если голоден, а жевать нечего, тут уж и на белый свет смотреть неохота.

Старик взял меня за руку.

— Послушайте, Майкл,— сказал он,— когда вас спрашивают, хотите ли вы что-то сделать, никогда не отвечайте «ну что ж», это не ответ. Если хотите чего-то достичь в жизни, всегда отвечайте ясно и определенно — «да» или «нет» — и тогда ближние станут вас уважать, а главное, вы будете сами себя уважать.

Я кивнул — чем еще можно отозваться на такую проповедь? Мы пошли в кухню, там топилась плита, было тепло и уютно, хотя и темновато. Клегг вытащил из холодильника печенку, бросил ее на сковороду с шипящим салом. Прибавил банку бобов, несколько ломтиков хлеба — ужин получился на славу. Старик огорчился, узнав, что я не играю в шахматы, и мы стали играть в шашки. Но это было ему слишком легко и через час наскучило. Когда оба мы замолкали, становилось так тихо, прямо спятить можно. Тут-то до меня дошло, каково это — жить за городом.

Утром я снес с чердака сундуки и ящики и поставил их вдоль стен в прихожей. Работа была тяжелая, и пришлось провозиться до-

поздна, но мне это было одно удовольствие — ведь мной никто не помыкал. Клегг только говорил, что надо делать, а уж дальше я соображал сам. Нужно было снести вниз комод, и в одном из ящиков оказалось десятка полтора старинных карманных часов. Я сразу заметил, как красиво, тонко выведены римские цифры на белых циферблатах. Наверно, это награды или подарки старику за всю его жизнь. Одни часы были массивные, золотые, с цепью и крышкой, которая закрывалась с громким щелканьем.

Мне взбрело в голову проверить, идут ли они, я стал их заводить, и чем бы крутануть винт раза три, по глупости докрутил до предела, чуть пружина не лопнула. Стою перед открытым ящиком и смотрю, как бегает по крохотному кругу секундная стрелка, и вдруг слышу — по лестнице тяжело поднимается Клегг. Положил я часы в ящик и поволок комод к двери. Когда Клегг сошел вниз, я завернул часы в носовой платок и сунул в карман. Клегг, скорей всего, про них и думать забыл, а они слишком хороши, нечего им тут зря пропадать. Вот только тикали они уж очень громко, и ничем этого тиканья не остановить, разве что сломать пружину. Даже носовой платок плохо его заглушал, и каждое «тик-так» впивалось в меня, как заноза, оставалась одна надежда — может, Клегг туговат на ухо или по рассеянности ничего не заметит, а уж я, когда он поблизости, постараюсь побольше шуметь, чтоб он этого тиканья не расслышал.

— Пожалуй, еще чуть-чуть — и самое трудное будет позади,— сказал он, когда мы сидели в кухне и пили чай с печеньем, за которым я сбегал в деревенскую лавку.

— Если надо, я могу остаться еще на ночь,— сказал я.— В Ноттингеме никто по мне не скучает.

— Вы, я думаю, проклинаете тот час, когда столкнулись со мной — и без работы остались, и без подружки.

— Подумаешь! — сказал я.— Может, все к лучшему. Когда что-нибудь стрясется, я всегда так думаю — понятно, не в ту минуту, но до и после. Так уж я устроен. Такой уродился.

— Ваше счастье. Потерянного все равно не воротишь.

— Золотые ваши слова,— сказал я и налил себе еще чашку крепкого чая — Я хоть и порадовался, когда меня уволили, да только вовсе не потому, что не люблю работать.

— Вижу,— сказал Клегг.— Я сегодня же рассчитаюсь с вами по справедливости. Это часы тикают, да?

Я поднял руку.

— От этой тикалки шуму больше, чем от Большого Бена. Дешевле я не нашел. Спасибо, хоть такие есть. Купил из первой получки.

— Шуму от них и правда хватает.

— Да,— сказал я,— когда я водил свою девчонку в кино, приходилось брать самые задние места. Неудобно Она думала, это чтоб побыстрей увести ее в полё. Она эту бомбу замедленного действия прямо возненавидела.

Клегг засмеялся.

— Да уж, окрестили метко. Но вернемся к делу.

Интересно, как он это понимает — рассчитаться по справедливости? Мне казалось — хоть мы знакомы не долго, а сошлись очень близко, стали почти как родня. Благодаря моей дурацкой игре цена на его дом подскочила, теперь поглядим, отблагодарит он меня за это или нет. Если нет, у меня по крайней мере есть часы, хотя это, конечно, малость — не такого жалкого вознаграждения я жду уже сколько дней.

Я зашел в ванную, сполоснулся, потом надел пальто. Клегг вышел в прихожую и протянул мне конверт.

— Вот вам за труды. На добро я всегда отвечаю добром. Надеюсь, вы всегда будете поступать так же, даже если вам иной раз не повезет. Впрочем, не думаю, чтобы вам не везло, разве что изредка. Только не попадайте в беду, вот вам мое напутствие. Если станете помогать людям, как помогли мне, все у вас будет хорошо. В этом конверте мой лестерский адрес — если будете там, навестите меня.

— А как же. Рад был вам пособить.

Мы пожали друг другу руки, обнялись, и я быстро зашагал к автобусной остановке, чувствуя себя настоящим сукиным сыном: ведь в заднем кармане моих брюк тикали лучшие часы Клегга. В автобусе на верхотуре я украдкой вскрыл конверт и насчитал сто пятьдесят фунтов пятифунтовыми бумажками. От радости я чуть не выскочил из окна, но вместо этого смял записку с его адресом и наилучшими пожеланиями и кинул ее подальше. Сейчас, когда я про это вспоминаю, я только диву даюсь — экое мальчишество, полная безответственность,— но твердо помню: тогда я ровно ни о чем не задумывался.

У себя в комнате я подсчитал свои сбережения, и оказалось, я сказочно богат: у меня 260 фунтов! Неужели и вправду столько денег? Прямо не верилось! И я по одному пересмотрел на свет все клегговские пятифунтовые билеты — есть ли на них водяные знаки и полосы. Потом снова спрятал их под матрац, но заснуть не мог. Светила луна, я задернул занавески и дрожал, весь в поту, боялся уснуть — а вдруг подлюга вор вскарабкается по водосточной трубе, влезет в окно, хватанет меня дубинкой и даст тягу с моими деньгами. Если про них проведают в нашем квартале, мне крышка. Я крутился и ворочался с боку на бок, под конец зарылся лицом в подушку и зажмурился покрепче, силясь успокоиться и уснуть.

Об этих деньгах никто и не подозревает. Самое безопасное — поскорей их истратить. И вот наутро я надел свой лучший костюм и отправился в гараж, где торговали подержанными машинами. Хозяин показал мне «форд», выпущенный, по его словам, всего четыре года назад, и запросил сто тридцать пять фунтов; я учинил этой машине основательную проверку — проехался по городу, потом по мосту через Трент до самого Раддингтона — и после этого сполна выложил за нее наличными. Уплатил налог, страховку, купил бензин, и у меня еще осталось больше сотни монет.

С сигарой в зубах, раскрыв все окна, хотя холодно было, как в Сибири, я покатил на своей машине к дому. По Илкстон-роуд следом за мной шел автобус, и ехать медленно я побоялся — вдруг сомнет. К счастью, светофор остановил нас обоих, но когда я затормозил у обочины перед нашим домом, меня все еще трясло. Я сбегал за политурой и тряпкой, так как передний бампер был тронут ржавчиной, и работал до тех пор, пока в каждой хромированной части не стала отражаться, как в зеркале, моя довольная, ухмыляющаяся рожа.

Вечером вернулась мать и поинтересовалась:

— Чья это там машина?

— Моя.

— Не валяй дурака,— сказала она.— Тебя по-людски спрашивают: чья машина? Не знаешь, так и скажи.

— Я ж говорю: моя. Купил нынче утром.— И я объяснил, каким образом получил деньги у Клегга.

— Ты темная лошадка,— сказала мать.— А фары у нее есть?

Я сказал — есть, и мать попросила прокатить ее. Мы поехали к бабушке в Бистон. Порывами налетал ветер, и на Университетском проспекте машину даже накренило на бок, кажется, подуло бы чуть посильней — и мы бы перевернулись. Мать была на седьмом небе и всю дорогу пела.

По пути я купил пива, и в теплой бабушкиной кухне мы распили пинту-другую.

— Ты поосторожней,— сказала мать.— Не хвати лишку.

— Я хорошо веду машину, только когда выпью. А трезвый боюсь до смерти.

— Я буду пить, а ты править,— сказала бабушка.— Подходяще?

Мы смеялись и выпили еще по этому случаю, а за выпивкой последовал чай с сандвичами — щедрая бабушкина доля угощенья.

За чаем мы вдруг услыхали треск гнилого дерева, хруст ломающихся веток, и сразу же на улице что-то глухо ударило оземь. Бабушка закричала, что пришел конец света. У меня чуть сердце не выскочило, я решил — упала бомба или взорвался газ. На миг представилась раздавленная, искалеченная машина, и я, как бешеный, кинулся к черному ходу — громыхнуло вроде с той стороны.

Кричали люди, машины тормозили, сверкали фары. Холодный ветер лизнул меня в лицо. Выйти было невозможно, путь преграждала стена сухих спутанных ветвей. В ярости я продрался в сад, куда упала большая часть ствола. Дерево обрушилось на ограду, пробило ее до половины.

Около меня оказалась мать.

— Хоть бы никто в эту минуту не проходил мимо. Если кто шел, ему конец.

— Черт с ним! — чуть не плача крикнул я.— А как машина?

Мы кинулись к калитке, но ограду перекосило, и калитка никак не открывалась.

За спиной у нас захохотала бабушка.

— Ты что, спятила? — крикнул я.

— Наконец-то повалилось дедово дерево,— сказала бабка и опять захохотала. Я чуть ее не убил, в мыслях было одно: что с машиной?

Машину было не видать под грудой ветвей. Я ухватился за ограду — так закружилась голова. Люди растаскивали ломкие сучья по домам на растопку. Я, как сумасшедший, продирался к машине, и кто-то сказал:

— Вот жадный черт! Видали? Есть же такие, не успокоятся, пока все не зацапают.

— А может, это его машина,— вмешался кто-то еще.

— Тогда поделом ему. Хорошо, что стукнуло по богачу, а не по бедняку.

Я все-таки добрался до машины и в два счета расчистил крышу. Главная тяжесть дерева пришлась на ограду, так что машина отделалась легким испугом: несколько изрядных вмятин в крыше да еще фару размозжило, вот и все. Стараясь сдержать ярость — охота была давать пронырам и сплетникам даровое представление! — я залез в машину и тут увидал, что сломанные ветви пробили в крыше две дыры с рваными краями, словно господь бог обозлился и пустил со своих безжалостных небес два противотанковых снаряда прямехонько в мою машину. Я чуть не взвыл: в первый же день — и такая беда. Правда, немного погодя я вылакал у бабушки полбутылки ирландского виски (даю голову на отсечение, она сама его изготовила) и уже смеялся вместе со всеми, но это только потому, что пьян был вдрызг.

Наутро я принялся за дело и прежде всего подтер воду, которая накапала в машину за ночь. Молотком подогнал как можно ближе друг к другу изодранные края дыр, потом снаружи и изнутри залепил их крест-накрест полосами липкой бумаги и покрыл ее эмалевой краской, которую купил у какого-то ловкача. Теперь крыша не протечет; фары я привел в порядок — можно хоть сейчас снова в путь.

За следующие несколько дней я проехал сотни миль и наконец стал водить машину не хуже всех прочих, а то и лучше, судя по тому, сколько раз я по их милости был на волосок от аварии. Однажды я проехал мимо дома Клегга, увидел фургоны для перевозки мебели, но заходить не стал: а вдруг он хватился часов, которые я сейчас с гордостью ношу в кармашке пиджака. Может, я как-нибудь загляну к нему в Лестер (адрес можно найти в библиотеке) и тогда их верну. Это благое намерение заглушило угрызения совести, которая вообще-то меня не так уж и мучила, и следующие полмили я проехал в самом распрекрасном настроении. После того как на мою машину свалилось дерево, вид у нее стал уже не такой щегольской, зато я еще больше к ней привязался. Это зеленое крещение убережет ее от всех бед, думал я, и, кто там ни сидит на небесах, надеюсь, отныне он возьмет нас под свое крылышко. В этой машине мне куда уютней, спокойней, безопасней, чем дома, в своей собственной комнате. Свернувшись на заднем сиденье, можно было даже подремать, и нередко, замученный до полусмерти — ведь за рулем все время приходилось быть начеку,— я останавливался на какой-нибудь тихой улочке в северном краю Ноттингема и действительно засыпал. Я всегда брал с собой в машину одеяло, еду, сигары, инструменты, карты и термос с чаем. Я чувствовал себя цыганом, но к ночи непременно возвращался восвояси, словно был еще привязан к дому за ногу невидимой веревочкой.

Однажды перед вечером, в начале шестого, ехал я по городу и увидал мисс Болсовер — она шла к остановке автобуса.

— Гвен! — окликнул я. Решил, раз теперь мы уже не работаем вместе, можно и просто по имени ее назвать. Она наверняка меня услыхала, но не остановилась, шла все так же, высоко держа голову, покачивая широкими бедрами — это я и под серым свободным пальто разглядел. Сзади сигналил фургон, чтоб я ехал быстрей, а она подумала, это я сигналю ей. Я помигал указателем поворота, будто собираюсь остановиться у обочины, но продолжал медленно ехать, прижимаясь к тротуару, опустил стекло и позвал: — Мисс Болсовер!

Она с улыбкой обернулась.

— Привет, Майкл!

— Я вас подвезу,— сказал я.— Садитесь.

Она влезла, и машина сразу осела — не то чтобы пассажирка оказалась такая уж тяжелая, просто, видно, рессоры не в порядке. Гвен Болсовер была, как говорится, женщина плотного сложения, ей уже перевалило за тридцать, и над маленькими розовыми ушами нависали тронутые сединой прядки. Лицо у нее формой похоже было на грушу, озабоченное — и озабочена она всегда чужими делами; судя по сплетням, которые ходили у нас в конторе, у нее не раз бывали дружки, но во всех она разочаровывалась. Почему это получалось, никто не знал, но так она говорила и при этом смотрела так искренне, что никому и в голову не приходило ей не поверить. И, конечно, услыхав такое, мужчины липли к ней как мухи к меду.

В машине до того запахло духами, аж голова закружилась, и я насилу взял себя в руки: движение на улицах большое, а раз у меня в машине женщина, отвести душу крепким словцом невозможно — вдруг не так поймет и обидится. Еще совсем недавно я был полон радужных надежд и воображал, что запах духов в машине и следы губной помады на обшивке первой оставит Клодин. Я хотел заехать за ней, когда пройдет месяц после нашей ссоры, и поглядеть, может, опять у нас все пойдет как по маслу. А теперь ее обскакала мисс Болсовер, о которой я и думать забыл,— вдруг такой подарок на меня как с неба свалился. Я уже знал — в жизни никогда не получаешь,

чего ждешь, или даже притворяешься, будто не ждешь, а сам думаешь, что так оно верней тебе достанется. Вот почему я старался жить без особых надежд и никогда ничего не ждал. И при этом я преуспевал в жизни не хуже других, а кое в чем и получше.

Мисс Болсовер спросила, откуда у меня машина, и я сказал — купил на свои сбережения, с пятнадцати лет на это дело откладывал.

— Вот как! — сказала она.— Это прекрасно, когда мужчина такой целеустремленный. И вы еще так молоды. Интересно, что за человек из вас получится лет через десять? Или через двадцать?

Она жила в районе Уоллатона, и, так как настал уже час «пик», у Каннинг-сэркус проехать было не просто.

— Как хорошо вы ведете машину,— сказала она.— Спасибо мистеру Уикли, ведь это он дал вам возможность выучиться.

— Не такой уж я молодой, мисс Болсовер,— возразил я.— Иногда мне кажется, будто мне не двадцать один, а куда больше, уж это я вам точно говорю.

На крутом повороте ее вдруг кинуло на меня — мягкие руки, извинения,— потом она спросила, где я теперь служу, и я сказал, у Стика и Скалла (это крупнейшее агентство нашего города), но только пока в их Лафборской конторе. Выходило, что это гораздо лучше моего прежнего места, и мисс Болсовер поздравила меня:

— Это для вас большая удача!

— Да,— сказал я, одной рукой правя, а другой доставая сигару, и предложил ей.— Закурите?

Она громко засмеялась, откинула голову.

— Ну, нет! Пока ни малейшего желания.

Я закурил.

— Знаете, Уикли меня уволил, но ведь тут вышло недоразумение. Я-то старался ради фирмы, а он подумал, я для своей выгоды.

— Насколько мне известно,— сказала она,— по его мнению, вы поступили неэтично.

— Как сказать,— возразил я.— Может, он просто хотел от меня отделаться, вот и нашел предлог.

— Не думаю, Майкл. Он всегда очень хорошо о вас отзывался.

— Я ведь и правда еще молодой, мог и ошибиться, ему бы надо это понимать, а он взял и вышвырнул меня.

— Очень жаль,— сказала она.— Я не знала, что вы так переживаете.

— Конечно, переживаю.

Ведь останься я в конторе, я постоянно проделывал бы то же, что с Клеггом, и загребал бы кучу денег, только как следует все обмозговал бы и уж так бы легко не попался. Но чтобы этим заниматься, надо работать в конторе по продаже недвижимости, такая служба— и ширма, и источник нужных сведений.

— Когда меня выставили, это был большой удар для меня, мисс Болсовер,— продолжал я, минуя Рэдфордскую остановку.— И главное, скажу честно: уж очень не хотелось расставаться с вами. Никогда прежде не знал такого удовольствия — проснусь утром и думаю: сейчас пойду в контору и увижу вас. Не спрашивайте, почему я вам про это рассказываю. Теперь уж поздно.— Я смотрел вперед на дорогу.— Я ведь почему так старался провернуть то дело для фирмы — надеялся, получу повышение, и тогда, может, вы станете получше обо мне думать, а то я по вас вздыхал, а вы меня и не замечали.

Слова сами слетали с языка, словно без моего ведома. Меня так закрутило, что я даже струхнул, но все-таки исподтишка глянул на мисс Болсовер — действует или нет.

Она смотрела прямо перед собой — брови сдвинуты, губы сжаты, вроде глубоко задумалась о чем-то, но только не обо мне. А все-таки немножко покраснела, значит, может, и не так уж далеки ее мысли. Я решил смутить ее еще сильней и сказал — прошу прощенья, не надо было мне затевать этот разговор, да ведь сердце так переполнено, что я уж и сдержаться толком не могу.

— Странный вы, Майкл.

— Самый обыкновенный,— сказал я.— Да разве вы можете не понравиться? Только мне-то вы не просто нравитесь.

Больше я ничего не сказал, ничего не смог придумать. Она говорила, где куда свернуть, и наконец мы подъехали к ее домику на тихой улочке близ Уоллатона. Я не помог ей выйти из машины, она сама вышла и стояла теперь у открытой дверцы. Если с самого начала станешь прикидываться больно воспитанным, никогда ничего не добьешься.

— Может, зайдете? — предложила она.— Выпьем чаю. Вы так любезно меня подвезли.

Было ветрено, щеки у нее раскраснелись, тянуть дальше не стоило.

— Разве что по-быстрому,— сказал я.— Я обещал матери свести ее на симфонический концерт в Альбертхолл.— Ложь была совсем невинная, просто я хотел, чтоб мисс Болсовер было со мной полегче, я ведь знал — она-то всегда ходит по концертам.

— Я тоже хотела достать билеты на сегодня, но не удалось,— сказала она, когда я выключил зажигание.

— Возьмите мой.

— Ну, что вы, разве можно так обидеть вашу маму?

— Да, верно,— сказал я и захлопнул дверцу.— Она любит Бетховена. Она бы здорово обиделась.

Кто врет, того все любят, но лучше не зарываться. Я взял стоявшую у двери бутылку молока, вошел за мисс Болсовер в жалкий домишко в ложнотюдоровском стиле — и на меня пахнуло спитым чаем и отсыревшей обивкой. Мисс Болсовер усадила меня на мягкую плюшевую тахту, а сама засуетилась в кухне, но дверь была отворена, и теперь, когда она сняла пальто, я любовался ею, как нередко бывало в конторе. Чудно: пока работаешь рядом с людьми, они вроде и не смотрят в твою сторону, а как тебя выставят за дверь, тут-то тебя и замечают.

Она вернулась с большим серебряным подносом — принесла чай и какое-то фигурное печенье на тарелке.

— Я пью без молока,— сказала она,— с лимоном.

— А где все ваши?

— У меня только брат, он вчера уехал на три недели в Австрию на машине. Он страстный лыжник. Но когда он здесь, я тоже не часто его вижу.

— Одинокая у вас жизнь.

— Да, Майкл, но мне так нравится. Я постоянно бываю в театре, на концертах. А дома читаю, пишу письма, смотрю телевизор. По-моему, жизнь прекрасна и увлекательна.

— И по-моему,— сказал я.— Я тоже много читаю. Люблю книжки. И еще девушек, но моя подружка дала мне отставку — из-за того, что меня уволили.

— Неужели? Сахару положить?

— Да, шесть кусков.

— А я совсем без сахара. Почему же она так? Ведь вы теперь лучше устроены. Она разве не рада?

— Да она не стала ждать, покуда я найду новое место. Она, знаете, с норовом. Но что толку огорчаться.

— Ваше счастье, что вы способны относиться к этому легко.

— Ну да, легко. Чуть с ума не сошел. Но сделанного не воротишь. Что ж, мне теперь до самой смерти о ней горевать?

Мисс Болсовер рассмеялась:

— Ну, это вам не грозит. Но я понимаю, что вы хотите сказать.

Она замолчала, и я воспользовался случаем и отхлебнул сразу полчашки чая. Он был совсем слабый, но что поделаешь.

— Значит, и с вами такое случалось?

Она разломила печенье пополам, сунула половинку в рот — ротик-то у нее маленький.

— Пока доживешь до моих лет, непременно через это пройдешь. Мне ведь тридцать четыре.

— Вы говорите так, будто, по-вашему, это прямо старость. Моей бывшей подружке тридцать восемь. В одном она совсем, как вы: больше двадцати пяти ей не дашь. Но вообще-то она на вас не похожа — больно обыкновенная, понимаете? И уже побывала замужем, а вот фигура у нее замечательная, прямо как у вас, очень мне такие нравятся. На прошлой неделе я был по делу в Лондоне, и выдалось часика два свободных, я взял и пошел в картинную галерею, там есть несколько замечательных картин, и на них у женщин как раз такие фигуры. По-моему, женщина только такая и должна быть.

Она сидела напротив, в кресле, краснела и улыбалась — не то чтобы ее смущала моя откровенность, сказала она, наоборот, это очень мило, но главное, приятно, что я интересуюсь искусством. А я и правда интересуюсь. Потом я заговорил о прочитанных книгах, и уж тут она убедилась — за душой у меня куда больше, чем могло показаться в конторе.

Мы сидели в нескольких футах друг от друга, между нами был плюшевый коврик, а я глядел на нее и маялся, было невтерпеж, так и подмывало стиснуть ее покрепче. Она рассуждала на серьезные темы — ее, мол, тревожат судьбы нашего мира, но хоть в нем много худого и много плохих людей, а жить все равно хорошо.. А я только и видел, как колышутся ее полные груди, обтянутые тонким шерстяным джемпером. И знай поддакивал ей, а потом сообразил, что все время поддакивать тоже не годится. Но уже ничего не мог с собой поделать, очень это сладкий грех — слушать и соглашаться со всем, что она ни скажет.

Глаза ее влажно блестели, и я понимал: ей того и хочется, чтоб я соглашался. Однако она была совсем не дура, только казалось, что размазня, и лишняя чувствительность, конечно, шла ей не на пользу, но это больше снаружи, а на самом-то деле она очень здраво обо всем судила и много чего понимала. Я перегнулся к ней и пылко сжал ее руку. Она в ответ сжала мою — мол, и я чувствую то же самое. А потом до нее дошло, что я не только пожимаю ей руку, но и тяну к себе, и тут она вскочила с кресла и села рядом со мной на тахту.

— Вы уж, верно, поняли, что я вас люблю? — устало сказал я.

Губы мои прижались к ее губам; едва я наклонился к ней, она приоткрыла рот. Потом вскинула руки и обняла меня.

Через несколько минут мы поглядели друг на друга — я смотрел, надо надеяться, открыто и восхищенно, а она — вроде смущенно и озадаченно, но от нетерпеливого желания ее лицо совсем переменилось, прямо не узнать, как будто и не ее я видел изо дня в день в конторе.

— Я вас люблю,— сказал я.— Никого еще так не любил. Я хочу на вас жениться.

Она прижала меня к своей пышной груди.

— Ох, Майкл, не говорите так. Пожалуйста, не надо.

Ладно, не буду, решил я, а то вдруг возьмет да заплачет, хотя при том, какая ее сотрясала страсть, это было бы совсем неплохо. И все-таки я повторил, что хочу на ней жениться, и так ее сжал, что она слова не могла вымолвить.

— Это будет восхитительно,— пробормотал я ей в плечо.— Восхитительно.

Мы пошли в ее спальню в шесть вечера, а вышли оттуда только в восемь утра, когда ей пора было собираться в контору. Ночь пролетела как одно мгновение... Когда я вез ее на работу, руки и ноги у меня были совсем ватные, и я пугался каждой машины.

— Вечером опять к тебе приеду,— сказал я.

— Конечно. Я буду ждать.

— И опять буду звать тебя замуж.

— Ох, Майкл, прямо не знаю, что тебе ответить.

— Просто ответь «да».

— Ты — прелесть.

Я высадил ее в сотне шагов от конторы и поехал домой. Дома было пусто, я разделся и лег в постель. Уснуть я не мог — все тело ныло, и я только диву давался, чего это меня вдруг повело на мисс Болсовер и хорошо ли это. Ну, и конечно, пускай этому конца не будет, ведь ничего подобного я никогда еще не испытывал. Может, все оттого, что мы провели с ней в постели целую ночь, но нет, наверно, дело не только в этом. Да чего тут думать, я только лежал и жалел, что ее нет рядом, и надеялся — может, день пролетит быстро и все-таки до того, как ехать к ней, я сумею отдохнуть. Незаметно я уснул — не очень глубоким, но сладким сном, так славно спится, когда знаешь, что хоть занавески и задернуты, а день в разгаре и весь город занят тяжким и скучным трудом.

Не знаю, долго ли я проспал, а потом сквозь сон дошло: кто-то барабанит в дверь. Черту нет покоя и в раю, я натянул штаны и, еще толком не проснувшись, затопал вниз по лестнице, гадая, кого же это принесла нелегкая среди дня. У черного хода, которым мы обычно пользовались, никого не было, и слава богу. Я пошел обратно, и вдруг опять стучат, теперь уже в парадную дверь. А если стучали в эту дверь, сердце у меня всегда начинало бешено колотиться и поднимался шум в ушах. Мы не привыкли, чтобы к нам стучали. Если заходила какая-нибудь соседка, она окликала мать и шла прямо в дом. Ну кто может стучать в дверь? Либо пришли из магазина за деньгами, если ты купил что в кредит, а плату просрочил, либо это полицейский, либо принесли телеграмму; так ведь мать никогда не покупала в кредит, ни она, ни я ни в чем незаконном не замешаны, и никому из нашей родни и знакомых отродясь в голову не приходило слать телеграммы, а потому и всякие официальные гости были для нас редкостью. И когда стучали, а я бывал один дома, не мудрено, что меня совсем выбивало из колеи, я прямо даже трусил.

Клодин пыталась улыбнуться, но в конце концов скорчила такую кисло-сладкую гримасу, что я так и застыл, и на минуту у меня аж язык отнялся.

— Входи,— сказал я наконец довольно бодрым тоном. Тут она бросила на меня привычно озабоченный взгляд и пошла за мной в кухню.— Рад тебя видеть,— прибавил я.

— Ври больше! — резко отозвалась Клодин.

— Конечно, рад, крошка. Снимай пальто, садись. Напою тебя чаем. Я и сам не прочь позавтракать.

— Позавтракать? Да ты знаешь, сколько времени? Уже двенадцать пробило.

— Что ж, будет сразу и завтрак и обед,— сказал я, стоя у плиты. Я разбил яйца, вылил на сковороду, кинул побольше бекону, чтобы хватило на двоих.

— Ты, видать, совсем пропащий. Чтоб в такую пору и спать! Ужас! Я всегда знала, ты чокнутый.

— Ну да, горбатого верблюда и могила не исправит, это уж точно.

Я накрыл стол скатертью, положил вилки и ножи, включил радио, дал ей сигарету, подкинул в огонь угля — так захлопотался, что и не подумал, зачем это она ко мне притопала, а она знай поет свое: до чего же я никчемный.

— Да только ты вон какой домовитый, я и не знала,— сказала она, внимательно ко мне приглядываясь.

— Просто матери часто не бывает дома, вот и приходится самому о себе заботиться.

Мы подсели к столу, но Клодин не так уж налегала на мою стряпню, как я надеялся.

— Я рад тебя видеть,— сказал я,— а все-таки что у тебя на уме?

— Кой-что имеется,— ответила она.— Сейчас узнаешь.

Я решил сострить.

— Может, ребеночка ждешь? — весело спросил я.

Клодин резко выпрямилась.

— Ах ты гад! — крикнула она.— Ты откуда знаешь?

Я подавился шкуркой бекона, кинулся к зеркалу и выдернул ее из глотки, точно солитера.

— Я не знал. Я пошутил.

— Для меня это не шутка,— сказала она и теперь, ошарашив меня такой новостью, стала есть усерднее.

— Ну, и как Элфи Ботсфорд? — спросил я.

— То есть? Ты к чему это клонишь?

Я стоял у каминной полки и злился: в такую минуту и ест. Потом сообразил: ведь она теперь кормит двоих.

— Ни к чему я не клоню. Но ты же опять с Элфи, верно?

— Не хочу про это говорить,— сказала она сквозь слезы, уплетая яичницу.

— Твое дело. Ты сама меня бросила.

Она порывисто встала, посмотрела мне прямо в глаза.

— А ты, может, еще удивляешься, Майкл Каллен, стервец ты этакий. Это ж подумать только, как ты живешь. День-деньской валяешься на кровати, никак глаза не продерешь. Ни работы у тебя, ни надежд на будущее. Лодырь, паразит. Нет, теперь я вижу, с тобой мне надеяться не на что, а ведь я ношу твоего ребенка. Вот беда-то! Вот ужас! Хоть руки на себя наложить. И наложу. Некуда мне податься.

— Если ты это всерьез, так и быть, дам тебе парочку шиллингов на газ и еще подушку — будет что подложить под голову,— сказал я.

— С тебя станется,— тихо сказала Клодин; мой ответ на эту дурацкую угрозу явно ошеломил ее.

— А как же иначе, раз такое твое желание. Я так тебя люблю, на все для тебя готов.

— Может, думаешь, мне сейчас сладко?

— Не думаю, да только нечего подсовывать мне младенца, когда ты уже целый месяц гуляешь с Элфи Ботсфордом. Не разберу, чего тебе надо, но меня на эту удочку не поймаешь.

— Я думала, ты меня любишь,— сказала она.— А тебе, оказывается, на все наплевать. Получил чего хотел — и ладно. Элфи Ботсфорд

до меня и не дотронулся. Он ничего такого себе со мной не позволил ни разу. Вот провалиться мне на этом месте.

Я знал, она говорит правду... почти правду. Я смотрел, как по бледной щеке Клодин сползает слеза боли и досады, и воспоминание о зрелом теле мисс Болсовер мигом улетучилось.

— А разве Элфи не женится на тебе? Переспи с ним разок, он ни о чем и не догадается.

Она села, закрыла лицо руками, и я уж было пожалел ее, но тут она взорвалась:

— Подлец ты, бессовестный. Прямо ушам своим не верю. Что же мне делать? Отцу с матерью говорить боюсь, думала, ты пойдешь со мной и мы вместе им скажем.

— Ты бросила меня в беде! — закричал я.— Скажешь, нет? А теперь я тебе опять понадобился! Не буду врать, я в тот день по тебе убивался. А ты на меня наплевала, потому что меня выгнали с работы. По-твоему, это любовь? А теперь, когда ты доигралась, когда Элфи Ботсфорд обрюхатил тебя, теперь ты приходишь ко мне и хнычешь. Да чего тебе от меня надо?

Она вскочила, будто хотела пырнуть меня ножом, но не успела и слова вымолвить, я схватил ее и поцеловал.

— Я люблю тебя. Я с ума по тебе схожу, Клодин. Я что угодно для тебя сделаю. Только скажи.

Она ответила мне поцелуем и скоро малость поуспокоилась.

Мы стояли у камина перед зеркалом, я тихонько касался губами ее щеки, она — моей.

— Я пришла, потому что ребенок твой,— сказала она.— Пойдем вечером к моим родителям. Скажем им, что мы обручились и что лучше нам пожениться скорей, ну хоть через месяц.

— Ладно,— сказал я,— только сегодня я не могу. Лучше завтра. Днем раньше, днем позже — разница не велика.

— А почему не сегодня? Чем плохо сегодня?

— У моей машины мотор барахлит,— сказал я,— а знакомый парнишка, он в гараже работает, обещал сегодня исправить, в другой день он не может.

Клодин отпрянула.

— У твоей машины? Откуда у тебя машина?

Я сказал, что купил на свои сбережения.

— Сбережения? — выкрикнула Клодин.— Это что ж, пока мы с тобой гуляли, у тебя в банке лежала такая куча денег, и ты мне ни словечка не сказал?

— Так и есть.

— Да как же теперь тебе верить? — опять взорвалась она.

— Ну-ну, потише. Надо просто верить — и все. Я думал, ты обрадуешься, что у меня машина, ан нет. Уставилась на меня, будто я преступник. Что тебе хорошего ни скажи, ты все вывернешь наизнанку. А скажу что-нибудь плохое, пожалуй, обрадуешься. Так вот, слушай. Помнишь, я тебе говорил, мой отец погиб на войне, вот, мол, почему у меня нет отца? — Я и хотел замолчать, да уже не мог, а может, по-настоящему и не хотел, сам не знаю. Клодин глядела на меня во все глаза, ждала — чем я сейчас ее огорошу.— Ну, так вот: не было у меня никакого отца, ничего я про него не знаю. Мать не была замужем, родила меня в войну от какого-то своего ухажера... Как говорится, я внебрачный, а попросту сказать, ублюдок, никудышник, самый доподлинный, чистой воды ублюдок, так что если еще когда обзовешь меня ублюдком, по крайней мере хоть раз в жизни скажешь правду. Потому что не верю я, будто ты еще ни разу не

спала с Элфи. Одного не пойму: чего ради ты ко мне притопала, нагрузил-то тебя Элфи!

— Не к кому мне больше пойти, вот и пришла! — со слезами закричала Клодин.

— Ничего не пойму, гуляешь ты с Элфи или нет?

— Гуляю.

— А с пузом — так ко мне? Ладно, если хочешь избавиться от младенца, дам тебе тридцать монет.— В конторе один парень так же расщедрился для своей девчонки, и, предлагая Клодин деньги, я прямо раздулся от гордости.

О мою голову разбилась бутылка — увесистая прямоугольная бутылка из-под соуса, первое, что попалось Клодин под руку. Не долго думая, я дал ей по морде. Она заорала, и я подумал: если мы продолжим в том же духе, скоро соседи прибегут нас разнимать.

— Я пришла, потому что ребенок твой,— сказала Клодин.

По носу у меня стекала тоненькая струйка крови, я нагнулся, вытер ее краем скатерти.

— Ну, раз так, завтра вечером, в полседьмого я буду у тебя.

— Сегодня,— потребовала она.

— Завтра. Мне надо починить машину. Другого случая у меня не будет. Завтра чуть свет он уезжает к тетке в Мейблторн. Так что завтра. Обещаю тебе.

— Если не придешь, приведу сюда мать с отцом.

— До этого не дойдет,— сказал я, улыбнулся и состроил такое честное лицо, честней некуда.— Я тебя люблю. Правда-правда. Никого кроме тебя, не любил. Я уже вижу, как славно мы с тобой заживем, когда поженимся.

Она села ко мне на колени, и моя страсть снова разгорелась.

— Пошли наверх,— сказал я.

Долго уговаривать ее не пришлось. Мы пролежали в постели до четырех часов, и она ушла в полной уверенности, что все наладилось. А я опять улегся на восхитительно смятые простыни и продремал до той самой минуты, когда пора было ехать к мисс Болсовер.

— Сколько это может продлиться? — спросила Гвен.

— Годы,— ответил я.— А что?

— Я всегда задаю себе этот вопрос, а это плохой знак.

— Если я кого полюбил, так уж на всю жизнь... если только меня не бросают в беде. Тогда уж не моя вина. А тебе меня про это спрашивать не надо.

Мы лежали на ковре перед электрическим камином.

— Нет, я всегда спрашиваю,— сказала она,— и если все оборачивается плохо, мне некого винить, кроме самой себя. Но я все равно спрашиваю. Ничего не могу с собой поделать.

— Ну, раз тебе так нравится,— сказал я,— а я тебя люблю, и все тут.

— Ох, Майкл... ты такой сильный и простой. Такой прямодушный. Это в тебе всего милей. Ты мне понятен, а ни о ком другом я не могла этого сказать.

Пожалуй, это было не очень-то лестно, хотя в одном она не ошиблась. Я уже давно понял: не будь во мне этой простоты, я бы шагу ступить не мог, а потому изо всех сил старался ее сохранить. Так что похвала мисс Болсовер мне польстила, но обрадовался я не самим этим словам, а лишь тому, что она хоть какие-то слова сказала.

Она на скорую руку приготовила мясо, жареный картофель, салат, мы сели за столик в гостиной, она — в широченном купальном халате, а я в домашней куртке Эндрю, ее брата. Я заправлялся, а сам все поглаживал ее руку и оттого чувствовал себя настоящим мужем

и чуть ли не хозяином в доме — отродясь ничего подобного не испытывал! После ужина я закурил и уговорил Гвен тоже раза два курнуть. Потом мы легли — не в полночь, как положено взрослым, а в восемь вечера: нас разбирала расчудесная страсть, и мы спешили вновь добраться до самой сути.

Когда я встал с постели и начал одеваться, Гвен удивилась.

— Я тебя люблю,— сказал я,— но мне пора. Завтра с утра пораньше надо встретиться с одним клиентом. Вчера я опоздал, причина, конечно, была самая замечательная, но завтра надо быть вовремя, не то мне не поздоровится.

Она обняла меня, вернее сказать, обхватила всего — я был уже в брюках, в рубашке, а она прижалась ко мне нагишом, подставила полные губы для поцелуя, и я крепко ее поцеловал, а сердце у меня прямо разрывалось.

— Завтра вечером? — спросила она.

— Да,— ответил я.— Приду. Это уж как пить дать. Я ведь теперь твой навек.

— Навек мне не нужно,— сказала она.— Ты мне нужен теперь. А навек — в этом ни для кого радости нет.

— Не беспокойся,— сказал я,— мы еще попадем вместе в один капкан. Эта ловушка для всех одна, ее никому не миновать, и нам с тобой тоже.

Садясь в машину, я, кажется, слышал, как стонет ее сердце, и сам чуть не разревелся, но пока ехал домой этой безлунной ночью, понемногу приободрился. В кромешной тьме я высветил себе путь, успокоил сигарой свои взбаламученные мысли и, когда остановил машину у обочины перед домом, уже ясно понимал, что делать дальше. Надо спешить, тогда не из-за чего будет каяться — ведь если действуешь второпях, ругать себя не за что, а такое настроение мне милей всего. Последние недели я жил будто калиф Багдадский, а теперь пора с этим покончить, все переменить и пойти своей дорогой. Может, у меня все-таки есть совесть, потому время от времени и приходит охота очиститься от грехов и подняться в собственных глазах, чтобы после снова грешить в свое удовольствие.

У себя в комнате я зажег ночник и поглядел на золотые часы — они показывали час. Я вытащил из шкафа чемодан, открыл его и поставил на кровать, от которой еще пахло духами Клодин. И на миг уткнулся лицом в подушку. Но время не ждало. Я надел чистую рубашку, свой лучшим костюм, аккуратно уложил всю остальную одежду. Огляделся — больше ничего нет, только полка книг над умывальником, но их придется оставить. Странно, как мало у меня пожитков, хотя в такую минуту это только приятно. В конце концов, ведь есть машина и золотые часы, да к тому же сотня фунтов. Чего еще желать? Есть еще маленький транзистор, и мне живо представилось: вот я еду по бетонке, а он лежит рядом на сиденье и выгрохатывает какую-нибудь знатную симфонию. Он хоть и маленький, а голосистый. Когда я купил его и показал матери, ей очень понравился звук.

Я старался не шуметь, боялся ее разбудить, но дверь вдруг открылась — и вот она, мама, тут как тут.

— Уезжаешь, да?

— Да,— ответил я, укладывая пижамы, чистую и грязную.

— Куда?

— На все четыре стороны.

— Ну и ну, сразу видно — действуешь подумавши.

— Я напишу тебе, где осяду,— сказал я, горло у меня перехватило, внутри все сжалось.

— Что ж, и на том спасибо.

Я хотел было отдать ей половину своих денег, но не отдал, пощадил ее достоинство — все равно не возьмет, а отказываться ведь неловко. Мне-то эти деньги, конечно, нужней, а матери ее заработка вполне хватает.

— Об одном прошу,— сказала она,— береги себя. Больше мне от тебя ничего не надо.

Я попытался улыбнуться, но только и сумел что соврать:

— Я ведь не навсегда уезжаю.

— Не ври,— сказала она.

— Я не вру... просто больше мне сказать нечего.

— Неважно,— сказала она.— Только не нахальничай, и уж если собрался уезжать, так уезжай. А я пойду лягу. Если утром будешь еще здесь, приготовлю завтрак. А уедешь — позавтракаю одна.

Я обнял ее и поцеловал.

— Жди от меня вестей.

— Ну, нечего распускать нюни,— сказала она, высвободилась и пошла в свою комнату.

Я завел будильник на шесть утра и лег не раздеваясь. Казалось, не прошло и минуты, а он уже трезвонил вовсю, я вспомнил, что мне предстоит, вскочил с постели, подхватил чемодан и сошел вниз. Поставил транзистор на стол, написал записку, что пока буду в отъезде, он мне ни к чему. Потом вскипятил чай, подождал около часу, наконец услыхал, что мама встала и одевается, собираясь на работу. Тогда я вышел из дому и тихонько притворил за собой дверь.

Садясь в свою черную лягушку-путешественницу, я заметил, что на улицах пусто. Машина не желала трогаться с места. Ночью был дождь, но сейчас тучи разошлись, и я поднял капот и носовым платком протер контакты. Способностями к механике я не отличался, с моторами никогда дела не имел, а потому в машине ничего не смыслил и стал ругать ее на чем свет стоит: неужто она подведет в такую решающую минуту, это ж курам на смех! И несправедливо, ведь у меня нет никаких планов, а потому ничего тут не нарушишь и не испортишь. Я действую безо всякого плана, а стало быть, озорным, видавшим виды машинам не в чем меня винить. Но, может, раз я такой обманщик, надо к ней подольститься? И я еще покрутил ручку, снова сел за руль, включил зажигание и ощутил сладостное биение жизни: машина задрожала, взревела разок-другой на прощанье, оглушив пустынную улицу и хмурое утро, и медленно двинулась по булыжной мостовой, потом покатила быстрей по Лентонскому бульвару, огибающему центр города, а там и по Линской долине, которая вскоре привела меня к подножию замка.

Было еще темно, и путь освещали только мои фары да светофоры. Машина не обогревалась, поэтому я завернулся в пальто, обмотал шею шарфом и утк̄нул в него подбородок. В последние несколько дней я совсем выдохся, зато голова была на редкость ясная. Это я помню прекрасно, ощущение знакомое. Но наперед я ничего не загадывал, и куда еду, тоже сам себе не признавался. В душе знал, но не признавался. И не то чтобы нарочно старался про это не думать. Просто пребывал в таком вот равновесии — знал, а сам себе признаваться не хотел. А сохранять это равновесие удавалось наверно потому, что надо было вести машину, на это у меня уходило немало внимания и сил.

Я медленно проехал по Трентскому мосту и мельком увидел небо слева, на востоке. По нему разливалась заря — красная, огненная, величественная, и я прибавил газу и на первом же перекрестке свернул налево с тем, чтобы в Грентеме выехать на Большой северный тракт.

(Продолжение следует)

Литературное наследие

Два поэта, или к вопросу о предтечах

(К 450-летию со дня смерти Ульриха фон Гуттена)

Перевод и вступление С. АПТА

Об Ульрихе фон Гуттене, немецком гуманисте, борце за духовную свободу в эпоху Реформации, слышал чуть ли не каждый грамотный человек. Имя Гуттена вошло в школьные учебники истории. Оно известно у нас почти так же широко, как имя Эразма Роттердамского, да и сочинения Гуттена на русском языке выходили. Ульрих фон Гуттен — известнейшая фигура немецкой Реформации, прогрессивного, при всей сложности и противоречивости, движения против владычества римской церкви. О Гуттене человечество помнит еще и как о выдающемся представителе европейского гуманизма, нового, свободного от средневековой догматической узости мировоззрения, сыгравшего огромную роль в борьбе с феодальной идеологией и подготовившего Реформацию духовно. В этом смысле писатель Гуттен принадлежит к плеяде таких замечательных художников, как Эразм, Дюрер, Бэкон, Монтень.

О Конраде Цельтисе мало кто помнит. Прочесть о нем можно если не в диссертациях, то в очень специальных курсах литературы и в самых подробных энциклопедических словарях. В них его всегда называют «архигуманистом», то есть первым гуманистом, основоположником гуманизма в Германии. И все же пыль веков лежит на его книгах более толстым слоем, чем на книгах Гуттена, хотя временные отрезки обеих жизней отчасти совпадают: Цельтис был старше Гуттена на двадцать девять лет.

Стряхнуть и стереть эту пыль, представить и Цельтиса сегодняшнему читателю хочется именно тогда, когда сопоставляешь Цельтиса с Гуттеном, когда задумываешься, почему так неодинакова их посмертная слава, когда видишь, что ее неравное распределение закономерно. Не зная заслуг Цельтиса, нельзя оценить заслуги Гуттена.

А сопоставлять побуждают факты. Оба писателя посвятили себя одной и той же идее — идее освобождения Германии от гнета римской церкви. Оба исколесили, изъездили верхом, исходили пешком все немецкие земли и всю восточную часть Центральной Европы, скитаясь от покровителя к покровителю, от одного очага учености и культуры к другому. Оба побывали в Италии, в частности в Риме. Обоих императоры Габсбурги удостоили звания poeta laureatus, котировавшегося у гуманистов очень высоко: первым поэтом-лауреатом был Петрарка. Цельтис был первым лауреатом-немцем. На него лавровый венок надел в 1487 г. в Нюрнберге Фридрих III, на Гуттена — тридцать лет спустя в Аугсбурге — Максимилиан I. Оба были современниками первых последствий величайшего открытия — книгопечатания, оба жили с острым чувством, что человеческий дух вырвался наконец из мрака невежества, что их страна и их язык еще потягаются на поприще образования и изящной словесности с Италией и латынью. «Всё теперь увидит свет,— писал Цельтис,— что сочинили греки и латиняне, что возникло на Ниле и на Евфрате. Небо открыто, земля исследована, и что делается в четырех странах света, становится известно благодаря немецкому искусству, которое научило писать печатными буквами». Это же чувство открывшегося простора выразил Гуттен — словами, впрочем, еще более свежими и взволнованными: «О, век! О, знания! Сладостно жить! Но сидеть сложа руки — это еще не радость... Науки расцветают, и умы шевелятся, удавись, варварство, и приготовься к изгнанию».

«Архигуманист» Цельтис тоже не сидел «сложа руки». Призывая Аполлона и муз на «дикий Север» (стихотворение «К Аполлону» — это его программа), он сам развил кипучую деятельность. Почти в каждом городе, куда его заносила судьба, он создавал учено-литературное товарищество (sodalitas): в Кракове — sodalitas Vistulana (Висленское), в Вене — Danubiana (Дунайское), в Гейдельберге и Майнце — Rhenana (Рейнское). Он писал, подражая Овидию и Горацию, латинские стихи и трудился, взяв за образец Тацита, над большим историко-географическим сочинением «Germania illustrata». Всячески ратуя за культурный прогресс на своей родине, он не писал по-немецки. Языком культуры для него оставалась латынь. Сын простого виноградаря по фамилии Пикель, он переименовал себя в Цельтиса, воспользовавшись латинской калькой немецкого слова «Pickel» — мотыга. Он умер в мире с самим собой, довольный богатой трудами и любовными похождениями жизнью, в сознании своих заслуг перед соотечественниками. За год до смерти он заказал мемориальную гравюру, оттиски с которой разослал друзьям. На ней, под извещением, что Цельтис умер, он изображен в мантии с меховой отделкой, в берете и лавровом венке. Руки его покоятся на фолиантах с четко написанными заглавиями его сочинений. Ниже — цитата из «Апокалипсиса»: «И дела их идут вслед за ними». Слева — скорбящий Аполлон, справа — Меркурий. В 1508 году Цельтиса похоронили с почетом — у восточной стены собора св. Стефана в Вене.

Недолгая по нашему счету жизнь — сорок девять лет, но Гуттен прожил и того меньше — тридцать пять. Дело было, видимо, не только в слабом здоровье этого потомка бедных рыцарей, постоянно, как было сказано, скитавшегося и в момент крайней материальной нужды поступившего на военную службу к императору Максимилиану, чья борьба против Венеции, Франции и Рима вдохновляла его, Гуттена, на сочинение патриотических, антипапистских стихов. Времена изменились. Цельтис лишь глухо сетовал в частном письме на иерархическую пышность папского двора, а его младший современник, художник Лукас Кранах, выставил напоказ и размножил две гравюры: на одной — Христос, омывающий ноги ученику, на другой — папа римский, протягивающий ногу для поцелуя. Младшим современником Кранаха был Лютер, младшим современником Лютера — Ульрих фон Гуттен. Век Реформации уже стоял на дворе. Но дело тут, видимо, не только в смене эпох: ведь в любую эпоху есть люди, которым удается дожить до глубокой старости. Дело и в одержимости Гуттена, в его темпераменте. И вот тут-то кончается сходство с Цельтисом, и преемничество переходит в свою противоположность.

Применительно к Гуттену выражение «не почивать на лаврах» обретает почти буквальный смысл. Именно в тот год, когда его увенчали лавровым венком, он переменил латинский эпиграф, который предпосылал всем своим сочинениям, тоже пока еще латинским. Раньше девиз Гуттена был: «Искренне без пышности», теперь он поставил на титульном листе своего сборника диалогов слова, которые сказал Цезарь, перейдя Рубикон: «Жребий брошен». А еще через три года, в стихотворном «Призыве к немцам», Гуттен провозгласил своего рода манифест: «До сих пор я писал по-латыни, а латынь знают не все. Теперь я кричу отечеству немецкой нации на ее языке, чтобы отомстить за эти дела». Кому отомстить и за что? Римскому духовенству за произвол, который оно чинило в Германии. Не простолюдин, а потомок рыцарей, образованнейший человек, писатель, прекрасно понимающий, как еще беден и невозделан родной язык по сравнению с блестящей, отточенной веками латынью, отказывается от нее и потому, что ее «знают не все», и потому, что на ней пишут и говорят те, против кого он борется. Это великий акт.

Но и это еще не главное, что провело между «архигуманистом» и Гуттеном ту грань, которая отделяет забвение, ставшее уделом первого, от вот уже 450-летней посмертной славы второго (Гуттен умер в августе 1523 года). Когда мысль становится страстью, делом жизни, претворяется в действие, когда человек до последнего вздоха приносит себя в жертву идее, которой он одержим, он не рассылает заблаговременных, да еще мемориальных-извещений о своей смерти, ему не до них, ему некогда. Мечта Цельтиса о духовной свободе соотечественников, об их просвещении была сама слишком духовна, слишком бесплотна, чтобы сделать собственную жизнь ставкой в борьбе за осуществление этой мечты. Цельтис призывал «naturae cernere vultum» — «различить лик природы», «заглянуть природе в лицо». Этот его призыв приводит на память другого «предтечу», более позднего и несравненно более самобытного — Жан-Жака Руссо. Для Цельтиса сознание законченности, закругленности его жизни естественно и закономерно. Жизнь Гуттена — как стрела, которая летит прямо в цель, но не долетает до цели.

Что означало в его устах цезаревское изречение «Жребий брошен», которое он потом вольно перевел на немецкий словами «Ich hab's gewagt» («Я рискнул», «Я дерзнул», «Я знаю, на что пошел») — крылатыми словами, вошедшими в историю как лозунг Гуттена? Они означали переход к борьбе ва-банк, не на жизнь, а на смерть. Опыт небезуспешной литературно-публицистической борьбы у него к тому времени уже был. Олицетворение произвола князей, покрываемых римской церковью, Гуттен увидел в герцоге Ульрихе Вюртембергском, подавившем в 1514 году крестьянское восстание «Бедный Конрад». Ненависть Гуттена ожесточалась и личным мотивом: дво-

юродный брат поэта был коварно убит герцогом, оказавшись его соперником в каких-то любовных делах. Гуттен не уставал нападать на герцога в стихах, речах и письмах, и в конце концов Габсбурги вынуждены были подвергнуть опале Ульриха Вюртембергского. Но Гуттен не удовольствовался такой победой и принял участие в военном походе против герцога. Во время этого похода он познакомился с рыцарем и военачальником Францем фон Зикингеном, который три года спустя, когда проклятый церковью и императором Лютер переводил в Вартбурге Библию, поднимает рыцарство на вооруженную борьбу против архиепископа Трира, того самого Трира-на-Мозеле, где Цельтис, при виде римских развалин, размышлял о бренности бытия. Гуттен поддерживает Зикингена, и тогда император объявляет вне закона поэта, которого предыдущий император увенчал лаврами. Зикинген погибает в бою, а Гуттен бежит в Швейцарию. Не сломленный, не смирившийся, надеющийся, что «не зажиется на чужбине», но нищий и уже смертельно больной, он ищет помощи и пристанища в Базеле, но их не находит. Все двери перед ним закрываются, и даже Эразм, некоронованный король гуманистов, не принимает его. Только швейцарский реформатор Цвингли отворяет ему свой дом на крошечном островке в Цюрихском озере. На этом кончается физическое существование Ульриха фон Гуттена и начинается его жизнь в памяти потомства.

КОНРАД ЦЕЛЬТИС

С латинского

К Аполлону, творцу искусства поэзии, чтобы он пришел с лирой от италийцев к германцам

Ты, о Феб, творец звонкострунной лиры,
Пинд и Геликон возлюбивший древле,
К нам теперь явись, не отвергни нашей
Песни призывной!

Пусть придут с тобой баловницы музы,
Пусть поют, резвясь, под студеным небом.
Край наш посети, где неведом сладкий
Голос кифары!

Варвар, чьи отцы, космачи мужланы,
Прожили свой век, о латинском лоске
Слыхом не слыхав, наделен да будет
Певческим даром,

Словно тот Орфей, что певал пеласгам,
Пеньем за собой увлекая следом
Хищное зверье, дерева с корнями,
Ланей проворных...

Ты, веселый гость, пожелал пустыню
Моря пересечь и, придя от греков,
Музам дал приют, утвердил науки
В землях латинян.

Так же, Феб, и к нам, как во время оно
В Лаций ты пришел, препожалуй ныне.
Грубый пусть язык, темнота людская
Сгинут бесследно!

О древности-гражданам Трира

Какая слава громкая цезарей
В камнях умолкла города вашего,
О Трира жители, которых
Мозель поит ледяной водою!

Как будто снова Рима развалины
Воочью вижу, глядя на эти вот
Колонны, портики, ворота
Или бродя пустырем убогим,

Где только остов царской хоромины
Теперь маячит кровлей, поросшею
Чертополохом, или купол
Ветки кустов к облакам вздымает.

Как хлам ненужный, глыбами мрамора
Лежат, о жалость, прямо на улицах
Кумиры, чье величье только
В литерах гордых застыло ныне.

Порой увидишь где-нибудь в садике
Плиту надгробья с надписью греческой
Иль вдруг найдешь, гуляя в поле,
Холм безымянный, обломки урны.

Чего не смелет мельница времени?
Столпов Геракла медных как не было,
И мы со скарбом нашим тоже
В прах превратимся под небом вечным.

УЛЬРИХ ФОН ГУТТЕН

С немецкого

Сегодня правда спасена,
Сегодня ложь посрамлена.
Спасибо господу скажи
И слух свой не склоняй ко лжи.
Да, правда попрана была,
Но верх, гляди, опять взяла.
Хвали же тех, кто столько сил
На это дело положил,
Хотя служение добру
Иным совсем не по нутру.
Попы-прохвосты — за обман.
Так вот, я честных христиан
Прошу попов не слушать впредь
И делу общему радеть.
Не бог ведь папа, если он,
Как все, скончаться обречен.
Ах, немцы, вот вам мой совет:
Назад — ни шагу! Поздно. Нет
Для вас обратного пути.
За то, что вас вперед идти
Я призывал, наград не жду,
И пусть я попаду в беду,
Лишившись помощи,— клянусь,
От правды я не отступлюсь!
Пусть предо мною лебезят,
Пусть мне анафемой грозят,
Пусть меч заносят надо мной —
На свете силы нет такой,
Чтобы сломать могла меня,
Хоть плачет мать моя, кляня
Тот день, когда решил начать
Я это дело. Полно, мать,
Оно пойдет! А если бог
Судил ему короткий срок —
Что ж, тут обратных нет дорог.

Новая песня господина Ульриха фон Гуттена

Я шел на это смело.
Я знал, на что иду.
И пусть я начал дело
Себе же на беду.
Не о себе,
А о судьбе
Страны своей радею,
Хотя твердят,
Что я лишь рад
Попам намылить шею.

Твердите что угодно —
Все вздор и болтовня.
Будь лжец я, всенародно
Хвалили бы меня.
А я не лгал,
Я не молчал,
И вот в изгнанье ныне.
Ну что ж, вернусь,
Не заживусь,
Надеюсь, на чужбине.

Мне милости не надо:
За мною нет вины.
Ни жалость, ни пощада
Мне, право, не нужны.
Нет, пусть дадут
На честный суд
Мне выйти для ответа.
Припрет нужда —
Они тогда
Решатся и на это.

Такое уж бывало,
Что все менялось вдруг,
И кто брал верх сначала,
Проигрывал на круг.
Пожар, глядишь,
От искры лишь
Иной раз и займется.
Паду ль в бою
Иль устою —
Но я решил бороться.

Сознанье мне поможет,
Что честен был мой путь,
Что враг меня не может
В корысти упрекнуть,
Что и врагу
Сказать могу:
Я вел себя достойно.
Я не юлил
И не хитрил,
Душа моя спокойна.

Но если правды слово
Для немцев звук пустой
И нация готова
Вредить себе самой —
Как ей помочь?
Тут выйти прочь
Мне из игры пристало.
Что ж, удалюсь,
Конца дождусь,
Коль заварил начало.

А что задать мне перца
Грозит церковный сброд —
Плевать! Спокойно сердце,
Хула врага не в счет.
Итак, за мной
Бросайтесь в бой,
Ландскнехт и рыцарь, вместе —
Чтоб Гуттен жил
И победил,
К своей и к вашей чести.

Критика

ПЕНЧО ДАНЧЕВ

В СВОИХ ПРЕОБРАЖЕНИЯХ ЕДИНЫЙ

Павел Матев, один из самых ярких и своеобразных современных болгарских поэтов, появился в нашей литературе более двух десятилетий назад и среди многочисленного тогдашнего первого послереволюционного поколения был из незаметных. И самый проницательный критик не мог тогда заподозрить, что автор скучных строф из сборников «В строю» и «Ясные дни» когда-нибудь напишет «Чайки отдыхают на волнах» и особенно «Неоскорбленные миры» — книги, которые озадачат читателей и поставят критиков перед трудными вопросами.

Единственное, за что мы — в те годы страшно строгие и весьма зеленые критики — его хвалили, была тематическая прямолинейность, во имя которой поэту великодушно прощалась художественная серость. А в тематическом отношении он, по тогдашним нашим требованиям, был безупречен, и поэтому мы часто ставили его в пример.

Сегодня первые две-три книги Павла Матева читать, вероятно, трудно и самому — взыскательному ныне — автору. Впрочем, они не исключение. Первая половина 50-х годов — отнюдь не время взлета нашей лирики. Бурный лирический расцвет пришел несколько позже — во второй половине этого же десятилетия, когда общий подъем в стране раскрепостил таланты и социальный долг художника стал пониматься и как его сокровенный, интимный, сердечный долг, то есть когда лирика завоевала свои освященные вековыми традициями права.

«Расцвет» Павла Матева очевидным стал лишь в седьмой книге поэта — «Родословная», опубликованной в 1963 году. Это для него этапная, заветная книга, книга-итог, где торжествует лирическое начало, где сильно ощущается присутствие поэта-коммуниста, поэта-гражданина, который не занимается декларированием веры, долга, любви, а мучительно выжимает их, подобно каплям крови, из собственного сердца. От этой книги начинаются и лихорадочные, неспокойные, настойчивые, нередко смущающие искания поэта в области стиля. Недостаточно говорить об эволюции творческого пути Павла Матева. Речь должна идти об очень смелых преображениях, в то время как — я согласен с тем, что критика уже отмечала,— в основе своего творчества он остался верен мужественно-гражданской природе своей лирики.

■

Из сказанного не нужно делать выводы, что период до «Родословной» есть некий предпоэтический, предхудожнический период.

Первая книга Павла Матева «В строю» (1951) действительно очень обыкновенна. Но в ней есть и стихотворение «Воспоминание», которое произвело сильное впечатление тогда и которое с волнением читается сегодня. Не случайно поэт включает его во все свои более поздние сборники антологического характера. «Воспоминанием» Павел Матев показал, на что он способен или, точнее, на что он будет способен, что он может создавать сдержанную героико-романтическую атмосферу, обладает редкой способностью лирического синтеза, умением достигать плотного, «прессованного» лирического выражения. Финал стихотворения («Да! Умираем мы такою смертью, с которою всегда родится песня!») — из тех финалов, что останавливают дыхание, заставляют тебя, взволнованного, вернуться к прочитанным строкам и увидеть их по-новому — обогащенными, просветленными, исполненными глубокого смысла.

Вторая книга «Ясные дни» — увы! — не обрадовала читателей ничем новым. «Воспоминание» угрожало остаться прекрасным воспоминанием, некой счастливой находкой автора, который продолжал публиковать немало стихотворений, написанных прилично, но в общем скучных, вялых, тривиальных, таких, какие пишут десятки других юношей.

Было время, когда даже и большие наши поэты, за спиной которых было яркое творчество, добровольно унифицировали свои музы и примирялись с неким шаблоном, претендовавшим быть стилем эпохи.

В третьей книге, «Долг» (1955), снова затрепетало живое лирическое чувство. О нем свидетельствуют два стихотворения — «Письмо к маме» и «У папы».

В «Письме к маме» Павел Матев показал, что он может быть глубокодраматичным, глубокотрагичным поэтом. Болгарское, болгарское это стихотворение, огромное обобщение оно несет, бесчисленные болгарские судьбы оно в себя вобрало. Оно из тех стихотворений, в которых мы готовы простить любые формальные несовершенства ради потрясающего заряда их драматического содержания.

«У папы» (то есть у гроба отца) — стихотворение того же типа, однако без притягательной силы и масштабности первого. Оно, вместе с еще несколькими стихотворениями, довершает создание определенной атмосферы, воцарившейся в творчестве Павла Матева,— атмосферы строгой и высокой морали драматичного пафоса, питаемого из источника жизненной достоверности.

■

Я ценю новый этап, пришедший вместе с последними книгами Павла Матева — «Чайки отдыхают на волнах» и «Неоскорбленные миры», ценю дерзкие и во многих случаях успешные попытки найти новые средства для выражения сложного мира переживаний поэта. Но — глубоко в этом уверен — без психологического перелома, пришедшего с «Родословной», без высокого нравственного пафоса этой книги не существовало бы базы для сегодняшних эмоционально-тематических и формально-стилевых исканий и открытий.

Разумеется, «Родословная» не является каким-то прыжком из какой-то неизвестности. Книге предшествовало все предыдущее развитие поэта и особенно сборник «Время. Родина. Любовь», опубликованный непосредственно перед «Родословной». В нем мы улавливаем реальные черты более целостного художнического облика, чувствуем сущность его натуры, его подлинный темперамент, подлинный пафос лирика, задавленные в его предыдущих книгах шаблонизированной позой отрекшегося от любви, от личных радостей, от своего индивидуального существования бойца, сурового воина, уставшего, но твердокаменного ветерана.

В сборнике «Время. Родина. Любовь» мы прочли стихотворения, отмеченные присущей таланту поэта мужественной сдержанностью, даже «суровостью» и «строгостью», но уже органичные для живого, сложного, способного на перевоплощение, богатого нюансами лирического характера.

Прежде всего отчетливо выступила самая существенная особенность таланта Павла Матева: видеть и воссоздавать мир в его драматичной сложности, и мы почувствовали, как естественно входит в его поэзию проблема психологического конфликта.

Даже некоторые, открыто политические, гражданские стихотворения в этом сборнике, хотя они и оставались мужественно-суровыми, мажорными, прозвучали по-человечески тепло, к тому же в них, в их музыке, можно неожиданно для себя уловить трагичную окраску. Вот, например, стихотворение «Несовершенны и несчастны...»:

Несовершенны и несчастны,
мы в жизнь земли вовлечены.
И потому не безучастны
и подло не согнем спины [1].

«Несовершенны и несчастны» — таких определений нет во всей предшествующей лирике Павла Матева. Он бы не мог допустить их как характеристику новых людей, хозяев нового мира. В эти годы, кажется, созревало не только идейное, но, если можно так выразиться, и жизненно-художественное мировоззрение Павла Матева. Герои — те, кто устремлен к подвигам и никогда не будет подло сгибать спину, революционеры, которые бесстрашно встречают смерть,— оказываются не только героями и революционерами, но и просто людьми, и, как все люди, они несовершенны. Даже несчастны. Несчастны в историческом смысле слова, потому что жестоко обездолены историей, потому что пришли истерзанными и окровавленными из мира векового угнетения. Да и личная их судьба может быть наполнена самыми неожиданными перипетиями и превратностями.

Впервые в этой, своей шестой по счету, книге Павел Матев решился написать цикл стихотворений о любви. До того он, стиснув зубы и предав себя некоему фанатичному революционному аскетизму, не допускал, чтобы эта насущная для него, как оказывается позднее, жажда говорить о любви делала пробоины в крепостных стенах его гражданского долга.

Правда, в сборнике «Время. Родина. Любовь» любви как сильного, захватившего сознание чувства фактически еще нет. Это смутные воспоминания о прошлых днях, возвращение к трепету первой любви, обычные посвящения — «Моей жене». И одно-два стихотворения, подобные таким, как «На вокзале» и «До вчера ли я ждал тебя?..», которые и являются непосредственными, хотя и далекими, провозвестниками печального, взволнованного моря любви в «Неоскорбленных мирах». Пусть различны темы, мотивы, но взгляд, видение, чувство поэта —

[1] Здесь и далее все стихи, кроме оговоренных специально, даны в переводе А. Опульского.

ПЕНЧО ДАНЧЕВ
В СВОИХ ПРЕОБРАЖЕНИЯХ ЕДИНЫЙ

одни и те же. Родство здесь глубоко внутреннее. Все тот же властный, тревожный, драматично-неспокойный порыв внедряется в глубокие пласты явлений и сердец, где нас встретят и горькие неожиданности, все то же задыхающееся мучительное искание истины до конца, какое-то лихорадочное, трагичное, все тот же поиск заветного царства «неоскорбленных миров», который проходит через оскорбления и горечь. В наиболее сильных наиболее органичных стихотворениях — один и тот же облик лирического героя: мужественного и печального, сурового и нежного, вечно взволнованного человека, на глазах которого редко, трудно, украдкой появляется слеза.

■

Лирика чаще всего — исповедь. Кто не способен на беспощадную исповедь, тот не способен на большую поэзию. Не может быть большим поэтом тот, кто по малодушию или из суетности не способен отдать на страшный суд свою совесть, когда чувствует себя в плену «приемлемой тонкой лжи», когда позволяет — вольно или невольно — быть обманутым мнимым величием или ослепленным фальшивым блеском сомнительных нравственных ценностей. Для сильного и талантливого поэта непременно придет день строгого и беспощадного суда во имя большого гражданского, нравственного и художнического долга, во имя истинного искусства. Чтобы снова завоевать нравственное право создавать поэзию, являющуюся священнодействием перед народом, он не может не прошептать так, чтобы слышали все:

Да!
Я с ложью
мирился порою...
. . . . . .
Я под шум
новостроек и славы
не заметил тех,
что величавы,
и в исканьях
своих беспокойных
уважал я людей
недостойных.
Не однажды
я падал, словно
отравлен,
и жил в пустоте,
в ораторском празднословии
в административной суете.
А вокруг меня,
как микробы,
копошились
пустые юнцы
и ужасно
надменные снобы
ухмылялись мне
как наглецы...

(Перевод М. Зенкевича)

Стихотворение называется «Суд». Своим пафосом оно напоминает очистительные самобичевания, которым Ханчев подвергал себя за то что он позволял себе принимать фальшивые «станиолевые солнца» за «подлинные солнца горизонта»; или трагически-страстные разговоры Николы Фурнаджиева с родиной («Я до дна продолбил смысл своих злоключений, чтобы знать, где ошибся, а где я был прав»); или бурные, отчаянные сожаления Пеньо Пенева о «несбережженных днях», о «пулях, не попавших в цель» и «прошедших где-то рядом».

Книга «Родословная» является демонстрацией самой важной особенности лирической сущности Павла Матева — его мужественного и в то же время трагически окрашенного драматизма, трудной внутренней потребности высказать сложные, противоречивые, иногда тяжелые истины о собственных переживаниях и обо всем, что его окружает. Непреодолимая жажда познания обратной, неосвещенной стороны людей и всего окружающего поэта иной раз приводит его в глубокое отчаяние. «Безнадежные мысли волнуют меня»,— поверяет он сам в стихотворении «Зима». Но только легкомысленный человек может сделать из подобных искренних признаний обобщающие выводы об отношении поэта к миру. В мужественной поэзии Павла Матеева (бесспорно, невеселой поэзии) это — лишь драматичные психологические коллизии на творческом пути, беззаветно отданном коммунистическому долгу.

Однако эта большая правда о поэзии Павла Матева не должна стать исходным пунктом для упрощения ее сложного содержания, элементов драматического и трагического в ней. Таков поэт, и таким мы должны его принимать — больше двух десятилетий пишет он свои стихотворения, а в них нет ни одной лучезарной улыбки, ни одной моцартовской мелодии. Таковы и его боевые песни, и его воспоминания о детстве, и его любовные исповеди. Устремленный к идеалу к сиянию будущего торжества этого идеала, Павел Матев, верный своей натуре, не может не напомнить о страданиях и нечеловеческих трудностях, даже о пороках, изменах и подлостях.

В «Родословной» есть одно из самых сильных у него революционных стихотворений — «Призыв». Уже с первых строк мы введены в типичный для этого поэта трагико-героический пафос. В ушах звучит откровенное, солдатское, хмурое, хриплое слово:

Не с молитвой пришли мы сюда,
а на марше.
Революция разливает свои потоки.
И в этот мир,
что по праву зовем мы нашим,
мы приносим
разные судьбы и пороки.

Поэт не желает создавать никаких красивых иллюзий о трудностях, в которых будет строиться этот наш мир. Строители этого мира — люди «с разными судьбами и пороками».

Непреклонный, всепобеждающий оптимизм — как он труден в поэзии Павла Матева! И в этом — красота зрелой, сложной, умной революционной лирики поэта. У нас нет сегодня другого поэта, который, так пламенно воспевая подвиг, не пропустил бы случая напомнить нам об измене, прославляя «страшную верность», не забыл бы о сопровождающих ее лжи и подлости, беззаветно веря в добро, не закрыл бы глаза на злобу и ненависть. У Павла Матева

такое отношение к миру является столько же свойством таланта, сколько и завоеванной, выстраданной способностью видеть и отражать жизнь в ее сложностях.

■

В 1965 году Павел Матев издал свою книгу «Чайки отдыхают на волнах». В общих чертах и по своей тематике, и по своему пафосу она продолжает постоянную, основную линию творчества поэта — идейно-гражданскую. Содержит она и несколько любовных стихотворений, которые после «Родословной» также нельзя назвать новостью. И все-таки по прочтении этого сборника у нас остается впечатление, что отсюда начинается нечто новое. Сборник является некой экспериментальной базой новых поисков, в нем очевидны явные, намеренные усилия выйти на другой уровень поэтического мастерства, чувствуется критическое отношение поэта к пройденному пути, к способам создания поэзии. Конечные результаты мы увидим позже — в «Неоскорбленных мирах». Здесь же по большей части отражены усилия, тенденции, намерения, реализованные все еще неполно, частично.

Что характерно для гражданского пафоса Павла Матева? Мне кажется, что прежде всего драматизм, выраженный преимущественно в исповедальном монологе. Мужественный — да. Суровый — да. Глубоко партийный — да. Романтично-героический — да. Но взгляните на наиболее характерные стихотворения Павла Матева, и вы тотчас же убедитесь, что он — не трибун, не оратор, что он не громок, не распаленно-патетичен. А в то же время это ни в коей мере не камерный, не нежный, не хрупкий талант. Он — внутренне драматичный поэт, идущий к глубинам психологии, склонный к каким-то горячим, клятвенно-сокровенным и даже несколько мрачным признаниям и обращениям. В его поэзии чаще всего звучит очень взволнованный голос, но в то же время это голос, волнением которого уже овладели, из-за чего он звучит несколько глухо и монотонно.

Поэзии Павла Матева чужды (во всяком случае, как основные стилистические черты) гиперболизм, образный максимализм, широкий размах, монументальность при всей внушительности и действенной силе его гражданского пафоса. Когда он говорит о революции, о борьбе, о построении новой жизни, он не любит выделять себя из массы. Он — боец, солдат, рядовой, шагающий под развевающимися знаменами и завещающий после своей смерти похоронить себя в братской могиле.

Художественная речь, интонация, жест в поэзии Павла Матева не ораторско-декламационны и не носят следов простодушия, наивности, непосредственности. Павел Матев — поэт эффектный, в хорошем, положительном смысле этого слова. Он любит произносить свои исповеди красиво, интересно, внушительно. Его внутренняя, но сильно воздействующая эффектность выражена в множестве приковывающих внимание, мастерски вылепленных и полных сентенций начальных строф, в его обобщающих, волнующих, запоминающихся финалах. Отсюда — его пристрастие к ярким, врезающимся в сознание, незабываемым стихам и строфам, которыми он начинает свои стихотворения и целые книги, используя их как эпиграфы. Таково поистине замечательное двустишие из Ольги Берггольц, открывающее книгу «Неоскорбленные миры»: «Что может враг? Разрушить и убить! И только-то. А я могу любить». А взгляните на заглавия его сборников! Они тоже много говорят о тяготении Павла Матева к сгущенной, способной потрясать, и в этом смысле эффектной поэтической фразе.

Этот стиль, очевидно органичный для художнической природы Павла Матева, проявился в удачных стихотворениях его первых книг и позднее в его зрелой поэзии, прежде всего в «Родословной». Этот стиль, усложненный в новых исканиях и находках, характерен и для ряда сильных стихотворений в «Неоскорбленных мирах», которые окончательно утверждают Павла Матева как большого своеобразного поэта.

И именно потому я отношусь сдержанно к некоторым его стихотворениям, составляющим ядро книги «Чайки отдыхают на волнах» («Товарищ капитан...», «Бесследно пропавшим коммунистам...», «Возвращение к началу...» и др.). В них сразу бросаются в глаза черты, противопоказанные утвердившемуся стилю Павла Матева: слишком громкая риторика, фразеология и многословие. Нет присущего нашему поэту глубокого, синтетичного и сложного поэтического мышления с его сильной, но сдержанной патетикой, с его способностью воплощения поэтической идеи в строгой, краткой и завершенной композиции. Не удача для книги и написанное в чисто интеллектуальном плане стихотворение «Творчество», как ни умна интерпретация завещания «великого старика Эйнштейна».

И интимная лирика Павла Матева в этой книге на распутье. Чувствуется, что он ищет те новые формы, которые принесут ему успех в «Неоскорбленных мирах».

В этой книге, бесспорно, есть и прекрасные стихотворения: «Огонь», «Наше время» (посвященное А. Фадееву), «Раздумье о родине», «Поход», из интимных: «Короткая песня», «Чирпан», «В углу, относительно тихом», «Весна в памяти не умирает».

Симпатичным и интересным в «Чайках» является цикл «Монологи», точнее — их вторая и третья части. Это — предупреждение, предвестие наступающего нового этапа в самоощущении поэта и в его творчестве. Что-то горькое и тягостное собралось в его груди. Он задумывается о своем оскорбленном мире, о впечатлениях, толкающих его к тяжелой исповеди. Новое здесь и в условных, символических формах поэтического

ПЕНЧО ДАНЧЕВ
В СВОИХ ПРЕОБРАЖЕНИЯХ ЕДИНЫЙ

выражения, которые берут верх в более поздней его лирике.

Я вновь иду.
Мороз вечерний вновь
скрипит непреднамеренно тревожно
и черный путь, протоптанный давно,
трепещет под асфальтовою кожей.
Нарушена трамваем тишина —
людей он каждой остановкой делит.
И чья-то изменившая жена
домой спешит к поруганной постели
Во мгле столбы замерзшие стоят,
апостолы, лишенные доверья,
в отчаянье от своего безверья
они свои эмоции таят.

(Перевод П. Железнова)

И здесь совершенно спонтанно возникает конфликтная, драматическая природа таланта Павла Матева, горячая, непреодолимая жажда исповеди:

Я не могу молчать.
Коль не скажу
того, что думаю,—
меня убьет молчанье.
Я сам себя жестоко накажу,
коль затаю в душе своей признанье.

(Перевод П. Железнова)

Но эта исповедь будет тяжкой, горькой, и поэт ожидает, что люди могут его не понять, что будут упрекать и истолкуют его очистительную скорбь как измену «красному знамени». Поэтому он торопится успокоить встревоженных и недовольных:

Нет, не забыл я!
Этот стяг родной
шумит и днем и ночью надо мной.

. . . . . .

Всем чувствам песнь моя открыта.
Пусть, если надо,
и потужит!..
Моей поэзии орбита
по небесам марксизма кружит.

(Перевод П. Железнова)

Явно, что внутренняя необходимость исповеди неотменима. Павел Матев не был бы Павлом Матевым, если бы все это делал молчком. Но он предчувствует будущие обвинения, и поэтому так настойчиво, даже декларативно его уверение, что его печальная в этот период песня «все в марксистском небе кружит». Здесь, видимо, поэт имел в виду некоторые наши суровые, пуританские традиции и привычки, которые с трудом позволяют сочетать чувство грусти с «кружением» в «марксистском небе»...

■

Спустя четыре года после сборника «Чайки отдыхают на волнах» Павел Матев издал хорошую и несколько странную книгу «Неоскорбленные миры». Это — сборник интимной лирики. Мало ли наших поэтов пишет интимной, любовной лирики, особенно в последние годы? Но «Неоскорбленные миры» взбудоражили всех. В «голубоватом полумраке» тяжелых, драматичных переживаний и размышлений утонул не кто-то иной, а Павел Матев, кого долгие годы подряд читатели знали как сурового и строгого барда революционной борьбы, кого видели непрестанно марширующим в рядах борцов и строителей под развевающимися красными знаменами, к кому непрестанно возвращаются романтичные колонны комсомольцев, кто долгое время был обречен лишь на гражданские волнения и отречен от личных радостей. Что случилось с нашим поэтом?

«Неоскорбленные миры» могут быть необъяснимой загадкой или каким-то резким качественным поворотом только для тех, кто в своих оценках гражданской поэзии Павла Матева не ушел дальше ее самой общей родовой характеристики, то есть дальше констатации, что это — поэзия гражданская, поэзия революционная, поэзия долга и т. д. Для тех, кто не очень-то внимательно вслушивался в музыку его боевых песен и призывов, в пафос его клятвенных монологов.

Я уже достаточно говорил о драматично-трагической окраске гражданской поэзии Павла Матева, о героически-минорных интонациях в его мужественных строфах, о грустных тенях на лице его лирического героя, чтобы больше не возвращаться к этой теме.

Меня «Неоскорбленные миры» не удивили. Это — страница биографии того же самого лирического героя. Действительно, очень необычная, в известном смысле странная (особенно по средствам, при помощи которых она осуществлена), но в конце концов органичная уже много лет знакомому нам душевному миру Павла Матева.

У поверхностного или невнимательного читателя, раскрывшего «Неоскорбленные миры», может остаться впечатление, что он читает «любовную лирику». Хотя слово «любовь» в книге и встречается чаще, чем какое бы то ни было иное, определить эту поэзию как «любовную» в узком жанровом смысле этого слова было бы рискованно. В своей большей части «Неоскорбленные миры» являются взволнованным драматичным повествованием о высоких духовно-нравственных волнениях и раздумьях поэта, неотделимых от его гражданского пафоса, на этот раз скрытого и отступившего на более дальний план, как бы растворенного в подчеркнуто интимном, камерном звучании стихов.

От ограниченной жанровой трактовки автор предостерегает нас уже в начальном стихотворении сборника «Тревожен я от перемен, которых жажду». Любовный порыв, мечту, трагичную настроенность здесь нужно толковать более обобщенно. Поэт готов к рискованному полету и трудному пути. К «тревожным пропастям» его толкает не обыкновенное, пусть и очень сильное, любовное чувство, а «любовный гнев». То, что властно и неотвратимо его зовет вперед, не является неким «уютным, безмятежным миром» — его он гневно отрицает,— это «тревожные пропасти», «неизвестные зоны» Сравнение с орлами, которые «летят, даже когда болеют», очень сильно и напоминает нам, что мы читаем не любовный альбом, а поэзию тревожного, ищущего, неспокойного человеческого духа, готового сгореть «в плотных слоях огорченных чувств» во имя того, что свято и заветно.

Одно из самых сильных, самых синтетичных стихотворений в сборнике — второе: «Мой краток сон и неспокоен».

Мой краток сон и неспокоен.
Мой долог день и весь в делах.
Поэт — я верю — вечно воин,
но одиночество — мой страх.

Это редкий пример лирического синтетизма: в единственной строфе отражен сложный конфликтный облик лирического героя, вскрыт основной драматический мотив лирики Павла Матева — поэт это воин, он знает свой долг, готов его исполнять, готов за него умереть, но, почувствовав в груди холод одиночества, он «пугается, что опустеет его душа», как сказано в следующем стихотворении. Речь идет не просто о человеческой, художнической тревоге, а о высшей гражданской тревоге, о сохранности высших нравственных ценностей, без которых и воин — воин неполноценный и человек — человек неполноценный.

В сущности это — основной мотив лирики Павла Матева последнего периода.

Наиболее внушительно контраст между тревогой, доходящей до границ безнадежности, и свежим веянием просветления и надежды осуществлен в замечательном стихотворении, посвященном Любомиру Кабакчиеву. Стихотворение сразу же начинается в мрачной гамме:

Беззвездный черный небосклон.
И ангелы сейчас тревожны.
Мой сон стал вовсе невозможным,
признаньями мой полон сон.

Затем идут строки, свидетельствующие о большом мастерстве в достижении желаемой лирическо-психологической атмосферы и единого с нею переживания лирического героя, яворовского переживания,— крик, стон собранных воедино чувств, тревога, дошедшая до последнего предела:

Где мы?
Какая здесь страна,
в какой мы оказались области,
чтоб даже уличенный в подлости
к священным рвался знаменам?..

О, может статься, болен я,
о, я и в самом деле болен.

И, как в другие невыносимо трудные минуты, приходит на помощь живая вера — вера в настоящее, символом которой являются «простые люди», и вера в молодость, в будущее, для которого у Павла Матева есть любимый символ: «... с романтичными трубами ко мне приходит комсомол».

И вновь лежит мой дальний путь
по территории свободной.

Бушующая в уме и сердце тревога и жажда утешения, выхода из гнетущего состояния — вот конфликтная сердцевина большей части лирики «Неоскорбленных миров». Вариантом этого мотива является стихотворение «Где оно, большое утешение?». Оно, может быть, в близости к «людям-чудакам», по существу таким обыкновенным, добрым, непосредственным, не отравленным ядом мании величия, суеты, большими соблазнами, к людям, для которых «все равно, будни ли властвуют над всем вокруг или звенит шумный праздник». С ними поэту хорошо, эти «странные птицы» возвещают ему спасение.

Перемена в настроениях, в самочувствии лирического героя очевидна, и все же это тот же герой, и его переживания в конце концов являются продолжением мыслей и чувств, знакомых нам по всему наиболее сильному, наиболее характерному в таких книгах, как «Родословная» и «Чайки отдыхают на волнах». Но здесь иная эмоциональная гамма, а поэтому и средства, которыми она воссоздается, тоже другие.

Лирическими в более узком смысле слова (некоторые из них мы могли бы назвать и любовными) являются такие стихотворения, как «Спасение от сплетен», «Как начало сиротства», «Мутный день, неразгаданные мысли», «Уставшие осенние реки», «Коротко, как тень тополя», «И почему я вспомнил о тебе». Но их отделение от стихотворений, о которых я говорил несколько раньше, весьма условно. Я сказал, что мы можем назвать их и любовными. Но выражение любви в них такое, как в некоторых из любовных стихотворений символистов. Поэт далек от какой бы то ни было жизненной достоверности и реалистической правдоподобности. Он не раскрывает перед нами страницы реально пережитой драмы. Или, быть может, это сделано совсем символично, совсем секретно. Потому что «она» в его лирике — скорее мечта или тяжелое воспоминание о чем-то прекрасном и прошедшем. А чаще всего — пережитое, оставившее горький осадок в душе. Это — печальная, скорбная, «больная» любовь. Любовь его лирического героя не может не быть трудной. По ее пути «в траверсах разоренных цветут иронические бурьяны». И «нечестно строгие местные жители не желают их косить». «Ложь», «страх», «сплетни» — вот гнетущий суд над «розой, потому что она искренне цветет».

Не такова любовь в прекрасном стихотворении «Любовь — магическая реальность», но оно — не выражение определенного переживания, это не любовь-исповедь, любовь-признание или воспоминание, оно — некая «формула» любви. Эта формула есть один из примеров большого лирического мастерства, достигнутого в последние годы Павлом Матевым. Это — стихотворение из тех, которые показывают, что наш поэт глубоко вошел в «алхимию» поэтического слова, знает его огромную вместимость, силу его подтекстов и ассоциаций.

Любовь — волшебная реальность,
неоскорбленные миры,
где с жаждой вечной и нормальной
в нас чудо-сердце говорит.

Павел Матев постиг очень трудное искусство «сложной простоты». Радостно, что в нашей поэзии снова пишутся строфы, из которых не можешь выбросить ни слова. В самом деле, сколь кратко и сколь неисчерпаемо это контрастное определение любви «как волшебной реальности». А оно бога-

---

ПЕНЧО ДАНЧЕВ
В СВОИХ ПРЕОБРАЖЕНИЯХ ЕДИНЫЙ

то и необъятно ведь только потому, что контрастно, потому что вбирает в себя весь диапазон, всю вместимость от полюса до полюса, от темного, непонятного волшебства до беспощадной ясности реальности. Это же можно сказать о красоте и многопластовом смысле определения «неоскорбленные миры», давшего книге заглавие. «Жажда вечная и нормальная» — вот вам еще два полюса, между которыми скрывается так много от великой правды о способах устремления «чудо-сердца» к магической реальности — любви.

■

У нас нет другого поэта, который в последние годы прошел бы такую смелую и радикальную эволюцию в области поэтики. «Возрождение» ряда наших талантливых поэтов, в том числе и Павла Матева, началось с реабилитации лирического начала, с необходимости уничтожить дистанцию между поэтом и объектом.

Довольно долгий период поэтическое творчество Павла Матева отличалось реалистической ясностью, логичной последовательностью, признанием общепринятой семантики слова и, независимо от присущего ему драматизма, было чуждо психологической усложненности.

Поэзия в «Неоскорбленных мирах» иного типа. Драматически усложненная духовная жизнь лирического героя, необходимость выражения контрастных, иной раз смутных, неразгаданных состояний, подчеркнутое присутствие обостренного интеллектуального начала настоятельно толкали поэта к переоценке ценностей в области поэтики. Понадобился обновленный и обогащенный арсенал средств выражения, и начались критические розыски в лабораториях наследства и современности. В этих поисках Павел Матев проявил культуру, вкус и большую настойчивость. Он почувствовал, что реализация поэтических замыслов, подобных тем, что привели к «Неоскорбленным мирам», потребует учения у больших мастеров, включая мастеров романтической и символистской поэзии. Его внутреннему душевному настрою особенно близки Яворов и Фурнаджиев. Источниками формирования нового мастерства стали также Лилиев и Дебелянов. Серьезное знание русской стихотворной культуры прошлого и современности играло и продолжает играть в творческом развитии Павла Матева большую роль.

Что в его поэтике ново? Достаточно многое, чтобы исчерпать одним определением. Мы не ошибемся, если скажем, что Павел Матев глубоко распахал и перестроил свою поэтику. Преображение стиля весьма основательно, и нужен прозорливый взгляд, чтобы открыть основные черты облика того поэта, каким мы знаем Павла Матева по его лучшим произведениям прошлого.

По высоким романтическим и символистским образцам наш поэт познал силу выражения, заложенную в символе и иносказании. (Когда я говорю о наших символистах — Яворове, Лилиеве, Дебелянове,— я имею в виду все исключительно серьезные оговорки, которые надлежит сделать к их «символизму», то есть о принадлежности их к направлению как идейно-эстетической концепции. Я имею в виду, что речь идет о больших мастерах слова, которые на нашей, болгарской почве создали глубокую поэзию, преодолевая в большой степени книжные концептуальные особенности школы.) Так появились «усталые осенние руки», которые обещают «позднее счастье», «оленьи леса», которые молчат в своих «зеленых мавзолеях», странные женщины, которые в своих комнатах «над воспоминаньями грустят», и т. д.

Точность выражения в прежних стихотворениях Павла Матева уступила место неопределенности. Логическая семантика слова переросла в сложную художественную семантику, то есть слово стало многозначным, подтекстным, ассоциативным. Павел Матев смело восстановил в поэзии непривычные с точки зрения обыкновенной стилистики определения, как, например, «белое слово» или «синие надежды». В его поэзии читаем о цветущих «ироничных бурьянах», «трагичных кустах». «Болят мои темные суставы» встречаем мы в одном из стихотворений и невольно вспоминаем дерзкую условность молодого Фурнаджиева.

Система метафор Павла Матева также очень условна и несет функцию не столько передачи некоего конкретного очертания, сколько создания настроения; поэт разбрасывает образы-символы, которые должны нас ввести в желанную атмосферу.

Как и при чтении стихов лучших символистов и импрессионистов, мы попадаем в плен определенного настроения, которое владело поэтом, но любые конкретные вопросы, любое «уточнение» смысла стихотворной фразы и беспредметно, и рискованно.

Одним из наиболее употребительных художественных средств в поэзии Павла Матева, особенно в последние годы, является контраст. Этот прием присущ драматичной природе его таланта, и с его помощью поэт во многих случаях достигает сильного эффекта. Но иногда он «эксплуатирует» эффектность контраста до чрезмерности, до злоупотребления. Многие новые его стихотворения целиком построены на этой основе.

Музыкальность стиха — второе упорное стремление автора «Неоскорбленных миров». И это естественно, поскольку музыкальность является существенным компонентом в поэтике, которая до сего времени господствовала в его творчестве. Мы бы очень отвлеклись, если бы начали перечислять созвучия гласных и согласных, поиски внутренних рифм и т. д. Таких примеров много. Радостно, что чаще всего они не раздражают слух как преднамеренно найденные, а естественно включаются в выражение содержания. Неудивительно и то, что по своей структуре стих Павла Матева полностью следует традиции классической формы, и особенно той формы, которую условно можно было бы назвать ли-

лиевско-дебеляновской: строфичность, строго выдержанный ритм, звучные рифмы, музыкальность, вообще весь тот арсенал художественных средств, который предназначен для построения красивого, чарующего, ласкающего ухо стиха.

Нынешняя тематико-стилистическая направленность, характер поэтики Павла Матева несомненно несут в себе известный риск. Большая часть стихотворений сборника «Неоскорбленные миры» — образец творческого учения у больших поэтов прошлого и критического преодоления их влияния. Но есть и примеры непреодоленной, творчески неассимилированной традиции.

Павел Матев порою теряет меру в свободном обращении со словом и в своем стремлении достичь общего эмоционального, музыкального или живописного эффекта чрезмерно безразличен по отношению к его реальному смысловому наполнению. Но слово есть слово. Все же оно несет определенный смысл и отмщает тем, кто злоупотребляет его многозначностью и нагружает его функциями, которые оно не может выполнять.

Но это, так сказать, «остаточные материалы» образно-языкового богатства, которое поэт усваивает обычно со вкусом и мерой.

Не числясь еще в «пожилых» поэтах, Павел Матев уже не принадлежит и к среднему поколению. Он — мастер с большим и по объему, и по художественной значимости творчеством На этом этапе писатели обыкновенно «успокаиваются», не преподносят никаких сюрпризов, потому что утвердили перед читателем свои тематико-жанровые предпочтения, свой пафос, свой подход, свою стилевую систему. «Неоскорбленными мирами» Павел Матев резко нарушил привычную закономерность. В этой книге он представляется нам неспокойным, лихорадочно ищущим, как бы разгневанным на свои прежние свершения, точно он вдруг прозрел, насколько глубже может быть поэтическая мысль, насколько богаче и сложнее — лирические переживания, насколько более могущественно, гибко, многокрасочно и многозвучно — лирическое слово. Оставаясь в общих чертах верным своей художнической сущности, как это и положено талантливому и самобытному мастеру, он бросился разрушать, перестраивать, создавать. Плодом этой лихорадочной художнической устремленности является ряд произведений, которые находятся среди самого лучшего в нашей современной лирике. В этом смысле работа над «Неоскорбленными мирами» является и ценной школой высокого лирического мастерства.

Но мне хочется верить, что Павел Матев не смотрит на свои открытия и прозрения в области поэтики в «Неоскорбленных мирах» как на некую универсальную систему. Художественные средства, оставляющие сильное и хорошее впечáтление в этой книге, отвечают ее жанрово-тематическому и эмоциональному содержанию. А Павел Матев доказал, что он — поэт с намного более широким и тематическим, и пафосно-эмоциональным диапазоном. Не ко всему подойдет образно-эмоциональная система «Неоскорбленных миров». Следовательно, будут необходимы новые искания и открытия. Но это будут искания и открытия на том высоком уровне, к которому обязывают ценные достижения в «Неоскорбленных мирах».

Перевод с болгарского А. ОПУЛЬСКОГО

◆

Обсуждая напечатанное

А. ЗВЕРЕВ

ЛИТЕРАТУРА НА ГЛУБИНЕ

В двух первых книжках «Иностранной литературы» за 1973 год опубликован роман У. Фолкнера «Шум и ярость» в переводе О. Сороки. Многочисленные читательские отклики говорят о том, что этот роман вызывает споры, столкновение мнений, часто противоположных.

«Роман «Шум и ярость»,— пишет девятнадцатилетний студент,— без остатка забрал мою душу, он дал мне чувство большей жизни, чем та, которой живешь. Он заставил жить те уголки моей души, о существовании которых только догадываешься. Я прочитал эту книгу, и во мне живо физическое ощущение того, что называют человечностью и гуманизмом писателя. Я думаю, что «Шум и ярость»— это явление нашей современной литературы. От возможности читать такие книги, всякий раз возвышающие человека и очищающие его, зависит жизнь многих людей».

А неизвестный ему оппонент возражает:

«Неужели нельзя было напечатать ничего лучшего, чем роман «Шум и ярость»? Временами в романе нет ни точек, ни запятых, ни других знаков препинания. К чему это? Эти места не читаешь, а расшифровываешь...»

«Неужели советского читателя может заинтересовать эта книга,— вторит ему другой наш подписчик,— которую, по совету самого автора, если за три раза не поймешь, надо перечесть четвертый раз. Зачем нам такие книги? Неужели в западной литературе нет ничего более интересного и доступного рядовому читателю? Жаль потерянного времени. Прошу объяснить мне».

Однако гораздо большее число писем говорит о том, что роман дает повод для серьезных размышлений. Научный работник из Челябинска подчеркивает, что для любителей литературы весьма важно состоявшееся, наконец, знакомство с «ранним Фолкнером».

«Большое спасибо за публикацию романа Фолкнера «Шум и ярость». Это очень крупное литературное событие, и трудно себе представить, чтоб оно каким-то образом не стимулировало и художественные поиски наших писателей, и обогащение аналитического инструментария наших критиков... Мне же хочется отметить, что «Шум и ярость» — не только предмет для теоретических и профессиональных размышлений, но прежде всего — захватывающее чтение... Это не чтение специально для академиков по разряду изящной словесности. Это доступное чтение для каждого, кто прочел известную фолкнеровскую трилогию и кто следовательно, обращается к литературе не по прихоти настроения».

Впрочем, добавляет автор письма, знакомство с героями этого романа завязывается не так просто. Он требует ответной работы мысли.

Читатель из Дзержинска пишет, что ему нелегко разобраться в этом романе и просит редакцию продолжить разговор о нем, начатый вступительной статьей Г. Злобина:

«Не могли бы вы напечатать в ближайших номерах журнала подробную статью — разбор романа «Шум и ярость», переводную американскую или еще лучше нашего литературоведа, специалиста по американской литературе и, в частности, по Фолкнеру. Я уверен, что читатели журнала будут вам за это весьма признательны».

Разумеется, споры о романе «Шум и ярость» будут продолжаться. Отвечая на просьбы читателей, мы предлагаем их вниманию статью критика А. Зверева, специалиста по американской литературе, занимающегося изучением творчества Фолкнера. Редакция предполагает в дальнейшем еще вернуться к творчеству Фолкнера, в том числе к оценке романа «Шум и ярость».

Новизна художественного открытия, совершенного в выдающемся произведении, не притупляется с ходом времени, даже если это открытие давно уже освоено последователями и, кажется, растворилось в массе характерных примет современного художественного языка. Разумеется, можно досконально изучить это открытие как сумму приемов, после чего превосходно этими приемами пользоваться. Но нельзя вернуть только в таких произведениях неподдельные «восторг... пылкую и радостную веру и предвкушение удивительных вещей, которые наверняка кроются в чистом листе под пером и внезапные, нетронутые, ждут освобожденья».

Не без грусти вспоминаемое Фолкнером в «Предисловии» 1933 года, которое появилось в «Иностранной литературе» сразу же вслед за публикацией романа «Шум и ярость», это предвкушение удивительного передается читателю фолкнеровского романа с первых же его страниц. Книга захватывает чувством не просто необычности, а подлинной новизны восприятия и изображения жизни. Громадное напряжение, которого от читателя требует этот роман, объясняется даже не тем, что многие его страницы производят сильнейший эмоциональный эффект, и не сложностью его конструкции самой по себе. Поражает прежде всего новизна угла зрения, под которым рассказана история Компсонов — в общем-то традиционная для романа XX века история распада и гибели одного семейства.

Вспомним, какие произведения продолжили в нашем веке старую традицию «семейного» романа,— в памяти всплывут «Сага о Форсайтах», «Семья Тибо», «Будденброки». Самое беглое сопоставление «Шума и ярости» с любой из этих книг даст почувствовать новизну художественного открытия, совершаемого Фолкнером у нас на глазах. Но вот что самое любопытное: точно то же ощущение, что жизнь предстает здесь перед нами в какой-то совсем новой системе художественных координат, вынесли из «Шума и ярости» и читатели, хорошо знавшие Фолкнера и прежде. Знавшие по «Особняку», «Осквернителю праха» и другим книгам — задолго до того, как появился в отличном, подлинно творческом переводе О. Сороки этот помеченный 1929 годом роман.

Правда, почти все у нас переводившееся написано «поздним» Фолкнером, после «Деревушки» (1940) стремившимся к большей гармоничности и — в высоком смысле — простоте повествования; Фолкнер «ранний» (прежде нам почти неизвестный) от «позднего» отличается весьма значительно. Но, с другой стороны, хотя круг интересов и творческая манера Фолкнера с годами менялись, он, как каждый выдающийся художник, сохранял те устойчивые особенности мироощущения и то своеобразие писательской своей индивидуальности, которые позволяют безошибочно узнать его вещи, к какому бы периоду они ни относились.

Когда в «Шуме и ярости» Фолкнер вдруг словно поворачивается к нам неизвестной своей стороной, на самом деле мы лишь более обостренно, чем прежде, ощущаем значимость фолкнеровского художественного открытия, потому что здесь оно было сделано впервые. Все то, что станет потом типичными особенностями Фолкнера-художника,— ну, хотя бы построение рассказа в нескольких временных плоскостях или повторяемость событий, по-разному осмысляемых и переживаемых разными персонажами,— здесь только испытывается, опробуется, открывается. Все то, что впоследствии будет справедливо считаться специфическими законами фолкнеровской прозы, здесь еще не закон, а именно открытие, сопровождаемое чувством «внезапности», радостью «освобожденья» нетронутых пластов жизни.

В этом смысле даже «Особняк» — книга, с которой начался путь Фолкнера к русскому читателю,— не вызвал у нас столь разноречивых откликов, как «Шум и ярость». Этому есть свое объяснение: «Шум и ярость» как произведение новаторское по самой своей задаче (и именно поэтому породившее столь разные толкования у многочисленных его критиков) относится к явлениям в свое время охарактеризованной Ю. Н. Тыняновым «литературы на глубине», неотъемлемым свойством которой является «жестокая борьба за новое зрение». В книге Фолкнера попытка найти «новое зрение» не скрыта от читательских глаз, наоборот, открыто заявлена всем построением романа. Вполне естественно, что при

А. ЗВЕРЕВ

ЛИТЕРАТУРА НА ГЛУБИНЕ

ее чтении фолкнеровское «новое зрение» привлекает к себе самый пристальный интерес — одних восхищает, других приводит в недоумение.

И порой при этом исчезает из виду главное: что само это «новое зрение» было вызвано к жизни потребностями в выражении художественной правды, не укладывавшейся в систему более традиционных форм. Что сложность, необычность построения, стиля, всей структуры «Шума и ярости» определялись усилием заглянуть за поверхностное к глубинному — не для того, чтобы на свет явилась еще одна притча об абсурдном круговороте бытия, а для того, чтобы найти язык, отвечающий реальной сложности преломившихся в фолкнеровской Йокнапатофе тенденций времени и истории.

Отсюда, разумеется, вовсе не следует, что фолкнеровский роман представляет лишь чисто познавательный интерес. «Шум и ярость» — произведение, обладающее большой художественной значимостью и для людей, вовсе не знакомых ни с жизнью штата Миссисипи, где происходит действие всей фолкнеровской саги о Йокнапатофе, ни вообще с американской действительностью той эпохи, когда развертываются события, описанные в этом романе. Вы открываете исповедь Бенджи на любой странице — хотя бы вот на этой, где рассказано, как Бенджи бежит вдоль забора, за которым сумерками идут по дороге школьницы,— и вас сразу же охватывает его беспомощное, совсем детское: «Сорвать с лица хочу, но яркие опять поплыли. Плывут на гору и к обрыву, и я хочу заплакать. Вдохнул, а выдохнуть, заплакать не могу, и не хочу с обрыва падать — падаю — в вихре ярких пятен». Захватывает ощущением трагедии искалеченного человека — мужчины с крупным телом, кожей «землистой, безволосой» и так контрастирующими с этим обликом глазами «чистыми, нежно-васильковыми». И эту трагедию эмоционально нельзя не пережить, даже если мир, окружающий этого фолкнеровского героя, незнаком, непонятен и чужд читателю. Как нельзя не пережить и трагедию Квентина — это резкими, предельно выразительными штрихами обрисованное последнее человеческое крушение. И трагедию Кэдди, бегущей, падая с ног, за каретой,- в окне которой мелькнуло лицо Квентины. Да и едва ли не каждый эпизод этой глубоко трагичной фолкнеровской книги.

Но если мы хотим понять истоки фолкнеровского резко своеобразного взгляда на мир, основное внимание нам необходимо будет уделить все-таки американскому Югу, исторически определившейся специфичности его жизни, а стало быть — и мировосприятия, этики, психологии, черт характера населяющих эту фолкнеровскую страну людей. Это необходимо сделать потому, что фолкнеровское «новое зрение» было прежде всего новым взглядом на историю, сложившимся в процессе осмысления мира, в котором Фолкнер вырос и прожил всю жизнь. Взглядом не со стороны, не с позиции всезнающего объективного наблюдателя, а как бы с точки зрения прямого участника событий, протекающих в разных временных параметрах и многозначно преломляющихся в разных индивидуальных мирах.

Этим новым взглядом на историю определялась вся художественная система романа. Она призвана была передать во всей его полноте ощущение исключительности и неизбывности исторической судьбы родных Фолкнеру мест. Только обострявшееся с ходом социального развития, это чувство особого пути Юга накладывало сильнейший отпечаток на весь строй жизни выросших здесь людей и ждало своего воплощения в литературе.

Воплотить драму Юга во всей ее глубине выпало Фолкнеру. Он принес в литературу новое осмысление этого веками складывавшегося микрокосма с его давно обанкротившимися, но сохранившими огромную власть над людьми «южными» мифами: о патриархальном семейном «единении» рабовладельца и раба, об «аристократических» нормах жизни, неостановимо рушащихся, но упрямо, даже самоотверженно защищаемых, о социальной «гармонии», навеки исчезнувшей после Гражданской войны, да и раньше только грезившейся. С его существованием как бы сразу в двух эпохах, отделенных друг от друга роковым днем 4 апреля 1865 года, когда в Аппоматоксе капитулировали последние полки южан. С его полуосознанным ужасом перед неостановимыми процессами распада. С его исступленным и неосуществимым стремлением плотиной отвердевших иллюзий перегородить поток исторического времени — эту шумную и яростную реку, все сметающую на своем пути.

Как романист Юга Фолкнер мог опираться на традицию, которая в американской литературе ведет еще к Эдгару По, и тем не менее не будет преувеличением сказать, что именно Фолкнер открыл в искусстве этот материк и сумел локальную, на первый взгляд, тему поднять до звучания высокой трагедии, уже не скованной никакими рамками местной специфики. Сдвиг по сравнению со всем, что писалось о Юге прежде, у Фолкнера огромен, потому что фолкнеровскому «новому зрению» драма Юга открылась как акт иной, общечеловечески значимой драмы. Действие этой драмы развертывается в сокровенных глубинах психики и сознания, где в отчаянной схватке сходятся страсть и обреченность. Жажда контакта и трагическая немота. Непереносимость отчуждения и безоглядность бунта. Ненависть к сегодняшнему и страх перед завтрашним. «Шум» всесильной грубо прозаичной повседневности и болезненная «ярость» саморазрушительного сопротивления ей.

Вся художественная специфика романа рождена как раз новым осознанием драмы Юга. В конечном счете именно отсюда идут и организующее фолкнеровское повествование единство разновременного, сегодняшнее

живое присутствие давно минувшего, и повторяемость сюжетных ходов, кружение на месте, когда вновь и вновь прокручивается уже знакомая лента, запечатлевшая несколько эпизодов семейной хроники Компсонов, и параллельность авторского «я» и «я» героев. Отсутствие строгой хронологии событий, уничтожение дистанции, отделяющей настоящее персонажей от их прошлого, появление в романе четырех вариантов одной и той же истории, включая непосредственно фолкнеровский,— вся эта конструкция в полной мере отвечала творческой задаче.

Ведь мир фолкнеровских героев — это мир без будущего, но с давящим грузом прошлого на плечах, преследуемый ощущением неподвижности времени и вместе с тем инстинктивно постигающий ту истину, что время не стоит на месте и несет гибельные перемены. Это мир, в котором разновременные исторические пласты совмещаются, сливаются в духовной вселенной человека, определяя его своеобразие. Это мир, замкнутый в себе и мучающийся как своей изолированностью, так и страхом перед ее исчезновением. Мир крайнего психологического напряжения, неизменно угрожающего взрывом.

Стремясь воссоздать этот мир в его трагизме, так резко обозначившемся в эпоху больших социальных потрясений 20-х годов, стремясь передать процессы распада и само течение жизни Юга во всей его самобытности, Фолкнер закономерно пересматривал многие традиционные для романов о «гибели одного семейства» приемы. Сама поставленная им перед собой задача потребовала от писателя отказа и от принципа авторского монолога с его целостностью подхода к действительности и единообразием ее оценки, и от одномерности времени, на смену которой пришло варьирующееся сочетание временных характеристик.

Теснейшая эмоциональная переплетенность, слитность событий, отделенных одно от другого десятилетиями и соприсутствие равноправных сознаний, конфликтующих друг с другом в восприятии этих событий,— оба эти главных конструктивных принципа прозы Фолкнера глубоко содержательны и художественно оправданы. Именно Фолкнеру суждено было показать необратимость процессов распада на самых глубинных их индивидуальных срезах. И именно Фолкнер был призван защитить идею, через много лет прямо высказанную в знаменитой Нобелевской речи: «Я отказываюсь принять мысль о гибели человека... Я верю, что человек не просто выстоит — он восторжествует». И он защищал ее в открытом, заявленном в самом принципе построения романа споре с сознанием своих затронутых распадом — в форме ли физической дегенерации, или мании саморазрушения, или нравственного вырождения — и капитулировавших перед распадом героев.

Фолкнер не раз называл «Шум и ярость» любимой своей книгой, уточняя: «Она доставила мне больше всего горя и заботы, но ведь ребенка, ставшего вором и убийцей, мать любит больше, чем того, который стал проповедником». В интервью Джин Стайн через четверть века после выхода книги он вспоминал, в каких муках рождался этот роман, и говорил, что его преследовала необходимость «рассказать изложенную в нем историю, чтобы освободиться от этой фантазии, которая продолжала бы меня тревожить до тех пор, пока я о ней не расскажу». Признания, думается, чрезвычайно существенные, многое высветляющие в таком, на первый взгляд, хаотичном мире романа. Выросший в той же атмосфере, какая окружает Компсонов, Фолкнер как художник испытывал острейшую потребность в преодолении мифов Юга и всего специфического для Юга миросозерцания. Непреодоленное, оно грозило сковать (и не раз сковывало) его мощный талант безнадежностью «южного» умонастроения, уподобив писателя тому самому сидящему спиной к кабине и видящему только убегающую назад дорогу пассажиру автомобиля, с которым сравнивал фолкнеровских героев Сартр.

Борьба за новое зрение становилась и попыткой преодолеть препятствия, неизбежно встающие на пути «южного» автора к более широким писательским горизонтам. А такое преодоление требовало прежде всего высокой ясности постижения жизни на глубине, в ее трагизме, но не абсурдности, в жестокости ее противоречий, но без заданных наперед мотивов безысходности уготованной в ней человеку судьбы.

Попробуем проследить, как сочетаются с этой задачей, как действуют основные принципы, на которых построена фолкнеровская художественная система. Едва ли не все соотношения внутри романа устанавливаются под знаком нерасторжимой связи разновременного и многовариантности восприятий происходящего. Поэтому обычной хронологической последовательности нарастания действия от эпизода к эпизоду здесь не может быть, как не может быть и традиционного поступательного развития конфликта и характеров да, строго говоря, и сюжета, понимая под сюжетом цепочку взаимосвязанных и вытекающих одно из другого событий.

Действие направляется одним, варьирующимся в самых разных контекстах, но упрямо пробивающимся вновь и вновь мотивом. Этот мотив — неостановимое крушение компсоновского мира — становится как бы магистралью, проложенной Фолкнером через дикие, не подчиняющиеся никаким законам гармонии заросли «южного» быта. Словно бы и особенности построения романа имел в виду писатель, вводя в горячечную исповедь Квентина образ моста над рекой неподвластного человеку времени: «Через мост едем, высоким и медленным выгибом легший в пространство, а с бо-

ков — тишь и небытие, и огни желтые, красные, зеленые подрагивают в ясном воздухе, отображаются».

Такая организация действия, разумеется, повлекла за собой и разрушение традиционной в европейском «семейном» романе диалектики общего и частного. В таком романе писатель — скажем, Голсуорси или Мартен дю Гар — неторопливо, продуманно подходит от индивидуальных побуждений к тенденциям более широким, общественным, подчиняя каждую подробность обобщающей идее и прочно закрепляя эту идею на фундаменте тщательно отобранных деталей и штрихов. У Фолкнера же «частное», «случайное», деталь, подробность, проходной, казалось бы, эпизод вдруг, точно обособившись и образовав «роман в романе», приобретают громадный смысл. Вспомним признание, сделанное Фолкнером в «Предисловии» 1933 года: «Единственное, что меня как писателя способно не шутя взять за душу: то, как Кэдди взбирается на грушу, чтобы взглянуть в окно на бабушкины похороны, а Квентин, Джейсон, Бенджи и негры смотрят с земли на ее испачканные сзади штанишки». Странность подобного заявления можно, конечно, отнести за счет каких-то личных особенностей творческого склада писателя, но если вдуматься в законы фолкнеровской поэтики, окажется, что это признание согласуется с ними вполне органично.

Мир — и это для художника с таким социальным и психологическим опытом, как у Фолкнера, естественно,— воспринимается писателем не как целостность, не как единство, а именно в своей фрагментарности, дискретности, в своем распаде. Этот распад идет медленно и подспудно и становится явью для всех лишь в минуты катастрофических событий, отделенные одна от другой годами, а то и десятилетиями внешне предельно однообразной повседневности. В такие минуты — в самом заурядном, бытовом контексте — прямо пересекаются уходящее и нарождающееся. Всегда присутствующее в фолкнеровском «сегодня» прошлое соприкасается с глубоко спрятанными в этом же «сегодня» пугающими предвестиями будущего. «На мгновение беря белый факт в черное кольцо неоспоримой правды», эти вспышки реальной и трагической для Компсонов истории — смерть бабушки, «падение» Кэдди, самоубийство Квентина, бегство Квентины — открывают жизнь в ее доподлинности, в мучительном переплетении «шума» и «ярости», охватывающих весь компсоновский мир. И они оставляют по себе горящую память в сознании фолкнеровских героев с их всегдашней иллюзией неподвижности времени и инстинктивным пониманием его необратимой и чреватой сильнейшими потрясениями поступательности.

Каждый грозный проблеск реального вызывает со стороны персонажей Фолкнера крайне обостренное, болезненное переживание. Иного не может быть. Весь компсоновский порядок держится на иллюзорном представлении о навеки застывшей, остановившейся, растекшейся застойным озером реке времени. Прикосновение к подлинной динамике жизни, контакт заботливо лелеемой иллюзии с сокрушающей всю тепличную компсоновскую «гармонию» истинностью оказывается психологическим шоком на долгие годы, если не навсегда. Чувство своей обреченности, память о жестокой встряске, предощущение новых мук — все это каждый из Компсонов настойчиво и тщетно старается в себе подавить, заглушить, отодвинуть в сторону. Но, неизживаемые, это чувство, эта память, это предощущение, вся эта травмированность историей скрываются в потаенных недрах их духовного мира и острыми уколами напоминают о себе как раз в «частном», в «случайном», потому-то и играющем в художественном мире Фолкнера такую важную роль. Достаточно совсем незначительного с виду повода — долетевшего откуда-то запаха жимолости, звука дождя, шороха ветвей, по которым кто-то спускается из окна верхнего этажа,— чтобы пришла в действие вся определяющая духовную жизнь фолкнеровских героев система временных и психологических соотнесений. И тогда мысль и чувство их вновь напрягаются в отчаянном и безнадежном усилии разгадать тайну преследующего Компсонов рока.

Работу над «Шумом и яростью» Фолкнер назвал «ваянием девочки, прекрасной и трагической». История Кэдди выдвинута в центр романа, потому что бунт Кэдди (как и почти в точности его через много лет повторяющий бунт Квентины) против рушащегося и упорно цепляющегося за жизнь компсоновского дома как бы взрывает весь компсоновский миропорядок. К Кэдди так или иначе сходятся все далеко разошедшиеся нити повествования; ее «падение» и все, что за ним последовало, как раз и составляют то обязательное в «многоголосом» романе центральное событие, которое совершенно по-разному истолковывается героями и вокруг которого развертывается конфликт самостоятельных сознаний.

Разветвленная система соотнесений, ассоциаций простых (запахи, звуки, шумы) и сложных (сходные ситуации, близкие психологические состояния) дополняется временными перебивами, а в исповеди Квентина еще и пространственными смещениями. Художественный язык Фолкнера многозначен и непрост для восприятия. Читателю необходимо не только фиксировать в памяти те или иные детали, которые будут по ассоциации вновь возникать и обрастать новым смыслом на протяжении всей книги. Ему необходимо еще и следить за детальнейшей реконструкцией процессов сознания героев — она нужна, чтобы создать законченность каждого из включенных в роман вариантов и добиться подлинной автономии каждого из голосов. Все это ведет к предельной усложненности ткани фолкнеровской прозы. Неподготовленного читателя такая сложность может оттол-

кнуть, но она — не авторский произвол, а необходимость. Момент истории, запечатленный в «Шуме и ярости», потому и оказывается таким насыщенным и значимым, что он выражен во всей своей многомерности. Его коллизии берутся на большой художественной глубине и исследуются с наивозможной объективностью до конечного их исхода. Малейшая искусственная легкость — скажем, сведение соотнесенности времени к обычной последовательности единого временного потока, а спора сознаний к авторскому монологу — только помешала бы Фолкнеру так глубоко понять крах всей идеологии компсоновского мира.

А это ведь и было для Фолкнера в «Шуме и ярости» главным. Значение книги не сводится к тому, что в ней была опробована целая совокупность новых приемов повествования, и даже к тому, что здесь впервые законом организации романа стало: «Не существует такого понятия, как *было*,— существует только *есть*». В полной мере значение книги раскрывается, когда, отодвигая все другие конструктивные элементы романа, на передний план выходит спор Фолкнера с каждым из Компсонов. Предметом этого спора является история Кэдди, но по сути за ним стоит полемика о человеке и его способности «всегда выдержать, преодолеть сопротивление обстоятельств и своей собственной судьбы».

Кэдди — самый близкий Фолкнеру персонаж в романе как раз потому, что в ней впервые художественно реализована эта любимая мысль писателя. «Вариант» Бенджи, «вариант» Квентина и даже «вариант» такого антипатичного писателю Джейсона вполне логичны и предложенное в них истолкование драмы справедливо, если рассматривать эти варианты изолированно и видеть в истории каждого из этих персонажей естественную, согласующуюся со строем их души реакцию на процессы распада. Но мир Фолкнера не признает такой замкнутости и однозначности решений. Ни один вывод не делается здесь непосредственно автором. Любое заключение рождается из сопоставления многих «вариантов», разных точек зрения, причем всем им предоставлена возможность не только выразить, но и защитить себя.

Никого впрямую не осуждая и не оправдывая, Фолкнер — художник реалистического склада — показывает крах Компсонов как объективную неизбежность, подтверждаемую самой логикой мыслей, переживаний и поступков всех участников драмы. Конечное торжество гуманистической идеи в той трудной полемике, которую ведет со своими героями Фолкнер, тем замечательнее, что эта победа не облегчена. Она обеспечена не либерально-оптимистическими побуждениями автора, готового ради этих побуждений в чем-то поступиться не располагающей к оптимизму правдой, а именно незащищенностью позиций Компсонов перед лицом истории.

«Варианты» всех персонажей в итоге лишаются своего оправдания, ибо они так или иначе означают капитуляцию перед распадом, в то время как подлинно достойная человеческая позиция есть борьба за его преодоление.

В «варианте» Бенджи — самом, наверное, жестоком из всех трех — ущемленность, гравмированность распадом представлена в наиболее прямой и зримой форме. Идиотизм Бенджи — скорее символ, чем характеристика его личности. Замкнутое в самом себе бытие Бенджи можно с некоторым допущением рассматривать как своего рода «модель» всей «южной» жизни. Отслоившиеся куски реальности приобретают оформленность самостоятельных миров. Целое мира непоправимо распадается, ось времени оказывается смещенной, пласты компсоновской семейной истории и элементы «южного» микрокосма ведут полностью независимое существование. Связь между ними осуществляется на самом первичном уровне инстинктивной памяти: шум дождя сопрягается с болезнью матери, запах деревьев — с Кэдди и т. п. Все окрашено только одной эмоциональной краской, система противопоставлений проста, как смена дня и ночи: светлое — темное, злое — доброе, пагубность — благо, больно — приятно.

Дело вовсе не в том, что Фолкнер стремился с натуралистической точностью описать духовный мир олигофрена. Сознание Бенджи — сознание чисто эмоциональное — точно так же включено в развертывающуюся на протяжении романа полемику, как и сознания других персонажей. Разумеется, Бенджи не может подняться даже до элементарного осмысления разыгравшейся в его доме драмы, но в этой исповеди такого осмысления и не требуется. Здесь важна как раз эмоциональная сторона. Беззащитное перед жестокостью и реагирующее на жестокость с повышенной ранимостью сознание Бенджи вбирает в себя всю специфическую атмосферу распадающегося мира и «по-детски» непосредственно эту атмосферу передает в своей исповеди. Поэтому-то «вариант» Бенджи и поставлен в романе первым. Трагическая история этого героя запечатлела характернейшие приметы «южного» микрокосма с его бездушным насилием над слабыми и крайними ступенями человеческой дегенерации, с его безысходной замкнутостью и обреченными усилиями остановить бег времени, с его разрывом связей между людьми и отчаянными попытками как-то противостоять распаду.

Не порабощена (во всяком случае, не порабощена до конца) распадом, компсоновским «роком» одна Кэдди. Неспособный противостоять распаду самостоятельно, Бенджи всеми силами души тянется к ней, помнит ее в мельчайших характерных черточках и через много лет после ее изгнания. Он возвращается к ней — памятью, ощущением, инстинктом — снова и снова, потому что с Кэдди неразрывно слились для него

представления о доброте, о гуманности, о прекрасном. Каким-то глубоким и, конечно, совсем не осознанным чувством Бенджи на свой лад тоже постигает необходимость порвать с компсоновским миром. Для Бенджи она сливается с потребностью разомкнуть предельно суженный круг своего бытия, обрести подлинно человеческий контакт с людьми, обрести слово, чтобы выразить бьющуюся в нем и не находящую выхода правду о мире, каким он его видит.

Трагедия в том, что все это так и остается у Бенджи невысказанным, невоплощенным. Бенджи — не только дитя своего мира, но и его жертва. От рождения этим миром травмированный, задавленный и оглушенный его «шумом», он не умеет сопротивляться чинимой над ним жестокости, и ему ведома только эмоция — беспомощного протеста и столь же беспомощного, «мечтательного» стремления к добру. Не угасающая в Бенджи, а подчас даже «яростная», она остается, однако же, эмоцией, и не больше, и поэтому Бенджи никогда не преодолеть разорванности и не выправить трагичности своего бытия.

В «варианте» Квентина та же история Кэдди прочитывается совершенно по-иному, потому что перед нами уже не герой-«мечтатель», а герой-«идеолог», мучающийся лежащим на Компсонах «проклятием» и переживающий поступок Кэдди как крушение всего мироздания. Резкое изменение повествовательной манеры во второй части по сравнению с исповедью Бенджи закономерно и необходимо. Драма Бенджи в том, что он способен воспринимать мир лишь в его противоестественной расчлененности, фрагментарности, бессвязности, не умея объединить разрозненное и выработать собственный цельный взгляд на жизнь. Драма Квентина, наоборот, предопределена столь же, с его точки зрения, противоестественной слитностью всех вещей на земле в едином потоке времени. Его мучит невозможность выделить, вывести из сферы действия законов времени «южный» микрокосм, изолировать его от вторжения разрушительных сил извне — из вульгарного и аморального «большого» мира, что лежит за окраинами Джефферсона. Квентин глубже всех других персонажей романа понимает масштабы постигшей Компсонов драмы, осознает скрывающийся за этой драмой крах самой идеи «южной» изоляции и неподвижности, на которой основывается вырастивший его мир. Но его сознание целиком и полностью определяется именно этой обанкротившейся идеей. А ее банкротство не может не вести Квентина к навязчивой мысли о самоубийстве, которое предпочтительнее мучительного чувства своего поражения в борьбе с не желающей поворачивать вспять историей.

В душе Квентина все время сталкиваются, конфликтуют и вызывают гамму болезненных переживаний иллюзия и реальность, давнее и сегодняшнее, идеализируемое «южное» и презрительно отвергаемое «всечеловеческое». Запутавшийся в их противоречиях, Квентин мечется от памяти к настоящему и обратно, в одну и ту же минуту переживая и осознавая целую последовательность трагически взаимосвязанных разновременных событий. С первых же строк второй части романа вспыхивает и кипит до предела напряженный, «яростный» спор Квентина со всеми, кто оставил след в его жизни. Он спорит с ненавистным ему Долтоном Эймсом, который, посягнув на Кэдди, занес руку на святая святых компсоновского миропорядка. Спорит и с отцом, готовым поступиться южными понятиями о чести, раз к этому вынуждают тяжело сложившиеся обстоятельства. И даже с самой Кэдди, нанесшей смертельную обиду Компсонам и непосредственно ему, Квентину — обреченному паладину компсоновского духа.

Вся исповедь Квентина — это сплошной торопливый перебив неоконченных фраз, теснящих друг друга обрывающихся словесных конструкций, в безостановочности своего лихорадочного движения точно воссоздающих поток его смятенного сознания. И все усилия Квентина направлены к тому, чтобы укротить этот поток, гармонизировать его, ввести в русло.

Но хаос и разлад наступают со всех сторон. Мифы рушатся, компсоновская «южная» идея оказывается безжизненной фикцией. Катастрофа неотвратима и непоправима. Чтобы вернуть себе ощущение сбалансированности и цельности бытия, которым так манила «южная» идея, Квентин должен осуществить неосуществимое — остановить ход времени. «Но от времени за час какой-то не отделаешься — ведь тысячелетия вживался человек в его монотонную поступь». Сломанные Квентином стрелки часов — это жест капитуляции, а не торжества в заведомо безнадежной его борьбе со временем. Герой-«идеолог» оказывается таким же беззащитным перед распадом, как и герой-«мечтатель».

Но вот на сцену выступает персонаж совсем другого плана — Джейсон, герой-«практик», человек, для которого Кэдди — всего лишь шлюха, а давно покоящийся на кладбище Квентин — не более чем психопат. Человек, как будто сумевший освободиться от бремени «южного» миросозерцания, вполне приладившийся к новым временам и усвоивший их грубо утилитарный — «без сентиментов» — подход к жизни.

Тон повествования меняется еще раз, делается спокойнее, будничнее. В сознании Джейсона — а это тоже по-своему законченная и внутри себя в чем-то оправданная система — все разложено по полочкам и снабжено соответствующим ярлыком. Никакой «мечтательности», никакого горения за «идею»; компсоновский «рок» может быть изжит только самодисциплиной, трезвым расчетом, следованием везде и во всем закону практической пользы. А соображения пользы — так уж устроен мир — могут потребовать и жестокости по отношению к своей же родне, и лжи, и неразборчиво-

сти в средствах. Дело, что называется, житейское.

В исповеди Джейсона явственнее, чем в первых частях книги, ощущается присутствие Фолкнера. В финале романа, где писатель берет функции рассказчика в свои руки, именно Джейсон развенчивается последовательно и окончательно. Такое отступление от принципа, которым Фолкнер руководствовался в исповеди Бенджи и Квентина, нелепо было бы ставить писателю в упрек. Тем более что поражение Джейсона в его попытках остановить распад культом практицизма художественно обосновано задолго до финала. И обосновано не только тем, что при всем своем практицизме Джейсон не сумел предотвратить бегства Квентины, повлекшего за собой — как некогда бунт ее матери — крах компсоновской «упорядоченности». Оно обосновано прежде всего тем, что с навязываемой Джейсоном утилитарностью не мирится ни одно духовно еще не омертвевшее существо в его доме. Исповедуемая им целесообразность ведет лишь к стремлению опрокинуть, взорвать ее любой ценой, расшатывая и без того давно ослабшие узы компсоновской общности. И не признать этого фолкнеровский герой-практик не может.

«Мечтательство», служение «идее», практицизм — все эти глубоко и объективно исследованные в «Шуме и ярости» формы противостояния распаду оказываются на деле формами капитуляции перед распадом. На протяжении почти всего романа Фолкнер как будто нигде прямо не вмешивается в спор своих героев, по-разному осознающих судьбу девочки, которая когда-то смотрела с груши на похороны бабушки, поразному осознающих свое назначение в рушащемся мире вокруг них. Но есть в этом споре трех еще и четвертая, авторская, позиция. Она заявлена не только в финале книги — она провозглашена самой творческой задачей, которую Фолкнер перед собой в этой книге поставил. Все творчество Фолкнера проникнуто жаждой восстановить целостность мира и гуманность связей между людьми. Они не могут быть восстановлены без самого скрупулезного, бескомпромиссного и глубокого анализа социально-психологического механизма процессов распада и форм отчуждения человека от себе подобных и от собственной своей человеческой сущности. Чем бескомпромиссней такой анализ, тем труднее его материал, тем сложнее, разнообразнее и — часто — необычнее его художественный инструментарий. В дальнейшем Фолкнер, как уже было сказано, добивался большей гармоничности и простоты повествования, чем в «Шуме и ярости». Но решает не сама по себе сложность и необычность использованных в произведении средств; решает конечный итог, то впечатление, которое читатель вынесет из книги. Итогом «Шума и ярости» явилось утверждение гуманистической позиции человека и гуманистического идеала художника. Этим определяется значение книги Фолкнера, которую мы теперь прочли.

◆

Писатель и время

МАРИН ПРЕДА

ВОЗВРАТА БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

Составление, предисловие и перевод с румынского М. ФРИДМАНА

Спросите о наиболее примечательных явлениях культурной жизни Румынии в последнее время — и среди лучших книг вам непременно назовут сборник Марина Преды «Возврата быть не может». Не роман, не поэму, не труд критика, а сборник эссе и очерков о писательском труде, о судьбах современного искусства.

Тираж первого издания (1971), а затем и второго (1972) разошелся в течение нескольких дней. Между тем ничего сенсационного в сборнике не было: он, в сущности, лишь свел воедино заметки и очерки писателя, опубликованные на страницах молодежного издания «Лучафэрул».

В чем причина такого читательского успеха?

Опубликовав сборник рассказов, а затем роман на сельскую тему («Семья Моромете», 1955 г., русский перевод — 1961 г.), Преда сразу выдвинулся в ряд маститых «деревенских» писателей. И это в литературе, представленной такими блестящими бытописателями деревни, как Крянгэ, Славич, Ребряну, Садовяну. С уверенностью зрелого мастера узаконил он в искусстве Румынии нового героя, крестьянина-философа, мечтателя, атеиста, подлинного деревенского интеллектуала. Привычная для прозы «сугубо аграрной Румынии» (излюбленный термин буржуазных экономистов) проблема «пахарь — земля» перерастала в его произведениях в проблему «земледелец — окружающий мир», «земледелец — история». Это открывало неведомые прежней румынской прозе возможности воссоздания тревожной атмосферы кануна второй мировой войны, тяжких военных лет, поисков путей в годы становления народной власти.

Многие были затем удивлены кажущейся внезапностью обращения писателя — после шумного успеха «Семьи Моромете» — к изображению жизни городской интеллигенции. Но ничего удивительного в этом не было. Преда — выходец из крестьянской семьи, но никогда не ограничивает себя бытописанием деревни. В «Расточителях» (1962), знакомых советскому читателю по русскому переводу, и особенно в романе «Чужой» (1968), описаны драмы людей, которые пытаются идти в ногу со своей эпохой, но слишком наивно и упрощенно представляют себе ее закономерности. Столкновение с реальностью потрясает их до основания, но не ломает. У них достает сил, душевного здоровья, чтобы начать новый диалог с эпохой.

В сборнике очерков-раздумий «Возврата быть не может» диалог с историей ведет сам автор. Ибо, по его мнению, «сегодня размышлять о существе писательского дела не менее актуально, чем о судьбе человека вообще». Сами заглавия очерков говорят о том же: «Размышления о будущем», «Неизбежность обращения к действительности», «Писатели и великие общественные сдвиги», «Что мешает чтению», «Новизна человеческих типов», «Творчество и нравственность», «Истина и вымысел» и т. д.

О настоятельной необходимости такого разговора напоминала сама жизнь, ход развития литературы и искусства Румынии в последние годы. Это вновь подтвердила широкая дискуссия, проведенная во второй половине 1971 года. Об этом же говорили многие делегаты конференции Союза писателей СРР в мае 1972 года. Пожалуй, никогда еще социалистическая Румыния не знала такого широкого обсуждения нравственных функций искусства, диалектики традиции и новаторства, «старого» и «нового» в литературе.

Преде одинаково чужды и «певцы пастбищ, чувствующие голыми пятками приток земных соков», и утонченные знатоки всевозможных «измов», зовущие к пустой иг-

ре форм, освобожденных от человеческого содержания. И те и другие для него — «словоплеты». Он признает необходимость постоянного обновления и обогащения арсенала писательских средств, но не за счет отказа от живых связей с действительностью, с эпохой. Напротив, по его мнению, новаторство неотделимо от тех огромных возможностей, которые открывает перед писателем обращение к действительности. Среди литературных образцов он прежде всего называет произведения крупных реалистов XX века. Да и сама книга Преды — уверенное, богато аргументированное выступление в пользу реализма, против «эвазионистов», предпочитающих каждодневному общению с жизнью схимнические кельи формализма.

Бесспорные истины? Возможно. Но когда эти истины становятся предметом размышления самобытного художника, они получают новое наполнение.

СОВРЕМЕННАЯ УТОПИЯ

Известный американский экономист Голбрэйт предлагает развитому капиталистическому миру замедлить ритм экономического развития, мотивируя это тем, что принцип потребительского общества противен естеству, он мешает человеку по-настоящему радоваться богатствам жизни. Оказывается, теперь у райских врат святой Петр уже не спрашивает, какие добрые дела совершили люди на земле, кого одарили счастьем; его интересует другое: каков вклад каждого в увеличение валового национального дохода. Увеличение потребления не может дать высшего счастья по той простой причине, что человек руководствуется не своими потребностями, а подсказкой навязчивой рекламы.

Однако, если бы дело обстояло таким образом, выход был бы прост: прекратить рекламную шумиху. Но все гораздо сложнее: для подавляющего большинства людей потребление — эталон жизненного успеха. Чем больше потребляет человек продуктов и вещей, тем выше, стало быть, его общественное положение. Разумеется, бедняки при этом в расчет не принимаются.

Это напоминает мне случай, происшедший в одном из наших уездов: на пирушке, устроенной подчиненными на средства кооператива, некий заправила местного значения, наевшись до отвала и придя в веселое расположение духа, начал играть в футбол, используя вместо мяча... жареных цыплят. Разумеется, его тут же освободили от работы — уж слишком оригинален был этот способ демонстрации потребительской пресыщенности. Другие поступают иначе, втихомолку наслаждаясь богатствами, принадлежащими всем остальным.

Так было испокон веков! Сразу видно, что американский экономист живет в стране, едва насчитывающей несколько столетий существования. Ибо чего он, в сущности, добивается? Изменения оптики человеческого сознания. Чтобы, скажем, роскошный «кадиллак» показался вдруг людям смешным, вызывал бы такое же отношение, как двухколесная тележка, запряженная ослом, на которой вам бы вздумалось вдруг отправиться на работу или на воскресную прогулку в столичный парк Бэняса с женой или любимой. И не потому, что «кадиллак» вышел из моды, а просто в результате того, что люди поняли, сколь глупо было само желание приобрести его. Это, так сказать, первая фаза, а уж смех придет позднее, при одном воспоминании о том, каким кумиром была для нас эта машина.

Есть что-то свежее, бодрящее в этой мечте идеалиста, предлагающего нам возвышенную в своем роде утопию. И все же это не более чем утопия, ибо человек никогда еще не добивался улучшения условий жизни путем добровольного отказа от каких-нибудь достижений. Напротив, он всегда стремился использовать их до конца, даже в том случае, когда последствия могли оказаться печальными. Это единственное средство убедить его, вернее, заставить очнуться от собственного потребительского угара. Цель людей в этом мире, утверждает наш мечтатель,— не потребление, а радость бытия. Но в том-то и суть радости бытия: нам хочется получить этот «кадиллак» или в крайнем случае «дачию-1300», ибо пока мы не определим в точности истинное содержание этой радости, наши желания будут связаны с предметами, существующими в мире, и их удовлетворение станет нашей целью даже в том случае, если это приведет к глубокому несоответствию между трудом и потреблением, иными словами, даже если мы обнаружим, что наше счастье отнюдь не обусловлено тем, что мы работаем все больше, чтобы потреблять все больше.

Все это так, но что тут можно поделать? Люди еще далеки от подобной мудрости, работники заводов или министерств не будут собираться ежеквартально или ежегодно только для того, чтобы с удовлетворением констатировать, что никакого развития в их коллективах не произошло, что ритм увеличения продукции остался прежним, что численность служащих не изменилась, продвижения по службе самые незначительные, заработки застыли на прежнем уровне, а ценности, созданные коллективами заводов, нисколько не увеличили общенародного богатства.

Мы, напротив, исходим из того, что свободы и счастья невозможно добиться, если мы не освободимся от материальных нужд. Пусть порой возникают бессмыслен-

ные ситуации, когда иные среди нас, сбросив с плеч заботу о материальных благах, используют в качестве мячей жареных цыплят,— это отнюдь не означает, что все люди освободились от этой заботы, что человечество уже располагает в необходимом количестве больничными койками, медикаментами, бесплатным медицинским обслуживанием, бесплатным хлебом, книгами и другими духовными благами. Ясно, что этот мир, в котором часть людей задавлена лишениями и заботами, а другая мечтает похоронить автомобиль под звуки лицемерных песен, между тем как во многих уголках мира матери теряют детей только потому, что не на чем везти их в ближайшую больницу,— плохо устроенный мир. И в этом плане идеалистический призыв американского экономиста — при всей своей иллюзорности — не лишен притягательной силы, ибо хотя бы косвенно напоминает о пользе умеренности, о необходимости борьбы за возвращение к первоначальным источникам жизни. Тем более что эта иллюзорность не мешает автору констатировать: в большинстве своем блага, принесенные экономическим развитием капиталистического мира, достаются богачам и необходимо рационально перераспределить эти блага.

От себя добавим, что именно это и есть единственно неотложное, революционное решение вопроса.

О ЛИТЕРАТУРНОМ И СОЦИАЛЬНОМ БЕГСТВЕ ОТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Помню, я как-то уже высказывал свое возмущение так называемыми «словоплетами», которые, в отличие от писателей, занятых жизненными проблемами, довольствуются тем, что покрывают страницы потоками ничего не значащих образов и строк. Мне кажется, что я нашел, наконец, для них более подходящее название: писатели-«эвазионисты».

Не буду столь опрометчив, чтобы называть здесь имена или произведения, ибо никто не может поручиться, что в сегодняшнем «эвазионисте» не скрывается завтрашний певец действительности. Но сама болезнь заслуживает того, чтобы ею заняться. Итак, в чем она состоит? Само ее название уже говорит о нарочитом, запрограммированном игнорировании реальных, наболевших проблем нашего времени и нашего общества, об уходе с помощью слов и образов в мир фантазии, абсолютно чуждый тому, что волнует даже самого писателя-«эвазиониста», не говоря уж о его современниках.

Один из наших прозаиков, автор книги, мало связанной с действительностью наших дней, удостоился со стороны критика, всецело погруженного в чисто эстетические проблемы, примерно следующего замечания: «Я открыл твою книгу и сразу наткнулся на слово «товарищ». Такая книга меня не интересует». Вот что сказал наш критик.

Что же его в таком случае интересует? И в какой мере конкретный факт, привязывающий книгу к определенной эпохе и определенному месту, противоречит эстетическому идеалу?

Что случилось, как могли мы докатиться до подобных наивных и беспомощных позиций?

Допустить, что подобные писатели и критики, сторонники бегства от действительности, не знают и не понимают истории? В это трудно поверить.

Ион Бэешу написал новеллу «Ускоритель». Герой, болезненный, хотя в общем-то вполне нормальный человек, перенес душевную травму, да и то не очень серьезную. Однако для него случай этот имеет решающие последствия. Ему перестает нравиться все, что происходит вокруг, он теряет не столько доверие к среде, подвергшей его тяжелому испытанию, сколько духовные силы, нужные для того, чтобы бороться с этой средой, с некоторыми ее идеями и концепциями. Замкнувшись в своем мирке, он уверяет себя, что не в силах пробить себе дорогу, что все пути для него заказаны, и тогда он придумывает особый способ отсчета времени: он ускоряет или замедляет по своему желанию бег мгновений, отказывается делать что-либо даже для самого себя. Иными словами, он заболевает именно той болезнью, которую я назвал «эвазионизмом». Отличный рассказ, затрагивающий одну из самых злободневных проблем нашего времени.

В самом деле, давайте подумаем: не является ли это литературное бегство отражением некоего социального «эвазионизма»? Не свойственно ли это явление некоторой части нашего общества?

Но перейдем из области литературных дискуссий к конкретным фактам. Вот случай, на первый взгляд незначительный, но поразивший меня не меньше, чем рассказ Бэешу. Это произошло много лет тому назад. Помнится, я стоял в очереди за обувью для матери. Добротная, дешевая обувь, но, как бывает подчас с такими товарами, ее явно не хватало. Было девять часов утра, стояла зима, а перед магазином выстроилась длинная очередь людей, ожидавших продавца и того момента, когда откроется магазин. Наконец, около половины десятого пожаловал и он, хорошо одетый, в отличном настроении и, не удостоив нас даже взглядом, сделал в нашу сторону неопределенный жест, который тут же вслух и пояснил: «Стоите? Ну что ж,

стойте себе на здоровье. Да, я пришел, но торговать сразу не стану, у меня другие дела».

И действительно, он открыл магазин снаружи, а затем запер его изнутри. Тут я не выдержал, вышел из очереди и стал дергать дверь и стучать по ней ногами. Он сразу же появился, по-прежнему невозмутимый, и тут на нас обрушился целый поток возмущенных криков. Но, к моему изумлению, относились они не к нему, а... ко мне. Почему? Сперва я даже не мог понять, в чем дело. Потом уразумел, что за моей спиной находилось немало граждан, которые, по каким-то непонятным для меня соображениям, считали совершенно нормальным поведение продавца и ненормальным мое. Вот почему они протестовали. Я, несомненно, имел дело с самыми настоящими «эвазионистами».

Какова механика этого явления?

Что происходит, когда, казалось бы, так просто в определенных ситуациях сказать «нет» или «да», для того чтобы что-то изменилось или произошло?

Захваченный тем, что он видит вокруг себя, писатель может прорубить скважину в глубины мира, в котором он живет, изучить его параметры и с чистой совестью предложить нам если и не ответ — это ведь иногда так легко сделать,— то хотя бы возможность увидеть со стороны нашу жизнь со всеми ее тайнами и трудно решаемыми задачами. И тогда он может быть уверен, что последствия его творческого поступка окажутся поистине удивительными.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Не так-то просто представить себе реплику оппонента. Кто захочет добровольно признать себя носителем болезни, которую я пытаюсь здесь описать! Почувствовав себя задетым, писатель прежде всего будет отрицать, что это болезнь, и кончит тем, что не согласится с диагнозом.

Никто не согласится вести подобный спор. Да и вообще, в той плоскости, в какой я ставлю вопрос, писатель и разговаривать со мной не захочет. Почему? Да потому, что мне сподручно ставить вопрос именно в такой плоскости, а писателю-«эвазионисту» — нет. Итак, чтобы извлечь побольше пользы из нашей дискуссии, попытаемся понять внутренний, философский и эстетический ход мысли художника, не признающего тот род литературы, который мы защищаем.

Этот художник мыслит примерно так: «Я погружаюсь в глубины своего внутреннего «я». Ощущение незыблемого мира обволакивает меня, я испытываю высочайшее духовное наслаждение при мысли, что пишу книгу о чистом человеке, который, засунув пальцы под мышки, отметает всякие там проблемы и истины, хотя прекрасно сознает, в какую эпоху мы живем. Это «человек в себе», далекий от действительности, причем не только социальной — о ней вообще разговора быть не может (помнится, во время оно, когда издатель выпускал роман «а-ля Золя» о восстании горняков, он писал в подзаголовке нечто вроде извинения: «социальный роман», иными словами — книга особого рода, имеющая своих почитателей, которых таким образом оповещали, что интересующий их товар появился на рынке). Нет, речь идет не о социальных отношениях, а об естественных — назовем их вечными — отношениях между одной личностью и другой, или еще того меньше, между личностью и окружающими ее предметами или солнцем, согревающим ее. Но можно ограничиться и меньшим. Пусть это будет личность, не связанная никакими отношениями. Разве в таком подходе мало наслаждения? У нас между тем,— думает означенный выше художник,— укоренился весьма цепкий предрассудок, что литература должна непременно обсуждать проблемы совести. Конечно, она может заниматься ими, но зачем же непременно? Кто так решил? И прежде всего, кто постановил, что при этом единственной возможностью является показ отношений, то есть обоснование драмы или счастья человека неизбежностью связей между отдельными личностями или между личностью и обществом? Явный предрассудок, от которого стремится освободиться все большее число писателей. Человеческие проблемы должны рассматриваться по-новому! Давайте абстрагируемся от неизбежности отношений и заставим героя заглянуть в себя и открыть там все то, что у него еще осталось. Разве не интересно знать, что еще остается у человека, когда он допускает эту абстракцию? И если что-нибудь еще остается, то разве это не его собственная, абсолютно свободная территория, между тем как область отношений отягощена всякими условностями? Неужто кто-нибудь полагает, что нет смысла обследовать эту область абсолютной свободы? И разве мало привлекательного в том, чтобы выяснять писательскими средствами, отрицая каждой фразой предыдущую, существует ли эта область, а если да, то всячески культивировать ее? В конце концов, что же такое сулит человеку мир неизбежных отношений? Вечные конфликты с любимой, с семьей, с некоей группой индивидов или с обществом в целом? Конфликты, разъедающие жизнь и принуждающие человека блуждать, наподобие короля Лира, в зарослях собственных ошибок, несправедливостей, не заслуживающих прощения? Конфликты, которые литература изображала с самого своего зарождения и о которых она сказала уже почти все, что можно сказать? В самом

деле, чем же кончил такой человек, как ваш герой Илие Моромете, эта подлинная жертва социальных отношений? Его, умирающего, отвозят домой на тачке... Его, влюбленного в этот мир, в землю, в коней, которые обрели для него почти метафизическую сущность... Какой смысл создавать героев, которым уготован столь печальный конец? Нет, мы должны решительно оберегать литературу от таких кризисов — ведь каждому ясно, что литература социальных отношений переживает подлинный кризис. Она, а не наша литература, столь несправедливо названная «эвазионистской».

Но тут я позволю себе прервать эти рассуждения. Откуда это чувство тревоги? Да, вспомнилось. Ведь были когда-то некие государства, где не только литераторы, но и все многомиллионное население рассуждало в том же духе. Жители, смеясь, бросали золото чужакам, ступившим на их землю. Конфликтов между этими жителями почти уже не возникало, им удалось исключить их из жизни, открыть абсолютную область внутри себя. Чужеземцы легко добрались до самого царя, захватили его в плен (их было немного, этих чужаков, всего несколько сотен) и потребовали выдать им все богатства, а получив их, убили царя и принялись уничтожать все ангелоподобное население, которое давно уже забыло о неизбежности отношений. Разумеется, уничтожили не всех, кому-то надо было добывать золото, оставшееся еще в недрах. Затем сюда были направлены миссионеры, вооруженные библией, и они-то и обнаружили, изучив странные обычаи жителей сих мест, что те настолько углубились в изучение своего абсолюта, что назрела реальная необходимость звонить в полночь в колокола, дабы напомнить мужчинам об их супружеских обязанностях.

Это не писательские выдумки, а свидетельство специалиста, изучившего историю этих империй. Империй, уничтоженных конкистадорами.

Что же до нас, румын, то я знавал некогда мыслителя, который утверждал: «Наш баде Георге всегда бойкотировал историю».

Предположим, что такой баде Георге существовал на самом деле. Предположим, потому что в действительности его не было. Уж не в Ровине ли он бойкотировал историю? Или в Подул Ыналт, Кэлугэрень? Под Плевной? В горах Татры? [1]

Вернее было бы сказать, что сама история всегда водила за нос нашего баде Георге, а он, наблюдая за ее уловками, научился быть хитрее ее, дабы как-нибудь выпутываться из трудных положений. Тем самым он повергал не раз в изумление многих жителей нашего континента, которые никак не возьмут в толк, как мы еще существуем, кто мы такие и что вообще с нами происходит. И в конце концов, что же представляет собой эта самая Румыния?

Но обратимся снова к нашему баде Георге, великому саботажнику истории. Что он ей такого сделал, истории? Какие неприятности причинил ей? Изменилось ли что-нибудь в ее ходе после того, как он повернулся к ней спиной? Если бы и история поступила таким же образом, то есть повернулась бы спиной к баде Георге, у нас были бы основания радоваться. Вот ведь какой хитрец, заставил-таки богиню обрушить свои бедствия на другие части света, его же земля осталась нетронутой, и на ней веками только и слышно что напев свирели и мирные песни, в которые вплетается шорох муравы да шум пасущихся стад.

Но ведь на этой земле лились потоки крови, а пресловутого баде Георге, саботажника истории, и в помине не было.

Кто-нибудь может задаться вопросом: неужто литература до того важна, чтобы постоянно обращаться к ней с подобными предостережениями? По нашему глубокому убеждению, это так. Даже если кое-кому, под влиянием тех или иных разочарований, угодно отстранить ее от выполнения своей миссии, приуменьшая силу воздействия литературы, мы вряд ли легче справимся с нашими разочарованиями. Ведь они-то не связаны с литературой. Почему же в таком случае страдать должна она?

Не искусство, живописующее отношения между людьми, потеряло свою ценность, а те писатели, которые фальсифицировали его. Разумеется (и я уже говорил об этом по другому поводу), слишком громоздкие задачи душат литературу, превращают ее в абстракцию. Так же, как и слишком мелкие задачи делают ее аморфной, сводят до уровня анекдота.

Можно ли оторвать литературу от беспощадной диалектики действительности? Можно, наверное. Но пусть те, кто жаждет этого, знают: настанет час, когда их сон, населенный красивыми или гротескными видениями, нарушит колокольный звон, напоминающий о неизбежности отношений.

КНИГИ ВО ВЛАСТИ ВОЛН [2]

Как и всем нам, масштабы катастрофы открылись мне не сразу, а постепенно, опосредованно.

Жестокостью своей подобные потрясения возвращают писателей из сферы воображаемого в реальный мир и заставляют понять, сколь ограничены возможности

[1] Места кровопролитных боев за независимость Румынии.

[2] Очерк навеян событиями 1970 г., когда многие районы Румынии пострадали от наводнения.

искусства. В самом деле, много ли проку от книг, если они так легко становятся добычей волн? Человек, создающий их, поневоле чувствует себя уязвленным: нет-нет да и задумается: не мог бы он оказать людям большей услуги, чем писать свои произведения? И все же, вопреки этим горьким истинам, именно в такие дни постигается непреходящая ценность творений искусства. Конечно, книги могут быть уничтожены. Библиотеки могут стать добычей волн. Но в эти часы с особой очевидностью сказывается воздействие произведений на сознание людей. Это они воспитали в людях смелость, дух самопожертвования, чувство солидарности, самоотверженность, бесстрашие, готовность схватиться с самой смертью.

Есть ли искусство, которое в подобных обстоятельствах почувствует себя ненужным? Верно ли, что в такие часы музы молчат? Чтобы ответить на этот вопрос, представим себе следующую картину (впрочем, я не совсем уверен, что не наблюдал ее на самом деле). Итак, катастрофа — наводнение, пожар, землетрясение. Очевидец, стоящий недалеко на возвышении, без труда определяет, как бы следовало поступить жертвам несчастья, а между тем они мечутся в ужасе, издают душераздирающие крики — и не потому, что охвачены паникой (панику можно было бы еще понять), а просто из-за отсутствия порядка и взаимопонимания, из-за пустой траты сил, беспомощности, вызванной распадом ядра коллективности. «Эти люди совершенно не подготовлены к неожиданному испытанию,— говорит очевидец.— Почему же так случилось? Как они жили до этого? Как они не понимают, что будь они объединены, организованы, тогда те, кого несчастье не коснулось, не стояли бы в стороне, надеясь, что чаша сия минует их? Можно ли после этого говорить о цивилизованности такого общества?»

Я бы на эти вопросы ответил так: в этом обществе либо нет искусства, либо оно заменено абстрактной игрой воображения. Конечно, вымысел в искусстве прекрасен. Конечно, без него искусство гибнет. Но искусство — нечто большее, чем просто игра воображения. Во всей своей таинственности и полноте оно проявляет себя лишь тогда, когда сочетает воедино силу человеческой фантазии со стремлением человека к нравственному совершенству.

Кто не почувствовал себя взволнованным на всю жизнь, прочитав рассказ о маленькой девочке, росшей среди чужих людей, о том, как они мучили ее, посылали глубокой ночью в темный лес за водой — напоить коня? Она изнемогает от непосильной тяжести, и тут вдруг чья-то рука берется за дужку ведра, и оно становится совсем легким. Девочка поднимает глаза и видит рядом мужчину, который ласково успокаивает ее. Даже забыв конкретное содержание прочитанного, миллионы людей навсегда сохранили в душе чувство, пронзившее их в те минуты, и всегда поспешат на помощь ребенку, оказавшемуся в беде. Подобные чувства не властна стереть самая грозная катастрофа, и искусство, породившее их, никогда не будет ненужным.

Об этом я думал, осматривая разрушенную потоками Клужскую улицу в городе Сигишоаре, скользя в лодке-амфибии над затопленными домами села Вэдень близ Брэилы.

...Я стою на пристани Галаць. В двух шагах — водный разлив. Дамба из песка, веток, мешков с землей вселяет чувство успокоения. В речном порту обычная вокзальная суета. Внимание мое привлекает женщина с ребенком на руках. Она хорошо одета, младенец здоров. Но в выражении ее лица есть что-то от человека, недавно перенесшего острый приступ лихорадки: губы потрескались, ноздри воспаленные, глаза блестят. Она скупо объясняет мне, что живет — вернее жила — в селе Балдовинешть, куда переехала из Писики, где часты наводнения, и построила там дом. Теперь ни дома ее, ни села Балдовинешть нет — потоки стерли с лица земли. Ничего не удалось спасти, только детей. Она рассказывает все это спокойно, голос даже не дрогнет, словно это самые обычные дела. Ну переехала, ну был дом...

Мне думалось, что и я отнесусь так же спокойно к услышанному. Но стоило мне отойти на несколько шагов, и острое волнение охватило меня. Да я ли один испытал подобное! Это какое-то ощущение неожиданной близости, все разделяющее нас исчезает куда-то, стоящее перед тобой существо — все равно что сестра тебе, мать. Почему же не бывает так всегда? Почему должно случиться несчастье, чтобы почувствовать, вспомнить, что вне зависимости от того, кто мы, прежде всего мы — просто люди?

Эти сестры наши рассказывают без громких слов, как они соберут своих детей и начнут все сначала. Они говорят с тем спокойствием, которое вселяет в них инстинкт жизни, переросший у многострадальных дочерей нашего народа в нравственный долг, ибо они понимают: надо жить не только потому, что это тебе нравится, а просто потому, что надо жить.

Столь же неожиданным оказался для меня и облик Галаць и Брэилы: теперь жизнь вошла в нормальное русло, но мне рассказывали, что в самые трудные дни, когда бедой угрожал не только разлив, но и ветер, срывавший с лопат комья земли, люди, стоя по пояс в воде, спинами подпирали — в самом буквальном смысле слова — рушившуюся дамбу. И стояли так столько времени, сколько требовалось, чтобы восстановить разрушенные участки. Мне в этом видится символ нашей готовности противостоять любой стихии. Почему? Да потому, что эта готовность объединяет всех нас, благодаря ей мы познаем себя как личности и как нация. Потому что, возможно,

таким образом мы превратимся в людей ясного ума, готовых выдержать без паники любое испытание.

РАЗРОЗНЕННЫЕ МЫСЛИ

Как мы пишем

Читателя всегда интересовала психология творчества. Как мы пишем? Наш поэт Аргези рассказывает, что Славич[1], находясь в тюрьме и узнав от надзирателя о своем освобождении, попросил продлить пребывание в камере на несколько дней, чтобы закончить начатый рассказ. Не помню точно, сколько лет было тогда нашему классику, кажется около семидесяти. По сравнению с этим подвигом мой поступок, состоявший в том, что в девятнадцать лет я написал рассказ в уличной сутолоке по соседству с площадью Бэлческу, там, где теперь высится здание нового Национального театра, наверное, не заслуживает даже упоминания...

Я предпочитаю рассказывать подобные вещи о других и остерегаюсь признаний, касающихся меня самого. Действительно, остерегаюсь, ибо считаю, что теперь не время для таких признаний. Исповедь предполагает спокойствие духа, возможность оглянуться. Между тем я чувствую, что сегодня от писателей моего поколения ждут не исповедей, а произведений.

Правда и вымысел

На встречах с писателями читатели неизменно задают вопрос, что соответствует действительности и что вымышлено в их произведениях. Ответы чаще всего вызывают разочарование. Ведь читателю, очевидно, хотелось бы узнать, существует ли оно на самом деле, это таинство творения, или нет. Узнав от художника, что он ничего не придумал, читатель сразу делает вывод: ага, стало быть, писатель услышал о каком-то случае и перенес его на бумагу. Проще простого... А если все выдумано художником: ага, значит, все это сплошные небылицы!

Я слегка осложнил ситуацию, предложив читателям следующий ответ: истинными являются чувства, обстоятельства же придуманы..

О словоплетах

Что такое писатель-«словоплет»? По моему убеждению, это наделенный литературным талантом человек, которому нечего сказать. Потому-то он и занимается плетением словес на любую тему, и прежде всего на темы любви и природы. Конечно, он может обратиться и к другим аспектам действительности, но делает он это без всякого энтузиазма, ничуть не скрывая, что ему не по нутру заниматься анализом или другого рода чепухой, ибо при этом он убеждается, что людей описывать трудно — какие-то они верткие, не стоят на одном месте, суетятся в обществе, передвигаются сложными, непонятными путями, и нет смысла пытаться понять мотивы их поступков. (В этом отношении такие писатели напоминают героиню рассказа, экранизированного знаменитым Хичкоком: она не могла рисовать движущиеся предметы. Если дерево гнулось под порывом ветра, она срубала его; если это было животное, она умерщвляла его. В конце концов она собралась было убить собственного племянника, но тут ее и сцапали.)

Что мешает чтению

Я предпочитаю писателей, при чтении произведений которых не испытываю ставшее столь частым теперь ощущение, что вместо того, чтобы выйти на простор и дышать полной грудью, сижу взаперти и понапрасну трачу драгоценное время. Ни один из моих любимых писателей не заставлял меня раньше так ценить собственное время, дни моей жизни. Хорошая страница меня вполне вознаграждала, ее было достаточно. Теперь мне нужно, чтобы вся книга была хорошей...

Что мы будем читать завтра?

Что мы будем читать завтра? Куда идет современный румынский роман? Чтобы ответить на эти вопросы, надо прежде всего выяснить другую проблему: каковы судьбы литературы вообще в наши дни. Иными словами, какое место она занимает в душе читателя, какое значение сохраняют для него эстетические ценности? Остается ли она прежней властительницей в мире духа, как это было в минувших столетиях? Может ли сегодня кто-нибудь писать, подобно Сент-Бёву, мемуары объемом в 10 000 страниц и быть при этом уверенным, что его сочинения заинтересуют читательскую публику? И это в век, когда ничто не в силах укрыться от всевидящего

[1] Ион Славич (1848—1925) — крупный румынский прозаик.

ока репортеров, телекамер, кинодокументалистов, когда самые разоблачительные документы уже не лежат мертвым грузом в секретных архивах? В состоянии ли писатель соперничать с прекрасно организованной прессой, которая с такой оперативностью преподносит читателю самые сенсационные разоблачения? Может ли он еще рассчитывать на то, что психология читателя осталась прежней, что тот, как и в старые времена, готов поглощать сотни страниц писательских выдумок, когда действительность превосходит любой вымысел?

Первая половина нашего столетия отмечена небывалыми потрясениями, человек оказался участником трагических событий, а если и не участвовал в них сам, так ему об этом рассказали и продолжают рассказывать в мельчайших подробностях на страницах иллюстрированных журналов, поражающих четкостью изображения и цветовой гаммой фотографий, в кинофильмах, где гул орудий кажется почти что настоящим, а каждый взрыв бомбы заставляет расширяться наши зрачки, как у подлинных участников войны. Что под силу роману, пусть самому удачному, когда есть столько других возможностей немедленно удовлетворить любознательность читателей? Что может добавить к этому литература? Какой еще выход возможен в подобной ситуации?

Вполне вероятным представляется мне такой вариант. Самолюбивый художник предпочитает оставаться на позиции XIX века. В его представлении все треволнения нашего столетия не имеют ни малейшего отношения к творчеству: самое разумное, что может сделать писатель, это продолжать спокойно свое дело, вверяя бумаге плоды воображения, словно ничего и не произошло. Но действительно ли ничего не произошло? Вот в чем вопрос... Писать по-прежнему, конечно, можно, но где взять уверенность, что в этих условиях удастся вызвать хотя бы малейший отзвук в душе людей?

Другой выход прямо противоположен первому. Литература, связанная с историей, с конкретными событиями, потеряла всякий смысл, говорит писатель. Так выбросим из наших сочинений все, что напоминает о войне, о движении масс, об общественных отношениях. Литература — искусство письма, так давайте же писать, сочинять что угодно и как угодно, только бы отойти подальше от старого реализма. Пусть ты увлекся и сочинил занимательную историю, перестрой ее, перекраивай таким образом, чтобы она становилась как можно менее понятной. Вот тогда посмотрим, смогут ли соперничать с нами пресса, кино, телевидение... Все это так, но весь вопрос в том, читабельна ли подобная литература, не вызовет ли она смертельной скуки у читателя.

И наконец, третий путь предлагают писатели, которые не игнорируют ни силы документов, приковавших к себе внимание нынешнего читателя, ни громадных информационных возможностей прессы, снимающей, так сказать, пенки с событий. Такие писатели не пытаются описывать уже знакомые события, но и не отворачиваются от них. Они стремятся победить иным путем, вступая в схватку и выигрывая ее оружием противника. Каким образом? Прибегая к силе обобщения, которой не обладает ни грубый факт, ни репортаж с места событий, пусть даже самый сенсационный...

ПИСАТЕЛЬ И СЛОВО

Наверное, никогда еще разговор о сущности писательского дела не был столь актуален, как в наши дни. Конечно, иному читателю хочется, чтобы идеи, воплощенные в динамике событий, были выражены как можно короче, чтобы зрелищность описаний сочеталась с привлекательными образами и приятными писательскими рассуждениями. И при этом никаких намеков на конкретные условия нашей жизни. Человек, в конце концов, сам знает, что он подвержен болезням, что часто становится игрушкой истории, все равно, живет ли он в малой или великой стране и хочет он того или нет — ему придется оставить эту жизнь.

Почему же сегодня размышлять о существе писательского дела не менее актуально, чем о судьбе человека вообще? Очевидно, потому что писательским орудием является слово, доступное всем и каждому, между тем как скальпель послушен только рукам хирурга, логарифмическая линейка — только специалисту и т. д. Если что-нибудь угрожает профессиональным интересам рабочего, он может с гордостью заявить: «Никто не вырвет молот из моих рук!» Но может ли писатель с такой же гордостью заявить, что он единственный, настоящий хозяин слова? Хозяин, разумеется, не абсолютный, ибо таковых вообще не бывает, а лишь в той мере, в какой это необходимо для сохранения профессиональной гордости, для того, чтобы доверие к слову не пошатнулось.

Писатели нашего века, как, впрочем, и читатели, ошеломленно наблюдали за тем, как при помощи слова создавались колоссальные, примитивные, варварские мифы, вызвавшие затем невиданные трагедии, с таким количеством жертв и палачей, что только вид исцеленного человечества, готового к новым поискам — а разве не в этом любопытном обличье выступает мир сегодня? — может нас еще успокоить. Долгие годы радио, пресса, литература буржуазного мира извергали потоки лжи — и последствия оказались поистине страшными. Это чудо, что писатели нашего века не

выглядят вообще нищими, обобранными до нитки. Впрочем, многие из них прошли мученический путь, томились в концлагерях, иные пали от пуль карателей. Искусство их тоже не могло не пострадать. Престиж слова пошатнулся, и нынешним поколениям писателей приходится бороться за его восстановление в собственных глазах и в глазах читателей.

Вот почему некоторые полагают, как это ни парадоксально, что можно идти другим путем — путем отрицания неизменного значения того или иного слова. Для них слово — уже не та частица великих эпических или поэтических полотен, на которых герой или душа поэта в своем стремительном полете как бы сливается с всеохватным пламенем событий. В их представлении герой должен превратиться в антигероя, эдакую картонную или резиновую фигурку, в любом случае мертворожденную, причем автор цинично заявляет, что ему лично известен один лишь способ сотворения живых людей — в постели. В лучшем случае получается некая игра слов, отражающая — да и то не всегда — игру воображения, но лишенная прочных связей с миром человека, таким, каким он предстает перед нами в конкретной действительности. Что это? Форма ли протеста против оскудения слова? Попытка обновить его путем девальвации прежних ценностей? Это было бы высшим оправданием подобной позиции, и ближайшее будущее покажет, к чему эти люди пришли.

Другие, напротив, сохраняют наивную веру в силу слова и со спокойной душой громоздят нравоучительные повести и романы, твердо веря, что своего читателя они найдут и что сущность искусства и писательского дела ничуть не пострадала от неурядиц нашего века. Удобная сия позиция — явная иллюзия, она развеивается при первом же столкновении с действительностью. Подобные художники не дают ответа на вопросы, да они и не ставят их и даже не обладают умением скрывать свое нравоучительство под ворохом событий. Они не замечают, что средства, которыми они так усердно и наивно пользуются, стараясь растрогать душу читателя драмой больного птенца, покинутого родителями, становятся оружием в руках великих циников, которые, похлопывая авторов по плечу, призывают их продолжать в том же духе и меньше всего обращать внимание на дела современного мира. Слеза, исторгнутая у читателя, говорят они, стоит дороже трагедии, ибо последняя скорее отпугивает, чем убеждает.

Какова же истинная сущность слова и писательского дела, если отбросить эти крайние точки зрения? Каким бы ни был ответ, одно несомненно: писатель не должен покидать человека, даже если человек надоел сам себе и не желает видеть свое отражение в зеркале. Не всегда ведь приятно обнаружить, какой ты есть в действительности. Но и подняться на новые нравственные и духовные вершины, не зная, каким ты являешься на самом деле, тоже невозможно. В 50-х годах подобная мысль, унаследованная от наших предшественников, воспринималась многими как некая ересь. Человека нельзя изображать, какой он есть, говорили они, надо показывать, каким он должен стать. Тем самым искусство подчинялось некоему абстрактному кодексу византийской морали, который, как и следовало ожидать, мог обречь его только на сухость и слащавость. И когда! В годы великих социальных потрясений и невиданных преобразований...

Поднять престиж искусства можно только путем создания долговечных творений, чтобы слова легли, точно вытесанные камни, одно к другому, создавая прочное и внушительное здание. Иных путей нет и быть не может.

Искусство принуждает противников к сдержанности. Оно порождает в них суеверный страх, словно некое божество, которое, однажды родившись, уже не подвластно тлению. Мы должны умело пользоваться этим магическим свойством искусства, всячески развивать его, и тогда слово станет сильнее и положение писателя упрочится. Кто же, как не писатель, должен глубоко и страстно верить в бессмертие искусства?

◆

Публицистика

ИДЕИ МИРА В НАСТУПЛЕНИИ

Зарубежные писатели о внешней политике Советского Союза

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ

Однажды, когда мне было лет десять, к отцу в гости зашел его друг, и они принялись рассуждать о судьбах мира. И тот и другой — англичане, а посему под судьбами мира имели в виду, разумеется, судьбы Британской империи. Толковали они, толковали, пока, наконец, гость не произнес со вздохом, как бы подводя итог размышлениям о международных проблемах: «Самая-то загвоздка как была, так и осталась прежней — негр там затевает что-то у Кале, от этого все беды». Прошли годы, прежде чем до меня дошел истинный смысл этой глупой английской поговорки, но для поколения моего отца представление об «угрозе» миру в самом деле всегда было связано с идеей «Кале», то есть земли, расположенной на материке, за каналом. Для его, да и для моего поколения остальная часть Европы воспринималась прежде всего как поле сражений, на котором развертывались нескончаемые битвы за «равновесие сил» в Европе и империи,— и в этой борьбе Англия всегда обрушивалась или пыталась обрушиться на любую европейскую державу, которая позволяла себе оказаться слишком сильной, чтобы Британия могла с ней спокойно вести дела.

Нашу литературу и нашу историю на протяжении вот уже более четырех столетий питают драматические сплетения и коллизии британской политики так называемого «равновесия сил». Отзвуки этой драмы мы найдем у Шекспира, равно как и у великих французских писателей Бальзака и Виктора Гюго, которые блестяще воспроизвели в своих книгах интервенцию Британии против французской революции («Шуаны» и «1793 год»). Строго говоря, истоки современной английской политики «равновесия сил» в Европе и восходят ко временам французской революции и ее удушения.

Сначала Британия радовалась тому, что французские буржуа одержали верх во французской революции, но очень скоро — когда Наполеон повел свои армии по Европе, захватывая одну страну за другой,— она выступила против этих буржуа, увидев в них потенциальных соперников. Осуществляя в те времена политику «равновесия сил», Британия готова была взять себе в союзники любую страну, сопротивлявшуюся Наполеону, включая царскую Россию. Наполеон ни одного солдата ни разу не высадил на английской земле, однако Англия яростно сражалась против него на фронтах от Кале до Египта и лишь тогда отказалась от преследования, когда французскую буржуазию удалось в какой-то мере обезвредить.

С возвышением Германии в начале нынешнего столетия создалась совершенно новая ситуация. На этот раз Британия в качестве союзницы против новой могущественной и агрессивной европейской державы избирает Францию. Когда Германия потерпела поражение в 1918 году, была решена немаловажная проблема традиционной британской политики «равновесия сил» в Европе, тем более существенная, что она была неотъемлемой частью проблемы соперничества империалистических интересов.

Новый этап ознаменовала Октябрьская революция 1917 года. Для тех, кто дирижировал британской политикой, с самого начала стало ясно, что речь шла о появлении новой силы в масштабах не только Европы, но и всего мира, ибо это была одновременно и сила нового класса. Вот почему именно Британия направила войска интервентов против молодых Советских республик. И хотя интервенция не удалась, на время Британия удовлетворилась тем, что молодые Советские республики оказались настолько ослабленными, что с помощью всякого рода политических ухищрений и комбинаций, спешно затевавшихся в Европе в итоге бесчисленных международных конференций, она рассчитывала как-то с ними справляться.

Однако в тридцатые годы, когда из пепла и руин Версаля стала возрождаться нацистская Германия, британская буржуазия с некой озабоченностью обратилась к поискам новых способов продолжать старую игру в Европе. Исконные классовые интересы подсказывали предпочтение союзу с нацистской Германией против социалистического СССР. Вместе с тем сознание, что нацистская Германия намерена захватить Европу, вынуждало часть английских буржуа искать союзников против этой новой угрозы. Вопрос о том, с какой стороны опасность серьезнее, расколол на две части английскую буржуазию, но на какое-то время и тех и других объединила общая надежда на то, что нацистская Германия и СССР, столкнувшись, уничтожат друг друга, еще раз поставив Британию в положение господствующей державы в Европе. Таков был истинный смысл политики Мюнхена — отвлечь экспансионистские интересы Гитлера от Запада и ориентировать их на Восток. И лишь тогда, когда стало ясно, что надеждам этим сбыться не суждено, старые британские вояки, вроде Черчилля, с растущими тревогой и страхом начали убеждаться в том, что идея европейского «равновесия сил» требовала временного союза с социалистической страной против нацистской Германии, представлявшей более прямую опасность.

Остальное хорошо известно, хотя даже в самый канун поражения нацистской Германии Черчилль принялся подстрекать западный мир против Советского Союза, который, как известно, сыграл решающую роль в сокрушении нацистской Германии и потому, как хотелось бы полагать Черчиллю, был вконец истощен.

С тех пор свою политику «равновесия сил» Британия вела, организуя самые разнообразные комбинации или присоединяясь к самым разнообразным комбинациям, рассчитанным на ослабление мощи Советского Союза. Этой политики придерживались все послевоенные британские правительства — будь то лейбористы или тори, различие составляли лишь размеры сопротивления народа этому курсу. Холодная война по сути была подготовкой к войне горячей, народным массам Британии (как, впрочем, и всей Европы) в те времена принятие этого курса навязывалось силой. И поражение он потерпел потому, что народы Европы в конце концов осознали, что следующим шагом будет война, которая уничтожит саму Европу.

В своем курсе на холодную войну Британия нашла себе главного союзника против Советского Союза не в Европе, а в Соединенных Штатах. Она прилагала все усилия, чтобы поддержать любую международную акцию, способную ослабить советскую мощь. Нынешнее британское правительство даже с энтузиазмом ринулось за поддержкой Китая, о котором сегодня в английской печати рассуждают словно о европейской державе.

Вот такой облик Европы — Европы «сбалансированных сил» — видит Британия. Каждый, кто стремится к миру в Европе, понимает, что этот курс, эту политику надо так или иначе менять, в противном случае Англия так и будет до конца дней продолжать свою игру в «равновесие сил» против Советского Союза. Перспективы для Европы могли бы в итоге оказаться довольно безнадежными, если бы положение в мире не определяли и многие другие факторы. Во всяком случае, с нынешним климатом разрядки напряженности в Европе вынуждены скрепя сердце считаться и вершители английской политики. Их эта разрядка не устраивает, однако они слишком боятся изоляции, чтобы совсем уж остаться в стороне. Так или иначе, но нынешние советские шаги к разрядке напряженности и визиты Л. И. Брежнева в Бонн и Соединенные Штаты оказывают несомненное воздействие и на английскую политику, и на настроения английской общественности. Минувшая война обратила старое европейское поле битв за каналом в мишень для ракет и бомбардировщиков. Вот почему сейчас английский народ впервые с такой остротой ощущает, что он живет в уголке Европы. Вот почему английский народ с таким напряженным вниманием следит за каждым шагом на пути к мирным и действенным соглашениям по обеспечению мира в Европе.

В прошлом Англия пыталась приуменьшить значение советских усилий в разрядке напряженности, называя советские предложения «непрактичными», «нереалистичными». Мы, англичане, считаем себя «практичным» народом, поэтому все, что именуется «непрактичным», попадает у нас в категорию безнадежного, а между тем самой характерной чертой советской политики является именно ее трезвость, реалистичность. Четырехстороннее соглашение по Берлину, которое заложило основу нынешней разрядки напряженности, было предметным уроком практичной дипломатии — ведь именно Запад пытался отклонить реалистичные предложения Советского Союза.

Тем не менее настойчивость и целеустремленность советской инициативы в конце

концов завоевали признание и поддержку европейских государственных деятелей, равно как и широкой общественности, в том числе и англичан, не менее прочих заинтересованных в разрядке напряженности. Соглашение между двумя Германиями оказалось результатом реалистической позиции, доброй воли и широты, продемонстрированной руководителями советской политики,— ни один серьезный западный комментатор-международник не смог бы это отрицать.

Кульминацией последовательных многолетних усилий советской дипломатии является подготовка совещания по европейской безопасности. Единственное, чего сегодня явно недостает нам,—это теплоты взамен хмурой настороженности со стороны Англии. «Таймс» назвал визит Л. И. Брежнева в Бонн «одним из наиболее важных событий в жизни послевоенной Европы». Между тем как консервативные, так и лейбористские вершители судеб английской внешней политики продолжают планировать ее в пренебрежении к перспективам разрядки напряженности. Планы Советского Союза в области расширения торговых и экономических связей с Соединенными Штатами, Японией и Западной Европой «Таймс» называет «захватывающими дух» — и, однако, Англия все еще пытается остаться вне их сферы.

Как долго будет так продолжаться?

Скоро ли сторонники старой английской политики «равновесия сил» отдадут себе, наконец, отчет в реальности того факта, что равновесие это в Европе уже не может более зависеть от английской политики? Времена эти ушли и больше не вернутся. Ведь «негр» не только не «затевает ничего там, у Кале». Его вообще и в природе не было. Советский курс на разрядку напряженности изъял это ужасное клише из английского языка, ибо Европа обрела, наконец, почву для нового взгляда на свои перспективы, на истинное «равновесие сил». Равновесие, зиждущееся на взаимном согласии, воле жить в мире. Чтобы на старых полях сражений Европы люди улыбались друг другу.

ЭКТОР МУХИКА

Мирное «наступление» Советского Союза не представляет собой некую импровизацию, некую «тактику», неожиданно предложенную в один прекрасный день. Это — великая политика, истоки которой восходят ко временам основания социалистического государства, они — в самой душе народов, обитающих на здешних просторах, в их традициях, в их нравах и обычаях, в самом образе жизни граждан СССР, в их социалистическом понимании мира и жизни, в их активной созидательной деятельности. Идея мира всегда составляла самую душу международной политики первого на земле социалистического государства.

Не случайно первый декрет только что родившегося социалистического государства, подписанный В. И. Лениным, был декретом о мире. Прежде всего — о мире, затем — о земле. Мир, земля и хлеб — вместе, поскольку без мира нет хлеба, без мира нет земли, если не считать выжженной войной земли; без мира не может жить человек на земле.

Советский человек брал в руки оружие не по собственной воле, не в силу исторической прихоти, не в силу «предначертания судьбы», а как раз наоборот. Советский человек взял в руки оружие, потому что империализм бросил против него свою печальной памяти Антанту, потому что хищники пытались прервать его полет, потому что фашизм — в 1941—1945 годах — угрожал ему гибелью. Годы Великой Отечественной войны закалили душу советских народов, избравших колос своим символом, своей эмблемой. Советский вклад в завоевание мира не был забыт народами Европы и всего мира. Не будет забыт. Не может быть забыт.

Мы говорили и снова повторяем, что Советское государство — выражение наивысшей демократии человечества — осенью 1917 года, как и весной 1973 года, высказало твердое и неизменное желание строить мир на земле. Есть некая историческая последовательность в этой мирной политике, существеннейшей в социалистической системе, глубоко уходящей своими корнями в традиции русского народа, в традиции социалистических народов, входящих в Советский Союз.

Мир и литература неразлучны, неотделимы. Искусство, как и жизнь, нуждается в мире, как каждое живое существо нуждается в кислороде. Поэтому мы, латиноамериканские писатели, люди творческого труда, не можем сидеть, как на корриде, и наблюдать со своего места за быком — наоборот, нам нужно выступить против быка...

Есть прекрасная антивоенная традиция у писателей. Анри Барбюс, столетний юбилей которого французский народ отмечает в нынешнем году, нам оставил незабываемый урок, великий урок борьбы за мир, за мир для всех народов, для всех людей. Был бы жив сегодня Барбюс, ему бы, бесспорно, была бы присуждена Ленинская премия мира, он заслужил ее, отдав всю жизнь делу мира для человечества.

В нынешнем году международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами» была присуждена достойным участникам этой борьбы.

Международный комитет по Ленинским премиям присудил ее в текущем году, среди других, двум деятелям, географически действующим далеко друг от друга, но насколько они близки друг к другу в понимании важнейшей проблемы мира: Леонид Брежнев и Сальвадор Альенде! Русский и чилиец, один — гражданин великой советской родины, другой — гражданин великого латиноамериканского континента, заслужили столь высокую награду, оба в исключительнейшей степени содействовали укреплению мира во всем мире.

За дело мира, подчеркиваю, должен бороться каждый человек XX века, поскольку от этого зависит его жизнь. Не только его самого, но и всего рода человеческого.

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА

Вспоминается мне, как однажды, уже более десяти лет назад, когда в Каракасе проводился «круглый стол» писателей, я спросил Уильяма Фолкнера, знаменитого мастера современного романа, о том, что же мы, писатели мира, должны, по его мнению, сделать во имя предотвращения новой войны.

И Фолкнер, по характеру своему пессимистически настроенный, ответил мне лишь одним словом: «Nothing». Это значит — ничего.

Однако я не мог и не могу согласиться с мнением выдающегося североамериканского романиста, ныне уже покойного.

Если мы, поэты и прозаики, как-то можем воспользоваться нашим преимуществом, нашей привилегией — ибо столько людей читает наши произведения и прислушивается к нашим словам,— то мы обязаны говорить, убеждать, что война — это чудовищное орудие уничтожения и насилия, не имеющее ничего общего с сутью человеческого существования, с душой народа.

Последняя война во Вьетнаме при подавляющем превосходстве напавшей стороны всей своей жестокостью еще раз подтвердила, что путем войны нельзя ни победить, ни убедить.

«Иностранная литература» просит меня высказать свое мнение о миролюбивой политике, о борьбе Советского Союза против войны.

Думая о том, что определяет мою сердечную расположенность к Советскому Союзу, я готов с полным основанием заявить, что это прежде всего открытая, непоколебимая миролюбивая политика советского государства начиная со дня его образования и до наших дней.

Борьба за мир — это не просто политическая акция.

Это — непременный долг каждого человека, мыслящего независимо, каждого человека, у кого бьется сердце.

Исходя из этой точки зрения, я всегда поддерживал и поддерживаю заявления и мероприятия Советского Союза, направленные на поддержание прочного мира на земле, и с равным пылом приветствовал бы такую же позицию, если ее займет любая другая страна.

Как писатель и как гражданин, я надеюсь, что новые шаги, предпринимаемые ныне Советским Союзом ради укрепления мира и достижения взаимопонимания между государствами земного шара, найдут самый позитивный отклик прежде всего в Соединенных Штатах, как и во всех остальных странах.

Нет такого народа, который хотел бы войны.

Нет такого человека, который хотел бы своей смерти.

И эта всеобщая воля к миру, к жизни должна возобладать, обязательно должна восторжествовать над низменными интересами того преступного меньшинства, которое еще помышляет о войне.

◆

Публицистика

ЯН БЕРЕЗНИЦКИЙ

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

(Публицистические заметки на кинематографические темы)

Годы, рекорды, доллары

В конце 1972 года в Соединенных Штатах был побит один из самых старых национальных рекордов — кинопрокатный. В начале 1973 года возникла угроза для другого, еще более старого рекорда — книготоргового.

Оба продержались так долго, что их уж стали было называть «рекордами навсегда», принадлежали они произведениям, носившим одно и то же название. Знаменитому роману Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», вышедшему первым изданием в 1936 году, и столь же знаменитой экранизации этого романа, снятой режиссером Виктором Флемингом три года спустя.

Новым прокатным рекордсменом стал фильм режиссера Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Его небывалый финансовый успех был подкреплен тремя «Оскарами», премиями Американской киноакадемии: за лучший американский фильм 1972 года, за лучший сценарий и за лучшую мужскую роль. Новым книготорговым рекордсменом то ли уже стала, то ли вот-вот станет повесть-притча Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».

Успех «Чайки» и «Крестного отца» американские критики и обозреватели единодушно называют феноменальным, беспрецедентным. Всего лишь два года понадобилось книге Ричарда Баха, чтобы догнать (или почти догнать) по тиражу все те восемьдесят с лишним изданий, которые выдержал за тридцать шесть лет роман Митчелл. 1972 год американские книготорговцы назвали «годом птицы и Библии» (Священное писание — видимо, в связи с успехом недавних мьюзиклов на евангельские сюжеты — тоже ило на редкость бойко). Не так уж много, наверно, преувеличения в шутке автора «Чайки»: «Согласно моим подсчетам, как раз к апрелю 1975 года вся земля будет покрыта примерно двухфутовым слоем экземпляров моей книги». Уже через несколько месяцев после выхода на экран фильма «Крестный отец» сумма сбора превысила восемьдесят миллионов долларов, в то время как «Унесенным ветром» понадобилось тридцать три года для того, чтобы подобраться к этому рубежу.

Следует, правда, сказать, что к исходу шестидесятых годов разрыв между прежним рекордсменом и некоторыми другими имевшими значительный коммерческий успех фильмами сильно сократился. Если раньше вслед за лидером — с весьма солидным разрывом в несколько десятков миллионов долларов — шли два исторических супербоевика, выпущенных на экран в конце пятидесятых годов («Десять заповедей» и «Бен-Гур»), то теперь боевики оказались отброшенными в самый хвост лидирующей десятки, а непосредственно вслед за лидером совершал свою триумфальную пробежку по экранам мьюзикл «Звуки музыки». Вслед за ним, тоже не с таким уж резким разрывом, шло несколько фильмов выпуска шестидесятых годов: «История любви», «Выпускник», «Аэропорт». С огромным коммерческим успехом прошли недавно по экранам и столь разные по жанрам фильмы, как вестерн на современном материале «Хад» и вестерн на историческом материале «Шенандоа», криминально-полицейская лента «Буллит» и фильм о Голливуде двадцатых годов «Карпетбеггеры», военно-биографический фильм «Паттон» и созданный на основе популярной книжки для детей мьюзикл «Мэри Поппинс».

В числе всех названных картин нет ни одного шедевра. Это не означает, конечно, что выдающиеся произведения киноискусства не могут иметь на экранах

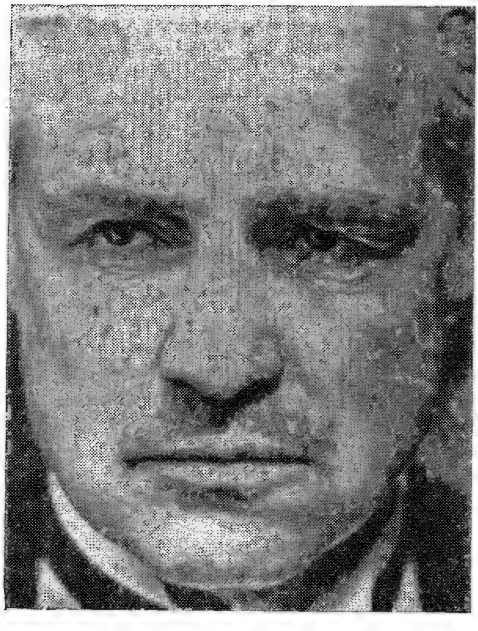
США значительного коммерческого успеха. Могут и нередко имеют. Но успех этот все же несравним с успехом названных выше фильмов, среди которых, наряду с хорошими и даже очень хорошими, есть и весьма посредственные.

Слагаемые № 1 и 2

Доллары, как таковые, нас, конечно, не интересуют. Но над успехом фильма «Крестный отец» задуматься стоит. В поисках разгадки того скорее социологического, нежели эстетического феномена, каким стал успех ленты Копполы,— смысл и оправдание данной статьи.

Прежде всего, о художественных достоинствах. Не много можно назвать фильмов, где бы с такой силой, с такой психологической достоверностью были бы сыграны едва ли не все роли. (При том, что персонажей в фильме множество.) Что же до исполнителей центральных ролей, то по крайней мере три работы иначе не назовешь, как выдающимися. Исполнением роли самого «крестного отца» — Дона Вито Корлеоне, главы многочисленного итальянского семейства, живущего уже долгие годы в Нью-Йорке,— Марлон Брандо вновь подтвердил завоеванную им еще в пятидесятые годы репутацию лучшего актера послевоенного американского кино. А если прибавить, что совсем еще молодые Джеймс Каан и Аль Пачино, исполняющие роли сыновей Дона, проявили себя как достойные партнеры самого Брандо, то и этим будет многое сказано.

Марлон Брандо — в роли Дона Вито Корлеоне.



Считается, что точный выбор исполнителей уже гарантирует режиссеру половину успеха. Если так, то эту половину режиссерской работы Копполы можно назвать безупречной. Особенно если учесть, что руководство «Парамаунта» поначалу отчаянно сопротивлялось кандидатуре Брандо (ни сам актер, ни магнаты Голливуда ничуть не скрывают взаимной антипатии). Для того чтобы получить роль, Брандо вынужден был согласиться на пробные съемки — процедуру, по голливудским понятиям, унизительную для актера его масштаба и его положения («Обращаться к Брандо с просьбой о пробной съемке — все равно что попросить римского папу продекламировать Катехизис»,— иронически заметил по этому поводу кинообозреватель журнала «Тайм»). Выше уже было отмечено, что среди «Оскаров», полученных «Крестным отцом»,— премия за лучшую мужскую роль года (Марлон Брандо, как известно, отказался принять награду в знак протеста против дискриминации и нищенского положения американских индейцев).

Впрочем, и вторая половина режиссерской работы Копполы — то есть то, что считается собственно режиссурой,— тоже находится на достаточно высоком профессиональном уровне.

Еще в одной из своих предыдущих работ, картине «Ты теперь совсем взрослый» (миллион долларов убытка), Коппола обнаружил вкус к достоверной бытовой детали, проявил себя как мастер, умеющий создать то, что именуется обычно «атмосферой». Большинство сцен фильма (рассказывавшего о первых жизненных испытаниях девятнадцатилетнего юноши, только-только избавившегося от родительской опеки и начавшего самостоятельную жизнь) происходило на улицах Нью-Йорка, и сцены эти воспринимались почти как документальные. То же — в «Крестном отце». Хоть его документализм особого свойства.

С высокой степенью художественной убедительности воссоздан на экране быт четвертьвековой давности — уличный быт Нью-Йорка конца сороковых годов. Копполе удалось и нечто гораздо более сложное: ничуть не с меньшей достоверностью показан в фильме домашний быт семьи выходцев из Италии (точнее — сицилийцев). Правда, Коппола окрасил эти сцены некой старомодной, патриархально-уютной благостностью. Как его персонажи едят и пьют, как разговаривают друг с другом, как держат себя на свадьбах, крестинах, похоронах, как ссорятся, как веселятся — все это для режиссера (как и в давних фильмах итальянских неореалистов) не просто «бытовой материал», но и предмет эстетического любования.

Таким предметом становятся, к сожа-

Семейство Корлеоне — перед объективом фотоаппарата в день свадьбы дочери.

лению, для режиссера и некоторые из сцен насилия и жестокости, которыми изобилует фильм. Не то чтобы эти эпизоды сами по себе были художественно неоправданными. Художественно неоправдан лишь тот своеобразный режиссерский шик, с которым снята, например, нескончаемо долгая сцена, где Сантино, старший сын Дона Корлеоне (именуемый всеми, кроме отца, просто Санни, то есть Сынок), зверски избивает на улице Карло Риззи, мужа своей сестры (поднявшего недавно на нее руку). Из лопнувшей канализационной трубы с ревом вырывается струя мутной воды, и под аккомпанемент этого яростного рева, прямо посреди бешено хлещущего потока, Санни обрушивает на свою жертву все новые и новые удары.

И все же секрет не в режиссуре и актерах. Какой бы воистину блистательной ни была актерская работа Марлона Брандо, не ею определен в конечном счете успех фильма у самых различных категорий зрителей: сорокасемилетний актер, исполняющий роль шестидесятипятилетнего старика,— не самая большая приманка для того контингента американских зрителей, который в основном и «делает кассу».

Еще меньшая приманка — режиссура Копполы, как бы высоко профессиональна она ни была. Тем более, что высокой профессиональностью в американском кино никого не удивишь: нетрудно назвать десятки фильмов последних лет, не уступающих в профессиональном отношении «Крестному отцу» (а порою и превосходящих его), которые, однако, не имели и десятой доли зрительского успеха, доставшегося фильму Копполы.

Поэтому слагаемое № 1 — художественное мастерство создателей ленты — придется пока вынести за скобки.

Фильм «Крестный отец» создан на злобу дня. Он посвящен одной из самых болезненных и жгучих проблем в жизни сегодняшней Америки — организованной преступности.

В центре фильма семейно-гангстерский клан, возглавляемый Доном Вито Корлеоне. «Дон» — это нечто вроде передающегося по наследству титула главы Семейства. Само же понятие «семейство» употребляется не только в прямом значении, но и как синоним понятий «сообщество», «корпорация», «синдикат». Пресса (которая, несмотря на вполне понятную нелюбовь Семейства к рекламе, проявляет к нему постоянный интерес) почтительно именует возглавляемое Доном Корлеоне деловое сообщество «синдикатом».

История кровавого соперничества синдиката Корлеоне с другими нью-йоркскими гангстерскими синдикатами и составляет сюжетную основу фильма.

В ходе этой безжалостной борьбы гибнет Санни, старший сын Дона Вито Корлеоне и его предполагаемый преемник по руководству синдикатом. После внезапной смерти самого Дона руковод-

---

ЯН БЕРЕЗНИЦКИЙ
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

ство семейным бизнесом (вместе с титулом Дона) возлагает на себя в финале картины его младший сын Майкл.

Враждующие синдикаты противостоят в фильме друг другу, но самим им, по существу, ничто не противостоит. Не то чтобы полиция не боролась с ними — подразумевается, что борется, и один-два раза на экране появляются стреляющие полицейские. Однако единственный полицейский, с которым знакомишься более или менее всерьез,— взяточник и находится на содержании у гангстеров.

Практическое всесилие организованных в синдикаты преступников, чье влияние распространяется на самые различные стороны общественной жизни,— вот какой вывод позволяет сделать отображенная в фильме действительность.

Действительность, не отображенная, а реальная, позаботилась о том, чтобы подтвердить этот вывод кое-какими любопытными деталями, связанными с историей создания фильма. Протестами против его постановки, исходившими от руководителей столь же знаменитой, сколь и таинственной нью-йоркской мафии — той самой организации преступников, чья деятельность отображена в фильме Копполы. Протестами, отнюдь не ограничивавшимися телефонными звонками и письмами (была обстреляна автомашина одного из продюсеров фильма, и только по счастливой случайности он остался жив) и вынудившими в конце концов руководство фирмы согласиться с требованиями тех, кто был, по сути, прообразом героев ленты,— исключить из нее какие-либо упоминания о мафии. Только нейтральные «семейства» и «синдикаты».

Другое дело, впрочем, что после просмотра готового фильма руководители неназванной в нем мафии отнюдь не выразили недовольства. Но как бы ни был любопытен и по-своему многозначителен этот факт (подробнее о нем — позже), он может послужить лишь еще одним доказательством того, что фильм Копполы — на самую что ни на есть злобу дня.

Правда, на эту же злобу дня кинематографистами Соединенных Штатов создано за последние годы немало и других картин. Совсем незадолго до «Крестного отца» тем же «Парамаунтом» был выпущен фильм «Братство», не только посвященный той же проблеме (организованная преступность), но и рассматривавший ее, подобно «Крестному отцу», на примере деятельности нью-йоркской мафии. Финансовый неуспех «Братства» (режиссер Мартин Ритт) поставил «Парамаунт» на грань катастрофы, и именно поэтому руководство компании так долго колебалось, прежде чем рискнуть запустить в производство еще одну, третью за последние годы, ленту о мафии. Риск был тем более велик, что и предшествовавшая «Братству» «Резня в день св. Валентина» (режиссер Роджер Кормен) хоть и не провалилась в прокате, но тоже не оправдала возлагавшихся на нее финансовых надежд. Третья попытка могла оказаться роковой.

Проблеме организованной преступности было посвящено в конце шестидесятых — начале семидесятых годов и немало других американских фильмов, среди которых есть и такие, где проблема эта трактована резче, серьезнее и бескомпромиссней, чем в «Крестном отце». Взять хотя бы упоминавшегося выше «Буллита». Успех его (выраженный в долларах) хоть и был сам по себе огромен, но определялся цифрой впятеро меньшей, чем успех «Крестного отца». А между тем фильм отличался и большей социальной остротой, и более высоким уровнем режиссерского мастерства, да и чисто сюжетно (тоже немаловажный для зрительского успеха фактор) был увлекательнее. Преступниками в «Буллите» были лица, связанные с самыми высокопоставленными кругами, и наивный полицейский инспектор Фрэнк Буллит, предпринявший на собственный страх и риск погоню за выслеженными им руководителями могущественного синдиката преступников, оказывался в конце концов в дураках: собственное начальство недвусмысленно давало ему понять, что донкихоты в полицейской форме у некоторых влиятельных лиц не в чести и что рвение его кое-кому не очень по душе. Издевательски-горькой иронии был полон финал картины: медленно трогающийся с места лимузин увозит от сознающего свое бессилие Буллита одного из тех, чье место — Буллит это знает наверняка — не в роскошном лимузине, а за тюремной решеткой. А на заднем бампере машины — полный гражданского пафоса призыв: «Помогайте своей местной полиции!» Вполне можно понять негодование рецензента благонамеренно-охранительного ежемесячника «Филмз ин ревью», утверждавшего, что «скрытой пропагандистской целью» фильма является «нападение на следственную комиссию сената». (К слову, «Крестный отец» был удостоен в этом журнале рецензии если и не восторженной, то сдержанно-благожелательной.)

Мотив бессилия честного одиночки-полицейского в борьбе с опекаемыми его же начальством преступниками был повторен после «Буллита» и в ряде других фильмов. Лучший из них — «Французский связной», тоже явно превосходящий «Крестного отца» и по остроте социальной критики, и по уровню мастерства, и опять-таки по напряженности и занимательности интриги. И — так же, как и «Буллит»,— значительно уступающий ему по кассовым сборам.

Итак, не актуальность проблематики — хоть и она, наряду с художественными достоинствами, несомненно сыграла свою роль в успехе фильма «Крестный отец» — была тем фактором, который превратил этот успех в беспрецедентный.

Сенсационность и секс в романе и в фильме

Западный кинематограф последних лет изобилует лентами, смысл которых сводится в конце концов к расчету на неразвитый эстетический вкус известной части зрителей. Нет, видимо, оснований не доверять американским критикам и социологам, утверждающим, что эта известная часть не так уж мала и что именно ее вкусы и пристрастия определяют порой степень коммерческого успеха того или иного фильма.

Такого рода расчет кое-где можно обнаружить и в «Крестном отце». И описанная выше сцена зверского избиения в яростно хлещущем потоке воды; и безумные, чуть ли не выкатившиеся из орбит глаза на багровеющем лице предателя, шею которого его былые сообщники, не торопясь, с молчаливой деловитостью, все туже и туже стягивают шарфом; и превратившееся в кровавое месиво лицо Санни, изрешеченного среди бела дня на мосту автоматными очередями; и брызнувшее вдруг осколками от попавшей в глаз пули стекло очков у обернувшегося на грохот распахнутой двери клиента в косметическом кабинете — во всех этих профессионально лихо сработанных сценах есть налет некой дешевой сенсационности.

Но, во-первых, это не более чем налет: если не режиссерски, то драматургически каждая из этих сцен вполне оправдана. Во-вторых же, их не так много. И хоть сцены жестокости и насилия занимают по метражу едва ли не треть «Крестного отца», они для Копполы не самоцель.

И уж совсем никак не скажешь о картине Копполы, что ей свойственно чрезмерное внимание к вопросам секса. Если не считать одной сцены в самом начале фильма, можно было бы сказать, что он в этом отношении «стерилен» — явление в наши дни чуть ли не уникальное в западном кинематографе.

Для того чтобы понять, сколь малую роль в грандиозном зрительском успехе «Крестного отца» сыграли те слагаемые этого успеха, которые можно назвать отрицательными (дешевая сенсационность, спекуляция на сексе), достаточно сравнить фильм с его литературным первоисточником — одноименным романом Марио Пьюзо.

И здесь мы сталкиваемся с обстоятельством, на первый взгляд необъяснимым.

В руки Фрэнсиса Форда Копполы, молодого режиссера, чьи фильмы приносили до тех пор и его продюсерам, и ему самому одни убытки, попадает бестселлер, рекламируемый издателями как «быстрее всех раскупаемый». Причем совершенно очевидно, что «быстрой раскупаемостью» роман в значительной мере обязан множеству неслыханных по своей откровенности эротических сцен и

Дон Вито Корлеоне — в кругу участников свадебного веселья.

не просто «налету» сенсационности, но сенсационности развязной, беспардонной.

Что же делает режиссер-неудачник, дорвавшийся, наконец, до работы над фильмом, имеющим немалые основания стать для его создателей золотым дном? Начинает он с того, что ссорится со своими работодателями, отстаивая кандидатуру ненавистного им Брандо. А убедив их (в результате пробных съемок), что ненависть — ненавистью, а лучшего исполнителя центральной роли им среди американских актеров не сыскать (единственный актер, которому, помимо Брандо, Коппола соглашался доверить роль Дона, Лоуренс Оливье, был занят в то время другой работой), принимается с тем же жаром и с той же неуступчивостью требовать коренной переработки готового уже сценария.

Сценарий был написан не кем иным, как самим автором книги — Марио Пьюзо, и довольно точно воспроизводил как ее общее построение, так и основные сюжетные линии. Коппола, однако, заявил,

---

ЯН БЕРЕЗНИЦКИЙ
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

что предложенный ему сценарий дает материал для создания всего лишь «поверхностного и незначительного современного гангстерского фильма», добавив, что сам он «усмотрел в книге значительную идею, имеющую отношение к проблеме династий и власти».

Следует, правда, сделать скидку на то, что обо всем этом режиссер поведал уже после завершения работы над лентой. Когда выяснилось, что, помимо баснословных барышей, приносимых ею держателям контрольного пакета акций «Парамаунта», она обеспечит немалые доходы и самому Копполе.

Но, даже и сделав эту скидку, нельзя не заметить, сколь существенной переработке подверглась книга Пьюзо в написанном самим Копполой окончательном варианте сценария. И дело не просто в сокращениях — неизбежных и обычных при экранизации так называемых крупных литературных полотен. Дело в принципе отбора: в драматургической основе фильма нет ничего, или почти ничего, чего не было бы в романе, но то, чем жертвует и что отбирает экранизатор в огромной (четыреста пятьдесят страниц мелкого шрифта) книге, есть уже само по себе ее радикальное переосмысливание.

Коппола удалил из литературного первоисточника всю отдающую бульварщиной сюжетную линию, связанную с Люси Манчини (так зовут подружку новобрачной — дочери Дона Вито Корлеоне). Сохранилась в картине лишь та сцена в самом начале фильма, о которой упоминалось выше. В фильме это просто сцена безмолвного любовного экстаза, которому в самый разгар свадебного веселья предаются брат новобрачной — Санни Корлеоне и не названная по имени и на экране больше не появляющаяся Люси. В романе же взаимоотношениям Санни и Люси уделено множество страниц, причем главное на этих страницах — физиологические подробности свиданий счастливой пары. С теми же подробностями описаны и взаимоотношения Люси с приглянувшимся ей вскоре после убийства Санни молодым блистательным врачом, как две капли воды похожим на другого молодого блистательного врача — доктора Килдера, героя знаменитой серии романов Макса Брэнда, ставшей своего рода символом рассчитанного на самые невзыскательные вкусы чтива («Секрет доктора Килдера», «Процесс доктора Килдера», «Молодой доктор Килдер» и т. д.). Эти серийного производства опусы принадлежат к особому жанру в современной беллетристике США, который так и называется — «повествования о врачах» (doctor stories). Таким образом Пьюзо скрестил в своей книге два «апробированных» жанра: «повествование о гангстерах» (gangster story) с «повествованием о врачах». Однако этим он не ограничился.

«Повествования о Голливуде» («Hollywood stories) тоже составляют в современной американской беллетристике нечто вроде особого жанра. Не менее популярного в широких читательских массах, чем «повествования о гангстерах» и «повествования о врачах». И тоже — как и те — представленные едва ли не на девять десятых произведениями низкопробно-сенсационными.

Низкопробной сенсационностью отдает в романе Пьюзо и «голливудская» линия.

...Блистательный молодой врач случайно встретился со знаменитым голливудским актером-певцом Джонни Фонтейном. И услышав первые звуки его голоса, понял: горло у певца не в порядке. Он не ошибся: горло у певца действительно было не в порядке, лучшие врачи Голливуда бессильны были помочь ему, и Джонни Фонтейн стал уже понемногу привыкать к мысли, что из актера-певца придется переквалифицироваться просто в актера. Перефразируя крылатую фразу Скотта Фицджеральда, можно было бы сказать, что в голосе Джонни перестали звучать деньги.

О том, что произошло в результате этой случайной встречи, догадаться нетрудно. Осмотр, консилиум, операция — и певец вновь обретает свой чудесный, сводящий с ума десятки миллионов его поклонников и главным образом поклонниц голос. Причем вновь обретенный голос звучит еще мужественнее, еще бархатнее, еще денежнее, чем прежде.

Джонни Фонтейну, одному из крестных сыновей Дона Вито Корлеоне, уделено в книге не меньше внимания, чем самому Дону.

Все содержание «голливудских» глав можно, по сути, свести к одному и тому же. Поведет ли нас Пьюзо (а Джонни Фонтейн — своего впервые попавшего в Голливуд друга) в просмотровый зал,— до самой картины ни автору, ни присутствующим на просмотре дела не будет. Основным объектом авторского — и тем самым читательского — внимания станут места для зрителей: уютные, расположенные не слишком близко друг от друга диванчики на двоих. Автор расскажет, что происходило во время просмотра на одном из этих диванчиков (который облюбовали для себя друг Джонни и представленная ему за несколько минут до просмотра знаменитая голливудская актриса), и даст понять, что на соседних происходило то же самое. Главной же художественной подробностью церемонии вручения «Оскаров» — высшей премии Американской киноакадемии — станет предложение одной из присутствующих дам увенчать торжество «публичным спариванием двух призеров», то есть актера и актрисы, удостоенных «Оскара» за лучшую мужскую и лучшую женскую роли. Каковое предложение с энтузиазмом встречают как сами призеры (мужского «Оскара» получил Джонни), так и

все присутствующие на академической церемонии — «с актрисы сорвали уже всю одежду, а другие женщины начали раздевать Джонни»,— и если оно все же не реализуется, то только из-за вмешательства друга Джонни, не успевшего еще попривыкнуть к голливудским нравам.

Но, может быть, все это как раз и служит разоблачению голливудских нравов, срыванию всех и всяческих масок?

Полно!

Никакие маски в голливудских главах романа не срываются. Срываются лишь все и всяческие принадлежности мужского и дамского туалета («с актрисы сорвали уже всю одежду»), и в этом отношении роман Пьюзо решительно ничем не отличается от подавляющего большинства тех «повествований о Голливуде», где сенсационно-пикантные картинки нравов, царящих в столице американского кинопроизводства, служат для их авторов лишь средством «кассовой приманчивости».

Нетрудно указать даже на образец, которому совершенно явно следовал Пьюзо. Это те самые «Карпетбеггеры», экранная версия которых упоминалась в самом начале этих заметок в числе фильмов, давших за последние годы их создателям наибольший барыш. Одноименный роман Гарольда Роббинса, послуживший литературной первоосновой снятого режиссером Эдвардом Дмитрыком фильма, тоже шел в свое время нарасхват, став таким же неоспоримым лидером среди бестселлеров начала шестидесятых годов, каким в конце шестидесятых стал роман Пьюзо.

К «разоблачительству» подобного рода романов и фильмов вполне терпимо относятся те, чье моральное разложение они как будто бы изобличают. «Карпетбеггеры» отнюдь не единственное «повествование о Голливуде», Голливудом же и перенесенное на экран. Вскоре после фильма Дмитрыка и перед самым выходом в свет романа Пьюзо на экранах появилась картина одного из ветеранов старой голливудской гвардии, Роберта Олдрича, «Легенда о Лайле Клер», «антиголливудская» направленность которой опять-таки сводилась к «срыванию одежд», изображению разного рода сексуальных и психических аномалий (занимающих немало места и в других его работах последних лет, в частности в «Банде Гриссомов», которую нам еще представится случай вспомнить). И маститый режиссер, и его продюсеры делали при этом ставку на интерес определенной части публики к подробностям интимной жизни кинозвезд: в центре каждого такого киноповествования — непременно какая-нибудь знаменитая звезда мужского или женского пола, а за подробностями ее, звезды, профессиональной и интимной биографии зритель, начитанный в скандальной голливудской хронике, нередко угадывает фигуры реальных, а не вымышленных знаменитостей.

Но когда тот же Олдрич — за полтора десятка лет до «Лайлы Клер» — задумал перенести на экран антиголливудскую (без кавычек) пьесу Клиффорда Одетса «Большой нож», финансовой поддержки у голливудских магнатов он не нашел. Фильм был все же поставлен — на более чем скромные (в то время) средства самого Олдрича, однако, далекий от скандальной сенсационности, да к тому же и малобюджетный — то есть не отличавшийся постановочным размахом и не числивший в титрах кассовоприманчивых имен,—он не имел успеха в прокате.

Впрочем, «Большой нож» — с успехом или без успеха, но прошедший все же по экранам — одно из немногих исключений. Как правило же, значительные и серьезные «повествования о Голливуде» на экран вообще не попадают. Едва ли не единственное из крупных произведений Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, оставшееся до сих пор неэкранизированным, — его роман о Голливуде «Последний магнат». Обойден вниманием продюсеров и «голливудский» роман Натаниэла Уэста «День саранчи», произведение высоких художественных достоинств.

Произведениям же легковесно-сенсационным дорога на экран открыта.

От всей голливудской линии романа в фильме не осталось почти ничего. Осталась отрезанная лошадиная голова, обнаруженная как-то поутру в ногах постели заартачившимся продюсером, у которого Джонни Фонтейн отбил приберегавшуюся стариком для собственных нужд юную дебютантку и который в отместку отказался дать Джонни обещанную прежде роль.

Отрезанная голова (принадлежавшая скакуну, которого продюсер приобрел недавно для своей конюшни за шестьсот тысяч долларов) представляла собою предпоследний аргумент в попытке Дона, крестного отца и покровителя Джонни, уговорить упрямца и заставить его изменить свое решение. Последнего аргумента продюсер, естественно, дожидаться не стал, а за полученную в результате вмешательства Дона роль Джонни впоследствии был удостоен «Оскара» (тоже не без помощи своего крестного отца).

Впрочем, история с «Оскаром» в фильм уже не вошла. Джонни Фонтейн в нем фигура даже не эпизодическая, а чисто служебная.

Отказавшись от столь, казалось бы, выигрышного (и с точки зрения коммерции, с точки зрения так называемой «киногеничности») материала, как «врачебная» и «голливудская» линии романа, сценарист-режиссер сохранил в своем фильме материал на первый взгляд

ЯН БЕРЕЗНИЦКИЙ
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

далеко не столь выигрышный (с обеих точек зрения).

Многочисленные деловые совещания, например, как с партнерами, так и с конкурентами. Или занимающий едва ли не три части эпизод в Сицилии, куда после убийства им полицейского вынужден был на время — пока отец задним числом не обеспечит ему алиби — скрыться Майкл. Или растянувшуюся тоже на три части свадьбу дочери Дона — с этой свадьбы и начинается фильм.

Но именно эти сцены, где начисто отсутствуют thrill [1] и suspense [2] — свойства, способные значительно подогреть зрительский интерес,— более всего и работают на интересующую Копполу проблему. Проблему «династий и власти».

«Самый лирический из американских символов»

У десятков миллионов читателей и кинозрителей вышибает слезу возвышенно-сентиментальная «История любви». Нужды нет, что в былые времена, когда горьковская Настя лила слезы над судьбою бедного Рауля из «Роковой любви», книгу Эрика Сигела, повествующую о роковой любви сына банкира к дочери неимущего ремесленника, причислили бы к разряду так называемых «романов для горничных». Более чем скромные художественные достоинства книги делают ее успех лишь еще знаменательней.

Не менее знаменательно почти полное единодушие, проявленное в объяснении причин этого успеха как литературными, так и кинематографическими обозревателями США. (Экранизация книги, осуществленная Артуром Хиллером, тоже имела огромный — хоть в перечислении на доллары вдвое уступающий фильму Копполы — успех.) Приведу отзыв Бэрона Баркера, редактора издательства «Даблдей энд компани»: «Публике приелись непристойные, неряшливо написанные книжонки, герои которых не признают никаких моральных ценностей. Точно так же приелись и подобного рода фильмы. В 1970 году без каких-либо особых стараний со стороны издательств вдвое увеличился спрос на произведения романтического звучания... Читатели пресыщены изобилием секса и наркотиков, описанием сцен жестокости и насилия, показом озверения, преступлений и крови».

Той же читательской пресыщенностью аморализмом и возникшей в результате этой пресыщенности тягой к положительным ценностям можно было бы, вероятно, объяснить и небывалый успех упоминавшейся в начале этих заметок «Чайки по имени Джонатан Ливингстон» — романтической притчи Ричарда Баха, повествующей о птице, которую стая подвергла остракизму за то, что она, стремясь к совершенству, хотела летать выше, дальше, быстрее всех. Речь опять-таки идет не о художественных достоинствах: притче Ричарда Баха, при всей ее сентиментальности действительно не откажешь ни в предельной пристойности, ни в чистоте, ни в символико-романтической приподнятости, ни в прославлении таких неоспоримых и вечных моральных ценностей, как самоотверженность, постоянство в дружбе, стремление к идеалу.

Другое дело, что в некоторых из книг, долженствующих противостоять потоку аморализма, понятия «положительность» и «моральная чистота» полностью лишаются их общественного содержания и сводятся к мещанскому представлению о внутрисемейных, замкнутых в пределах домашнего мирка добронравии и благопристойности. Притча Баха была бы здесь, разумеется, примером не совсем удачным — аллегория! — а вот «История любви» сама собою напрашивается в качестве примера.

Объяснение успеха этой книги (спрос на романтику и моральные ценности) приложимо и к «Крестному отцу». Фильму, разумеется, а не книге.

В фильме Копполы нет ни роковой любви, ни душещипательной мелодраматичности. В фильме Копполы совершаются преступления и рекою льется кровь. И все же есть в нем — такая удивительная для черного, гангстерского фильма — атмосфера чуть ли не патриархальной добропорядочности, чистоты человеческих взаимоотношений. Пусть господствует она только в домашнем кругу и пусть сводится в конце концов к упомянутому выше мещанскому представлению о внутрисемейной благопристойности — именно эта атмосфера дала основание одному из американских критиков назвать фильм Копполы «гангстерской версией «Истории любви».

Черный по жанру фильм отнюдь не грязен. «Приманчивость» для самых разных зрительских категорий — вот одна из причин его феноменального успеха.

«Крестный отец» отнюдь не разочарует тех зрителей, кто (вопреки оптимистическому предположению Бэрона Баркера) еще не пресыщен «описанием сцен жестокости и насилия».

Придется по вкусу он и тем, кому действительно осточертели фильмы «непристойные... герои которых не признают никаких моральных ценностей».

Автор статьи в журнале «Энкаунтер», ссылающийся на отзыв одного из зрителей о «Крестном отце», говорит об этом зрителе как о своем друге, человеке степенном (staid) и к кинематографу отношения не имеющем. «Вот наконец-то фильм,— с удовлетворением заявил этот степенный друг,— на который можно не постесняться взять с собой жену».

---

[1] Thrill — нервная дрожь, нервное возбуждение *(англ.)*.

[2] Suspense — напряженное ожидание: что произойдет дальше, как развернутся события *(англ.)*.

Взять с собой жену... Собственно говоря, за этими словами целая программа!

Фильмы «непристойные», «грязные» (наподобие «Карпетбеггеров», статью о которых один из рецензентов озаглавил «Грязен как доллар»), несмотря на значительный финансовый успех многих из них, отсекают от потенциальной зрительской аудитории ту ее часть, чье понятие о «пристойности» кинозрелища выражено в формуле «взять с собою жену».

Комментируя удовлетворенное высказывание своего степенного друга о «Крестном отце», автор статьи в журнале «Энкаунтер» пишет:

«Невозможно было бы рассчитывать на то, что прокат какого-либо фильма в разных странах мира сможет дать доход в сто пятьдесят миллионов долларов, если бы представление о пристойности, свойственное этому не имеющему отношения к кинематографу зрителю и его жене, не разделялось большинством зрителей, собираюшихся сходить на «Крестного отца».

Будем считать, что «большинство» — сказано слишком сильно. Ведь не на одних же холостяков рассчитаны те — тоже приносящие немалый, хоть и не стопятидесятимиллионный, доход — фильмы, о засилье которых на экранах в 1973 году (то есть три года спустя после выхода в свет «Истории любви» и прекраснодушного предположения Бэрона Баркера об окончании эры непристойностей) говорят и статистические данные, и многочисленные выступления официальных и неофициальных лиц. Да и цитировавшаяся выше статья из «Энкаунтера» (март нынешнего года), вопреки названию «Тускнеющие кровавые пятна», как раз и посвящена тому обстоятельству, что кровавые пятна на экране отнюдь не тускнеют (тускнеют лишь в восприятии свыкшихся с ними зрителей). Вполне понятно, что многочисленных любителей кровавых пятен фильмы, пригодные для семейного просмотра, не очень устраивают.

А «Крестный отец», вполне пригодный при всей его «черноте» и для семейного просмотра, собирает тем временем двойную и тройную жатву долларов.

Но фильм Копполы может быть назван «семейным» еще и в другом, более серьезном (и, вероятно, даже более важном для размеров долларовой жатвы) смысле.

Вместо «поверхностного и незначительного современного гангстерского фильма», каким он должен был стать по замыслу руководителей «Парамаунта» и автора книги, кинематографический «Крестный отец» превратился в сагу о гангстерской династии. Вполне укладываясь в жанрово-тематическую рубрику «повествований о гангстерах», фильм с еще бо́льшим правом может быть отнесен к рубрике «повествований о семье» (family stories).

А теперь вернемся к самому началу этих заметок. К перечню фильмов, имевших в американском прокате наибольший кассовый успех.

Среди них есть картины самых различных жанров и на самую разнообразную тематику. И все же нельзя не обратить внимания, что преобладают в этом перечне «повествования о семье».

В первой пятерке нынешних рекордистов «семейных» фильмов — четыре. И в каждом из этих четырех «семейный жанр» представлен не сам по себе (что, видимо, невозможно), а в сочетании с другими популярными у американского зрителя жанрами. В «Крестном отце» (нынешнем чемпионе) — с «повествованием о гангстерах». В «Унесенных ветром» (экс-чемпионе, занимающем ныне второе место) — с исторической эпопеей. В «Звуках музыки» (третье место) — с мьюзиклом. «Выпускник» (в художественном отношении самый значительный из всех, пятое место) представляет собою довольно сложный жанрово-тематический конгломерат: психологическая комедия-драма с элементами «семейного» и «молодежного» фильма.

Среди других упомянутых в начале этой статьи кинопроизведений, также собравших за последние годы огромный урожай долларов, процент «семейных фильмов» продолжает оставаться весьма значительным. И каждый из этих фильмов — подобно названным выше — являет собою жанровый сплав. В «Карпетбеггерах» «повествование о семье» совмещено с «повествованием о Голливуде» («семейный» по жанру, фильм никак не может быть рекомендован для «семейного просмотра»). «Мэри Поппинс», как и «Звуки музыки», можно было бы назвать семейным мьюзиклом. «Хад» и «Шенандоа» — семейными вестернами. И так далее.

Главным жанровым слагаемым громадного успеха названных фильмов — при всей их непохожести друг на друга — является принадлежность каждого из них к серии «повествований о семье».

Если обратиться к истории другого зрелищного искусства — театра (говоря точнее, не к его истории, а к его статистике), выяснится примечательная подробность. Наибольшим зрительским успехом (определяемым количеством прошедших спектаклей) пользовались в истории американского театра пьесы «Пропойца, или Спасение падшего» (впервые поставлена в 1844 году; спектакль прошел около 7000 раз подряд) и «Жизнь с отцом» (премьера в 1939 году; 3216 спектаклей подряд). В справочнике, откуда почерпнуты приведенные выше статистические данные, жанр первой пьесы определен как «нравоучительная семейная мелодрама» (moral domestic melodra-

---

ЯН БЕРЕЗНИЦКИЙ
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

ма). Вторая же, как о том свидетельствует и само ее название, представляет собой идиллическую семейную хронику, утлый сюжетец которой движим теми мелкими недоразумениями и мелкими же радостями, какими заполнено, по всей вероятности, повседневное существование десятков тысяч таких же благополучных семейств, возглавляемых такими же добродушными и удачливыми средней руки бизнесменами, как и герой пьесы, именуемый просто Отцом.

О том, что «семейный жанр» — так же как жанры «гангстерский» и «врачебный» — принадлежит к числу самых популярных у американского читателя и зрителя, свидетельствует, помимо статистики, и такой факт. В рамках «Серии выдающихся пьес», издаваемой под эгидой Американской национальной театральной академии (ANTA), было выпущено в дополнение к авторским сборникам несколько тематических. Среди них: «Три пьесы об американском индивидуализме», «Три выдающиеся пьесы об Аврааме Линкольне», «Три пьесы о врачах», «Три пьесы о преступлениях и преступниках», «Три комедии о жизни американской семьи». (В «семейном» сборнике и напечатана «Жизнь с отцом».)

Индивидуализм, Линкольн, врачи, преступники, семья... Подбор странный, но, вероятно, с коммерческой точки зрения не совсем случайный.

Могут, правда, сказать, что в повышенном зрительском интересе к семейной тематике ничего специфически американского нет. Могут привести в пример недавний успех во многих странах мира английской телевизионной «Саги о Форсайтах». Могут сослаться и на многочисленные другие телевизионные «семейные» серии: английскую же «Семью Штраусов», чехословацкое «Красное вино», польских «Мужиков», французскую «Семью Тибо».

На свадьбе дочери к Дону Вито Корлеоне один за другим подходят гости с просьбой о покровительстве.

Все это так. И, однако, нетрудно доказать, что сама степень повышенности интереса к семейной тематике у зрителей США во много раз больше, чем где бы то ни было. Тот же, например, «Крестный отец», который в Соединенных Штатах по финансовым итогам первого года проката опередил ближайшего из своих конкурентов ровно в три раза, ни в Англии, ни во Франции списка рекордсменов года не возглавил (заняв соответственно второе и третье место).

В формировании и упрочении так называемой «национальной идеологии» Америки культ семьи, домашнего очага играет огромную роль. Семьи как одного из основополагающих элементов той общественной философии, которую принято (в Соединенных Штатах) именовать «американским индивидуализмом».

«Крестный отец» Копполы мог бы послужить превосходной художественной иллюстрацией идеологии домашнего очага. Другое дело, что выводы из этой художественной иллюстрации фильм позволяет сделать совсем не те, которые делают провозвестники вышеупомянутой идеологии.

С выводами, однако, повременим.

Идеология домашнего очага нашла свое отражение в многочисленных произведениях американской литературы и американского искусства. Среди них есть весьма значительные: произведения Сарояна, например. Есть не столь значительные, но все же в меру серьезные, как, например, многократно вспоминавшийся на этих страницах вестерн Эндрю Маклаглена «Шенандоа». Однако таких немного. В подавляющем большинстве это сентиментальные, мелодраматические поделки.

Во всех этих произведениях — и в более значительных, и в поделках — семейное лоно, домашний круг — это тихий оазис, прибежище от бурь и треволнений мира.

«Идиллия домашнего очага,— пишет известный ученый Макс Лернер в своей книге «Америка как цивилизация»,— самый лирический из американских символов».

В таких произведениях, как «Человеческая комедия» Сарояна или «Шенандоа» Маклаглена (не говоря уже о поделках), житейские бури и треволнения — некая досадная внешняя напасть, безжалостно вырывающая человеческую личность из сформировавшей ее колыбели — семейного лона. Из естественной среды, где она, личность, наилучшим образом может проявить те свойства, которые и делают ее человеческой личностью.

Высшее проявление бурь и треволнений мира — война, организованное убийство. В «Человеческой комедии» это вторая мировая война, в «Шенандоа» — война между северными и южными штатами, в «Крестном отце» — бизнес, который есть тоже война. Однако, в от-

личие от «Шенандоа» и «Человеческой комедии», где обстоятельства, вырывавшие человеческую личность из ее естественной среды, были представлены в их внесоциальном и даже, по сути, вневременном аспектах (хотя, разумеется, Маклаглена столь же нелепо было бы обвинять в антиаболиционистских пристрастиях, сколь Сарояна — в антисоюзнических), фильм Копполы асоциальным никак не назовешь.

Более того. У Маклаглена и Сарояна обстоятельства эти были не просто враждебны по отношению к выпестованной в домашнем лоне человеческой личности, но и существовали как бы в ином измерении, были чужеродны ему, несовместимы с ним. А в «Крестном отце» — при том, что обстоятельства эти (кровавый семейный бизнес) равно враждебны,— между ними и семейным лоном не только нет тканевой несовместимости, но они просто-таки необходимы для ее (семьи) существования.

Вместо взаимоотталкивания — взаимообусловленность и взаимосвязь.

И при всем этом — тот же апофеоз домашнего очага, как единственно вечной и незыблемой ценности. Знаменитый семейный гимн «Home, sweet home» (нечто вроде «Славься, славься домашний очаг»), исполнением которого заканчивалась упоминавшаяся выше самая популярная в истории американского театра пьеса, вполне мог бы прозвучать и в финале самого популярного в истории американской кинематографии фильма.

Да он, если хотите, там и звучит. Фильм заканчивается церемонией крестин — теперь, после смерти старого Дона, миссию крестного отца по отношению к появляющимся на свет божий отпрыскам рода Корлеоне (так же, как руководство семейным бизнесом) берет на себя сын покойного — Дон Майкл Корлеоне. И в торжественной благостности самой церемонии, и в сопровождающих ее словах священника («Во имя отца и сына...») та же светлая умиротворенность — залог непреходящих и незамутненных, передающихся из поколения в поколение ценностей,— что и в венчающем «Пропойцу» гимне во славу домашнего очага.

Есть, однако, и различия.

Автор «Пропойцы» (1844) пользуется в своем патетическом финале средствами, если можно так выразиться, музыкального одноголосия. «Нравоучительная семейная мелодрама» заканчивается нравоучительно-торжественным гимном.

То же в «Шенандоа». Фильм завершается большим финальным монологом, с которым глава семейства — Отец (его играет Джеймс Стюарт) обращается к покойной хранительнице домашнего очага — Матери, у чьей могилы, расположенной вблизи родного пепелища, собрались все оставшиеся в живых члены семьи, после того как миновали вызванные военной бурей беды и невзгоды. Монолог этот тоже патетичен и тоже прямолинейно-нравоучителен, смысл его все тот же: «Славься, домашний очаг».

В «Крестном отце» все обстоит не так просто. Аналогичная сцена (торжественный церковный обряд, просветленные лица собравшихся в храме членов семейства Корлеоне, величавая латынь священника) идет под аккомпанемент автоматных очередей: где-то неподалеку другие члены того же Семейства-синдиката проводят очередную деловую операцию

Бизнес есть бизнес.

Все счастливые семьи...

Может показаться, что смысл финального (и не только финального) многоголосия фильма Копполы — в ироническом противопоставлении: аккомпанемент автоматных очередей снимает патетику церковно-семейного обряда.

Ничуть.

Патетика остается патетикой. Автоматные очереди не противопоставляются ей, а дополняют ее. Из плоскостного финал становится объемным.

Ибо то, чем занимаются вне семейного круга старый и новый Дон вкупе с чадами и домочадцами, изображено в фильме как повседневная, чуть ли не рутинная работа. Бизнес. Единственный смысл и единственное оправдание которого — семья.

Большая семья. Дружная семья. Счастливая семья. Похожая если не на все счастливые семьи, то, во всяком случае, на тот стереотип счастливой семьи, который знаком миллионам и миллионам американцев, слыхом, быть может, не слыхавших об идеологии домашнего очага, но ежедневно сталкивающихся с этим стереотипом и этой идеологией. На страницах журналов для домашнего чтения. На подмостках сцены — в пьесах «о жизни американской семьи». На экранах кинотеатров — в многочисленных фильмах на эту же тему. И, разумеется, чаще всего — на телевизионных экранах с их ставшими уже притчей во языцех «семейными сериями». Наподобие той, которая называлась «Оззи и Харриет» (по именам счастливой супружеской пары) и была язвительно спародирована Дэвидом Рейбом в его нашумевшей пьесе «Sticks and Bones» (идущей в Москве на сцене «Современника» под названием «Как брат брату»). «Цель и направленность пьесы,— писал после ее бродвейской премьеры рецензент газеты «Морнинг телеграф»,— становятся ясны, как только мы узнаём, что персонажей зовут Оззи, Харриет, Дэвид и Рик — подлинные имена той телевизионной семейки, которая в течение столь долгих лет служила для миллионов американских обывателей символом среднего

класса, символом добродетелей семей, живущих в пригородах».

«Семья, живущая в пригороде» (suburban family) — это, по определению Макса Лернера, наиболее распространенный конкретный образ, в который воплощается «самый лирический из американских символов». (Семейство Корлеоне проживает в пригороде Нью-Йорка.) Помимо собственного домика в пригороде стереотип счастливой семьи включает в себя, разумеется, полный материальный достаток, обеспечиваемый удачливым бизнесменом-отцом; мир и порядок в семье, обеспечиваемые хранительницей домашнего очага матерью; долгие семейные вечера, проводимые у телевизора, заменившего традиционный прежде «камелек»; неизменную взаимную благожелательность; теплоту улыбок; неторопливые беседы об успехах детей, о милых домашних пустяках, о спорте, о соседях... Все счастливые семьи похожи друг на друга.

Похожи еще и тем, что в домашнем кругу не принято говорить об отцовском бизнесе. Бизнес есть бизнес, а семья есть семья. И чем бы ни занимался вне дома глава семьи, семейные добродетели не перестают быть добродетелями.

«Дети членов мафии уважают своих родителей и отличаются примерным поведением. Что же касается самих родителей, то им в высокой степени свойственны патриотические чувства. Они являются сторонниками капитализма и свободного предпринимательства и решительными противниками коммунизма».

Это из книги Гэя Талезе «Чти отца своего», одного из тех многочисленных «повествований о гангстерах», которыми издатели, используя сложившуюся после успеха романа Пьюзо выгодную конъюнктуру, наводнили за последние годы книжный рынок.

И хоть в киноповествовании о роде Корлеоне зритель не слышит с экрана ни слова «мафия», ни высказываний о капитализме и коммунизме — перед ним все тот же образец счастливой, добропорядочной, патриотически настроенной, короче говоря, типичной американской семьи.

В том, разумеется, понимании типичности, какое свойственно журналам для домашнего чтения и телевизионной серии «Оззи и Харриет».

Поэтому уникальность предложенной Фрэнсисом Фордом Копполой в «Крестном отце» формулы состояла не просто в том, что он скрестил гангстерский фильм с семейной хроникой. В этом отношении у него были предшественники: фильм его учителя Роджера Кормена «Кровавая мама» и фильм Роберта Олдрича «Банда Гриссомов». Уникальность состояла в том, что семья гангстеров предстала в «Крестном отце» как еще один «символ среднего класса, символ семей, живущих в пригородах».

В «Банде Гриссомов» и в «Кровавой маме» члены семей Гриссомов и Баркеров были преступниками и в чисто домашней сфере. Преступниками и психопатами. Даже такое извечное и прекрасное чувство, как материнская любовь, оборачивалось в фильме Кормена уголовщиной и мерзостью: сожительством матери со своими сыновьями.

Черное было смешано не с розовым (как в «Крестном отце»), а с черным же.

Ничего, кроме омерзения, эти семьи преступников и психопатов вызвать у зрителя не могли. Себя и свою семью он в них не узнавал.

А в высокодобродетельном, образцовом семействе Корлеоне, он, средний американский зритель, живущий в пригороде, мог узнать — нет, не себя и свою семью, но то, весьма для него лестное представление о себе и своей семье, какое ему внушалось журналами для домашнего чтения и телевизионными «семейными сериями».

И «узнавание» это было, наверно, тем более приятным, что в реальной жизни он, средний американский зритель из средней американской семьи, живущей в пригороде, переставал уже узнавать себя и свою семью.

Сделать такой вывод позволяют многочисленные статьи, появившиеся в американской прессе в связи с еще одной телевизионной «семейной серией». Той, которая в начале этого года в течение двенадцати недель подряд (по серии в неделю) собирала по вечерам у телевизоров десятки миллионов американцев.

В этой семейной серии были и домик в пригороде, и бизнесмен-отец, и домовитая мать, и телевизор, и совместные трапезы — почти все атрибуты стереотипа «счастливой американской семьи».

Не было в ней только одного атрибута счастливой семьи. Счастья.

Когда молодой режиссер Крейг Гилберт задумал снять документальный многосерийный телефильм о жизни средней американской семьи, у него были самые честные намерения, какие только могут быть у режиссера-документалиста. Не вмешиваться в события. Не приукрашивать действительность. Не делать выводов. Просто проследить в течение нескольких месяцев за жизнью одной из американских семей.

Режиссер, правда, был уверен (как заявил об этом впоследствии), что достаточно долгое кинонаблюдение за какой-либо одной семьей позволит выявить нечто общее, свойственное не только этой, но и многим другим семьям — «разоблачит мифы, системы ценностей». Однако он никак не рассчитывал, что фильм «Американская семья» станет общественным событием, превратится в социологический документ, который критики назовут беспощадно точным, типизированным портретом средней американской семьи начала семидесятых годов XX века.

При выборе объекта исследования требования были самые элементарные. В семье должно быть несколько детей-подростков (имелось в виду, что проблемы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, станут драматическим стержнем повествования). Все члены семьи должны быть «телегеничны», то есть «хорошо смотреться», обладать приятной внешностью. И еще одно, само собой разумеющееся условие: герои будущего телеповествования должны обладать даром так называемого «публичного одиночества», то есть свободно чувствовать себя перед камерой, уметь забывать о ней.

Последнее условие могло показаться самым трудным: имелось в виду, что на протяжении по крайней мере полугода участники съемочной группы буквально ни на шаг не будут отходить от каждого из членов семьи. Оказалось, однако, что особых сложностей в этом отношении не возникло: отдавая должное и выбору режиссера, и поразительной непринужденности, с которой выбранное им семейство Лаудов (из города Санта-Барбара в Калифорнии) держало себя перед камерой, рецензенты в то же время отмечали, что подобное умение могли бы проявить и многие другие американские семьи. Индивидуализм — индивидуализмом, а образу жизни среднего американского обывателя, как о том свидетельствуют наблюдения и исследования, публичность свойственна в значительно большей мере, чем образу жизни обывателя европейского.

«Участники съемочной группы,— разъясняла миссис Пэт Лауд донимавшим ее репортерам,— как бы породнились с нами. Я и держала себя перед ними как перед членами нашей семьи, совершенно забывая о камере».

...Забывая о камере, Пэт Лауд умоляет вернуться на путь истинный и под родительский кров старшего сына (21 год), гомосексуалиста и наркомана. Покинув семью, он связался в далеком Нью-Йорке (куда мать, сопровождаемая, разумеется, участником съемочной группы, бросилась ему на выручку) с какой-то темной, полууголовной компанией. Она упрашивает его сходить к психиатру, оставляет деньги на лечение, а возвратившись домой, обвиняет во всем мужа: первенец пошел в него (он считает: в нее).

...Забывая о камере, Пэт Лауд слушает рассказ вернувшегося из деловой заграничной поездки (Таиланд, Австралия) среднего, самого благополучного сына. При всем его благополучии, он не может в свои восемнадцать лет связать двух слов, ему нечего рассказать о своих впечатлениях: он ничего не увидел, ничего не узнал, за его обаятельной улыбкой — безмятежная зияющая пустота.

...Забывая о камере, Пэт Лауд уговаривает младшего сына, не желающего в свои семнадцать лет ни учиться, ни работать («Зачем? И так все есть»), взяться, наконец, за ум. Но с того вполне достаточно телевизора, рок-музыки и спиртного (пристрастием к бутылке отличаются, впрочем, и все другие члены семьи за исключением младшей, тринадцатилетней дочери).

...Забывая о камере, Пэт Лауд встревоженно и в то же время осторожно выспрашивает у своей старшей, пятнадцатилетней дочери, испытывающей отвращение к книгам и совсем противоположное чувство к своему дружку-одногодку, подробности ее недавнего превращения в женщину.

И забывая о камере, измученная семейными неурядицами и непрекращающимися мужниными изменами, Пэт Лауд объявляет ему, что с нее хватит: она просит его уйти из дома.

Благополучная, хоть и не без проблем, семья (какою она была рекомендована режиссеру муниципальными органами Санта-Барбары) прекращает свое существование.

Но даже если бы она и не прекратила своего существования (некоторые из пишущих о фильме полагают, что постоянное, изо дня в день кинонаблюдение, пусть о нем даже и «забывали», послужило своего рода катализатором загоняемых до поры до времени вглубь семейных конфликтов), двенадцатичасовой документальный репортаж о семи месяцах жизни семейства Лаудов не потерял бы, видимо, своей выразительности. И точно так же способен был бы сказать о многом.

Об иллюзорности идеалов. О пустоте существования. Об отсутствии духовных связей. И более всего — о разительном несоответствии этой реально существующей и выбранной почти наугад семьи тому примелькавшемуся стереотипу, с которым читатель и зритель привыкли встречаться и в претендующих на репортажную достоверность журнальных публикациях, и в претендующих на художественное обобщение пьесах, фильмах и телепередачах об идиллии домашнего очага. Этом, как мы уже знаем, «самом лирическом из американских символов».

Последние снятые Крейгом Гилбертом кадры (в фильме они идут первыми, вслед за чем режиссер возвращает действие на семь месяцев назад) — тоже своего рода символ. И тоже лирический.

Только лирика его иная.

В новогоднюю ночь, одна в опустевшем доме (человек с камерой, хоть с ним и породнились, разумеется, не в счет), хранительница домашнего очага Пэт Лауд прислушивается к доносящемуся из семейного гаража пьяному гвалту: дети предпочли отметить праздник одни.

Как непохожи описываемые в журна-

ЯН БЕРЕЗНИЦКИЙ
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

лах для домашнего чтения милые семейные празднества на встречу Нового, 1972 года в распавшейся семье Лаудов.

И как похожа история распада семейства Лаудов на трагическую историю другого американского семейства. Семейства Ломенов из «Смерти коммивояжера» Артура Миллера.

Бывает, что и несчастливые семьи похожи друг на друга ..

Тем более, что в ходе семимесячного кинонаблюдения выясняется: бизнес Билла Лауда (торговля запасными частями к угледобывающим машинам) отнюдь не процветает. Как и бизнес его тезки Вилли Ломена.

Удивляться здесь надо, наверно, не тому, что история реальных Лаудов во многом повторила историю созданных воображением художника Ломенов, а тому, с какой силой обобщения были воплощены художником реальные процессы, происходящие в жизни средней американской семьи.

А впрочем, и здесь нечему удивляться. Художник на то и художник.

Удивляться можно лишь самим Лаудам, которые вполне охотно, без какого-либо денежного вознаграждения согласились быть объектом семимесячного кинонаблюдения и предстать перед многомиллионной аудиторией с множеством если не самых интимнейших, то, во всяком случае, достаточно интимных подробностей своей жизни.

В согласии Лаудов вынести на публичное обозрение свою интимную жизнь рецензенты усматривают чисто американскую страсть к «паблисити».

А сам образ жизни Лаудов, полагает обозревательница газеты «Интернэшнл геральд трибюн», — производное от той ужасающей духовной нищеты, той «отрицательной культуры, или минускультуры» (negative culture or culture minus), какие свойственны не одним только Лаудам.

Не эта ли «отрицательная культура», не этот ли «неандертальский культурный уровень» (из той же рецензии) являются первопричиной упоминавшегося в начале этой статьи расчета книгоиздателей и кинопродюсеров на «отрицательные слагаемые» читательского и зрительского успеха? Расчета, увы, довольно часто оправдывающегося.

Положительный герой?..

В отличие от Билла Лауда — плохого семьянина и неудачливого бизнесмена, Дон Вито Корлеоне — отличный семьянин и преуспевающий бизнесмен. Оливковое масло, ввозимое в страну возглавляемым им синдикатом, идет, видимо, на внутреннем рынке более бойко, чем запчасти к угольным комбайнам.

Оливковое масло?

Да, если кто-либо посторонний спросит Дона Корлеоне или любого служащего синдиката, в чем состоит их бизнес, они не моргнув глазом ответят именно так. А о гигантской сети игорных и всяческих иных притонов, которым синдикат оказывает (отнюдь не безвозмездно) покровительство, промолчат.

И о том, что власть в пределах своей империи синдикат Корлеоне завоевал, сохранил и упрочил в тяжкой кровопролитной войне с конкурентами, тоже распространяться не станут.

Кого-то необходимо припугнуть. Припугнули. Другого подкупить. Подкупили. Третьего убрать. Убрали. С четвертым заключить деловую сделку. Заключили.

Конкуренты действуют теми же методами. Запугивают. Подкупают. Устраняют. Заключают сделки. «Устранить» в этой системе деловых взаимоотношений означает «убить».

Но бизнес есть бизнес. Все решают только деловые соображения. Представители конкурирующих семейств-синдикатов полны самой искренней благорасположенности по отношению к Дону. Но когда он отказывается заключить с ними деловое соглашение, сулящее им (да и ему) огромные барыши, его скрепя сердце решают устранить. Для пользы дела — чтобы иметь возможность заключить несостоявшуюся пока сделку с предполагаемым наследником Дона: по неосторожному замечанию, которое вырвалось у Санни во время переговоров, конкурентам стало ясно, что сам он был бы не прочь вступить с ними в деловые взаимоотношения (речь шла о торговле наркотиками — Дон, человек старого закала, счел это предприятие слишком уж рискованным).

А когда оправляющийся после неудавшегося покушения на него Дон решает (во имя тех же деловых соображений) не держать обиды на тех, кто всадил в него пять пуль, и пойти на мировую в завязавшихся после покушения военных действиях, конкуренты оказываются перед необходимостью устранить уже не его, а Санни: вспыльчивость и упрямство старшего сына Дона могли помешать заключению выгодного и для них мира.

Для всех этих деловых людей кровопролитие — отнюдь не удовольствие. Работа. Притом не из приятных. И даже не из самых доходных. «Кровопролития я не люблю. Я бизнесмен, а кровь обходится слишком дорого». Это говорит тот, по чьему наущению и было выпущено в Дона пять пуль. Говорит Тому Хэгену, юрисконсульту Дона и его крестному сыну, говорит сразу же после покушения, полагая, что Дон мертв, и искренне горюя о потере уважаемого им человека.

Да и зачем ему было бы лицемерить: он действительно прежде всего бизнесмен. Как и сам Дон.

«Мой отец ничем не отличается от любого другого человека, наделенного властью», — объясняет Майкл своей невесте Кэй. А когда эта простодушная американочка, раскрыв от удивления глаза, пробует возразить ему: «Как ты

наивен! Ведь сенаторы и конгрессмены не убивают людей», Майкл только переспрашивает: «Так кто же из нас наивен, Кэй?»

«Я думаю,— заявил недавно Марлон Брандо,— что это фильм совсем не о мафии. В нем, мне кажется, воплощен сам дух системы крупных корпораций. Мафия как нельзя лучше характеризует образ наших капиталистов. Дон Корлеоне — это всего лишь обыкновенный магнат американского бизнеса, который делает все возможное для благополучия своей семьи и общественной группы, к которой он принадлежит».

Дон Вито Корлеоне обладает огромной личной властью. И если Коппола, экранизируя книгу Пьюзо, решил поставить во главу угла проблему «династий и власти», то это свидетельствует о том, что он умеет, как принято выражаться, держать руку на пульсе времени.

Ибо не он один считает проблему власти достойной внимания.

«Размеры личной власти,— пишет Т. К. Куинн в своем исследовании «Монополии шествуют вперед»,— это одна из самых значительных проблем наших дней. Едва только «Дженерал моторс» сообщит о том, что вкладывает новый миллиард долларов в свою будущность, как дружелюбно настроенная по отношению к этому гиганту пресса (которой он ежегодно выплачивает свыше пятидесяти миллионов долларов) начинает, захлебываясь от восторга, живописать, какие блага это сулит нашей экономике... Вся наша экономическая жизнь — во власти гигантских корпораций, в политическую жизнь они тоже вмешиваются. Их влияние повсеместно».

Дон Вито Корлеоне имеет все основания считать, что влияние руководимого им Семейства-синдиката также повсеместно. Что же до б л а г, которые сулит это влияние, то, хотя оно и не распространяется еще в полной мере на отвлеченно-обезличенную «нашу экономику», их зато может ощутить л и ч н о на себе каждый из тех, кто находится в орбите деятельности синдиката. Единственное, чего потребует от него владыка взамен,— лояльности. И верша суд и расправу, будет убежден, что служит интересам общества — восстанавливает справедливость, которую оно не сумело обеспечить для своих членов.

Мотив личной (а тем самым, как он полагает, общественной) справедливости имеет в деятельности Дона чрезвычайно важное значение. Не будь он убежден, что вожделенная роль была отобрана у Джонни Фонтейна несправедливо, он не стал бы ему помогать снова получить ее (эпизод с отрезанной лошадиной головой).

Так же как не стал бы помогать и другому просителю — тому, чьи слова раздаются еще с затемненного экрана, сразу после вступительных титров. «Я верю в Америку» — вот первые слышимые слова фильма. И только вслед за ними появляется тот, к кому обращены эти слова,— Дон. Он сидит в кресле, поглаживая рукой кошечку, уютно примостившуюся у него на коленях, и устремив задумчиво-мягкий, всепонимающий взгляд на стоящего перед ним просителя. А тот, волнуясь, излагает суть дела: Америка не оправдала его веры, не сумела достойно покарать двух великовозрастных оболтусов, зверски избивших его дочь и отделавшихся в суде лишь легким испугом. Согласившись, что жажда мести, которой обуреваем проситель, справедлива, Дон берется помочь ему. Око за око, зуб за зуб.

И проситель благодарно целует Дону руку.

В романе подробно рассказано, каким образом была восстановлена по распоряжению Дона попранная официальной Америкой справедливость. Избитым до полусмерти юнцам (бить их до смерти было строго-настрого запрещено: око за око, но не больше) долгонько придется отлеживаться в больнице. Как и их жертве.

Копполе подробности в данном случае не нужны. Важен факт: подданные империи Корлеоне видят в Доне поборника справедливости. И он сам полагает себя таковым.

Законы, которыми руководствуется Дон в своей семье и в своем бизнесе, кажутся ему (да и не только ему) лучше и справедливее законов, господствующих в обществе. Семья, как одно из установлений этого общества, его первичная группа, обществу же и противопоставлена.

А то, что это семья выходцев из Италии и в ней сохраняется еще некая экзотическая патриархальность внутрисемейных отношений (распространяющаяся также и на отношения внутри С е м е й с т в а), позволяет Копполе совместить, казалось бы, несовместимое.

С одной стороны, семейно-гангстерский синдикат Корлеоне воплощает «дух системы крупных корпораций». Он проявляется, в частности, в том, что корпорация становится для тех, кто вовлечен в сферу ее деятельности, не просто экономическим сообществом, но и своего рода сюзереном, обладающим всей полнотой власти по отношению к подданным. Именно эта особенность «эры крупных корпораций», ставших, по определению Макса Лернера, «частными правительствами», дала основание как ему, так и некоторым другим американским ученым именовать систему отношений, сложившихся между этими «частными правительствами» и их «подданными», «новым феодализмом».

На службе у «новых феодалов», пишет цитировавшийся выше Т. К. Куинн, «состоит прямо или косвенно почти полови-

---

ЯН БЕРЕЗНИЦКИЙ
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

на из тех шестидесяти четырех миллионов платных работников, которые насчитываются ныне в США...»

И он же, в другой своей работе, озаглавленной «Корпорации-гиганты. Вызов свободе»:

«Сотрудник корпорации-гиганта практически во всех отношениях находится в такой же зависимости от своего работодателя, как феодальный раб — от своего владыки».

Но воплощая архисовременный «дух системы крупных корпораций», «нового феодализма», Семейство Корлеоне способно вызвать также у какого-нибудь среднего американского зрителя из числа той половины платных работников, которая служит в этой системе (у Билла Лаудa например), ностальгический вздох по безвозвратно ушедшим и кажущимся ныне такими идиллическими временам примитивного «семейного капитализма». Когда бизнес был связан с домом, а дом с бизнесом.

И в этом странном сочетании тоже есть, видимо, какая-то притягательная сила для определенной части зрителей.

А сам Дон, с его неторопливой рассудительностью, с его деловой хваткой, с его энергией, с его неизменной благожелательностью, с его всегдашней готовностью прийти на помощь ближнему (если ближний лоялен), с его врожденным чувством справедливости,— разве не способен он послужить (для какой-то определенной части зрительного зала) идеальным воплощением self-made-man — человека, обязанного своим успехом только самому себе, «создавшего самого себя»? Кому-то он, быть может, покажется даже долгожданным воплощением задачи, поставленной перед американскими писателями известным литературоведом Бернардом Де Вото: создать образ «положительного бизнесмена». Задачи, казавшейся Максу Лернеру невыполнимой.

Бизнесмен, по мнению Лернера, мог почитаться достойным подражания героем только во времена, предшествовавшие «эре гигантских корпораций». Во времена Вандербильта и Моргана. Да и тогда герой-бизнесмен являл собою не особу, исполненную общественных добродетелей и почитаемую в связи с этим, а весьма несовершенного человека, олицетворявшего собой особую напряженность социальных усилий... Поскольку люди идентифицировали себя не с ним как с личностью, но с тем, что он собою воплощал, не было необходимости изображать его ни симпатичным, ни добродетельным... В современной Америке этих колоритных пиратов заменили руководители корпораций. В деперсонифицировавшемся обществе новый герой бизнеса превратился из человека в установление». «Установление» же в положительные герои никак не годится.

А кто годится?

Годится Дон Вито Корлеоне — отвечает на этот вопрос известный критик и публицист Норман Подгорец. И именно этой пригодностью объясняет он небывалый успех «Крестного отца» как «повествования об успехе» (success story):

«Нам все еще по душе повествование о людях, наделенных волей, энергией, отвагой, дерзостью, беспощадным упорством и использующих эти качества, чтобы пробиться наверх. Но так глубоко укоренилось в нашей культуре чувство враждебности к бизнесу и коммерции, что бизнесмен, действующий в пределах законности, едва ли смог бы стать героем подобного повествования. Им смог бы стать только бизнесмен, чья деятельность протекает вне рамок закона. Иначе говоря, гангстер».

Грандиозный успех «Крестного отца» едва ли можно объяснить одним только этим обстоятельством (преуспевающий гангстер-бизнесмен появлялся на американском экране не раз). Но в суждении Подгореца есть, несомненно, значительная доля истины. А раз так, то не будет, вероятно, чрезмерно смелым предположить, что сходное обстоятельство (см. первую часть разъяснения Подгореца) сыграло свою роль и в небывалом успехе «Чайки по имени Джонатан Ливингстон». Ведь и там речь идет — пусть в аллегорической форме — о непреклонной воле, бесстрашии, энергии и дерзости, которые одни только и могут привести к успеху.

Мораль своей притчи сам автор определил так: «Сумей обнаружить, что тебе более всего хотелось бы делать, и приложи все свои усилия, чтобы достичь этого». Тот же идеал: «птица, создавшая саму себя».

Дон умер, да здравствует Дон!

На смену «колоритным пиратам» Вандербильту и Моргану пришли обезличенные корпорации.

На смену колоритному владыке гангстерской империи Дону Вито Корлеоне приходит новый владыка — Дон Майкл Корлеоне. Фигура не менее интересная, чем старый Дон, и даже — по-своему — столь же колоритная.

Колоритность старого Дона — в резком своеобразии, в непохожести его (как личности) на привычный облик обезличенного бизнесмена эры крупных корпораций. Колоритность Майкла — в его, если можно так выразиться, антиколоритности: в непохожести на окружающие его колоритные фигуры гангстеров-бизнесменов, сохранивших и в Америке патриархальность сицилийских нравов.

Майкл — самый американизированный из всего клана Корлеоне.

В старом Доне при всей его железной хватке «нового феодала» было нечто старомодное, уютно-семейное. У Майкла хватка еще железнее, но старомодности и в помине нет.

Поэтому, когда к концу фильма он становится Доном и его подвластные с той же подобострастной почтительностью, с какой они целовали руку старому Дону, целуют руку ему, это воспринимается как нонсенс. Какой бы властью ни был наделен «новый феодал», руку ему не целуют.

К концу фильма Майкл словно бы нивелируется как личность. На лице — непроницаемая маска надменной безучастности. Во взгляде — стальная непреклонность. Если бы понятия «синдикат» или «бизнес» могли быть воплощены в человеческом облике, это был бы облик Майкла Корлеоне в конце фильма.

В начале же Майкл — белая ворона не только в кругу своего семейства и не только в кругу семейного бизнеса, но и вообще в кругу бизнеса.

На свадьбе сестры мы видим его в военном мундире и с орденскими ленточками. Единственный из всех Корлеоне, он принимал участие в только что окончившейся войне (действие фильма начинается в августе 1945 года). На войну он пошел добровольцем: он и д е а л и с т, и такие понятия, как «родина», «защита демократии»,— для него не пустой звук. Идеализм же заставляет его держаться в стороне от семейного бизнеса, хоть он все знает о нем.

Идеализму Майкла наносит сокрушительный удар полицейский капитан Маккласки. Удар в самом прямом смысле слова: страшный зубодробительный удар по физиономии. Конкурирующий синдикат, у которого капитан Маккласки находится на содержании, решил после неудавшегося покушения еще раз попытаться прикончить Дона, и капитану, естественно, не по душе старания Майкла обеспечить безопасность находящегося в больнице отца.

Можно спорить, достаточно ли этого удара для психологической мотивировки перерождения Майкла. Пожалуй, и недостаточно. Удар этот в фильме скорее знак, метафора того разочарования, которое испытал идеалист Майкл в почитавшихся им незыблемыми идеалах. Если общество управляемо теми же (не признававшимися им ранее) законами, которыми руководствуется в своей борьбе с конкурентами Семейство, если «отец ничем не отличается от любого человека, наделенного властью», то лучше уж служить не обществу, а Семейству. То есть самому себе.

Все это в фильме, повторяю, обозначено несколько пунктирно. Однако обозначено. И решивший служить не обществу, а Семейству, то есть самому себе, Майкл превращается из размазни-интеллигента в холодный, безличностный автомат, запрограммированный только на одно простейшее арифметическое действие: умножение. Умножение богатства и умножение власти. Или точнее — богатства-власти.

В этой холодной, машинной агрессивности — отличие Майкла от старого Дона, его преимущество перед старым Доном. Майклу не довелось, как отцу, «создавать самого себя»: власть над империей Корлеоне он унаследовал. И отсюда, наверно, еще большая «напряженность социальных усилий». Когда уже не бизнес подчинен семье, но семья — бизнесу. Когда сама семья — бизнес. Все тот же холодный и безжалостный, не оставляющий места ни на умилительную патриархальность, ни на внутрисемейные добродетели.

Автор цитировавшейся выше статьи «Тускнеющие кровавые пятна» приводит в ней одно чрезвычайно любопытное наблюдение. По его словам, он семь раз смотрел «Крестного отца», и каждый раз зрители (мелкобуржуазная аудитория, как он сам ее определяет), с интересом следя за происходящим на экране, не выказывали тем не менее никаких эмоций. Даже во время самых жестоких, самых кровавых эпизодов. «И только один раз аудитория реагировала вслух: негромким потрясенным гулом, проносившимся по залу в финале фильма, когда сын «крестного отца» в разговоре с женою произносит заведомую ложь».

Потрясение мелкобуржуазной аудитории можно понять. На протяжении ста семидесяти пяти минут сфера бизнеса и семейная сфера были в фильме четко разграничены. Ложь, предательство, убийство — все это было вполне допустимо в сфере бизнеса. В семейной же сфере отношения были основаны на доверии, искренности, доброжелательности. И вдруг, за пять минут до конца — обман. Не конкурента. Жены.

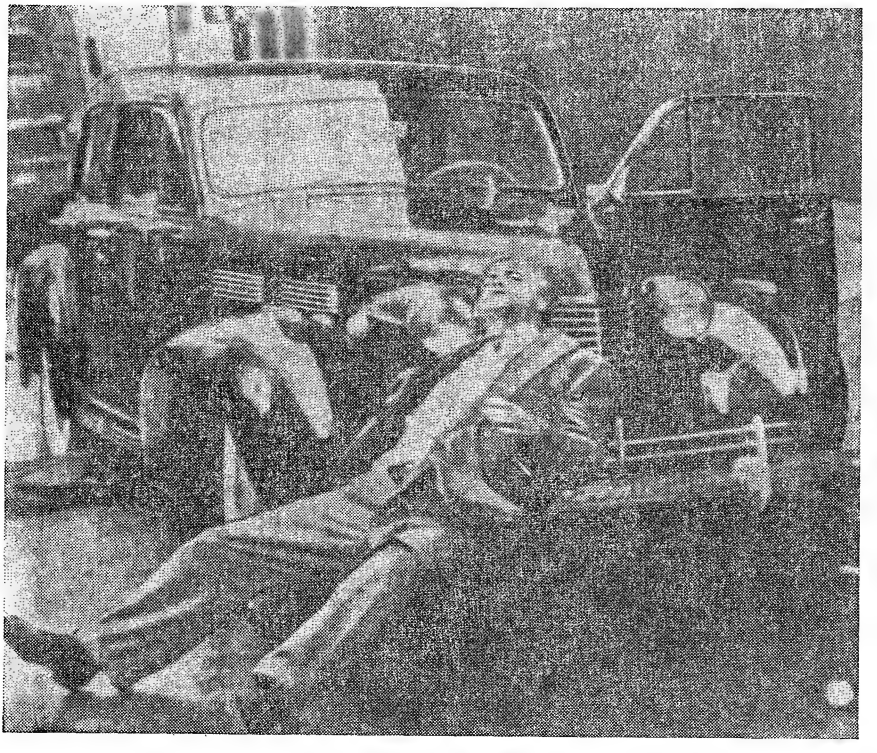
Солгал жене не кто иной, как Майкл. Солгал во время церемонии крестин, когда она спросила, по его ли распоряжению был убит Карло Риззи, муж сестры Майкла. Тот, кого зверски избил в свое время Санни и чью мстительную ненависть использовали впоследствии конкуренты, чтобы заманить в ловушку и убить предполагаемого наследника династии Корлеоне. На вопрос жены Майкл отвечает: «Нет».

И она почти готова ему поверить, зная, что в семье Корлеоне лгать друг другу не принято. Правда, в семье Корлеоне не принято и задавать подобных вопросов — семья есть семья, а бизнес есть бизнес. Но она — единственная американка в семье и вступила в нее совсем недавно, так что не вполне еще освоила неписаный кодекс семейной чести.

Однако она уже достаточно хорошо знает Майкла, чтобы, взглянув ему в глаза, понять: он ей солгал.

И это потрясает ее.

Но потрясает — как и зрителей на тех семи сеансах, на которых побывал автор



Покушение...

статьи в «Энкаунтере»,— не то, что Майкл убил, а то, что он ей солгал.

Ибо она уже знает: убийство — составная часть бизнеса ее мужа. И убивают не из личных чувств, а для пользы дела. Устранение Карло было не просто местью за брата, но разумной мерой предосторожности: предавший единожды может предать вторично.

И все же, как ни разумна эта мера, старый Дон не мог на нее решиться. Виновник гибели сына был ему известен. Но виновник гибели сына был мужем его, Дона, дочери, был отцом его, Дона, внуков. Едва ли не впервые за всю его долгую счастливую жизнь возник конфликт между интересами семьи и интересами бизнеса. Предпочесть бизнес семье старый Дон не смог.

Вот поэтому-то, объясняет жене Майкла Том Хэген, юрисконсульт Семейства, старый Дон и удалился незадолго до смерти на покой, передав управление бизнесом в руки Майкла. Предпочесть бизнес семье он не смог. Но знал, что в данном случае это надо сделать. И знал, что Майкл сможет.

И Майкл действительно смог.

Впрочем, объяснения Тома Хэгена в фильме нет. Это одно из тех очень немногих мест романа, относительно которых можно пожалеть, что они не вошли в фильм. Хотя суть этого объяснения — то есть разница между старым Доном и новым Доном — воплощена в фильме с полной мерой кинематографической выразительности.

И если старый Дон, отличный семьянин и отличный бизнесмен, не сумел все же, при всей своей удачливости, воплотить заветную мечту своей жизни — пробиться самому или проложить путь кому-либо из семьи в самые верха,— то его насквозь американизированный сын (который единственный изо всей семьи женился на американке и даже детей предпочел бы воспитывать не в вере отцов, а в протестантской вере: все-таки «поамериканистее») сумеет достичь и этого. «Мы доберемся туда»,— с железной уверенностью говорит он отцу, когда тот, незадолго до смерти, делится с ним этой своей потаенной и неосуществившейся мечтой.

И ему веришь. Такой доберется.

«Сегодня я возлагаю на себя руководство семейным бизнесом»,— с непроницаемо холодной горделивостью сообщает в финале новый Дон. Это звучит как тронная речь при восшествии на престол, как монаршья присяга в верности идеалам династии. Слова эти — последние в фильме, но они не завершают экранную повесть об успехе, а обрывают ее, оставляют неоконченной.

Семейный бизнес продолжается...

Тактика успеха

Но если все это так, если фильм позволяет сделать столь далеко идущие выводы общественно-идеологического свойства, то к чему были оговорки насчет непоследовательности режиссерского решения, неточности акцентов и т. п.? И почему фильм был принят если не восторженно, то, во всяком случае, сдержанно-благожелательно в такой цитадели кинематографического и всякого иного мещанства, как журнал «Филмз ин ревью»? И почему, как сообщает пресса, единственная претензия руководителей нью-йоркской мафии к создателям фильма заключалась в том, что они не были приглашены на премьеру?

Ответить в самой общей форме на эти вопросы можно так: фильм позволяет сделать все те общественно-идеологические выводы, о которых шла выше речь, но не настаивает на них. Позволяет их и не делать.

Найдя — сознательно или бессознательно — такую формулу междужанрового скрещивания, которая обеспечила его фильму максимальный успех, Коппола — опять-таки сознательно или бессознательно — подгонял под эту формулу и общественно-политическое звучание фильма. За дешевым успехом он не погнался (едва ли рассчитывая при этом, что успех серьезный будет и коммерчески выгоднее). Но ставка на успех тем не менее явственно ощутима в фильме.

По выходе картины на экран многие (далеко не все) усмотрели ее общественный смысл в разоблачении морали капиталистического предпринимательства. Приписано это было воздействию на режиссера исполнителя центральной роли, хорошо известного своими прогрессивными взглядами, да к тому же неоднократно заявлявшего именно о такой трактовке роли. Коппола, однако, ревниво заявил, что трактовку эту не Брандо навязал ему (как утверждалось в прессе), а он — Брандо. Более того. Повторяя мысль, высказанную ранее Брандо, режиссер сформулировал ее значительно резче: «И Америка, и мафия представляют собою чисто капиталистический феномен; их руководящий мотив — стремление к прибыли».

О том, что стремление к прибыли было и его руководящим мотивом в работе над «Крестным отцом», режиссер в этом интервью уже не вспоминал. Об этом вспомнил, однако, интервьюер: «Коппола всегда представлял собой любопытное сочетание бизнесмена и художника».

Тогда же (то есть задним числом) Коппола выступил и с известным уже нам заявлением о «проблеме династий и власти», каковую он, по его словам, попытался вытянуть из не претендующего на особую проблемность романа Марио Пьюзо.

«Проблема династий и власти» действительно связана в фильме с разоблачением морали капиталистического предпринимательства. И не стоило бы заводить разговор о том, кто первый сказал «а», если бы сам фильм, вся его образная структура не давали на это предельно ясный и недвусмысленный ответ. Суть в том, что идейному содержанию картины в целом как раз и недостает той предельной ясности и недвусмысленности, какие свойственны актерской работе Брандо, если рассматривать ее саму по себе.

Как всегда, режиссер своей роли, Брандо выстраивает ее с математической точностью. Сострадательная задумчивость, с какою он выслушивает просителя, усталая всепонимающая улыбка, мягкая рассудительность и спокойная непреклонность в переговорах с конкурентами, глаза, полные бездонной муки, когда он едва-едва слышным, омертвелым от нестерпимого горя шепотом произносит, глядя на мертвого сына: «Вот что они сделали с моим мальчиком»,— все это для актера ступени, по которым он закономерно подводит зрителя к финалу. Не к финалу фильма, а к финалу роли, придуманному и срежиссированному им самим.

Финал этот таков. Удалившегося от дел благообразного и еще крепкого старца мы видим последний раз в саду, где он играет с трехлетним внуком. Держа в руке пистолет-пульверизатор для опрыскивания растений, Дон шаловливо пугает малыша, заложив под губы вырезанную из кожуры апельсина челюсть с клыками, отчего на лице его появляется страшный, нечеловеческий оскал.

Расширенных от ужаса глаз ребенка он уже не видит, плача его не слышит: смерть застигает Дона внезапно. Мертвый, беззвучно свалившийся в зелень клумбы, он все еще сжимает в руке пистолет, и на лице все тот же зловещий оскал — улыбка Дракулы или Франкенштейна.

Этот зловещий оскал и есть его истинное общественное лицо. Хоть в семейном кругу — с сыновьями и внуками — он сама доброта, сама справедливость.

Работа Брандо восхищает прежде всего диалектическим единством двух обликов его героя.

Но работа Брандо существует в фильме не сама по себе. И хоть у Копполы достало мужества заявить во всеуслышание, кто автор эпизода в саду — лучшего, по его, Копполы, мнению, эпизода картины,— сам он, однако, не сумел (или не захотел?) проявить в режиссерском решении фильма ту непреклонную последовательность, какую проявил в построении своей роли Брандо. Какую проявил и он сам, Коппола, но не как режиссер, а как сценарист, отбирая из

ЯН БЕРЕЗНИЦКИЙ
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

романа Пьюзо только то, что работало на тему «династий и власти».

Можно согласиться с кинообозревателем журнала «Ньюсуик»: если Брандо вложил в исполнение роли благопристойного гангстера-бизнесмена всю свою гражданскую страсть, всю свою политическую активность последних лет, то Коппола, как режиссер, трактовал тему фильма значительно более мягко, увлекшись эффектами чисто формального сопоставления сцен жестокости и насилия с идиллически-благостными семейными сценами.

Сопоставление это достаточно выразительно, чтобы дать материал для размышлений привыкшему размышлять зрителю.

Сопоставление это недостаточно выразительно, чтобы побудить к размышлениям зрителя, эстетически мало подготовленного.

Разные категории зрителей разное и увидят в фильме.

Эстетически (и политически) подготовленный зритель тоже не откроет для себя в фильме Америки. Не откроет хотя бы потому, что тот образ Америки, какой предстанет ему в фильме, он, привыкший размышлять зритель, уже носит в своем сознании. Аналогии возникнут лишь у того, кто готов их воспринять, кому не потребуется добавочных мыслительных усилий для несложного ассоциативного хода, позволяющего сделать из фильма общественно значимые выводы.

Для того чтобы сделать эти выводы, нужна, если можно так выразиться, предварительная настроенность на них.

А многомиллионные носители «минускультуры» — что бы ни привлекло каждо из них в картине: ее «чернота», странно сочетающаяся с «чистотой», или ее «чистота», странно сочетающаяся с «чернотой»,— тем более не откроют для себя в фильме Америки. Ибо сами они вообще не привыкли что-либо открывать в искусстве, а создатель фильма — если не считать реплики Майкла насчет сходства отца с любым другим человеком, обладающим властью,— ничем им не помог. Наоборот: предоставил полную возможность задержаться в своем восприятии фильма на «неандертальском уровне». То есть на уровне поверхностного, семейно-гангстерского (или гангстерско-семейного) слоя. Единственным выводом, который они способны будут сделать по линии семейной, окажется, вероятно, умиление патриархальными добродетелями клана Корлеоне. По линии же гангстерской вывод может быть и таким: не так страшен черт, как его малюют. Какой-нибудь живущий в пригороде Лауд вполне может счесть, что лично для него (то есть для общества, состоящего из Лаудов) все эти преступные синдикаты не так уж опасны: воюют-то ведь они только между собой. (Может быть, ему, Лауду, даже приходилось читать автобиографическое повествование одного из руководителей нью-йоркской мафии, которое так и было озаглавлено: «Мы убиваем только друг друга».)

Вот на этом примерно уровне и воспринял картину Копполы кинематографический печатный орган Лаудов — журнал «Филмз ин ревью». Ни малейших ассоциаций «Крестный отец» у рецензента не вызвал: еще один неплохой гангстерский фильм, не более того. И даже, скорее, менее того: при всей своей снисходительной благожелательности рецензент все же счел необходимым отметить недостоверность, с какою, на его взгляд, изображен в фильме преступный мир.

И если воспринимать картину на этом уровне, то не исключена возможность, что упрек рецензента основателен. Для Марлона Брандо, как мы помним, «это фильм совсем не о мафии». А для Лауда-рецензента это фильм именно о мафии и только о мафии (хоть она в фильме и не названа).

Можно понять и руководителей мафии, которых, как сообщает печать, фильм Копполы ничуть не оскорбил. Те из них, кто сумеет воспринять фильм на его ассоциативном уровне, могут быть только польщены: в лице Дона Вито Корлеоне их приравняли к «обыкновенным магнатам американского бизнеса». Тем же, кто задержится на уровне поверхностном, тоже нет повода для обид: гангстерское семейство Корлеоне должно вызывать у Лаудов-зрителей явную симпатию.

Картина Копполы позволяет воспринимать ее и так.

А воспринимаемая так, она становится тем самым «поверхностным и незначительным современным гангстерским фильмом», создание которого, по словам режиссера, отнюдь не входило в его намерения.

Так сила фильма — его доступность для самых различных категорий зрителей — оборачивается его слабостью. Так выхолащивается и почти пригасает (для значительной части зрительской аудитории) общественное звучание фильма.

Ибо то, что для Брандо есть его гражданский темперамент, его общественная позиция, его глубоко выношенные убеждения, для Копполы (в его работе над фильмом) было всего лишь модой на левизну.

Довольно распространенная ныне в некоторых кругах творческой интеллигенции Запада мода эта, возможно, лучше многих других мод. Но все же это не более чем мода. Декларируемая, а порой даже воплощаемая в творческой деятельности левизна становится в подобных случаях просто одним из проявлений житейской порядочности. Становится откупом, который считающий себя левым, а главное, стремящийся к тому, чтобы его считали левым, творческий деятель платит за свою житейскую

устроенность, обретая тем самым устроенность душевную.

Не этой ли модой на левизну вызвано, в частности, и запоздалое «а», произнесенное Копполой полгода спустя после выхода фильма?

Не этой ли модой вызвано и заявление, сделанное Копполой для печати в связи со скандалом, который произошел на церемонии вручения «Оскаров». Брандо, как уже говорилось, отказался от награды в знак протеста против политики дискриминации, осуществляемой в США по отношению к индейцам. Отвечая на упреки и нападки, которым подвергся Брандо, Коппола заявил: «Брандо искренен и честен во всем том, во что он верит».

Во что верит сам Коппола — понять пока нелегко.

Нет никаких оснований сомневаться в том, что, взявшись за постановку «Крестного отца» из меркантильных соображений и честно признавшись в этом, Коппола тем не менее стремился создать фильм по возможности значительный и серьезный. Все дело в этом «по возможности», в программной готовности к компромиссам.

Обосновывая в одном из своих давних журнальных выступлений эту программную готовность в качестве необходимого условия достижения успеха, Коппола неожиданно сослался на пример... Гитлера. Это произвело столь ошеломляющее и, разумеется, невыгодное для молодого режиссера впечатление, что будущему создателю «Крестного отца» пришлось специально разъяснять в радиоинтервью: он имел в виду лишь саму тактику, с помощью которой фюрер добился успеха: «Гитлер... втерся в правительство (в буквальном переводе: «вполз» — he wormed his way into the government), стал его частью, а затем, пользуясь этим, сверг его».

Здесь важно отметить примерку на себя, на свою тактику — не в политической, разумеется, борьбе, а в борьбе за место в жизни,— убежденность, что, лишь «втеревшись» в Голливуд, став частью его, можно избавиться от его диктата, стать самим собою в искусстве.

Другие высказывания Копполы в этом же радиоинтервью не оставляют сомнения в том, что его голливудские сценарные успехи (успехами в области режиссуры — во всяком случае, коммерческими успехами — будущий создатель «Крестного отца» похвалиться к тому времени не мог) есть не что иное, как следствие тактики «вползания». Работая вместе с четырнадцатью(!) другими кинодраматургами над сценарием по одноактной пьесе Теннесси Уильямса «Предназначено на слом», Коппола, по его словам, заведомо шел на то, что пьеса окажется искалеченной, а среди то ли пятнадцати, то ли девятнадцати его соавторов по сценарию «Горит ли Париж?» были и такие, кто стремился провести в фильме мысль, что активное участие коммунистов во французском Сопротивлении — фикция.

Майкл Корлеоне, будущий глава синдиката, узнает из газет о покушении на отца.

К чести Копполы надо отнести не только иронию, с какою он упоминает о вышеприведенном суждении, но и то обстоятельство, что обе эти работы — хоть они способствовали его «вползанию» в Голливуд — он называет «злополучными».

Он не называет, однако, злополучной свою следующую сценарную работу. Ту, которая непосредственно предшествовала «Крестному отцу» и принесла ему первого сценарного «Оскара» (за «Крестного отца», как мы помним, он получил второго и тоже сценарного).

Хотя и в этой работе (судя по его высказываниям) он проявил ту же конъюнктурную приспособляемость и гибкость, что и в работах, названных им «злополучными».

Речь идет о военно-биографическом фильме «Паттон», получившем известность как произведение милитаристского звучания. Известность настолько скандальную, что Джордж Скотт, исполнитель роли Паттона — одержимого войной маньяка в чине генерала американской армии, отказался от присужденного и ему за эту роль «Оскара».

А Коппола, хоть от своего «Оскара» он не отказался, решил отмежеваться от фильма другим способом. До реального генерала Паттона, заявил он, ему было мало дела, тем более что герой его сценария, каким тот был в жизни, не кажется ему, Копполе, фигурой, достойной внимания художника. Поэтому он попытался трактовать своего героя как человека «не от мира сего», Дон Кихота в военном мундире, ничего на свете не знающего и не видящего, кроме своей профессии...

Кстати, от «Паттона» у Копполы достало духу отмежеваться только после

ЯН БЕРЕЗНИЦКИЙ
СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

успеха «Крестного отца». Потому что военно-биографический «Паттон» был для Копполы не более чем весьма успешной артподготовкой перед решающим штурмом. Решающим штурмом, призванным завершить операцию по вползанию в Голливуд, стал семейно-гангстерский «Крестный отец».

О том, что штурм этот увенчался блестящим успехом, мы уже знаем. Впервые Копполе удалось, по словам интервьюера из «Сайт энд саунд», «почти примирить художественный и коммерческий импульсы своего творчества».

Почти примирить...

Упорство, воля и энергия, проявленные Фрэнсисом Фордом Копполой на пути к намеченной цели, дают основание назвать его успех успехом self-made-man. Создавать самого себя будущий режиссер начал раньше, чем кто-либо другой из его коллег: в цитировавшемся выше радиоинтервью он сообщил, что его первые опыты по производству (и даже коммерческому прокату!) фильмов относятся к самому нежному возрасту: «Мне было лет восемь или девять, и я зарабатывал на этом кое-какие деньжата».

Четверть века спустя, заработав кое-какие деньжата на «Крестном отце», Фрэнсис Форд Коппола стал частью Голливуда.

И снова надо отдать должное железной последовательности, с какою режиссер следует избранной им тактике. Первое, что он делает, став частью Голливуда,— пытается избавиться от него. Хотя бы наполовину

Ровно через полгода после выхода на экран «Крестного отца» пресса сообщила, что трое молодых голливудских режиссеров — Фрэнсис Форд Коппола, Уильям Фридкин и Питер Богданович (двое последних — авторы фильмов «Французский связной» и «Последний киносеанс», имевших недавно весьма солидный художественный и финансовый успех) складывают свои капиталы и организуют совместную компанию по производству фильмов. Владеть ею они будут, правда, только наполовину (то есть каждый на одну шестую) — совладельцем компании станет фирма «Парамаунт», которая, заприходовав в результате феноменального успеха «Крестного отца» рекордную сумму долларов, может позволить себе этот риск. Однако и половинной самостоятельности достаточно для того, чтобы с надеждой взирать в будущее. «Через год каждый из нас станет акционером какой-нибудь крупной компании»,— оптимистически предсказывает Питер Богданович, один из режиссеров-триумвиров.

А другой режиссер-триумвир — тот, кто был создателем рассматривавшегося здесь кинематографического «повествования об успехе», видит преимущество своей обретенной в результате вползания в Голливуд полусамостоятельности еще и вот в чем:

«В этом бизнесе (кинематографическом бизнесе.— Я. Б.) чужой успех всегда доставляет неприятное чувство. Кориишь себя за это, но ничего не можешь с собой поделать. А теперь, если картина Питера или Билла будет иметь успех, я воскликну: «Слава богу!» Мы будем по-настоящему болеть друг за друга».

На этих хороших словах — «болеть друг за друга» — можно было бы закончить нашу повесть об успехе. Но она остается все же неоконченной.

Во-первых, потому, что результаты творчески-коммерческой деятельности триумвирата еще неизвестны (триумвир Фридкин: «Решающую роль в этом бизнесе играет прокат»).

Во-вторых, потому, что совладелец компании, фирма «Парамаунт», настаивает на том, чтобы Коппола-бизнесмен ковал железо, пока горячо: приступил к реализации продолжения «Крестного отца» (сценарий, уже написанный Марио Пьюзо, носит название «Крестный отец — смерть Майкла Корлеоне»).

В-третьих, потому, что Копполе-художнику тоже хочется продолжить киноповествование об успехе. Но уже на другом, гораздо более серьезном материале. Это должен быть фильм еще об одном магнате американского бизнеса: сценарий по роману Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» тоже уже готов; написан он самим Копполой.

И, наконец, четвертая причина, по которой повесть об успехе, достигнутом Фрэнсисом Фордом Копполой, остается неоконченной, состоит в том, что «болеть друг за друга» Фрэнсис Форд Коппола полагает возможным только в пределах триумвирата совладельцев своего пусть маленького, но синдиката.

А владельцы и совладельцы других синдикатов, других корпораций, других компаний? Воскликнут ли они «Слава богу!» при вести об успехе одного из триумвиров? И воскликнут ли «Слава богу!» триумвиры при вести о чужом успехе? Например, при вести об успехе тех семейно-гангстерских хроник, которые вслед за «Крестным отцом» поспешили снять другие голливудские фирмы, используя рецепт успеха (розовое плюс черное), впервые опробованный Копполой?

«Нет!» — отвечает на эти вопросы Фрэнсис Форд Коппола. Отвечает не только приведенным выше высказыванием, где это «нет» касается взаимоотношений внутри кинематографического бизнеса. Отвечает своей картиной, где взаимоотношения в мире бизнеса изображены, согласно его же словам, как «чисто капиталистический феномен». Где болеют только за свой бизнес, свой синдикат. Где у с п е х одного означает н е п р и я т н о с т ь для другого.

Странно, что автору фильма «Крестный отец» не пришла в голову и эта простейшая аналогия...

◆

Заметки на полях

ГДЕ КОНЧАЕТСЯ «ПУСТЫНЯ»?

Когда в 1969 году в США вышла книга преподавателя истории Калифорнийского университета Теодора Роззака «Создание контркультуры: размышления о технократическом обществе и его молодежной оппозиции», она быстро завоевала популярность среди антибуржуазно настроенной интеллигенции и молодежи. И не случайно. Выражая стихийное сознание американцев, выступающих против истэблишмента, Роззак предстал перед читателями как социальный критик, занявший резко отрицательную позицию и по отношению к культуре, освященной официальными институтами и авторитетами, и по отношению к культур-нигилистам. Нужна новая культура, порывающая с научно-техническим фетишизмом, лишенная коммерческого духа, выводящая человека за пределы узкого горизонта повседневного рационального опыта,— такова была основная идея первой книги Роззака.

Оставался, впрочем, не вполне ясным вопрос: на какой интеллектуально-культурной базе должна сложиться эта «контркультура», как создать духовный климат, в условиях которого могло бы сформироваться «новое сознание»?

И вот перед нами новая книга Роззака, вышедшая в Нью-Йорке в конце 1972 года,— «Где кончается пустыня. Политика и трансценденция в постиндустриальном обществе». Роззак здесь полностью сохраняет, если не усиливает, критический пафос, которым была пронизана «Контркультура». И сегодня, три года спустя, он — ярый противник технократии (даже в ее «мягкой» форме, какая, по мнению Роззака, типична для Соединенных Штатов) как самого опасного и коварного врага современного американского общества.

> «Мягкая технократия во многом подобна кибернетизированной индустриальной системе, которую она охраняет... Ее действие построено не столько на диктате сверху, сколько на всепроникающей манипуляции, ловко пытающейся создать национальный порядок на почве видимого хаоса унаследованных институтов».

Именно технократия, связанная с «урбанистско-индустриальной революцией», породила «пустыню вокруг нас и внутри нас». Человек, обожествивший науку и технику, сетует Роззак, создал искусственную окружающую среду, которая разобщила его с природой и лишила ее первозданной эстетической целостности, духовности, поставила обитателей гигантских городов в положение «космонавтов на земле». «Урбанистско-индустриальный императив» сформировал и новый тип фетишистского сознания, одномерно-плоскостное видение окружающего: весь наполненный звуками и красками мир предстает перед ним как мертвый мир строго калькулируемых вещей и явлений. В свою очередь, это одномерно-плоскостное видение сформировало господствующую в нынешнем обществе культуру, а в конечном счете и политику, «метафизически и психологически санкционированную» господствующей культурой.

Как и в «Контркультуре», Роззак выражает опасения, что господство технократии может привести американское общество к катастрофе. С другой стороны, по его мнению, есть основания и для надежды.

> «Ассимилирующая гибкость мягкой технократии составляет одновременно и ее величайшую силу, и ее величайшую слабость, и трудно сказать с уверен-

ностью, каким образом будут развиваться события в обществах, где она господствует... однако, как известно всему миру, социальный протест в Америке, Японии и Западной Европе характеризуется сегодня интенсивностью и широким размахом, опыт его год от года возрастает. И, безусловно, если бы я не считал, что Америка способна к важным радикальным изменениям, то я бы и не брался за эту книгу».

Какая же возрождающая сила заложена в движениях протеста? Сила религии, отвечает Роззак.

«Эта книга написана на фоне знаменательного, хотя, возможно, пока еще и аморфного религиозного обновления западного мира... Религиозное обновление, происходящее вокруг нас — особенно среди определенного круга молодых людей, но отнюдь не только среди них,— не кажется мне ни тривиальным, ни безответственным, ни диким, ни случайным. Напротив, я принимаю его как глубоко серьезное знамение времени, как необходимую фазу нашей культурной эволюции и — в потенции — как жизнеутверждающий фактор, ценность которого неоспорима. Оно означает, как я полагаю, что мы достигли, после долгих блужданий, некоего исторического командного пункта, с которого мы можем видеть наконец, где кончается пустыня и где начинается культура как выражение человеческой целостности и завершенности. Мы можем признать теперь, что судьба души — это судьба социального порядка; что, если увянет дух внутри нас, то же самое произойдет и со всем окружающим миром, созданным нами.

Эта книга вырастает из убеждения, что на протяжении истории нашего поколения многие славные традиции протеста и реформ иссякли так же, как могут иссякнуть в скором будущем жизненные ресурсы нашей окружающей среды. Энергия религиозного обновления — вот что породит будущую политику и, быть может, решающий радикализм нашего общества».

На базе религии и должна, полагает Роззак, сложиться новая культура, новое видение мира, новый тип общественного сознания и общественных отношений. Однако он просит не путать его с проповедниками в сутане, несущими в мир слово божье. Роззак предупреждает, что, во-первых, свою задачу он видит не в чтении проповедей, а в том, чтобы внести «независимый вклад в предприятие духовного возрождения», прояснить некоторые проблемы, связанные с пониманием религиозной чувственности. А во-вторых, религия, о которой ведется речь — это... даже и не религия.

«Религия, о которой я говорю,— это не религия церкви; не религия Веры и Учения, которая, как я полагаю, являет собой последнее прерывающееся мерцание божественного огня, перед тем как ему навсегда угаснуть. Я скорее имею в виду религию в ее непреходящем смысле. Старый Гнозис. Видение, рождаемое трансцендентным знанием. Мистицизм, если угодно, хотя это слово стало слишком аморфным и грубым, чтобы помочь нам разобраться в тех рапсодических силах разума, из которых вытекает столько традиций поклонения и философской рефлексии».

Надо заметить, что религиозно-мистические мотивы слышались уже в «Контркультуре», где говорилось — и притом вполне серьезно — о пользе магии, шаманства, о достоинствах дзэн-буддизма... В новой книге эти мотивы набирают полную силу. Обращение Роззака к религии, мистицизму как пути к непосредственному видению мира не случайно, как, впрочем, и не оригинально. В американской культуре никогда не угасала традиция, восходящая к так называемым «трансценденталистам» (писателям и философам XIX века, среди которых были такие фигуры, как Торо и Эмерсон). Выступая с резкой критикой капитализма, «трансценденталисты» искали путь к спасению души (как воплощения всего богатства бытия) в непосредственном постижении «трансцендентного» («потустороннего»), в слиянии с природой, в «простоте, независимости, великодушии и вере», говоря словами Торо. В послевоенные годы отзвуки этой традиции можно было уловить в романах и декларациях (да и в самой манере поведения) битников, а в последние годы — в движении хиппи и некоторых групп американских «новых левых», среди которых, между прочим, большой популярностью пользуется сочинение Генри Торо «Уолден, или Жизнь в лесу».

Конечно, идеи «трансценденталистов» звучат сегодня актуально прежде всего потому, что они накладываются на мироощущение значительной части протестующей американской молодежи и интеллигенции. Мироощущение же это сформировалось в условиях высокоразвитого капиталистического общества, которому присуща тенденция к «объективированию» человека, к господству «объективированного разума» (как говорит Роззак) — то есть к фетишизации науки и техники, к превращению индивида в бездушный стандартный автомат, слепо выполняющий подаваемые «сверху» приказы, рассчитанные по всем правилам науки. Отсюда и критика «новыми левыми» Разума и Науки, поставленных на службу «эффективности и производительности»,— критика, очень легко перерастающая в критику Науки и Разума вообще; отсюда же и стремление «новых левых» «пробудить чувственность», перенести акцент на внут-

ренний, индивидуальный опыт личности, открыть перед ней возможность прямого приобщения к окружающему миру, не опосредованного ценностями господствующей культуры.

Но как реализовать это стремление — вот вопрос. Роззак, например, твердо убежден, что разрушение барьеров, воздвигнутых «урбанистско-индустриальной цивилизацией» между разумом и чувством, человеком и миром, возрождение многомерного видения мира возможно лишь посредством обращения протестующего индивида к «революционному мистицизму», к трансцендентным символам.

«Подлинные символы выходят за пределы интеллектуальной расшифровки, взывая к иному уровню сознания, который ускользает от слов... В подлинный символ необходимо в ж и т ь с я. Только таким образом открывается его значение. Только тогда его магия дает эффект. С и м в о л — это магический объект».

Обращение к символам, правда, ничего не прибавляет в нашем сознании, признает Роззак, но оно позволяет нам проникнуть в таинственные глубины мира, оно вызывает *резонанс*, уловив который мы постигаем подлинный смысл вещи.

В чем заключается суть резонанса, Роззак показывает на литературном примере, который стоит того, чтобы его привести.

«У Толстого, в «Смерти Ивана Ильича»,— пишет Роззак,— есть сцена, когда умирающий Иван мысленно возвращается к своим ранним школьным годам. Он вспоминает урок логики... знакомый школьный силлогизм, начинающийся словами: «Все люди смертны». «Все люди смертны» — неоспоримый факт, о котором он знал и тогда, мальчишкой. И вот сейчас, на смертном одре, он снова оказывается лицом к лицу с этим фактом. «Все люди смертны». Но теперь эти слова пронизаны особым светом, резко меняющим их характер. Иван как бы впервые узнает, что он смертен. Нет, он, конечно, всегда знал об этом, знал как дедукцию из данной посылки. Он всегда знал об этом... но никогда не знал об этом так, как знает здесь и теперь. Ему нечего прибавить к факту; он не может увеличить его «информативное содержание». Ничто не изменилось в этом факте... и тем не менее в нем изменилось все. Иван наконец постиг, что о з н а ч а ю т на самом деле эти три слова... Иван не знает больше; он знает глубже... Слова все те же, но теперь, когда Иван размышляет над ними, в них появляется р е з о н а н с, которого не было прежде. Значение — в этом резонансе.

Знание трансцендентных символов,— поясняет Роззак,— имеет аналогичный характер. Оно также должно иметь свой резонанс: резонанс глубинного значения. В обоих случаях мы выходим за пределы словесной поверхности. В обоих случаях знание углубляется и персонализируется под воздействием жгучего опыта, но без прироста информации... Мы в положении послушника секты дзэн, который начал как новичок, знающий, что горы — это только горы, реки — это только реки, а кончил как мудрец, знающий, что горы — это только горы, реки — это только реки... да, но кончил, зная это мудрее...»

Роззак связывает возрождение религиозно-мистического духа в американском обществе как с заимствованием традиций — мистических, само собой разумеется,— восточных культур, к которым он требует отнестись с должным уважением, так и с обращением к традициям европейской культуры, прежде всего — романтизма. Естественно, романтизм Роззак «прочитывает» на свой лад — вернее, он «вычитывает» в нем то, что может, как ему кажется, подкрепить его концепцию.

«Далекий от того, чтобы быть просто еще одним из многих культурных стилей, романтизм является первым сильным противоядием, выработанным организмом нашего общества в ответ на инфекционное распространение одномерного видения. Ему принадлежит исключительное, образцовое место среди предтеч контркультуры. Вот почему в наши дни отколовшаяся молодежь инстинктивно тянется к романтическим формам и так же покоряется волшебству напитков и снов, детства и дикости, оккультного и магического...»

Три поэта эпохи романтизма привлекают внимание Роззака. Прежде всего — Уильям Блейк, представленный как антипод и критик Ньютона, Локка, Бэкона с их «одномерным видением мира», как поэт «четырехмерного видения», умеющий

В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир — в зерне песка,
В единой горсти — бесконечность
И небо — в чашечке цветка.

(Перевод С. Маршака)

За ним — Вордсворт, тоже, конечно, стилизованный, с его ориентацией на «совершенствование чувственного наследия».

И наконец, Гёте — Гёте Теодора Роззака.

«В Гёте сочетается все лучшее, что есть у Блейка и Вордсворта: трансцендентный символизм Блейка выведенный из эзотерической традиции (гностицизм,

христианская кабалистика, герметика) и сакраментальное видение природы Вордсворта».

Вот эти традиции, полагает Роззак, и должны стать опорным пунктом в движении за создание новой культуры и построение свободного общества. Каким именно будет это общество, Роззак сказать точно не берется, хотя и приоткрывает тайники своей души.

«Но как конкретно должна была бы выглядеть она, эта странная постиндустриальная альтернатива? Как именно должны были бы взаимодействовать ее элементы и как она должна была бы функционировать?

Я думаю, что только глупец стал бы претендовать на то, что он может ответить на этот вопрос в каких-либо существенных деталях. И все-таки не стану отрицать, что в сокровенных глубинах моего сознания рождалось нечто большее, нежели чисто утопические представления о мире, который, думается мне, вижу я на далеком краю урбанистско-индустриальной пустыни, представления

о соразмерном сочетании ремесленного труда, вспомогательных технических средств и, конечно, тяжелой индустрии;

о возрождении труда как самоопределяющей, свободной от эксплуатации деятельности — и как средства духовного роста;

о новой экономике, формирующейся на основе родства, дружбы и сотрудничества;

о небюрократизированных общественных службах, создаваемых и управляемых самими потребителями;

о координации в масштабах всего общества находящихся под рабочим контролем промышленных предприятий и производственных кооперативов;

о кредитных союзах и взаимном страховании как альтернативе крупных банков и страховых компаний».

А еще о «деурбанизации и реабилитации сельской жизни», о «необязательном образовании» через систему свободных школ и т. п.

Вот она, оказывается, какая земля обетованная, к которой ведут извилистые тропы контркультуры с ее мистическими экзерсисами и древними таинствами. Новая Утопия... И Роззак — надо отдать ему должное — сам это чувствует. Он — в противоположность многим левобуржуазным социальным критикам — не «играет в марксизм» и не претендует на звание «научного социалиста»; он откровенно связывает свои представления о свободном обществе, как и практические эксперименты, на которые он ссылается, с традициями анархического социализма, возрождающимися в процессе спонтанного бунта против «урбанистско-индустриальной жизни» и «технократии». И при этом не забывает обмолвиться, что, возможно, все будет выглядеть совсем иначе...

Итак, идея контркультуры — рождение нового мифа? Пожалуй, все-таки нет. Дело в том, что хотя все нынешние дискуссии о контркультуре обычно связывают с именем Роззака, последний не является ни единственным носителем идеи, ни единственным выразителем реально существующей в американском обществе (да и не только в американском) тенденции к созданию оппозиционной культуры. Роззак выражает лишь одну из тенденций, имеющую корни как в культурных традициях Америки, так и в противоречивом характере стихийного сознания участников движения протеста. Но тот факт, что нынешнее поколение молодежи ищет — через посредство «контркультуры» — новые пути в жизни, сам по себе уже является знаменательным явлением, которое не может не наложить отпечаток на их сознание и социальное поведение. Не исключено, что определенная часть молодежи, занятая сегодня поиском новых ценностей, завтра откроет для себя научную теорию преобразования мира.

Э. БАТАЛОВ

КУДА ДЕЛСЯ РЕАЛИЗМ

Дискуссия о кризисе романа, то угасая, то вспыхивая вновь, тянется из года в год без видимой надежды на разрешение.

За это время дискуссия от «ангажированности» писателя описала полный круг; «неангажированность» перестала быть хорошим тоном литературы и сменилась самой яростной «ангажированностью», которая в свою очередь вступает в полосу кризиса.

За это время из недр культуры выросла и заявила о себе в полный голос «контркультура».

За это время презираемые и третируемые средства массовых коммуникаций стали своего рода культом.

И можно было бы сказать, что проблема романа заглохла и поросла быльем, как заброшенная колея дороги, если бы литературный процесс, который продолжается,

несмотря ни на какие дискуссии, не вынес ее на поверхность там, где ее всего меньше можно было ожидать.

Известный американский журналист Том Вулф опубликовал в «Эсквайре» статью «Почему больше не пишут великих американских романов».

Речь в ней идет не столько о романе, и даже не о «новом романе», сколько о «новом журнализме».

> «Насколько мне помнится,— пишет Т. Вулф,— слова «новый журнализм», «новая журналистика» стали входить в обиход, зазвучали в разговорах людей со второй половины 1966 года... Впрочем, в ту пору, когда термин пустили в обращение, то есть в середине 60-х годов, было ясно лишь одно: внезапно в журналистике началось какое-то брожение, художественный подъем, что само по себе было чем-то совершенно новым».

На самом деле явление — если только не рассматривать его узко, в недрах собственно журналистики — имеет большую давность и может быть датировано окончанием второй мировой войны, а точнее 1945—1948 годами, когда Роберто Росселини вышел с кинокамерой на улицы Италии, чтобы в эпизодах фильмов «Рим — открытый город» и «Пайза» запечатлеть странный, недолгий и по-своему живописный быт поражения. Тогда и начался тот бум документализма, который, переходя из жанра в жанр, из одного вида искусства в другой, теперь нашел свое пристанище в лоне «нового журнализма».

Волна документализма, зародившаяся в послевоенной Европе как реакция на крушение многих мифов и верований, прокатилась через кинематограф, через драму, создала популярность многим, дотоле второстепенным жанрам прозы, произвела тот сдвиг пластов в иерархии жанров, который констатирует Том Вулф. Сейчас рядом со списком бестселлеров «художественных» непременно публикуется список бестселлеров, так сказать, «нехудожественных».

Впрочем, в этом-то пункте и коренится суть того, что Том Вулф называет «новым журнализмом». Он мог бы сказать, что документальный бум не имеет отношения к делу, ибо речь идет о гораздо более специфическом явлении. Но в том-то и дело, что «Пайза» Росселини положила начало той форме, которая в «новом журнализме» 20 лет спустя станет его кредо: обработку документального материала приемами художественного творчества, откуда и зародился термин «новый реализм».

> «При внимательном ознакомлении с прогрессом нового журнализма на протяжении 60-х годов,— продолжает Т. Вулф,— замечаешь одну интересную вещь: журналисты, начав на голом месте, самостоятельно овладевают техническими приемами реалистической литературы, в особенности теми, которые использовали в своем творчестве Филдинг, Смоллет, Бальзак, Диккенс и Гоголь. Действуя методом проб и ошибок, руководствуясь скорее интуицией, чем теорией, журналисты открывали для себя литературные приемы, придававшие реалистическому роману присущую ему непревзойденную силу воздействия, известную как «непосредственность восприятия», «воссоздание конкретной действительности», «эмоциональное вовлечение», способность «захватывать», «поглощать» читателя».

Том Вулф перечисляет четыре основных приема, которые, по его мнению, романисты отдали журналистам из старого доброго арсенала реализма — композиция в виде цепи эпизодов, живой разговорный диалог, разность точек зрения, реализуемая журналистами в интервью, и, наконец, накопление деталей, символизирующих социальное положение и социальные претензии действующих лиц, а заодно с этим

> «романисты отказались от возделывания самой богатой почвы, на которой взрастает роман: изображения общества, картин социальной жизни, обычаев и нравов, «того, как мы сейчас живем», пользуясь выражением Троллопа. Ни один писатель не войдет в историю как романист, сумевший запечатлеть картину Америки или даже одного Нью-Йорка в 60-е годы двадцатого века в том смысле, в каком Теккерей был летописцем Лондона 40-х годов прошлого века, а Бальзак — летописцем Парижа и всей Франции после падения Империи.
>
> Нам, «новым журналистам», «пара-журналистам», было предоставлено монопольное право живописать безумствующие, непристойные, буйные, маммоноликие, наркотизированные, похотливые «шестидесятые» в Америке».

Романы еще читались и даже почитались как высший род литературы, но принятая табель о рангах, как замечает Том Вулф, стала заметно смещаться. Еженедельники и воскресные приложения — вульгарное дитя массовых коммуникаций — с их глянцевитыми обложками, кричащими заголовками и засилием рекламы — из чтива все больше становились чтением, ибо они были в глазах читающей публики романом самой жизни. Если первой предпосылкой бурного развития «нового журнализма» в 60-е годы была экспансия документализма во все области художественного творчества, то второй предпосылкой можно считать развитие средств массовых коммуникаций и вторжение

их во все сферы общественного и частного бытия. С тех пор как любое событие — в области ли политики, спорта, преступности, религии — сделалось достоянием моментальной и широкой гласности, достоянием сенсации, вымыслы отступили перед наглядностью и обобщающей силой «самотипизирующейся действительности». Почти не осталось областей, где бы «самотипизирующаяся действительность» не обгоняла фантазию и едва ли не самыми впечатляющими кадрами «Космической Одиссеи» Стэнли Кубрика стали подлинные съемки Земли из космоса. Тем более это относилось к делам человеческим. Репортер — фото-, теле-, кино- и просто репортер — стал непременной фигурой повсюду, начиная от маршей протеста или столкновений студентов с полицией и кончая бандой «Ангелов ада».

«На авансцену вышла порода журналистов, обладающих способностью втереться в любую среду, даже в закрытые общества и пробыть там как угодно долго. Великолепный фанатик своего дела по имени Джон Сэк сумел уговорить армейскую администрацию, чтобы его приняли... в качестве репортера в состав пехотной роты... В составе этой роты он проходил обучение, а затем отправился во Вьетнам, где рота была брошена в бой... Джордж Плимптон поступил в профессиональную футбольную команду «Детройтские львы» в роли репортера и запасного защитника... и все для того, чтобы написать книгу «Бумажный лев»...

Однако высшая премия за журнальный репортаж досталась в том году безвестному калифорнийскому журналисту Хантеру Томпсону, который полтора года провел в шайке «Ангелы ада» — как репортер, а не как член, что, может быть, было бы безопаснее,— чтобы написать материал под заглавием «Ангелы ада» — странная и ужасная сага о банде преступников на мотоциклах. Последнюю главу написали за него сами «Ангелы», до полусмерти избившие журналиста ногами в придорожной закусочной, в пятидесяти милях от Санта-Розы».

И суть не только в том, что снять на пленку повседневный быт «Детройтских львов» или «Ангелов ада» было бы затруднительно. Дело в том, что первые итальянские неореалисты имели дело с действительностью причудливой, подвижной, откровенной и скрытной, но непреложной в открытии «простых истин». Поэтому в понятие «неореализм» входит не только сумма приемов и материала, но и определенные нравственные ценности.

Между тем «новые журналисты» в 60-е годы оказались перед лицом действительности несравненно более сложной, противоречивой, уклончивой, ускользающей, меняющейся. Кризис идеологии и морали протекал не только в высоких сферах духа, теорий и дискуссий, он был воплощен и опредмечен в такой же всеобщей ломке быта, нравов, образа жизни. Никогда еще — со времен «бурных двадцатых» — общество не знало такого катаклизма своих повседневных форм, как в «бурные шестидесятые». «Новый журнализм» пережил свое становление в десятилетие,

«в которое обычаи и нравы, стили жизни, отношения к действительности изменили страну более радикальным образом, нежели любые политические события...

Вся эта сторона американской действительности, которая выперла наружу, когда послевоенное американское богатство в конце концов саморазоблачилось, дав полную волю своим страстям, выпала из поля зрения романистов...

В американской литературе образовалась огромная, зияющая брешь, через которую и вышла на передний план такая неказистая фигура, как «новый журналист».

Поэтому-то «новая журналистика», не имевшая в своем распоряжении тех наглядных и общезначимых нравственных ценностей, которыми располагал на первых порах неореализм, была вынуждена обратиться к проблемности. Нужен был более серьезный анализ, точка зрения, взгляд на вещи, гипотеза. Нужно было распутывать — не всегда простые — социальные корни. Это определило в 60-е годы, в отличие от 40-х, внутри документального бума преобладание слова над изображением, письменной журналистики над телевизионной, при всех успехах этой последней.

Не надо забывать, впрочем, что «новый журнализм» связан в значительной степени с иллюстрированными еженедельниками и воскресными приложениями, что еженедельники эти — сами по себе есть гибрид слова и изображения, прививка теле- и киномышления к стволу литературы (Том Вулф мог бы напомнить, что и «Пикквикский клуб» Диккенса возник в соединении текста и характерных рисунков Сеймура, потом Физа).

Нет нужды говорить, что журнал «Лайф» — последний из могикан иллюстрированных еженедельников Америки — пал жертвой в конкурентной борьбе с новыми средствами массовых коммуникаций. Книги, которые принесли мировую популярность американской литературе 60-х годов, по большей части действительно принадлежат «новой журналистике». «Как продать президента» Джо Макгиннеса, «Королевство и власть» Гея Тализа, «Денежная игра» Адама Смита, «Армии ночи» Нормана Мейлера, «Обыкновенное убийство» («Хладнокровие») Трумена Капоте имели, пожалуй, больше читателей, нежели современные им романы. Читателей серьезных.

Вернее всего, Том Вулф прав, говоря, что уловка Трумена Капоте, назвавшего свою книгу документальным романом,

> «представляет собой попытку каким-то образом приобщить свое произведение к господствующему литературному жанру своей эпохи, дабы литературная публика приняла его всерьез».

Вулф ссылается на пример Генри Филдинга, называвшего двести лет назад свои романы «комико-эпическими поэмами в прозе», ибо тогда в иерархии жанров почтенна была поэма и непочтенен роман, и на пример Нормана Мейлера, давшего «Армиям ночи» подзаголовок — «Роман как история, история как роман».

Но между тем в этих определениях содержится не только дань литературному предрассудку, но и некоторый вполне рациональный смысл литературного процесса. Дело в том, что «новая журналистика» не только заимствует или изобретает заново, подобно пресловутому деревянному велосипеду, литературные приемы реализма, не только

> «пытается вдохнуть в них новую жизнь, использовать их с еще большей силой, действуя с одержимостью невежд и первооткрывателей»,

но она и в самом деле создает наиболее реалистическую картину социальной жизни 60-х годов, пишет «роман как историю, историю как роман».

Реалистический, а за ним и натуралистический, роман всегда пользовался фактами, прототипами, наблюдением над жизнью. Но превращение сырого материала действительности в искусство требовало времени, между тем как в «новом журнализме» все эти преобразования реального факта и реального лица в архетип времени происходят мгновенно, со скоростью компьютера. Процесс «ускоренного развития» достигает здесь своего апогея. Репортаж непосредственно превращается в «сагу», создавая не просто более объемную журналистику, но и новый вид реализма в литературе, где документальность является приемом, эстетическим качеством, а не случайностью, где видимость журналистской оперативности, сиюминутности, фамильярности создает новую степень «вовлеченности» читателя, а реальность действующих лиц создает дополнительный ассоциативный ряд для социальных мифов времени. «Дедокументализация документа», следующая, как тень, за бумом документализма, не всегда и не обязательно означает фальсификацию, превратное толкование. Иногда она означает обобщение, типизацию, превращение факта в образ или символ. Так было с неореализмом, из недр которого возник стиль Феллини, Висконти, Антониони. Так происходит с «новым журнализмом», из недр которого является «документальный роман» или роман-репортаж.

Ведь Дик Хикок и Перри Смит из «Обыкновенного убийства» Трумена Капоте — суть о б р а з ы современных раскольниковых, схожие, но не тождественные своим прототипам, имена которых они носят. Так Мерилин Монро, секс-бомба с трагической судьбой, героиня экрана и еженедельников, есть один из самых емких с и м в о л о в современности. Недаром Норман Мейлер — этот классический метис журнализма и романистики — через десять лет после смерти Мерилин Монро пишет еще одну книгу о ней.

Короче говоря, не столько журналистика мимикрирует под роман, заимствуя его литературную технику, сколько роман мимикрирует под журналистику. Средства массовых коммуникаций создают не только нового читателя и зрителя, но и новый тип писателя. Они видоизменяют не только жизнь, но и традиционную литературу.

«Новые журналисты» — это, в сущности, новые писатели, ищущие новый стиль современной литературы, описывающие жизнь в формах самой жизни и создающие типы времени под псевдонимами реальных людей. Ибо, конечно, реализм не принадлежит к числу преходящих «измов» — это один из фундаментальных способов восприятия и отражения действительности в человеческой культуре.

Итак, в старой дискуссии о романе могли бы прозвучать новые, более оптимистические ноты, а документальная проза, или «новый журнализм», по-видимому, займет внимание не только читателей, но и теоретиков. Привычная литературная табель о рангах явно узка литературному процессу.

М. ТУРОВСКАЯ

«ИИСУС ХРИСТОС — СУПЕРЗВЕЗДА»

Сенсацией театральной осени 1971 г. на Бродвее стал грандиозный успех постановки «Иисус Христос — суперзвезда». Опера была поставлена Гомом О'Хоргэном, автором в свое время также нашумевших спектаклей «Волосы» и «Ленни». Несомненно, это в какой-то мере содействовало успеху «Суперзвезды». Однако во всем явлении в целом ощущалось и нечто иное, необычайное, явно выходящее за границы обычных бродвейских сенсаций. Журнал «Тайм» писал по этому поводу:

> «Бродвей привык к деньгам, буффа-мюзиклам и безумному ажиотажу премьер. Кассовые сборы, как и цены, непрерывно растут. Даже по этим ком-

мерческим стандартам Бродвея «Иисус Христос — суперзвезда» имеет много преимуществ... эклектичная, мелодичная рок-музыка, драматический текст с участием самых знаменитых персонажей западной истории, яркая постановка. Однако в явлении заключено нечто большее...»

В самом деле, достаточно не стандартна уже сама сценическая история ныне всемирно знаменитой «рок-оперы». Ее авторы — два молодых англичанина: 23-летний композитор Ллойд Веббер и 26-летний либреттист Тим Райс. (Заметим, что и исполнители главных ролей в спектакле на Бродвее столь же или еще более молоды.) По сути дела, это их первое большое произведение, если не считать ранее написанной оперы для детей «Иосиф в Египте». Осуществленная в 1970 году запись «Иисуса — суперзвезды» на пластинку подтвердила, по словам некоторых корреспондентов, старую истину о том, что «нет пророка в своем отечестве». В Англии запись не имела никакого успеха. Напротив, признание ее в Америке было колоссальным. «Суперзвезда» — единственный бродвейский мюзикл, получивший широкую известность еще задолго до постановки, в записях, и вместе с тем не утративший своей популярности и притягательной силы и после шумного успеха на Бродвее.

Думается, оправданной была попытка журнала «Тайм» поместить отнюдь не стереотипный успех нового спектакля в контекст духовных исканий современной молодой Америки. Журнал писал:

«Популярность «Суперзвезды» является симптомом и отчасти результатом нарастающей среди молодежи волны духовных поисков, известной под названием «Иисус-революция». Налицо несомненно очень сильное стремление рассматривать Христа... как наиболее полное и знакомое олицетворение чистоты и братской любви».

Сама по себе «Иисус-революция» есть явление достаточно сложное, многогранное и текучее. Первые признаки движения обнаружились около 1967 года, то есть почти одновременно с зарождением движения «хиппи», но размах его оказался гораздо большим. К 1971 году, когда пик «хиппизма» давно миновал, волна «Иисус-революции» все еще продолжала нарастать. Такого рода разворот явился несколько неожиданным со стороны поколения, как полагали, целиком поглощенного проблемами секса, наркотиков и насилия. И вместе с тем он был, несомненно, внутренне мотивирован самим повышенным уровнем этических требований протестующей молодежи Америки.

«Тайм» справедливо замечает, что от своего непрерывного «нет» молодежь должна была обратиться к поискам «да», сделать попытку сформулировать свой позитивный этический идеал. Один из участников движения, которого цитирует «Тайм», объясняет:

«Подростки ищут авторитета, любви и понимания — того, чего нет дома. Иисус для них то, чем не является их отец».

Обращаясь к «самому устойчивому в западной истории символу чистоты, бескорыстия и братской любви», молодежь тем самым как бы порывает с традицией абсолютного неприятия всей предшествующей культуры и делает шаг к самопроверке по сумме этических норм, сформулированных минувшими поколениями.

Создатели оперы, Тим Райс и Ллойд Веббер, признают, что они были увлечены «невероятной драмой» Христа, чисто человеческой сложностью его истории. «Тайм» пишет:

«Они сосредоточили внимание на Христе как на гуманистическом мыслителе, харизматическом лидере движения протеста, жертве, личность которой может наводить на мысль о совсем недавних мучениках, таких, как Мартин Лютер Кинг или Роберт Кеннеди».

«Сатердей ревью» цитирует одного из авторов оперы:

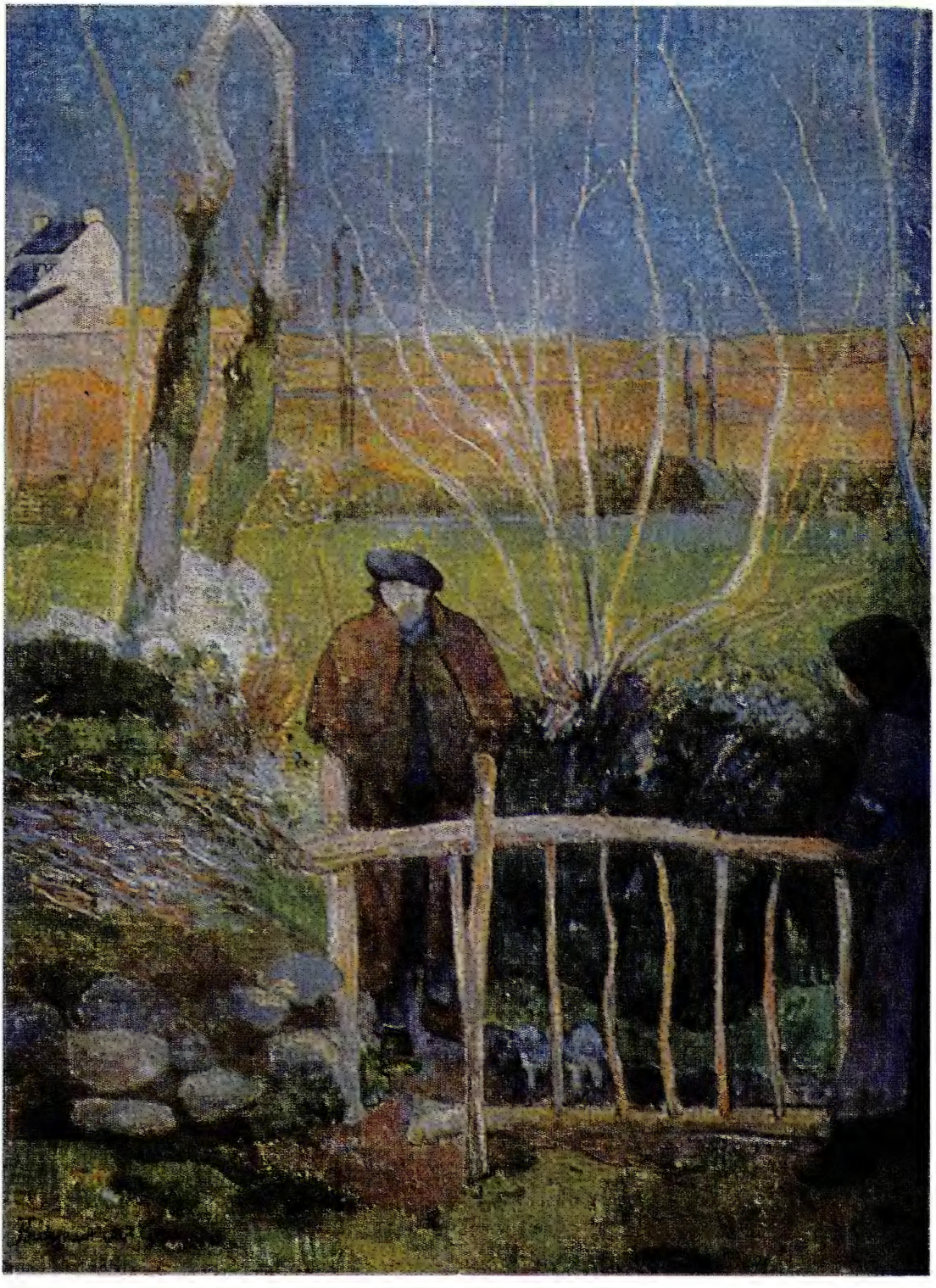
«По сути дела, основная наша мысль была показать Христа глазами Иуды, показать его как человека, а не как бога. Мы стремились не к тому, чтобы высказать религиозную точку зрения, а скорее к тому, чтобы задать вопросы. Мы преднамеренно уничтожили всякий намек на божественность Христа и предпочли закончить нашу историю его смертью, а не воскресением».

Действительно, либретто оперы, повествующее о семи последних днях в жизни Христа, хотя и довольно близкое в основных моментах к каноническому тексту «Евангелия от Иоанна», по сути дела, предлагает достаточно вольную интерпретацию событий. Вольность эта заключается не столько в том, что действие произвольно изменяется — так, например, происходит нечто вроде очной ставки царя Ирода с Иисусом,— сколько в осовременивании всей ситуации в целом и психологии основных действующих лиц мистерии. В частности, русскому читателю сугубо не канонические интерпретации образов Иуды, Пилата, предчувствующего свое бессмертие и проклятие, отношений Христа и толпы не могут не напомнить целый ряд хорошо знакомых мотивов из Достоевского, Леонида Андреева, Булгакова.

Ф. Гойя. Портрет актрисы Антонии Сарате.

Из коллекции А. Хаммера

(экспонаты московской выставки)



П. Гоген. «Здравствуйте, господин Гоген!»

А. Модильяни. Женщина из народа.

О. Ренуар. Читающие девушки.

В тексте Райса Иисус является как бы центром двух возникающих вокруг него полей напряжения. Одно — это его отношения с Иудой, «идейно» предающим своего учителя, ибо он полагает, что, уверовав в миф о самом себе, Иисус тем самым скомпрометировал начальные цели движения:

«Ты сам начинаешь значить больше, чем то, чему ты учишь».

Другое — отношения Иисуса с толпой, все более яростно требующей от своего героя и «Суперзвезды» немедленного чуда:

«Я верую в тебя и в бога, так скажи же мне, что я спасен».

Эта тема достигает кульминации в сцене, как бы представляющей собой обратный вариант истории об изгнании торгующих из храма. Здесь не Христос изгоняет торгующих, а его буквально рвет на части, сминает толпа жаждущих его целительного прикосновения. И уже совсем карикатурно возникает тема чуда в последний раз в арии царя Ирода, по мелодии представляющей собой банальнейший чарльстон. Здесь чудо приравнивается к простому трюку или фокусу:

«...Преврати мою воду в вино... Пройди по моему водоему... Я спрашиваю с тебя только то, что я спросил бы с любой суперзвезды».

Думается, прав был корреспондент журнала «Сатердей ревью» Генри Хьюер, определивший основную — правда, на его взгляд, не всегда выдерживаемую — концепцию спектакля как «гротескную трагедию мифотворчества», когда вульгарный миф о чудотворце, «Суперзвезде», предпочитается «реальному человеку, исполненному мудрости и сострадания...».

Язык либретто, местами дословно воспроизводящий евангельский текст, порой сильно модернизирован, временами, на наш взгляд, с явным нарушением чувства меры. В целом, однако, достигается успешный, почти чувственно воспринимаемый эффект приближения известнейшего предания всей европейской культуры к кругу понятий и представлений современного человека. Евангельские персонажи выступают как вечные типы, которые каждая эпоха вольна толковать по-своему и наполнять своим собственным содержанием.

Сколь бы ни был, однако, силен элемент модернизации в либретто оперы, основные нарекания и споры вызвала сама попытка рассказать историю «Страстей» на языке современной поп- и рок-музыки. «Дейли телеграф», например, пишет:

«Спектакль называли богохульным, тривиальным, сентиментальным, оскорбительным; употреблялись и все другие эпитеты, которые обычно сопутствуют такого рода театральным экспериментам».

Действительно, созданием «Суперзвезды» была сделана заявка на освоение средствами поп-музыки сюжетов, послуживших основой для создания величайших произведений мирового искусства. Авторы, впрочем, вполне отдавали себе отчет в том, на сравнения какого масштаба они притязали. «Сатердей ревью» цитирует их высказывание по этому поводу:

«В конце концов, люди в течение столетий писали свои варианты «Страстей». Бах, Гендель и многие другие в свое время создали первоклассные вещи, как Пендерецкий — в XX веке».

Психологически вполне понятно, что заявка такого рода могла вызывать сильный внутренний протест. И вместе с тем — было ли обращение авторов «Суперзвезды» к музыке «поп» профанацией великой темы? Думается, невозможно однозначно ответить на этот вопрос.

Как отметил советский исследователь Д. Житомирский, современная поп-музыка представляет собой сложное сплетение стилей, манер, способов исполнения, жанров. В ее русле сливаются шлягеры популярных певцов, оперетта, мюзикл, мастерство виртуозов-инструменталистов. Давно отслоившись от «большого» искусства, поп-музыка вместе с тем являет собой отрасль несомненного и зачастую очень высокого профессионализма. Все эти черты нашли яркое воплощение в музыке «рок-оперы». «Тайм» писал по этому поводу:

«Эта музыка не превосходит уровня «Роллинг стоунз», «Битлз», Чарльза Рэя, Прокофьева, Орфа, Рихарда Штрауса и всех других влияний, которые могут быть в ней обнаружены. Но она сливает эти элементы в качественно новом звучании, имеющем свое драматическое напряжение, свою игру мелодий; кроме того, она обладает редчайшим качеством — она умна!»

Обращение к уличной, или «массовой», музыкальной стихии для обработки серьезнейших тем, при несомненно существующей здесь опасности их опошления, имеет, однако, и обнадеживающие прецеденты. В частности, Альберт Швейцер в своей знаменитой книге о Бахе обратил особое внимание на широкое использование при создании протестантского хорала популярных мелодий, зачастую сугубо светского или даже фривольного содержания. Название одного сборника хоралов, вышедшего во Франк-

фурте в 1571 году, гласило: «Уличные песни, песни кавалеров и герцогов, превращенные в песни христианские и нравственные...» «Из старинных светских песен,— пишет Швейцер,— вышли три мелодии хоралов, наиболее выдающиеся по своей красоте в «Страстях по Матфею».

Мы, разумеется, далеки от проведения прямых аналогий между великими творениями Баха и современной рок-оперой. Хотелось бы, однако, напомнить, что сама форма «Страстей», развившаяся впоследствии до ныне известных нам высоких образцов, родилась именно в гуще народной, уличной стихии. Наиболее характерные выразительные средства этой стихии охотно использовались авторами уже самых первых мистерий. Как для речи, так и для музыки мистериальных представлений типичным являлось включение в них чисто народных, «вульгарных» элементов и оборотов — элементов «массовой», а не элитарной культуры, сказали бы мы сейчас. Это обстоятельство, при чрезвычайной близости действия мистерии к средневековому зрителю, не ощущавшему своей временной удаленности от разворачивающихся перед ним событий, создавало эффект непосредственного их переживания. А вместе с тем вело к исключительному обогащению и насыщению емкой формы характерами и положениями, подчас весьма далекими от канонических и уснащенными комическими или фантастическими деталями.

В структуре «Суперзвезды», думается нам, есть многое от этого, свойственного ранним векам становления европейского искусства, непосредственного — как бы современного событиям священной истории — восприятия их. Авторы как будто задают вопрос: каким образом мог бы увидеть и рассказать историю Голгофы современный, «омассовленный» человек — круг привычных музыкальных образов которого черпается главным образом в сфере «поп»,— вдруг чудом оказавшийся ее свидетелем? Очевидно, его переживание было бы сильно и интенсивно, но смогло бы быть выражено лишь на свойственном ему языке острых ритмов, резких перепадов мелодии, игры диссонансов. Такой замысел совершенно очевидно соответствовал довольно заметным внутри «молодежной» культуры тенденциям к освоению психологически сложного и духовно насыщенного материала. И он получил интересное воплощение. Трудно было бы отрицать, что музыка Веббера порой достигает высокой степени психологической выразительности и драматизма, как, например, в сценах первого совета первосвященников, въезда в Иерусалим, самой Голгофы, в ариях Пилата и Иуды. Можно было бы сказать, что если имело место некоторое «снижение» темы до уровня массового слушателя, то не менее значительна была оборотная сторона явления — определенное возвышение этого слушателя и привычного ему музыкального языка до уровня этой темы. Журнал «Тайм» писал о качественном перевороте в сфере выразительных возможностей поп-музыки, осуществленном «Суперзвездой». Как полагает «Тайм», элементы вульгарности обнаруживаются скорее в самой бродвейской постановке, чем в тексте и музыке оперы.

> «На пластинках «Иисус Христос — суперзвезда» выступает как вещь абстрактная, интимная, способная глубоко захватить ум и воображение».

Напротив, по мнению журнала, постановщик оперы О'Хоргэн злоупотребляет сценическими эффектами и техникой, снижая тем самым интенсивную человеческую насыщенность персонажей спектакля. «Сатердей ревью» по этому же поводу пишет:

> «...Это образчик того, как драматическое содержание и игра актеров подчиняются спектаклю. Поскольку нас лишь спорадически затрагивают чувства Иисуса и Иуды, большую часть времени мы просто ожидаем очередного постановочного эффекта, который подготовили нам режиссер и конструкторы спектакля».

Сценическая жизнь «Суперзвезды» отнюдь не завершена постановкой ее на Бродвее. Совсем недавно «Дейли телеграф мэгэзин» сообщил о съемках канадским режиссером Норманом Джюйсоном фильма по опере Веббера и Райса. Как можно предположить, на основании сказанного Джюйсоном, его постановка будет существенно отличаться от бродвейской. Однако режиссер затрудняется определенно ответить на вопрос, каков же будет его фильм:

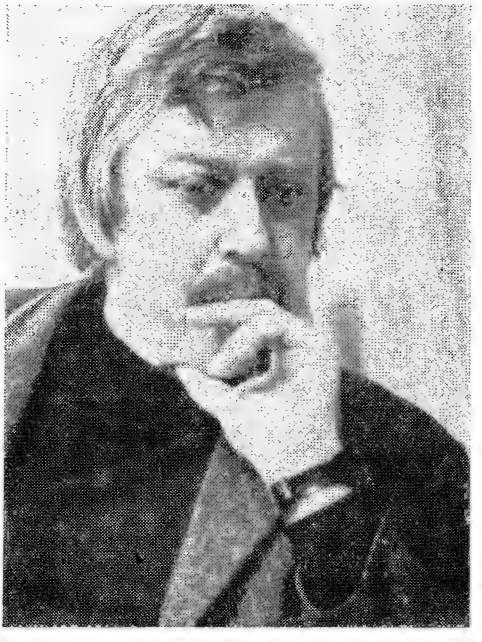
> «Фильм несколько неоднороден. Иногда он сам не знает, что он такое. Иногда мы реалисты, иногда обращаемся к стилизации, порой становимся сюрреалистами, а порой делаем музыкальную комедию. Я не знаю, черт возьми, что он такое».

Очевидно, трудно судить сейчас не только о том, каким будет фильм, но и о том, как сложится дальнейшая судьба прославленной оперы. Не исключено, что реально содержащийся в ней творческий импульс будет бесплодно истощен и что она в свой черед станет объектом коммерческого отчуждения, как это случилось с целым рядом сторон «Иисус-революции», сопровождавшейся выпуском в продажу «Иисус-рубашек», «Иисус-часов», открытием «Христианских кофеен» и даже (в Сан-Антонио) «Христианского ночного клуба».

Думается, однако, опера Веббера и Райса, бесспорно, одно из интересных явлений, вобравшее в себя многочисленные аспекты современной культурной жизни Запада, и заслуживает изучения вне зависимости от коммерческого ажиотажа, предметом которого она оказалась.

К. МЯЛО

Наши гости



ПРОТИВ ОСКУДЕНИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ!

(Гость редакции — Арвид Рундберг)

В один из летних дней — это было несколько лет назад — мне довелось быть свидетелем интересного события в шведской столице. Работая длительное время журналистом в Швеции, я, признаться, привык к самым разным демонстрациям, манифестациям и уличным представлениям. Мне запомнились эпизоды, когда, например, по улицам идут демонстранты в масках и противогазах, идут молча, впечатляюще, неся над головой лозунги: «Нам нечем дышать», «Задыхаемся от выхлопных газов», «Требуем закрыть движение автотранспорта в центре города». Были демонстрации другого толка: перед зданием городского правления «Стадсхюсет» собрались тысячи владельцев собак со своими питомцами всех мастей и в течение часа или двух осаждали это величественное сооружение, подбадриваемые неимоверным собачьим лаем всех диапазонов и тонов. Эти требовали послаблений в правилах выгула собак в городских садах и парках. Женщины — с детьми в колясках и на руках — демонстрировали в поддержку требований об увеличении числа яслей, школьники шли колоннами со своими детскими требованиями: об изменении системы отметок в школах. И это помимо многочисленных настоящих политических демонстраций молодежи, рабочих, служащих.

Однако о демонстрациях писателей я не слышал. А тут пришлось увидеть. Зрелище было необыкновенное. Из серого здания городской библиотеки, увенчанной цилиндрическим куполом, солидные мужчины и женщины разных возрастов степенно, не спеша, бережно выносили охапками книги, складывали их на грузовые машины и куда-то увозили. Некоторым не хватало рук, и они везли перед собой детские коляски: нагруженные доверху стопами книг, коляски, покачиваясь и подпрыгивая на гранитных плитах лестницы, медленно спускались к ожидавшим внизу машинам. Толпа любопытных на перекрестке улиц Свеавеген и Уденгатан с интересом наблюдала за «разграблением» среди бела дня богатств крупнейшей публичной библиотеки города. «Грабителями», однако, были сами писатели, временно забравшие свои книги из библиотеки, чтобы обратить внимание общественности на свое тяжелое материальное положение.

Среди демонстрантов был и наш гость Арвид Рундберг — в прошлом моряк, а ныне писатель, музыкант, коммунист, активный общественный деятель, непримиримый критик социальных пороков буржуазного общества.

— Я хорошо помню эту демонстрацию,— говорит он.— Я тоже принимал в ней участие... В Швеции было немало выступлений писателей. Они вели и продолжают вести борьбу за свои права, за то, чтобы добить-

ся признания своего права быть писателем и получать за это средства, необходимые для сносного существования. Поэтому мы и выходим на улицу под лозунгами: «Писатели — это последние батраки Швеции» или: «Разве справедливо, что государство держит писателей полуголодными?»

Арвид — высокий, плотный человек, с красивыми и правильными чертами лица, большими глазами и пышными пшеничными усами. Мягкий и неторопливый в движениях и в разговоре, он весь как-то не походит на стандартного шведа (если такой существует). Больше он напоминает какого-нибудь положительного героя из тургеневских романов.

— Мне трудно проводить параллели между нашими странами даже в области литературы,— продолжает гость.— В Советском Союзе несравненно более широкий интерес к искусству, гораздо более благоприятный климат для развития литературы, театра, искусства вообще. Отличия огромны. У нас искусство в значительной мере испытывает давление коммерческой стихии. Достаточно сильно у нас и влияние политики, особенно на телевидении. Некоторое время назад я написал для телевидения социально острую критическую пьесу. Она была экранизирована. Я получил гонорар, но... зрители ее не увидели: она показалась кое-кому неподходящей. Ее просто испугались и поэтому предпочли отправить на склад для истории... Да и вообще телевидение уделяет явно недостаточное внимание литературе, во всяком случае шведские писатели не могут пожаловаться на телевидение за чрезмерный к ним интерес...

В ответ на просьбу рассказать о своем творчестве Арвид Рундберг — автор 13 книг — вспоминает, как он пришел в литературу.

— Мое детство прошло в семье крупного буржуа. Мы жили в самом фешенебельном районе Стокгольма — на Эстермальмен. (Символично в известной мере: ныне Арвид живет в самом «пролетарском» районе Стокгольма.) Наша семья была музыкальной: дед — известный в свое время солист королевской оперы, бабушка — тоже певица. Я учился музыке и стал музыкантом: фортепьяно — мой неизменный друг. Понимание музыки позволяет мне и в литературном произведении видеть музыкальное начало. Мой роман «Детские сонаты» имеет «музыкальную» композицию — наподобие сонаты, он состоит из трех частей... Насколько мне известно, некоторым русским писателям был также свойствен музыкальный подход к теме творчества.

У нас в семье на жизнь смотрели глазами музыкантов. Мой дядя, например, считал, что музыка Бетховена олицетворяет свободу, все светлое и доброе, а музыка Вагнера — громкая и гнетущая — грубую силу, власть, диктатуру...

Я пошел в школу за четыре дня до начала второй мировой войны. Сразу после войны поступил в гимназию. Разгром фашизма, подвиги советского народа — все это произвело на меня неизгладимое впечатление. Я узнал о злодеяниях нацизма. Жизнь в благополучной буржуазной семье сделалась просто невыносимой. Я не выдержал и бежал из дома. Нанялся сначала юнгой, затем матросом на корабль. Стал бороздить моря и океаны. Пять лет не был в Европе. Закончив морской период жизни, переключился на сухопутные путешествия. Я побывал во всех частях света, годами жил в разных странах, в том числе в Латинской Америке. Отсюда и тематика моих романов, в частности романа «Женщины из Валеросы», который сейчас переводится на русский язык и судьба которого в СССР меня очень волнует — как его встретит советский читатель, поймет ли, что я хотел сказать?

Когда вернулся в Швецию, поступил на военную службу. Отслужив положенное, закончил институт журналистики и... Впрочем, остальное вам известно — пишу книги, принимаю участие в шведском движении за мир. Как участник этого движения я и прибыл сейчас в Москву на международную консультативную встречу по подготовке Всемирного конгресса миролюбивых сил. Нам предстоит большая работа по подготовке к такому важному международному событию, каким будет Всемирный конгресс миролюбивых сил в Москве. Московский конгресс нас ко многому обязывает...

— Что вы могли бы сказать о современной шведской литературе?

— Она превратилась в один из важных объектов коммерции, купли-продажи. «Удобные» социальные романы, произведения, рассчитанные на низкопробные вкусы, способные обеспечить издателям большие доходы, широко рекламируются, и они действительно становятся доходными. Реклама в нашем обществе — это все... И беда, если автор попадает в список левых или коммунистов. Таких держат в тени. Когда в Швецию приезжают иностранцы, чтобы познакомиться с нашей литературой, с нашими писателями, им обычно приходится встречаться с литераторами иной категории, с теми, кто поддерживает принципы и устои шведского буржуазного общества. Должен оговориться: некоторые талантливые писатели заставляют все же о себе говорить. Например, молодой писатель Свен Вернстрём. Он написал целую серию книг для молодежи и завоевал большую популярность. Хотя он прямо не говорит в своих произведениях о политике, она неизменно присутствует у него. Свен — коммунист, но его вынуждена была признать даже самая консервативная буржуазия. Такова сила таланта...

— А что из себя представляют буржуазные писатели?

— Большинство шведских писателей в определенной степени прогрессивны. Пожалуй, консерваторов в чистом виде нет... Они перевелись. Эпоха не та. Есть у нас писатели очень талантливые, умеющие

анализировать глубоко и всесторонне изображаемую действительность. Они разбирают жизнь, так сказать, по косточкам... Ну а выводов не делают, советов не дают. Скажем, многие писатели интересуются проблемами развивающихся стран. Они изображают тяжелое положение коренного населения этих стран, передают весь трагизм обстановки... и только. Они лишь констатируют факты и беспомощны в показе реальных путей изменения существующей действительности. И так во всем. Кстати, в шведской литературе в последние годы заметно оживились интернационалистские тенденции — в смысле желания устанавливать связи, налаживать тесное общение. Мы слишком долго вели замкнутый образ жизни, жили, так сказать, в собственной скорлупе. А вот сейчас проснулся интерес к окружающему миру...

— Каковы проблемы внутренней жизни писательской общественности?

— Борясь за свои интересы, мы создали издательство писателей, объединяющее более двухсот авторов, в том числе многих маститых, таких, как Вильгельм Муберг, Артур Лундквист и другие. Мы издаем книги высокого художественного достоинства, и они продаются в магазинах значительно дешевле, чем книги частных издательств, например Боньера. Мы ставим своей целью найти путь к широкому читателю.

Конечно, мы живем этими проблемами, нас они волнуют... Но достаточно мне было сейчас вот побывать на нынешней международной консультативной встрече в Москве, побеседовать с представителями Латинской Америки, Азии, Африки, и я почувствовал, какими мелкими выглядят эти наши проблемы в сравнении с проблемами этих народов!

— Но ведь в Швеции есть свои серьезные социальные проблемы — проблемы молодежи, преступности и т. д.

— Актуальнее всего для нас проблема оскудения духовной культуры. Это явление характерно для всякого высокоразвитого капиталистического общества. Это, так сказать, его изнанка. Наша социал-демократия, находящаяся сорок лет у власти, сделала все, чтобы затушевать, замазать самые глубокие, самые резкие социальные проблемы и противоречия. Но духовное обеднение народа налицо. Вырождение духовной культуры, ее нищета. Это мнение многих писателей, а не только мое личное. Культура у нас окружена стеной равнодушия. В Швеции литературу, например, не принимают всерьез.

Мы издаем четыре миллиона книг в год. Это значит, что одна книга приходится на двух жителей. Из четырех миллионов книг лишь 1500 названий можно отнести к области настоящей литературы (не считая школьных учебников и специальных изданий), а сейчас, наверно, и того меньше. Издание литературы находится в частных руках. Издатели оценивают достоинства книг по размерам ожидаемой прибыли. Поэтому мы считаем, что буржуазные издательства наносят такой же вред развитию культуры, какой частные промышленные предприятия — окружающей среде.

Культура не должна находиться в частных руках и служить источником наживы. Она должна быть национализирована, как в Швеции национализировали, например, здравоохранение. Литература и искусство — столь же важны для народа, и их нельзя отдавать на откуп частным лицам. Страна, не имеющая литературы, теряет свое лицо...

У нас нет настоящего фундамента для искусства. В СССР в основу развития литературы, музыки, живописи — вообще искусства — положена классика в ее различных формах и направлениях. Это хороший фундамент для всякого подлинного искусства. А мы лишились этого фундамента. Буржуазия не заинтересована в распространении настоящей культуры. К нам ввозят всякие новшества, покровительствуют экспериментам ради эксперимента...

Как приверженец социализма я считаю, что у нас слишком мало времени на земле, чтобы тратить его попусту, надо стремиться использовать его с пользой, в интересах всех людей, всего народа.

Д. ЕРШОВ

Среди книг

Издано в СССР

МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ

Писатель и современность. Художественная публицистика и документальная проза писателей стран Азии, Африки и Латинской Америки. Составитель А. А. Клышко. Предисловие К. А. Чугунова. Редактор И. Д. Клычкова. Москва, «Прогресс», 1973. 495 стр.

В этой книге, название которой звучит буднично и суховато, спрессован материал огромной взрывчатой силы. Перед нами — одиннадцать репортажей с горячих точек планеты, одиннадцать свидетельств очевидцев и активных участников военных и мирных сражений за демократию, за счастье людей. Для писателей, чьи публицистические работы собраны под одним переплетом, характерна глубокая убежденность в том, что участие в жизни своего народа — это естественная и единственно возможная линия поведения каждого честного литератора. Вот что делает их, столь разных, столь непохожих друг на друга, сходными в главном — в их жизненной позиции, в их писательском кредо.

А материал сборника поразительно многогранен. Здесь и публицистические очерки, и дневниковые книги, и документальная проза-репортаж, и путевые заметки, и раздумья теоретико-эстетического характера, и проблемные экономико-социологические эссе, и статьи, и интервью. Здесь и рассказ о национально-освободительной войне, и отчет о туристических впечатлениях, и мысли о путях национального развития в области политики, хозяйствования, культуры. Здесь картины жизни Алжира и Турции, Японии и Венесуэлы, Соединенных Штатов Америки и Федеративной Республики Германии, Советского Союза и Бразилии, Чили и Южной Африки. При этом составитель сборника избежал опасности «дробления» материала, калейдоскопического мелькания стран и имен. Все работы обстоятельны и проблемны — и при этом по-писательски интересны, занимательны.

Впервые публикуемые на русском языке (как, впрочем, и многие другие материалы сборника) фрагменты из «Дневника» Мулуда Ферауна не смогут оставить спокойными читательские сердца. Прекрасный писатель, известный у нас несколькими переведенными на русский язык романами, алжирский учитель-патриот Мулуд Фераун не дожил трех дней до окончательного прекращения огня в Алжире: фашисты-оасовцы ворвались в его класс во время урока и расстреляли писателя. Это было 15 марта 1962 года. В записи от 5 февраля мы читаем: «Алжирская война подходит к концу... Да здравствует свобода!»

Дневники Ферауна — удивительный документ, свидетельство мужества и мудрости народа, ведущего освободительную войну и думающего о будущем справедливом устройстве жизни. Писатель чутко фиксирует эволюцию в умонастроении окружающих его людей — события каждый день все больше открывают глаза народа на истинный смысл происходящего. Записи о конкретных происшествиях, фактах, встречах, о действиях партизан и карательных операциях врага чередуются у Ферауна с раздумьями о причинах войны, о классовых интересах французской буржуазии, о демократической культуре Алжира и Франции. Своей интонацией, своим душевным настроем дневник этот напоминает дневники военных лет Ромена Роллана; и это, пожа-

луй, закономерное сходство: писатели-гуманисты, ненавидевшие войну, оба они ненавидели и фашизм (хотя слова этого еще не было, когда Роллан писал свои дневники времен первой мировой войны).

Венесуэльский публицист Хосе Висенте Абреу рассказывает в своей документальной книге «Четыре буквы» [1] о партизанской войне, которую вели в 60-е годы коммунисты Венесуэлы и участником которой был он сам. Перипетии боев, дерзких нападений партизан на полицейские засады, уличных демонстраций, опасных вылазок и томительных часов выжидания — все это рассказано лаконично и ярко. Но перед нами — не просто остросюжетное повествование о событиях, это серьезная интеллектуально-психологическая проза, проникновение в сложный внутренний мир героев-борцов. Насыщенность мыслью, раздумья о путях, ведущих народы к победе над голодом и несправедливостью, о правильном выборе путей — вот одна из черт, характерных для современной художественной публицистики. И это находит отражение буквально во всех помещенных в книге работах.

«Хиросимские записки» японского писателя Кэндзабуро Оэ повествуют о людях, пострадавших от атомной бомбардировки Хиросимы, об их страданиях и мужестве, об их человеческом достоинстве. Но это разговор не только о непосредственных свидетелях и жертвах чудовищных атомных взрывов 1945 года. Это призыв к современникам — сделать все для того, чтобы война не повторилась, призыв тем более волнующий, что вырастает он из рассказа о живых человеческих судьбах, о людях, посвятивших себя борьбе против атомного оружия.

Пафос публицистической книги Эдуардо Лабарки Годдарда о событиях, предваривших победу Народного единства в Чили на выборах 4 сентября 1970 года, и о дальнейшем развитии чилийской революции очень точно передан в ее заголовке «Чили, раскаленное докрасна»[2]. Эта работа несет колоссальную информацию, она полезна и интересна всякому, кого волнует жизнь этой латиноамериканской страны, переживающей ныне ответственнейший период своей истории.

Своеобразен «роман-репортаж» турецкого писателя Бекира Йылдыза «Турки в Германии» — о злоключениях турецких рабочих, отправившихся на заработки в Западную Германию. До предела насыщен горечью и мудрым пониманием обреченности расизма публицистический рассказ «На родине и в изгнании» южноафриканского писателя Льюиса Нкоси. Все мы не раз читали о зловещих проявлениях апартеида в ЮАР, и все же мороз подирает по коже, когда читаешь об этом в книге «На родине и в изгнании». Издевательские правила, свирепо регламентирующие жизнь каждого—белого или цветного — жителя страны, показаны со спокойной обличительной силой; читая эти страницы, ощущаешь, на сколько голов выше своих твердолобых преследователей умный и щедрый сердцем писатель-африканец. И опять-таки, как и в других материалах книги «Писатель и современность», в работе Льюиса Нкоси конкретные репортерские зарисовки неразрывно слиты с аналитическими главами, с глубоким исследованием корней и причин существующего положения, с размышлениями о путях борьбы и победы.

Краткие путевые зарисовки жизни Советской страны, сделанные поэтом Ришаром Догбе, первым дагомейским литератором, посетившим СССР, привлекают своей непосредственностью и проницательностью. Догбе как бы примеряет опыт советской культуры к возможностям своей национальной действительности; он жадно впитывает впечатления — и тут же пытается извлечь урок для себя и своих соотечественников. Интеллектуальная направленность репортажа Ришара Догбе делает его особенно интересным.

Проникнуты тонким юмором и освещены мягкой улыбкой путевые заметки индийского писателя Р. К. Нарайана, сделанные им во время путешествия по Соединенным Штатам Америки. Меткие наблюдения скреплены в книге обаянием авторской личности; перед нами возникает образ незаурядного человека, умного и доброжелательного представителя великого народа Индии, писателя, зорко примечающего уродливые стороны капиталистической цивилизации и столь же зорко видящего талантливые и симпатичные черты простых людей трудовой Америки.

Очень хороша включенная Р. К. Нарайаном в свой путевой дневник пародийная сценка, которую он написал в стиле увиденных им американских телевизионных передач, перебиваемых рекламными зазывами; сцена эта, говорит писатель, продиктована яростью, охватившей его при виде насилия над священной идеей творчества.

Проблемам развития национальных африканских языков и литератур посвящены публицистические работы двух африканских романистов — нигерийца Чинуа Ачебе и Джеймса Нгуги из Кении. Это глубокий анализ существующих ныне в их странах литературных направлений и тенденций дальнейшего развития, анализ, проникнутый заботой о сохранении национальных богатств африканских народов, созданных и накопленных их культурой на протяжении веков.

Несколько выпадает из сборника лишь одна работа — отрывки из книги бразильского публициста Женивала Рабело «Освоение Амазонии». Это весьма серьезное экономическое, социологическое и политическое исследование, насыщенное большим и

[1] Опубликована в журнале «Иностранная литература» №№ 2—3 за 1971 г.

[2] Опубликована в журнале «Иностранная литература» № 11 за 1971 г. под названием «Чили в огне событий».

важным материалом. Однако написано оно в совершенно ином ключе, нежели все остальные материалы сборника «Писатель и современность»; рассчитанная скорее на специалистов, чем на широкого читателя, статья эта была бы уместна в научном журнале.

В целом же издательство «Прогресс» можно поздравить с отличной книгой — сборником увлекательной и страстной публицистики, смело вторгающейся в самую гущу жизни и лишний раз опровергающей афоризм относительно молчания муз во время разговора пушек.

МОРИС ВАКСМАХЕР

ЕЩЕ ОДНА ВСТРЕЧА

Витезслав Незвал. Стихи. Поэмы. Перевод с чешского. Составление Н. Николаевой. Предисловие К. Симонова. Комментарии О. Малевича. Москва, «Художественная литература», 1972. 543 стр.

Имя Витезслава Незвала широко известно в нашей стране. Отдельные стихи чешского поэта переводились на русский язык еще в 20—30-е годы. Но активное освоение его искусства началось лишь после войны, в эпоху расцвета литературы социалистической Чехословакии. Усилиями советских поэтов — К. Симонова, В. Луговского, Я. Хелемского, публиковавших переводы незваловских стихов в периодических изданиях, была приподнята часть завесы, скрывавшей за непонятностью языка творчество Незвала, «самой,— по словам Константина Симонова,— замечательной фигуры в богатой талантами чешской поэзии XX века».

В 1953 году С. Кирсанов перевел «Песнь мира», покорившую конкретностью образов, естественностью интонаций, наглядностью аргументов в пользу мира, счастья, в пользу социализма:

Чтоб человек жил полный век
В моей деревне и повсюду,
Чтоб молоко лилось в посуду,
Чтоб рыбам было вдоволь рек,—
Пою песнь мира.
. . . . . .
Чтоб за мотыгой и сохой,
Таща убогие корзины,
Крестьянки не сгибали спины,
Чтоб трактор вел их за собой,—
Пою песнь мира.

Назым Хикмет, познакомившись с поэмой в русском переводе, сказал: «Я читал много поэм о мире, но из всех, что знаю,— лучшая его». Поэма, удостоенная золотой медали Всемирного Совета Мира, доносила важные черты творчества Незвала, говорила о его поэтическом мастерстве. С появлением «Избранного» (Москва, 1960, Издательство иностранной литературы) и «Лирики» (Москва, «Художественная литература», 1964) открылось целое.

Вышедшие теперь «Стихи. Поэмы», основанные на двух предшествующих изданиях, уточняют наши представления о Незвале. Графически четкий его портрет, уже прорисованный в «Избранном» и «Лирике», теперь обогатился дополнительными штрихами, отчего стал более пластичным, живым. Заново созданы переводы некоторых песен «Исторического полотна» (1939—1945), поэмы о сопротивлении народов фашизму и днях Освобождения. Богаче представлен послевоенный сборник «Великие куранты» (1949), где поэт спешил излить все, что накопилось за годы войны, и выразить вновь пробудившуюся радость жизни. Появился раздел «Неоконченное», куда вошли стихи, написанные незадолго до смерти. Мало изменился состав сборников «Крылья» (1952) и «Васильки и города» (1955), которые и раньше находили достойное отражение. Вырос и без того широкий круг переводчиков. Теперь их свыше тридцати.

Богатство и сложность мироощущения, быстрая смена объектов внимания, стремление испытать себя в разных амплуа, перепробовать всевозможные ритмы и жанры, уже накопленные искусством и подсказанные новой реальностью,— все это дает основание сойтись на почве незваловской поэзии поэтам многим и разным. Его успешно переводили А. Ахматова, Б. Пастернак, И. Сельвинский, Н. Асеев, С. Кирсанов, К. Симонов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, Б. Слуцкий, Б. Ахмадулина, М. Кудинов, М. Петровых и другие. Перефразируя незваловский образ, о нем можно сказать — «поэт во множественном числе», и его издания на русском языке по-своему это подтверждают.

Но в пестром разностилье стихов Незвала проступает один человек — поэт, чья творческая смелость, стремление преодолеть инертность мышления, косность старых представлений сочетались с верностью своим душевным привязанностям. Отсюда настойчивость сквозных мотивов о детстве и родном крае, о матери, о Праге, прочерченные сквозь все незваловские книги, как линия вполне определенной судьбы. Эта линия выдержана и в новом издании.

Стихи Незвала, всегда основанные на индивидуальных впечатлениях, опирающиеся на конкретную биографию,— это и голос века, «сигнал времени». Ведь Незвал упорно стремился к свободному проявлению личности в творчестве, а оно предполагает и активность реакции на факты социального бытия, чуткость к историческим процессам, к биографии эпохи. Доминирующее чувство незваловского мировосприятия — страстная влюбленность в жизнь — никогда не становилось источником поверхностного оптимизма, а всегда влекло за собой контрастирующие настроения — ненависть к тому, что эту жизнь уродует: к эксплуататорскому строю, фашизму, войне. В его стихах сливаются ликующие и тревожные

ноты и отчетливо проявляется боевое, наступательное начало:

Мечтаю, чтоб мир был с войной
незнаком,
Чтоб он и без крови был ярок!
Стихи мои пейте, как чай с молоком,
Я чашки пришлю вам в подарок!
. . . . . .
Но если покоя нам рано просить
И мир еще полон тревогой,
Стихами моими не грех закусить
До боя и перед дорогой.

(«Мечтаю». Перевод К. Симонова)

Вступив в 1924 году в коммунистическую партию, поставив революцию и счастье в один ряд, связав их как звенья одной цепи, как следствие бывает связано с причиной (стихотворение «Мотто» из сб. «Маленький розарий» 1925), Незвал остался верен этому всю жизнь. И всю жизнь гордо нес звание коммуниста.

Чем объяснить, мой сын, что в дни войны,
Когда качался мир, я был спокоен?
Мой трудный жребий зависти достоин;
Я коммунист, и дали мне видны.—

писал он в «Пятом сонете Роберту Незвалу» (перевод С. Ботвинника, сб. «Васильки и города»).

В томе «Стихи. Поэмы» значительно полнее, чем прежде, представлены книги 20—30-х годов, отчего точнее показана соразмерность разных периодов его творческого пути. Не пренебрегая эскизами, набросками, экспериментальными стихотворениями — а их всегда было много в ранних сборниках,— составитель помогает почувствовать одну особенность психологии творчества Незвала, который всегда старался быть поэтом «в стеклянном плаще»; он доверчиво распахивал двери творческой мастерской, обнажал колосники кулис, пытался совместить сцену со зрительным залом и показать сложный механизм рождения стиха, все его подготовительные этапы. Такую функцию и выполняют многие стихотворения из сборника «Пантомима» (1924), «Женщина во множественном числе» (1936) и т. д.

Некоторые ранние книги Незвала создавались под маркой поэтизма и чешского сюрреализма, течений, объявивших войну традиционному искусству. Однако Незвал быстро начинал тяготиться авангардистской нормативностью их программ. Преследуя цель создать поэзию «более современную, чем самые современные города», Незвал стихийно стремился к искусству реалистически полнокровному. Он не порывал связи с прогрессивным искусством прошлого, наоборот, опирался на его достижения, вступая в борьбу лишь с тем, что представлялось ему устаревшим.

Отбирая стихи, где ясно выражено стремление Незвала «оживить заскорузлый язык», «никогда не становиться патетичным», найти эстетику, «пусть дешевую, зато способную удовлетворить жаждущих реальности»,— организаторы нового издания помогают выявить истинный смысл незваловских поисков. А поэты-переводчики, как правило, раскрывают на практике их результат. Разделяя ненависть Незвала к штампам и литературным привычностям, сохраняют классическую проясненность его лучших стихов:

Упадет еще один лист —
это и будет осень.
Для зубов станет яблоко трудным —
это и будет старость.
Постарею на целую жизнь —
и никто меня не узнает.

(«На острие ножа», сб. «Пять пальцев», 1932.)

Эта миниатюра хорошо переведена Б. Ахмадулиной, не всегда, впрочем, поддерживающей Незвала. Поэтесса подчас использует лежащий над повседневностью лексический пласт, в то время как Незвал разрабатывал недра живой разговорной речи, последовательно заземляя возвышенное. Так, будничное «не знаю» в переводе превращается в «не ведаю», и некоторые стихи начинают звучать не по-незваловски изысканно:

Прости меня, что я помыслить смел
поцеловать твой ореол светлейший.
Как Ноева голубка, тих и бел
мой поцелуй, в твою ладонь слетевший.

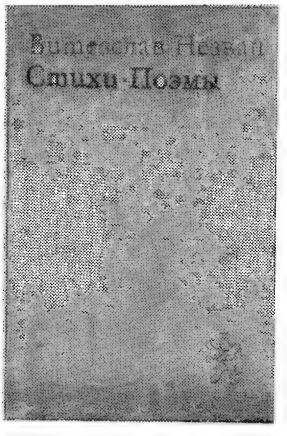
(«Рондель», сб. «Игра в кости», 1929.)

Обороняясь от патетики, добиваясь максимальной естественности в построении фразы, Незвал часто обращался к свободному стиху. Это удачно доносит чуткий к ритму оригинала Б. Слуцкий:

Нужно не сбиваться на провокацию,
А говорить спокойно, широко расправляя
грудную клетку.
Также не нужно слишком кричать.
Мысли, прежде связанные
многообразным церемониалом,
Теперь соединены так же, как ночь
с днем

(«Антилирика», сб. «Стеклянный плащ», 1931.)

Внимания к раскованным размерам в новом сборнике проявлено больше, чем в «Избранном», создававшемся в то время, когда опыт переозвучивания свободного стиха был невелик и в русской поэзии он воспринимался как нечто чужеродное. Но, к



сожалению, и в новой книге порой встречаются интонационные несоответствия между оригиналом и переводом, особенно там, где воспроизводятся работы советских переводчиков десятилетней давности. Иногда ритмическое звучание прямо-таки опровергает мысль оригинала, противоречит незваловскому стремлению к безыскусственности.

«Когда я счастлив, я говорю просто»,— сказал Незвал в стихотворении «Тон» (сб. «Стеклянный плащ», 1931), подтверждая свободным размером свое стремление отмежеваться от «гомеровской патетичности». Ритм же перевода, торжественный пятистопный ямб, напротив, сопрягает Незвала с гомеровским гекзаметром, интонационно поднимает фразу на котурны. «Когда я счастлив, речь моя проста»,— так звучит это в переводе Г. Андреевой.

В целом же новая встреча с Незвалом радует.

Сборник «Стихи. Поэмы» открывает «Библиотеку литературы ЧССР», является ярким и содержательным прологом к новой серии, прекрасным введением в современную чехословацкую литературу, многие черты которой отчетливо проявились в творчестве Незвала.

Л. БУДАГОВА

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ

Д. Костолани. Жаворонок. Анна Эдеш. Повести. Перевод с венгерского и послесловие О. Россиянова. Москва, «Художественная литература», 1972, 350 стр.

Писатель не может относиться бесстрастно к тому, что изображает: ведь произведение строится не из случайного, чужого автору материала. Видимо, с коллизиями, изображенными в «Жаворонке» и «Анне Эдеш», писатель столкнулся сам; их трагизм и безысходность заставили больно сжаться его сердце; это настроение передается и читателю.

Действие первой повести происходит в 1899 году в провинциальном городке Шарсеге; события «Анны Эдеш» относятся к тому критическому моменту в истории Венгрии, когда потерпела поражение социалистическая революция 1919 года и настала пора хортистской реакции. На этом историческом фоне развертывается драма крестьянской девушки Анны Эдеш, поступившей в услужение к состоятельной будапештской супружеской паре Визи.

Трагедии Жаворонка, с одной стороны, и Анны, с другой, резко отличаются по социальной сущности: в самом деле, семейство, духовно похожее на Вайкаи — эту фамилию носит Жаворонок (так называют девушку родители),— могло жить и в другой стране, и в другую эпоху, между тем конфликт «Анны Эдеш» мог произойти лишь в обществе узаконенного социального неравенства. Однако и несчастье Жаворонка усугубляется тем, что она живет в таком же обществе.

Какой же упрек предъявляет писатель обществу своего времени? Быть может, он видит основной его порок в имущественном неравенстве? Вряд ли. Правда, у Анны Эдеш всего два платья да рваные мужские башмаки; но не это самое страшное в ее судьбе. А в повести «Жаворонок» обездоленная часть общества и не показана. Родители Жаворонка — из старинных дворянских родов. Отец ее — Акош Вайкаи — не богач; но вовсе не в бедности заключено несчастье стариков Вайкаи. Предмет их тайного горя в том, что дочь необычайно некрасива; а потому нет у нее друзей и надежда найти ей мужа давно уже потеряна стариками... Так и живут они втроем; и жизнь их фальшива уже поэтому; откровенных разговоров о своем несчастье они избегают, и все интересы и цели этого семейства направлены на решение вопроса: что готовить на обед сегодня, а что — на завтра.

Однако за лежащими на поверхности отношениями членов семьи Вайкаи, которые проникнуты взаимной любовью, помощью и поддержкой, есть еще второй слой, подводное течение, о существовании которого они даже сами до поры до времени не догадываются. Эти глубинные отношения прорываются наружу в те несколько дней, пока дочь гостит в деревне у родственников... Семейство Вайкаи в конце повести уже не то, что в начале; произошел кризис — и с Жаворонком, и с ее родителями, хотя внешне как будто ничего не изменилось.

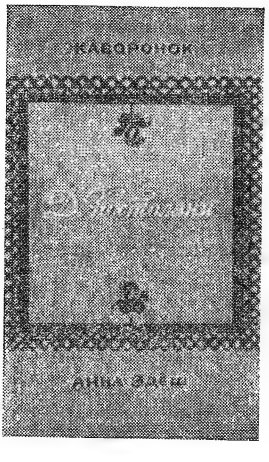
Что же это за невидимая жизнь, которая шла в этой семье? Изнанка явной, видимой жизни довольно мрачна и неприглядна: дочь, которую родители, казалось бы — да и в самом деле,— любят и без которой жить не могут, вместе с тем для них и психологически тяжелая обуза, камень на шее. Уродливая дочь — причина грустных размышлений, волнений для них; Акошу она видится даже в снах-кошмарах... Но мало того: инстинктивно, бессознательно Акош и его жена замыкают свою жизнь стенами дома; быть может, не отдавая в этом отчета, не могут позволить себе радости жизни, зная, что дочь лишена даже надежды на радость. А потому, когда дочь уезжает, старики несмотря на свою — вполне искреннюю! — печаль, испытывают и облегчение. Вот они идут по улице и как бы впервые видят магазинные витрины; вот Акош мечтает, как закажет «гуляш по-пастушески» — хотя на словах ругает ресторан и превозносит Жаворонкову стряпню; вот они впервые за долгие годы берут билеты в театр, избегая глядеть друг на друга...

Словом, после отъезда дочери родители освобождаются из-под невидимого и невольного гнета и живут свободной жизнью. Впервые за многие годы встречаются они с людьми: и тут автор представляет нам жителей венгерской провинции. Неподвижна жизнь этого провинциального стоячего болота: душно в нем единственной светлой личности в повести — молодому редактору,

начинающему поэту Миклошу Ийашу: все мечты его—в столице, в Будапеште. Что ж, читатель вправе предполагать, что ему удастся вырваться отсюда, но положение Жаворонка гораздо драматичнее: ведь традиции замыкали круг интересов женщины домашним очагом. И девушка, лишенная игрою судьбы надежды на семейное счастье, вынуждена ограничить жизнь решением кулинарных проблем... С иронией рисует Д. Костолани бездуховность и пустоту провинциальной жизни; однако обличение общества подчинено описанию кризиса в семье Вайкаи, который является стержнем повести.

Свое освобождение от некоего нравственного гнета родители осознают лишь в тот момент, когда Акош, побывав в обществе своих прежних друзей, навеселе возвращается домой. Сцена разговора между супругами в эту ночь — кульминация повести, но не только: это и переломный момент в жизни этой семьи—наружу, в слова вылилось то, что копилось под покровом будней долгие годы. Муж высказывает жене страшную правду, которую та и сама знала, но прятала как можно глубже, боясь высказать ее себе самой. «Не любим мы ее...— говорит Акош.— Ненавидим ее. Терпеть не можем... Да, не выносим и хотели бы остаться одни, вот как сейчас...» Она возражает мужу, хотя внутренне ощущает слабость своей позиции. Но позиция эта единственно возможная и нельзя сказать, что лживая: нет, правда в ней есть — ведь родители все же любят и жалеют Жаворонка. И когда дочь приезжает, жизнь внешне опять возвращается в прежнее русло. В показе такой двойной жизни, существования двух, казалось бы, взаимоисключающих «правд» и состоит своеобразие повести «Жаворонок».

Социальный смысл повести «Анна Эдеш» гораздо отчетливее. Две общественные группы противопоставлены совершенно явно — господа и их слуги. Гнев автора проявляется прежде всего в том, что люди из имущего класса показаны как фигуры крайне непривлекательные: это скрытный, злобный, лицемерный хозяин Анны — Корнель Визи и его истеричная жена; это развратный бездельник Янчи; это адвокат-человеконенавистник; это, наконец, единственный «добрый» человек среди них — доктор Мовистер, чья моральная позиция, однако, достаточно бессильна и пассивна. Главный же упрек, который бросает Костолани обществу,— в том, что существующее социальное устройство не позволяет человеку во многих случаях стать личностью в настоящем смысле слова.



В самом деле, посмотрите, как автор изображает Анну. Он не описывает внутренней жизни героини — ее мыслей, целей, убеждений. И едва ли это можно свести к некоему художественному приему. Нет, Анна живет, повинуясь неосознанным чувствам. А еще больше — воле других людей. Швейцар Фичор без особого труда убеждает ее оставить старых хозяев, хотя на прежнем месте Анна была привязана к детям; хозяйка за несколько минут отговаривает Анну от предполагаемого замужества, не говоря уже о том, что барчук Янчи играет с нею как кошка с мышью... Да и убийство хозяев: вправе ли мы возлагать ответственность за него только на саму Анну? Вряд ли: ведь Анна, с одной стороны, не злодейка, а с другой — так ли уж она страдает в доме Визи? Вначале ей казалось, что она не сможет к ним привыкнуть, но потом привыкла: стала даже подражать голосу хозяйки и ее прическам, гордиться тем, что ее хозяева богаче соседей... словом, перестала чувствовать себя у Визи посторонней.

Это-то и самое страшное: Анна не замечает всего ужаса своего положения, принимает как должное то, что с ней обращаются как с вещью. Словом, живет как во сне, бессознательно, и мы вправе сказать, что с детства окружающая Анну среда настолько уже задавила в ней человека, личность, что нельзя счесть лишь ее ответственной за убийство. Общество, которое низводит людей до положения вещей,— вот истинный виновник происшедшего, утверждает Д. Костолани всем ходом повествования.

Да ведь и не одна Анна такова! Вот и Катица, служившая у Визи до Анны: какое презрение испытывает она к хозяйке, расставаясь с нею. Но после смерти этой хозяйки та же Катица, плача, говорит, что ее превосходительство «ангельской доброты женщина была»... А вот другая девушка — Бёжи, которая так запугана, что не решается звать на «ты» даже двухмесячного хозяйского котенка... Две другие служанки из дома Визи тоже лишены способности самостоятельного суждения: на суде они, правда, хвалят Анну, но в той же мере — и покойных Визи.

Грустные и гуманные повести Деже Костолани проникнуты настроением неприятия всей духовной атмосферы, самих моральных устоев старой Венгрии.

Н. БОНЕЦКАЯ

СРЕДИ КНИГ

Издано за рубежом

«НАИВЫСШЕЕ СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА»

Элли Алексиу. Ке ипер тон зонтон. Афины. «Кедрос», 1972.
Элли Алексиу. Деспозуса. Афины, 1972. (На греческом языке.)

Начало этого рассказа не предвещает потрясений. Читатель, уже ознакомившийся с половиной сборника «И за здравие» и освоившийся с его элегической атмосферой, готов воспринять еще одну чистую и трогательную историю о сердечности и доброте, на которых зиждется мир человечности. Героиня рассказа «Где ты гнездишься, сумасшедшее?» плачет о любимых гортензиях, засохших из-за небрежности соседки, сострадает собаке, привязанной у двери короткой цепочкой, которая не позволяет прилечь, и долго не может простить себе, что не вмешалась, не удлинила цепочку, не уговорила хозяев.

Поворот в повествовании происходит неожиданно. Хрупкое, столь ранимое сердце принимает невероятно жестокие удары судьбы, подвергается натиску чудовищного насилия, торжествующего победу над борцами за справедливость. Героиню пытают, бросают в каменный колодец, на одном из допросов у нее на глазах мучают восьмилетнего сына. Но сердце непреклонно, и глаза сухи. «Где ты гнездишься, сумасшедшее сердце? Как выдерживаешь эти глыбы — ты, которое терзалось и таяло из-за мелочей? Кто объяснит неисповедимые твои пути?»

Так мир человечности получает у Элли Алексиу еще одно измерение — мужество, и рядом с ним углубляются, обогащаются новым содержанием и сердечность, и доброта. Они предстают как осознанная жизненная позиция неприятия зла, внутреннего сопротивления всему, что нарушает гармонию природы, жизни, человеческого взаимопонимания. И уже с новым чувством вспоминает читатель одинокую старушку, которая заботится о соседской куропатке с подрезанными крыльями («Тяжелы воздушные волны»), о молодом солдате, который не может примириться с бездушным режимом казармы и посылает сигнал сочувствия другому солдату, заключенному в железную клетку («И за здравие»). Их действенная доброта вызывает не только симпатию, но и уважение, а овеянные грустью рассказы-миниатюры обнаруживают неожиданный заряд динамизма, твердой авторской воли, горячей целеустремленности.

Рассказ «В трех фазах» укрепляет это нарастающее ощущение. Писательница выступает здесь в роли читателя: в руки к ней случайно попадает книга неизвестного автора, и, раскрыв ее без особых ожиданий, она читает до глубокой ночи, пока, наконец, не переворачивает последнюю страницу. Ее читательская реакция проходит три фазы. В первую ночь ее преследуют вызванные книгой кошмарные видения. Во вторую ночь на смену кошмарам приходит восхищение, к которому примешивается немного писательской зависти. Вечером третьего дня, желая освободиться от плена столь сильных впечатлений, писательница идет в театр, но вместо героев Аристофана она видит перед собой сцены из книги, сцены пыток, которым подвергается юный борец.

И вот наступает третья ночь. Ушли кошмары, ушли восхищение и зависть, осталось горькое чувство неудовлетворенности собой, сознание, что в тяжкие дни, которые переживает родина, достойные произведения создаются не только пером, но прежде всего действием, личным вкладом в общее дело — хотя бы прокламацией по случаю пятилетия рекламируемого военным режимом «нравственного, экономического и духовного прогресса общества».

Рассказы Элли Алексиу, естественно, далеки от прокламаций, но они продиктованы тем же требовательным гражданским чувством. Всем своим нравственным строем они протестуют против порядка, зловещим олицетворением которого является дом, источающий крики и стоны, дом пыток, проклятый народом («Случай скарлатины»). Пока в этом доме свирепствует насилие, нет счастья в соседних домах, нет покоя людской совести, а только в согласии с совестью, в полной отдаче ее требованиям — «наивысшее счастье человека».

Роман Алексиу «Наивысшее» органически связан со сборником рассказов: обе книги вышли одновременно и словно призваны дополнять друг друга. Зерна жизненной концепции автора, заложенные в прозаических миниатюрах, получают здесь большие возможности роста и выявления, однако почва у них общая — нравственное здоровье народной души, сила и красота народного характера.

От мудрого деда Маркоса, от заботливой бабки Марины унаследовали герои романа светлый взгляд на жизнь, спокойное достоинство, врожденное чувство справедливости. Эти душевные свойства привлекают к ним друзей, служат залогом их успехов, их личного счастья. Их реакция на зло — отрицание и сопротивление. И даже внучка Маркоса Марина, еще не нашедшая себя, мечущаяся в поисках смысла существования, не задумываясь, повинуясь внутреннему порыву, препятствует надругательству солдат над трупом неизвестной девушки, а потом мужественно проходит через серию допросов. Этот эпизод, этот импуль-

сивный порыв помогают ей понять себя, понять и полюбить Димитриса.

Образ Димитриса появляется на страницах романа незадолго до конца, но сразу становится полюсом притяжения. В радикальной жизненной позиции Димитриса как бы обретают логическое завершение лучшие черты его друзей; его максимализм — проекция их взглядов. Молодой ученый, работающий строителем, чтобы избежать финансовой зависимости от отца, генерала, убежденного монархиста, любящий муж и отец, продолжающий с риском для жизни деятельность члена подпольной организации, он воплощает совесть своего поколения. Ему принадлежат слова о «наивысшем счастье человека», отдающего все силы борьбе, живущего в согласии с совестью и доброй верой в справедливость. Он повторит их на суде, признав, что был членом подпольной организации, которая ставила своей целью свержение режима диктатуры: «Цель организации была целью моей жизни. Преследуя ее, я был счастлив...»

Короткая и яркая жизнь Димитриса оборвалась, но растут и мужают его сыновья, а их мать Марина пишет книгу, которая поможет им понять отца, воспринять все лучшее, что бережно передавалось и в ее роде из поколения в поколение.

Закрывая роман, читатель невольно подумает, что прочитал именно такую книгу. Он почувствует себя наследником добрых традиций, преемником героической эстафеты. И то, что книга принадлежит перу известной писательницы, имя которой живет в греческой литературе вот уже пятьдесят лет, то, что в годы второй мировой войны Элли Алексиу участвовала в Сопротивлении, а после военного переворота 1967 года ставит свою подпись под антидиктаторскими манифестами творческой интеллигенции Греции, внушает ему особое уважение и доверие.

С. ИЛЬИНСКАЯ

БУНТАРСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ ИДИОТИЗМА

Hara-Kiri. Journal bête et méchant. Janvier—Décembre, 1972.

Уродливые формы буржуазной социальной жизни порождают порой протест, выливающийся в формы не менее уродливые, а в иных случаях просто дикие. Об этом можно судить, в частности, по целой группе французских журналов, в той или иной мере связанных с эклектической, ультрареволюционной левацкой идеологией.

Дух оголенного, ничем не прикрытого нигилизма вдохновляет «Шарли-Эбдо», доверху нашпигованного юмором и комиксами, или новорожденную «Орущую глотку», которая возникла, чтобы объявить «о конце света». Но особой бойкостью отличается ежемесячник «Харакири», вот уже ряд лет ведущий «подрывную работу» против всех и вся.

Что же можно сказать об этом органе парижской литературно-художественной богемы, молодой или молодящейся, с ярко выраженной левацкой закваской, который завоевал себе определенную популярность?

«Харакири» — журнал-пародия, или антижурнал. В нем лихо окарикатуриваются «манеры» буржуазных газет и еженедельников. Каждое слово, каждая фотография «Харакири» призваны кривляться, подхихикивать, подмигивать читателю. «Харакири» — сплошной крик «Долой!», изданный, впрочем, отнюдь не в пароксизме благородного негодования. В этом крике слышится не столько недовольство институтами капиталистического общества, сколько издевательство над сокровенными гуманистическими ценностями и самой возможностью какого-либо социального переустройства.

«Последнее капиталистическое рождество!» — под такой шапкой вышел декабрьский номер за 1972 год, на обложке которого красуется фотография деда-мороза, держащего в зубах большой кухонный нож. Так «Харакири» оправдывает свой подзаголовок: «Журнал глупый и злой»; он выбрал необычную форму отрицания: идиотизм. Это сознательная линия журнала. Идиотизм «Харакири» не что иное, как до абсурда извращенная реакция на «здравый смысл», практицизм, рассудочность и прочие утомительные добродетели буржуа, благодаря которым тот предстает столь отталкивающе самодовольным. Задача авторов «Харакири» состоит, на мой взгляд, в том, чтобы с невинными голубыми глазами пороть всякую чушь, пока читатель не захохочет во все горло, отбросив в сторону журнал,— не то над идиотской шуткой, не то над «голубоглазым» идиотизмом самих шутников.

Кому больше всего достается от «Харакири»? Журнал нападает и на правительство, и на армию, и на девичью стыдливость, и на папу римского... Но особенно, пожалуй, он донимает полицию — но не как силу, стоящую на страже буржуазного правопорядка, а как защитницу вообще какой бы то ни было законности. Вот почему в разделе «Знаете ли вы?» «Харакири» сообщает такую сенсационную новость: «Чрезвычайно серьезно проведенный опрос общественного мнения показал, что ни один нормально сложенный молодой человек в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет не только не мечтает стать полицейским, но отвергает эту возможность с негодованием. Однако установлено, что полиция вербует каждый год значительное количество молодых агентов. Откуда же они берутся? Судя по результатам вышеуказанной анкеты, становится ясной одна вещь: это не человеческие существа. Полицаи — выходцы с других планет! Караул!»

И религии нет пощады. Вконец раздраконил ее «Харакири». Но не думайте, что в редакции засели идейные атеисты, решившие уничтожить «опиум для народа». Нет, шутникам захотелось побогохульствовать, и вся их забота — пустить мышь за оклад иконы. Зубоскальство строится на принципах антирелигиозного анекдота с его разоблачениями и профанацией. Вместе с «революционным» дедом-морозом помещена на другой обложке краснолицая, заливающаяся смехом святая дева, которая, оказывается, подготовила всем рождественский сюрприз: «Я сделала аборт!» Один из заблаговременно пришедших на поклонение волхвов, не удержавшись, выругался.

Подобные остроты сомнительного вкуса в «Харакири» — не случайность. Журнал рассчитан на невзыскательного читателя, которого оглушает и одновременно прельщает именно «соленость» шутки. В погоне за острым словцом «Харакири» часто теряет всякое чувство меры. Под фотографией раздавленного цементной плитой рабочего (видны только ноги) авторы журнала с легким сердцем помещают подпись: «О человеке судят по его носкам».

«Харакири» иронически относится к людям, считающимся национальной гордостью Франции. Ну, просто за то, что они — гордость. Им немедленно присочиняется компрометирующая «биография», где главенствующую роль играет эротика. Судя по «Харакири», Франция порождала одних великих эротоманов.

«Харакиррвцы» испытывают ностальгию по временам «былинным»: умственным, или скорее «безумственным», взором они обращаются к «заре человечества», и их вспотевшие от хохота лица нежнеют. «В те времена,— мечтательно вздыхают они,— у хозяев не было заводов; в те времена одну вишенку ели целый час, а час длился часами; поцелуй длился столько времени, сколько его требовалось на то, чтобы съесть килограмм вишен; в те времена полицейские носили белые одежды».

У «Харакири» есть свои «герои». Верховодит профессор Шорон, роль которого разыгрывает один из членов редакции, снимаясь на фотографиях и в «фотороманах»; это бритоголовый персонаж с ослепительно блестящим черепом, жидкими усами и задумчивыми глазам дегенерата.

Профессор Шорон дает «полезные» советы для дома, для семьи, ведет отдел почты под рубрикой «Пишите нам, если вам охота терять время» (не делая секрета из того, что он теряет время как на ответы, так и составление самих писем), а также предлагает читателям вместо приевшихся кроссвордов и ребусов поиграть в более «азартные» игры, которые он из номера в номер публикует в разделе «Дурацкие игры профессора Шорона».

Профессор не обманывает: игры у него действительно дурацкие. Впрочем, не только дурацкие, но зачастую и провокационные. Куда же смотрит общество, на которое ополчается «Харакири», зачем позволяют себя оскорблять «выходцы с других планет»? А общество смотрит в сторону. Оно достаточно хитроумно для того, чтобы не возмущаться этим идиотизмом, не впадать в ярость. Ведь лучше, бравируя своей терпимостью, приручить, приголубить и заставить работать на себя профессоров Шоронов. Общество нейтрализует зубоскалов и выпускает излишний критический пар через удобный клапан богемного анархизма с щегольской хулиганской подкладкой.

«Харакири» оказывается вовлеченным в общество «потребления». Пусть его авторы поносят систему, где люди работают для того (считает журнал), чтобы мусорные ящики ломились от отбросов: все равно «Харакири» прислуживает ему — хотя бы тем, что публикует рекламу. Правда, это не та слащавая, подсюсюкивающая реклама богато иллюстрированных еженедельников, которая опостылела «потребителям» с мало-мальским вкусом; здесь реклама полудикая (без этого никуда), с садистическим даже оттенком. Но какая разница, если она стимулирует ту же куплю-продажу! Да и что взамен купли-продажи предложит «Харакири»? Свои хохмы?

Все смешалось, и вполне нарочито, в головах «харакировцев»: демократия и олигархия, агрессоры и их жертвы, правые и виноватые — все годится для осмеяния. Это огульное зубоскальство приводит в известной мере к деморализации и отвлечению от реальной борьбы те слои французской молодежи, чей спонтанный протест против буржуазных канонов еще не оформился в сколь-либо последовательное антибуржуазное мировоззрение.

Так при ближайшем рассмотрении анархический бунт «Харакири» предстал перед нами демагогической видимостью, иллюзией подлинного возмущения.

ВИК. ЕРОФЕЕВ

◆

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

О ПОЭТАХ — ПОЭТЫ

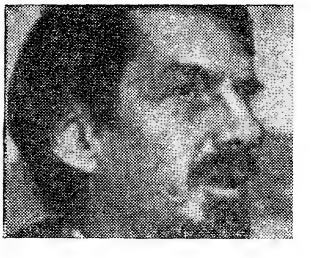
Еженедельник «Санди таймс» сообщает о выпуске издательством «Пингвин» интересной поэтической антологии. Современные английские и американские поэты составили ее из стихов своих знаменитых предшественников: каждый отобрал стихи одного из выдающихся поэтов прошлого и написал к ним вступительную статью. Творчество Джорджа Крабба представил С. Дэй Льюис, Джорджа Херберта — Уистэн Х. Оден, Уильяма Вордсворта — Лоуренс Даррел, Роберта Хенрисона — Хью Макдиармид, Альфреда Теннисона — Кингсли Эмис, Уолта Уитмена — Роберт Крили.

«РОЯЛ КОРТ», НАВЕРХУ И ВНИЗУ

Театр «Роял корт» давно завоевал репутацию своеобразной лаборатории современной английской драмы. На его сцене впервые были осуществлены постановки большинства пьес Джона Осборна, Арнольда Уэскера, Эдварда Бонда, Дэвида Сто-

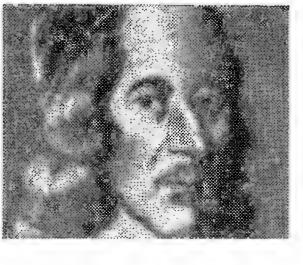
Лоуренс Даррел
выбрал
Уильяма Вордсворта

Уистэн Х. Оден
выбрал
Джорджа Херберта



Роберт Крили
выбрал
Уолта Уитмена

(Газета «Санди таймс»)



«Приключения Тома Сойера» Марка Твена неоднократно экранизировались начиная с 1917 года, когда в Англии был снят немой фильм по этой книге. Недавно режиссер Дон Тейлор выпустил мюзикл под названием «Том Сойер». Кинокритик газеты «Морнинг стар» считает этот фильм удачей режиссера и лучшими исполнителями ролей называет юного Джонни Уитейкера (Том Сойер) и Селест Холм (тетя Полли).

(Газета «Морнинг стар»)

ри и других ведущих драматургов. Несколько лет назад в здании театра была открыта вторая сценическая площадка — так называемый «Театр наверху», где должны ставиться преимущественно пьесы начинающих драматургов.

Недавно на обеих сценических площадках почти одновременно состоялись две премьеры: на основной сцене был показан спектакль по новой пьесе ныне уже маститого Джона Осборна «Чувство отрешенности», а в «Театре наверху» — «Собственники» молодой писательницы Кэрил Черчилл, впервые пробующей свои силы в области театральной драматургии.

Пьеса Кэрил Черчилл, по словам рецензента журнала «Плейз энд плейерз», с таким же гневом и такой же силой обличает сегодняшнее английское общество, как это делал пятнадцать лет назад Джон Осборн в своих первых пьесах, поставленных на сцене того же «Роял корт». И хотя новая пьеса Осборна, по замыслу ее создателя, тоже носит обличительный характер, в «обличении» этом нет уже ни истинного гнева, ни истинной силы. Более того, пьеса Осборна, по мнению критика, свидетельствует об идейном и художественном спаде драматурга. Поток бессвязных непристойностей, адресованных непосредственно зрителям и желчно изливаемых со сцены персонажами, у которых нет ни драматургических функций, ни характеров, ни даже имен (автор именует их «Парень», «Девушка», «Пожилая леди», «Первый мужчина», «Второй мужчина» и т. д.), вообще трудно назвать пьесой.

Актеры, по мнению критика, продемонстрировали высшую степень виртуозности, еще раз доказав, что одаренный мастер может заставить зрителей слушать себя, даже читая со сцены телефонный справочник. При всей резкости тона, суждение рецензента «Плейз энд плейерз» совпадает с большинством других отзывов, появившихся в английской печати. Единственное исключение — театральный обозреватель газеты «Санди таймс», который предрек, что со временем это произведение «станет одним из сокровищ английского театра».

В отличие от пьесы Осборна, лишенной, судя по отзывам рецензентов, не только сюжета, но и какой бы то ни было драматургической конструкции, драматургическая попытка Кэрил Черчилл обнаруживает умение «выстроить» действие, воплотить свою идею в живых характерах. Писательница занята исследованием различных форм «собственнического инстинкта», разъедающего людские души, калечащего человеческие жизни. Главные герои — пожилая супружеская пара Билл и Мэрион Клегг. Каждый из них поглощен своим бизнесом: муж — торговлей в принадлежащей ему мясной лавке, жена — скупкой и перепродажей жилых домов. «Инстинкт собственничества» распространяется и на человеческие взаимоотношения: ребенок, которого они хотят усыновить, для них тоже «вещь», и, чтобы утвердить свои права на обладание этой «вещью», они обманывают друг друга, обманывают окружающих, замышляют убийства, поджоги.

Рецензенты отмечают, что, несмотря на драматизм содержания (единственный из персонажей, не одержимый духом собственничества, погибает в финале, пытаясь вынести ребенка из подожженного по наущению Мэрион дома), пьеса полна комических ситуаций, а некоторая гротесковость в обрисовке характеров заставляет вспомнить Диккенса. И вообще, полагают критики, «Собственникам» свойственна добротная традиционность. Но так же, как стремление к «новомодности» и попытка полностью разорвать с традициями не делают новую пьесу Осборна истинно современной, так «традиционность» «Собственников» нисколько не мешает пьесе быть произведением истинно современным — и по содержанию, и по средствам выражения.

БОЛГАРИЯ

«СЛИВЕНСКИЕ КОСТРЫ»

Традиционные дни культуры — «Сливенские костры» — стали в этом году праздником национального искусства. В Сливене состоялась конференция, посвященная 50-летию Сентябрьского антифашистского восстания 1923 года. В ряде докладов обсуждалось, как тема восстания отражена в болгарской литературе — в частности, в произведениях Гео Милева, Аксена Разцветникова, Антона Страшимирова, Николы Фурнаджиева.

Торжественно было отмечено 80-летие уроженки Сливена Елисаветы Багряны. Поздравить видную болгарскую поэтессу приехали партийные и государственные руководители, деятели искусства и культуры.

Во время фестиваля была вручена премия имени поэта-революционера Добри Чинтулова — лауреатом ее стал скульптор Стефан Пейчев, автор памятника легендарному болгарскому воеводе Хаджи Димитру.

В программу «Сливенских костров» были включены и показ нового кинофильма «Мандолина», и конкурс молодых поэтов, и выставка художника Сирака Скитника, чье 90-летие отмечается в этом году, и концерты артистов балета, и выступления национального ансамбля танца, и премьера спектакля по пьесе У. Пленцдорфа «Новые страдания юного В.».

ВЕНГРИЯ

ИНСЦЕНИРОВКА РОМАНА

Уже скоро год, как вышел роман Тибора Дери «Воображаемый репортаж об одном американском поп-фестивале», а критика все продолжает обсуждать на страницах печати это произведение, оценивая его как значительное явление в современной венгерской литературе.

В основу сюжета «Воображаемого репортажа» легли подлинные события фестиваля поп-музыки в Калифорнии в декабре 1969 года, на который собралось около трехсот тысяч молодых людей Америки и других стран. Содержание книги несложно: Йожеф, уехавший в 1956 году из Венгрии вместе с женой Эстер в Америку, устремляется на фестиваль, думая встретить там Эстер, которая незадолго до этого покинула его. В поисках жены Йожеф сталкивается с самыми разными людьми. Он в ужасе от всего увиденного...

Фестиваль в изображении Дери становится символом неблагополучия, одиночества, лабиринта, из которого нет выхода. Иллюзии Йожефа по поводу свободы личности рухнули. Писатель заставляет своего героя часто вспоминать то, что было на родине, подчеркивая этим контраст между двумя мирами и трагедию человека, не нашедшего своего места.

К этому произведению Тибора Дери обратился режиссер будапештского театра «Вигсинхаз» Ласло Мар-

Актриса Ева Алмаши в роли Эстер.
(Журнал «Критика»)

ток. По свидетельству журнала «Критика», коллективу театра совместно с инструментальным ансамблем «Лабиринт» удалось создать великолепный музыкальный спектакль, точно воссоздающий суть и интонации романа.

ПЯТЬ ВЕКОВ НАЦИОНАЛЬНОМУ КНИГОПЕЧАТАНИЮ

Пятьсот лет назад, в период правления Матьяша — одного из самых щедрых покровителей искусства эпохи венгерского Возрождения, — в Буде была издана на латыни первая история Венгрии, составленная по образцу средневековых хроник, — «Хроника Хунгарорум», или «Будайская хроника», положившая начало венгерскому книгопечатанию.

Этот юбилей стал праздником в культурной жизни венгерского народа. Большая выставка, посвященная истории и развитию венгерского книгопечатания, экспонировалась в Национальном музее, на одном из ее стендов — факсимильное издание «Хроники Хунгарорум», выпущенное издательством «Геликон». Оно получило Главный приз конкурса за лучшее оформление книг по искусству. В Национальной галерее и Выставочном зале были размещены работы мастеров книжной графики Лайоша Лендьела — лауреата премии имени Кошута и Гутенберга и Тибора Санто — лауреата премии имени Мункача.

К этой дате была приурочена Неделя книги. В дни Недели книги состоялись читательские конференции, литературные вечера, встречи писателей с читателями, крупнейшие венгерские издательства представили свои лучшие книги.

ГДР

МАНФРЕД ЕНДРИШИК — РОМАНИСТ

«Иоганна, или Дороги доктора Кануги» — первый роман молодого писателя Манфреда Ендришика, известного читателям по двум сборникам рассказов и очерков «Стекло и клен» и «Факел и борода» (см. «ИЛ» № 10, 1969).

Главный герой романа — специалист по истории, журналист доктор Кануга. Расставшись с женой, он переживает период кризиса. Неожиданно для окружающих он уезжает в Сельскохозяйственный институт на побережье Балтийского моря, чтобы писать репортаж о жизни и работе ученых.

Новая область, которую должен изучить доктор Кануга, новые люди, с которыми его сводит работа, встреча с Иоганной, экономистом из университета, любовь к ней — все это заставляет его по-новому осмыслить свою жизнь и изменить ее.

«Знакомство доктора Кануги с жизнью ученых формально ограничено рамками научно - исследовательского института и связанного с ним сельскохозяйственного кооператива, — пишет рецензент «Литературы-73». — На самом деле знакомство это гораздо шире: Кануга сталкивается с жизнью во всем ее многообразии. Познание жизни становится для него также познанием самого себя и своих отношений с окружающими».

Рецензенты отмечают особенности композиции романа — отрывки из писем и дневников, рассказ то от первого, то от третьего лица, вопросы к рассказчику. «Язык романа — деловой и лаконичный, поэтичный и сочный,— ироничность авторской манеры делают повествование живым и увлекательным. Роман Ендришика характерен для нашего современного молодого писателя, требовательного к себе и другим, и его будут читать с захватывающим интересом».

«БРАТЬЯ ЛАУТЕНЗАК» — НА ТЕЛЕЭКРАНЕ

По роману Лиона Фейхтвангера «Братья Лаутензак»

Картина Гюнтера Гломбицы «Молодая пара», экспонировалась на VII художественной выставке ГДР в Лейпциге.

(Газета «Дойче фольксцайтунг»)

Сцена из телефильма «Братья Лаутензак».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

(впервые на русском языке роман был напечатан в «ИЛ» в № 1—3, 1957) создан телевизионный фильм в трех частях. Историю «провидца» Оскара Лаутензака, чьим прототипом послужил нацистский шарлатан-предсказатель Эрик Ян Хануссен, воплотил на экране режиссер Ганс-Иоахим Каспржик. Работая над фильмом, Каспржик и автор сценария Альбрехт Бёрнер консультировались с вдовой Фейхтвангера.

«Фейхтвангер — страстный, боевой, острый писатель, перо которого было направлено против тех, кто уничтожал разум, кто проповедовал безумие, — пишет газета «Берлинер цайтунг». — Создатели фильма сумели передать обстановку и события того времени так, как о них рассказал писатель, сумели сохранить историческую достоверность и колорит романа». На роль Оскара Лаутензака был приглашен словацкий артист Цтибор Фильчик. «Фильчик — артист с великолепными данными, с огромной силой воздействия,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд». — Режиссеру удалось создать сильный актерский ансамбль: в фильме прекрасно сыграны все роли — от главных до самых маленьких, эпизодических».

ФРГ

«ВОЛНА АВТОБИОГРАФИЙ»

«По западногерманской литературе прокатилась волна автобиографий», — пишет рецензент журнала «Шпигель» и приводит в подтверждение целый ряд публикаций такого рода, появившихся в ФРГ за последнее время. Это «Дневник улитки» Гюнтера Грасса, «Автопортрет» Якова Линда, «Зигфрид» Йорга Шрёдера, «Прекрасный день — это тринадцатое число» Барбары Кёниг, «Классовая любовь» Карин Штрук, «Знакомые вам годы» Петера Рюмкорфа. К этому же ряду можно отнести «Дневник 1966—1971» швейцарца Макса Фриша, книги писателя австрийского происхождения Петера Хандке «Короткое письмо к долгой разлуке» и «Несчастье без желаний».

Произведения эти неодинаковы по уровню и характеру, автобиографичность в них может быть откровенной, как в книге Гюнтера Грасса и в «почти незашифрованном дневнике» Барбары Кёниг, или скрытой, как в романе Уве Йонсона «Годовщины», где писатель выводит себя под именем Гезине Креспаля. Однако сама тенденция весьма показательна для современной западногерманской литературы.

Критики пытаются найти объяснение этой «тяге к исповеди», к «самопознанию и самообнажению, подчас беспощадному», — тенденции, которая, по мнению рецензента «Шпигеля», для немецкой литературы до сих пор была не так характерна и привычна, как, например, для французской. По общему мнению, это не просто реакция писателей на огромный успех мемуарных бестселлеров, принадлежащих перу нелитераторов.

«Автобиография может быть выходом для писателя, который устал сочинять сюжеты или который вообще отрицательно относится к вымыслу»,— пишет рецензент.

Профессор литературы Петер Вапневский предлагает другое объяснение: по его мнению, писатели таким образом стараются выправить существовавший до сих пор крен в сторону «чрезмерной идеологизации» и «ищут самоутверждения на пути, который теперь модно называть личным».

Петер Хертлинг в журнале «Акценте» объясняет «поворот к «я» также и реакцией на «онаучивание» современной жизни. «Чем больше технократы во всех областях будут навязывать якобы объективные ценности, тем субъективней будет литература».

Рецензент «Шпигеля» полагает, что ни одно из этих объяснений «волны автобиографий» нельзя считать исчерпывающим.

ГРЕЦИЯ

НОВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

В Афинах начал выходить журнал «Синэхия» («Продолжение»). Его название как бы свидетельствует о преемственности лучших традиций литературных журналов «Эпитеориси текнис» и «Эпохес», которые были закрыты сразу же после переворота 1967 года.

Одна из главных целей журнала — консолидация прогрессивных литературных сил.

В первом номере видное место отведено двум покойным писателям, которые были связаны с антидиктаторским движением творческой интеллигенции Греции, — лауреату Нобелевской премии поэту Г. Сеферису и прозаику Р. Руфосу. Ряд материалов посвящен студенческим волнениям, проблеме политических заключенных. Объектом исследования в этом номере стала поэзия Янниса Рицоса: с анализом его творчества выступили греческие и зарубежные литераторы. Наряду с информацией о литературной жизни Греции журнал помещает материалы о театре, кино, изобразительном искусстве.

ДАНИЯ

СЛОВО ПИСАТЕЛЯ-КОММУНИСТА

Прогрессивного писателя Мартина Нильсена советские читатели знают по изданной в СССР книге «Рапорт из Штуттофа», рассказывающей от мужестве датских и советских людей, брошенных в фашистский лагерь «Штутгоф». Весной 1973 года вышел в свет сборник статей и выступлений Мартина Нильсена под общим заголовком «Капитал коммунистов», с предисловием Ханса Шерфига.

«Жизнь Мартина Нильсена была составной и неотъемлемой частью Дании и Датской коммунистической партии», — отмечает газета «Ланд ог фольк» в статье, посвященной изданию сборника.

Начало творчества Нильсена-публициста относится к 30-м годам. В 1928 году на страницах газеты «Политикен» появилось под псевдонимом Лишний Человек несколько статей, озаглавленных «Четыре жизни бродяги». Псевдоним и письма, написанные от лица безработного, вынужденного скитаться по стране в поисках работы, принадлежали Мартину Нильсену. Вскоре после опубликования «Писем бродяги» М. Нильсен едет на учебу в Советский Союз. А в конце 30-х годов он становится редактором коммунистической газеты «Арбейдербладет», отклонив более выгодное предложение буржуазной «Политикен», и занимается активной антифашистской пропагандой на страницах рабочей газеты.

Когда свершилось мюнхенское предательство, буржуазная пресса ликовала. «Мир гарантирован», — пестрели заголовки газет. 1 октября 1938 года Мартин Нильсен опубликовал статью «Война гарантирована». В статье говорилось: «Наш долг как соседей и разумных людей смотреть фактам в глаза и называть вещи своими именами. Наш долг— среди обстановки всеобщей успокоенности (на самом деле это лишь пассивное желание мира) открыто говорить о том, что никогда еще так мерзко не играли со стремлением народов к миру». В предисловии к сборнику Ханс Шерфиг отмечает наиболее значительные и талантливые произведения Мартина Нильсена: «Рапорт из Штуттофа», «По пути к жизни», «Дни тюрьмы и ночи в застенках». «Через все лучшее, написанное им, Нильсен и после смерти обращается к людям», — заключает Шерфиг.

ЕГИПЕТ

С ДРЕВНИХ ЯЗЫКОВ — НА СОВРЕМЕННЫЙ

Издание в 1904 году поэтического перевода «Илиады» на арабский язык положило начало знакомству читателей с великими произведениями античной литературы.

По сообщениям прессы арабских стран, в Египте разработан план переводов произведений древней классики на арабский язык. В соответствии с этим планом в Каире уже вышли великолепно изданные и богато иллюстрированные «Метаморфозы» Овидия в переводе и со вступительной статьей известного литературного критика Сарвата Аккаша и «Энеида» Вергилия, переведенная с латинского языка Кемалем Мамдухом Хамди (серия «Античные исследования»).

В серии «Античный театр» опубликованы четыре трагедии Эсхила («Персы», «Просительницы», «Семеро против Фив» и «Прикованный Прометей»), переведенные с древнегреческого Ибрахимом Сакром.

Для детей выпущены переведенные И. Сакром «Приключения Персея» и обработанные Амином Салямой «Путешествия Одиссея» (арабский прозаический перевод «Одиссеи» Гомера вышел в Каире несколько лет назад).

Помнят египтяне и о наследии своих древних предков. В стране издаются труды, посвященные культуре Древнего Египта, переводы некоторых древних иероглифических текстов. По сообщению журнала «Аль-Адиб», каирским издательством «Аль Джадид» опубликована недавно для юных читателей книга «Заколдованный остров», куда вошли образцы древнеегипетской литературы в переводе и со вступлением каирского ученого-египтолога Мунира Маджалли.

ИНДИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ

Текущий год отмечен нарастающей активностью писательских организаций страны. Большое внимание индийской общественности привлекли творческие встречи писателей хинди и пенджаби.

Как сообщает журнал «Брадж бхарати», в индийской столице состоялось юбилейное заседание Делийской конференции литературы хинди, начало которой было приурочено к национальному празднику индийского народа — Дню независимости. На конференцию прибыло свыше 500 участников — писатели, поэты, критики, литературоведы. Во время работы конференции проходили встречи ли-

тераторов, устраивались вечера поэзии, была развернута большая книжная выставка. Массовые мероприятия, организованные по случаю конференции, посетило свыше 200 тысяч человек. На пленарных и секционных заседаниях конференции обсуждались современное состояние литературы хинди, развитие отдельных ее жанров и другие актуальные проблемы, стоящие перед литературами в условиях независимой Индии. Подготовкой конференции руководил генеральный секретарь, известный поэт хинди Гопал Прасад Вьяс.

Газета «Хиндустан таймс» опубликовала отчет о конференции прогрессивных писателей хинди, состоявшейся в штате Уттар-Прадеш. Созыв ее явился отражением назревшей потребности сплочения прогрессивных и демократических сил литературы хинди и возрождения на новой основе движения прогрессивных писателей хинди в соответствующей современным условиям форме.

Литературовед Б. Ш. Упадхьяя отметил, что из наследия прошлого необходимо брать все полезное и избавляться от отживших идей. Поэт Р. Саксена уделил основное внимание в своем докладе главным направлениям современной поэзии хинди. В. Н. Упадхьяя подверг критике позиции ряда современных нигилистически настроенных и анархиствующих поэтов. Он подчеркнул, что новаторство в форме еще не создает великой поэзии и личный опыт в поэзии, по его мнению, непременно должен быть органично связан с борьбой народа за лучшую жизнь.

Были сделаны доклады о жанре рассказа, о критике; наиболее острые дебаты вызвал доклад «Современность и ангажированное творчество». Под предлогом создания «сбалансированной» картины действительности докладчик настаивал на необходимости приукрашивания ее. Подобная позиция вызвала резкую отповедь со стороны участников конференции, подчеркнувших важность острой критики социальных пороков, отступлений от программы социально - экономических преобразований.

В Дели состоялась VII Всеиндийская конференция пенджабских писателей, созванная Центральным союзом пенджабских писателей, в которой приняло участие более 100 делегатов. Конференция обсудила два вопроса — о национальном характере пенджабской литературы и о состоянии пенджабской литературной критики.

В дискуссии по первому вопросу говорилось о необходимости освободить пенджабский язык и литературу — и всю пенджабскую культуру вообще — от искусственного расчленения по религиозному признаку.

Критик и литературовед В. Чаухан обратила внимание на материалистические и демократические традиции культуры и литературы пенджабцев, на традиции антифеодальной и антиимпериалистической борьбы. Именно эти традиции, по ее мнению, предопределили пристальное внимание современных пенджабских поэтов и писателей к борьбе вьетнамского народа за независимость, к борьбе народа Бангладеш за самоопределение. Она предложила создать Центр по изучению пенджабской культуры, издавать журнал, посвященный проблемам культурного наследия пенджабцев, ввести в программы и учебные пособия на всех уровнях разделы, посвященные пенджабской литературе и культуре.

Особенно острой была дискуссия по вопросам современного состояния критики в пенджабской литературе. Р. Л. Ахуджа выступил с обширным докладом, в котором подверг осуждению вульгарно-социологизаторские взгляды ряда критиков. Критик Каранджит Сингх проанализировал, опираясь на марксистскую методологию, современное состояние пенджабской литературной критики. Подлинная задача критики, по словам докладчика, состоит в рассмотрении литературы в целом и творчества каждого ее представителя в диалектическом развитии, в единстве формы и содержания.

В Дели прошел фестиваль одноактной пьесы, посвященный 100-летию народного театра на языке бенгали. Со сцены звучали произведения не только национальных авторов, но и современных зарубежных драматургов. Премия за лучшую постановку присуждена спектаклю «Робот» по пьесе Утпала Датта в исполнении артистов труппы «Нободой гхости» («Возрождение»). Исполнитель главной роли Джаянта Дас удостоен звания лучшего актера. «Фестиваль помог выявить и оценить большую силу современной бенгальской одноактной пьесы, ее значение как социального документа»,— пишет рецензент еженедельника «Линк».
На снимке: сцена из спектакля «Робот».

(Еженедельник «Линк»)

ИРАК

ПАМЯТНИКИ ПОЭТАМ

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», в Багдаде сооружен памятник Абу Нувасу — одному из величайших арабских поэтов, жившему в VIII веке во время правления халифов Гаруна аль-Рашида и аль-Амина. Памят-

ник установлен на набережной реки Тигр, носящей имя поэта. Его автор — известный скульптор Фаттах ат-Турк.

В крупнейшем городе северного Ирака Мосуле открыт памятник другому известному арабскому поэту-классику — Абу Таммаму. Автор памятника — скульптор Нида Казым. До этого ат-Турком и Казымом были сооружены памятники крупнейшим современным иракским поэтам — ар-Русафи, аль-Каземи и Бадру Шакиру ас-Сайябу.

ИТАЛИЯ

ОБСУЖДАЕТСЯ ТВОРЧЕСТВО ФЕНОЛЬО

В литературной жизни Италии проведение симпозиума, посвященного творчеству писателя, тем более современного, — явление весьма примечательное. Такой симпозиум состоялся в Альбе — городке, связанном с жизнью писателя-партизана Беппе Фенольо, получившего настоящее признание лишь после смерти в 1963 году.

На симпозиуме состоялась оживленная и плодотворная дискуссия. Доклад о творчестве писателя сделал критик Джон Карло Ферретти, подчеркнувший необходимость рассматривать произведения писателя-партизана в контексте проблем его поколения и движения Сопротивления. В ходе дискуссии выступили многие литературоведы, в том числе гости из Англии и Венгрии. Обсуждались, в частности, вопросы о связи творчества Фенольо с неореализмом, о сходстве и различии книг Фенольо и Карло Кассолы, описывавшего в своих произведениях те же места и судьбы партизан, о влиянии на творчество Фенольо Фолкнера, Хемингуэя. Большое внимание было уделено обсуждению стиля и языка его произведений.

Материалы симпозиума будут опубликованы — они выйдут отдельной книгой, изданной Гардзанти. Издательство Эйнауди выпустит неопубликовавшиеся произведения, письма и заметки писателя. Повести и романы Фенольо — «Двадцать три дня города Альбы», «Партизан Джонни», «День огня», «Личное дело», «Страстная суббота» (опубликована в «ИЛ» № 4, 1972) — переиздаются в Италии, переводятся в других странах.

На съемочных площадках Римской студии телевидения идет работа над фильмом, посвященным жизни и творчеству Карло Гольдони — основателя итальянской национальной комедии.
На снимке: актеры Эдмонда Альдини и Гастоне Москин в кадре из телефильма.

(Газета «Паэзе сера»)

КОМЕДИЯ, ЗАСТАВЛЯЮЩАЯ ЗАДУМАТЬСЯ

После долгих проволочек, вызванных цензурными рогатками, вышла на экран сатирическая кинокомедия «Хотим полковников», поставленная режиссером Марио Моничелли. Главную роль исполняет популярный комедийный актер Уго Тоньяцци. Остроумно, в гротесковой, полной преувеличений и фантастических домыслов форме Моничелли повествует о неудавшейся попытке крайних правых сил совершить в Италии государственный переворот. Участники заговора — отставные военные, бывшие фашисты и некий политикан. Заговор терпит фиаско не столько потому, что встречает отпор, сколько потому, что заговорщики бездарны, трусливы и плохо организованы. Но за их спиной стоят более грозные силы, которые используют сложившуюся после провала переворота обстановку, чтобы развернуть наступление на демократию и трудящихся. Серьезность содержащегося в фильме призыва к бдительности, напоминание о реальной угрозе, исходящей от тех, кто хочет, чтобы в Италии, как в Греции, пришли к власти «черные полковники», доходят до зрителя, хотя режиссер избрал для своего фильма развлекательную форму.

Левая печать дала новой комедии Моничелли положительную оценку, отмечая, однако, что режиссер не показал тех организованных сил, которые стоят в Италии на страже демократии и прогресса и готовы решительно пресечь все попытки, подобные показанным в фильме. В одном из интервью Моничелли признал справедливость такого упрека, но объяснил это тем, что хотел вызвать у зрителей более острое чувство тревоги, чтобы не дать закрасться настроениям самоуспокоенности и беспечности.

КИПР

СБОРНИК ПОЭЗИИ

Вышел из печати очередной выпуск серии «Поэзия Кипра», издаваемой министерством просвещения. Двадцать девятый по счету сборник поэзии включает стихи известных поэтов Кипра конца XIX — начала XX века — Вассилиса Михаилидиса и Димитриса Либертиса в переводе на английский язык. Издание серии «Поэзия Кипра» предпринято с целью ознакомления широкого читателя с поэзией, создаваемой на малоизвестном кипрском диалекте.

Стихи для серии «Поэзия Кипра» переводятся сначала с кипрского диалекта на новогреческий язык, а затем уже — на английский.

«Вассилис Михаилидис и Димитрис Либертис являются выдающимися представителями поэзии Кипра не только потому, что они пишут на кипрском диалекте, но главным образом потому, что в своих произведениях они отобразили жизнь киприотов и их устремления лучше других известных поэтов...» — говорится в предисловии к сборнику. До сих пор произведения этих поэтов были мало известны за пределами Кипра, пишет автор предисловия.

Костас Аверкиу принадлежит к старшему поколению художников. Высокая требовательность к себе, упорство и настойчивость характерны для этого художника-самоучки, который ныне считается одним из видных представителей искусства Кипра. Костас Аверкиу — приверженец реалистической школы; его любимая тема — портреты сельских тружеников.
На снимке: одна из работ художника, которая экспонировалась на общенациональной выставке.

(Журнал «Сайпрес тудей»)

НОРВЕГИЯ

«ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ»

Так озаглавлен сборник рассказов Ингвальда Свинсоса, выпущенный недавно норвежским издательством «Тиден». Название книги выбрано не случайно. Автор знакомит читателей с прошлым своей страны, описывая один из уголков Норвегии — Мельдаль — и его обитателей, которые жили и неутомимо трудились там почти век назад.

Мельдаль — родина писателя, здесь прошли его детские годы, с этими местами связаны самые дорогие для него воспоминания. «Видимо, поэтому рассказы Свинсоса написаны с такой любовью к природе и к людям, населявшим этот край»,— замечает рецензент газеты «Фрихетен» Рут Эриксен. «Прошлое, в которое автор уводит своих читателей, воспринимается ими как нечто живое и близкое, Мельдаль перестает быть только частью Норвегии, он становится олицетворением всей страны — со всем хорошим и плохим, что в ней есть».

Герои рассказов Свинсоса — труженики Мельдаля, шахтеры и крестьяне. Их судьбы во многом напоминают жизнь простых людей сегодняшней Норвегии.

История жизни Асгейра, деревенского паренька, пришедшего на шахту и трагически погибшего там в результате несчастного случая, так же характерна для современности, как и тема одиночества в другом рассказе сборника—«Хекса из Сетероса».

Кроме рассказов психологического плана в сборник включено несколько историй-полусказок, в основу которых автор положил старинные норвежские легенды и предания. Они написаны с тем добродушным юмором и меткостью, которые так характерны для фольклора.

«Взгляд в прошлое» Ингвальда Свинсоса пробуждает память и создает у читателей ощущение общности с автором. «Его прошлое принадлежит всем нам как часть нашей родины»,— заключает рецензент «Фрихетен».

ПОЛЬША

АНКЕТА «ТРИБУНЫ ЛЮДУ»

Газета «Трибуна люду» предложила деятелям культуры ответить на следующие вопросы: «Находит ли тема труда достаточное отражение в нашей литературе и искусстве? Может ли эта тема вдохновлять творческих работников наших дней больше, чем в прошлом? Наличие каких условий для этого обязательно?» — и поместила на своих страницах ответы.

Писатель Генрик Ворцелл заявил: «Неплохие книги о труде получаются только в тех случаях, когда писатель не со стороны наблюдает труд людей, а принимает в нем участие». По его мнению, люди труда и сам труд удачнее всего изображены в репортажах, рассказах, менее удачны пока что романы, повести на эту тему.

Литератор Стефан Козицкий выразил мнение, что тема труда еще не стала главной в польской литературе, однако все новые и новые произведения о современности свидетельствуют о том, что положение меняется.

Кинорежиссер и сценарист Казимеж Куц написал, что «о процессах, происходящих в нашей деревне — особенно в самый последний период,— мы узнаем из художественной литературы очень немного, хотя там имеют место интересные перемены, их можно назвать революционными преобразованиями... Среди тем, которые не получили своего должного развития, — пишет далее Казимеж Куц, — следует назвать мир рабочего человека, которому в новом, социалистическом государстве предстоит выполнить значительную часть важных общественных задач. Эта тема давным-давно заслуживает того, чтобы на нее обратили более пристальное внимание».

«ПОЭМА ИЗ СВЕТА И КРАСОК»

«Мы все из нее вышли, из «Свадьбы». Столько раз мы ее обкрадывали, заимствуя мысли, темы и мотивы, что обращение к оригиналу, хотя бы и в кинематографической версии, будет долгом вежливости по отношению к ней», — сказал польский кинорежиссер Анджей Вайда незадолго до премьеры своего нового фильма — экранной адаптации пьесы Станислава Выспянского «Свадьба». Написанная в самом начале XX века и посвященная женитьбе горожанина-интеллигента на крестьянской девушке, пьеса вобрала в себя сложный комплекс проблем: размышления о национальном характере, об исторических судьбах Польши, о взаимоотношениях между интеллигенцией и крестьянством.

Фильма Вайды ожидали с нетерпением. Премьера кинематографической «Свадьбы» состоялась в Кракове, в помещении Театра им. Словацкого — именно там, где семьдесят один год назад впервые была поставлена «Свадьба» Выспянского.

За «Свадьбой» утвердилась репутация произведения «трудного». Зная тяготение Вайды к усложненной метафорической образности, можно было предположить, что и его фильм будет нелегок для восприятия так называемым «неподготовленным зрителем». И критиков поразило, с какой кристальной ясностью прочерчены у Вайды все сюжетные и тематические линии. «Поэтическое зрелище, созданное на основе «Свадьбы» Выспянского Анджеем Вайдой, глубоко волнует прежде всего потому, что оно столь ясно и понятно, столь близко для всех», — пишет рецензент в газете «Жиче Варшавы» и называет фильм «поэмой из света и красок».

Вайда зарекомендовал себя как режиссер, который никогда не был просто интерпретатором литературного первоисточника: работам его в значительной степени присуще авторское начало. В ходе съемок фильма не раз высказывались опасения, что Вайда «подомнет» под себя Выспянского, тем более что режиссеру предстояло перевести на язык экрана не просто произведение, написанное для сцены, но и написанное в стихотворной форме. Не говоря уже о том, что в сто минут экранного времени Вайде предстояло уложить пьесу, которая даже в сокращении идет на сцене не менее трех часов.

«Работа Вайды отличается поразительной верностью Выспянскому», — пишет рецензент в газете «Жиче литерацке». Пресса особо подчеркивает, что Вайде удалось сохранить «поэтический климат» пьесы Выспянского. Немалая заслуга в этом оператора фильма Витольда Собоциньского. Большинство пишущих о фильме очень высоко оценивает работу исполнителей — Анджея Лапицкого, Даниэля Ольбрыхского, Войцеха Пшоняка, Майи Комаровской, Францишека Печки и других.

Польские кинематографисты часто и охотно экранизируют произведения отечественной литературы. Однако если говорить о самых значительных произведениях национальной классики — поэтических драмах Мицкевича, Словацкого, Выспянского, — «Свадьба», созданная Анджеем Вайдой,— первая попытка их кинематографического воплощения. Последуют ли за этой попыткой другие?

«Да, когда-нибудь я обязательно сниму «Дзяды» Мицкевича», — ответил на вопрос корреспондента Анджей Вайда.

500-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Корреспондент газеты «Трибуна люду» сообщил об открытии в городе Зелена-Гура выставки, посвященной 500-летию польского книгопечатания. На ней представлено много экспонатов, отражающих историю издательского дела в Польше, в том числе древние рукописи и инкунабулы. Среди экспонатов — образцы книжной продукции всех крупных польских издательств с XV столетия до наших дней.

РУМЫНИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА РОМАНИСТА

Очерк, эссе все больше привлекают в последнее время творческое внимание румынских писателей, включая и тех, кто уже завоевал неоспоримый престиж в других литературных жанрах, будь то поэзия, драма, роман.

Недавно Эуджен Барбу, видный представитель современного румынского романа, выпустил том очерков с очень характерным названием — «Идя навстречу ночи с факелом в руке». Эта книга является как бы исследованием, поэтичной монографией о современной жизни Румынии и раздумьями о новой судьбе страны и ее народа.

Писатель стремится создать целостный облик своей родины — он дает зарисовки пейзажа, говорит о ее богатствах, городах, раскрывая читателю их своеобразную прелесть, их историческое значение, в особенности такого города-музея, как

Бухарестские зрители познакомились с творчеством советского драматурга М. Рощина: его пьеса «Валентин и Валентина» была поставлена на сцене Театра им. Л. С. Буландра. Успех этой пьесы в Румынии, подчеркивает критик газеты «Скынтейя», объясняется искренностью темы, этической силой, коммуникабельностью, пьеса поэтична и современна, волнует самого требовательного зрителя; автору удалось передать колорит и очарование реальной жизни. На снимке: молодые актеры театра Мариана Михуц и Флориан Питиш в роли Валентины и Валентина.

(Газета «Скынтейя»)

Яссы. Много интересных страниц посвящено народу, его обычаям, обрядам.

Главное стремление автора — раскрыть духовный мир человека из народа, ставшего хозяином своей страны. «Каждый человек достоин того, чтобы ему посвятили поэму! Каждому человеку нужно посвятить поэму», — говорит писатель. «Я видел в своей жизни много рук, но ни одни мне не показались прекраснее тех, которые создают, творят, рук с пальцами, испачканными известью или израненными горячими осколками металла, рук, которые воздвигают здания... — пишет Эуджен Барбу. — Мне кажется, что мы, те, кто хвастаемся, что воспитываем человека, не написали еще достаточно поэм в его честь, поэм в честь рук, которые трудятся, поэм о гордых руках».

Эуджен Барбу не только описывает людей и их труд — он чувствует себя участником созидательной жизни своей страны, причем участником, воодушевленным энтузиазмом.

«Стиль очерков передает душевный накал автора,— пишет рецензент журнала «Конворбирь литерарэ».— Его очерки отличаются страстностью, богатством образов и мудростью».

СЕНЕГАЛ

НОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В Дакаре начало работать издательство «Нувель эдисьон африкэн». В его создании приняли участие правительства Сенегала и Берега Слоновой Кости и ряд французских книгопечатных фирм, в том числе «Хашетт» и «Сёй». Издательство будет выпускать политическую, научную и художественную литературы, а также школьные учебники. Редакционный комитет издательства в настоящее время изучает более ста рукописей. Среди них романы, пьесы, сборники рассказов, эссе, очерков.

Издательство «Нувель эдисьон африкэн» призвано сыграть важную роль в борьбе с неграмотностью и в улучшении заочного и вечернего образования. Руководители его намерены установить сотрудничество с книгопечатными фирмами других африканских стран, и в первую очередь со своими коллегами в Нигерии.

СИРИЯ

ФИЛЬМ НАБИЛЯ МАЛЕХА

В «Иностранной литературе» уже сообщалось о том, что сирийский фильм «Обманутые» был удостоен первой премии Карфагенского фестиваля стран Африки и Арабского Востока 1972 года (№ 4, 1973). На этом же фестивале был

Кадр из фильма «Леопард».

(Газета «Юманите»)

показан еще один сирийский фильм, который, хотя и не был отмечен премиями, также получил высокую оценку критики. Это «Леопард» режиссера Набиля Малеха. Набиль Малех рассказывает о борьбе сирийцев после второй мировой войны против французского колониализма и крупных местных землевладельцев. Леопард — это крестьянин, отказывающийся платить налоги. Его арестовывают колониальные власти, но он бежит и продолжает бунтовать. Борется он в одиночку, хотя другие крестьяне страдают от тех же несправедливостей. В конце фильма колониальные власти вешают Леопарда на глазах молчащих односельчан.

Хотя «Леопард» сделан на материале событий, происходивших четверть века назад, фильм воспринимается зрителями как актуальный в условиях борьбы арабских народов против израильской агрессии.

США

«ВЕЧЕР В ВИЗАНТИИ»

Пресса дала высокую оценку новому роману хорошо знакомого советскому читателю американского писателя Ирвина Шоу «Вечер в Византии».

Герой его — современный американский интеллигент средних лет, видный кинорежиссер и сценарист. Приехав на Международный кинофестиваль в Канн и встретив здесь молодую журналистку, которая в романе является выразительницей взглядов современной прагматической и циничной молодежи, он критически осмысляет свою личную и творческую жизнь. Однако, распрощавшись с прежними иллюзиями и не приняв современного прагматизма, он не способен на решительные шаги. С трудом и сомнениями заканчивает он новый сценарий — и теряет его. В личной жизни он также терпит фиаско — теряет и жену и любовницу.

За Шоу установилась репутация мастера добротного реализма, отражающего глубинные процессы жизни Америки. По мнению обозревателя еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», Ирвин Шоу создал полнокровный обаятельный образ современного американского интеллигента со всеми присущими ему притягательными чертами и слабостями. «Человечная и грустная, сложная и прекрасно написанная книга вместе с тем передает зловоние той бойни, на которой все мы живем и из которой не видно выхода»,— написал в заключение рецензент.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ «FTA»?

Назвав свой новый документальный фильм аббревиатурой «FTA», автор его Фрэнсис Паркер позаботилась о том, чтобы предложить зрителям четыре варианта расшифровки.

Первый — нейтральный: «Независимая театральная ассоциация», название прогрессивной организации, направившей недавно группу деятелей американского театра и кино во главе с актерами Джейн Фонда и Дональдом Сазерлендом в поездку по военным базам США, расположенным на Тихом океане. В поездке приняла участие съемочная группа, снимавшая на пленку не только концерты, но и встречи актеров с солдатами, а также политические манифестации на Гавайских островах, на Окинаве, на Филиппинах, направленные против пребывания там американских войск.

Второй вариант расшифровки — лирический: «Фокстрот. Танго. Альфа». Это название модной песенки, исполнявшейся на концертах.

И, наконец, третий и четвертый варианты впрямую отражают отношение создателей фильма к избранной теме, впрямую говорят об антимилитаристской направленности ленты. «Оставь армию» — таков третий вариант. Что же до четвертого, то в очень и очень смягченном виде его можно было бы перевести как «Наплюй на армию».

Фильм Фрэнсис Паркер — талантливое и смелое произведение киноискусства, независимо от того, какой вариант названия предпочесть. В нем, пишут критики, не только обличаются устремления агрессивных кругов, но и показан протест против этих устремлений. Самый факт поездки, отмечает один из французских критиков (фильм демонстрируется главным образом за пределами США), свидетельствует о гражданском мужестве ее участников.

«РАННИЙ АЗИМОВ»

Издательство «Голланц» выпустило сборник, в который вошли 27 малоизвестных научно-фантастических рассказов Айзека Азимова, одного из лучших в этом жанре, как считают многие американские критики.

В объемистом сборнике — не только произведения Азимова, ранее разбросанные по различным периодическим изданиям 1938—1948 гг., но и обширный автобиографический и библиографический материал, который, по словам рецензента «Морнинг стар», представляет не меньший интерес, чем сами рассказы.

«Книга начинается со второго рассказа Азимова (первый так и не был опубликован и затерялся); рассказ этот, по признанию самого автора, несколько несовершенен.

Тем не менее книга по мере чтения все больше и больше захватывает вас,— пишет рецензент,— и вскоре вы начинаете со всей определенностью ощущать стиль Азимова и сожалеете, что понадобилось столько времени, чтобы эти рассказы снова увидели свет».

ТУНИС

«КУКОЛЬНИК» В «ХРАМЕ БРЕХТА»

Для французской писательницы арабского происхождения Андре Шедид, автора нескольких романов и сборников стихов, характерно глубоко поэтическое восприятие мира. Пьеса «Кукольник» в ее творчестве стоит несколько особняком. Это веселая комедия о бродячем кукольнике Каракузе, который носит на спине свой театр, и его забавных приключениях.

В 1971 г. пьесу Андре Шедид поставила труппа театра города Туниса. Спектакль имел большой успех, и в прошлом году тунисских артистов пригласили на фестиваль театрального искусства в Берлине. Это была первая африканская труппа, которая удостоилась чести выступить в «храме Брехта», театре «Берлинер ансамбль». Критика ГДР очень хорошо встретила спектакль тунисского театра, отметив интересную постановку и национальную самобытность игры актеров.

Журнал «Жён Африк» в заметке, посвященной успешному выступлению труппы на берлинском фестивале, замечает, что своим успехом тунисские артисты во многом обязаны режиссеру спектакля Шерифу Хазнадару, который, будучи воспитан на «брехтовской театральной дисциплине», сумел создать мизансцены, навеянные вековыми традициями арабского театра теней и прекрасно раскрывающие зрителю народность пьесы Андре Шедид.

Сцена из спектакля «Кукольник».

(Журнал «Жён Африк»)

ФРАНЦИЯ

ИНТЕРВЬЮ АНРИ ТРУАЙЯ

Новая книга Анри Труайя «Анна Предайль» стала одним из событий литературной жизни Франции. Писатель — автор многочисленных новелл, романов-хроник и беллетризованных биографий. На русском языке опубликованы его романы «Семья Эглетьер», «Снег в трауре» и ряд рассказов. Анри Труайя считается во Франции романистом, пишущим в «традиционном» стиле. На вопрос корреспондента журнала «Магазин литтерэр», каким образом удается писателю сохранить «традиционную» манеру и в то же время не отставать от требований и проблем времени, Труайя ответил, что считает совершенно бессмысленным деление романов на «традиционные» и «нетрадиционные»: нельзя оставаться до конца «традиционным», так как невозможно избежать влияния эпохи, в которую живешь.

Впервые в истории литературы, замечает Труайя, любой ценой стараются писать не так, как прежде, и в этом чрезмерном увлечении техникой письма таится смертельная опасность для романа. «Представляете ли вы, чтобы Достоевский или Пруст, усаживаясь за свой рабочий стол, задавались целью писать так, как никто до них еще не писал? А в наши дни большинство писателей руководствуется именно этим».

Говоря о представителях «нового романа», Труайя отметил, что среди них есть немало одаренных людей, но, по его мнению, особенно губительно влияние подобных школ сказывается на молодых писателях, которые еще только ищут свои пути в литературе. «Если бы мне было сейчас двадцать лет и я захотел бы написать роман, то просто постыдился бы написать сюжетное произведение.

А что может быть прекраснее для романиста, чем создать образы, которые войдут в жизнь читателей, как, например, отец Горио или Раскольников? Но когда пишешь роман, тебя все время одолевают сомнения,— признается Анри Труайя,— не идешь ли ты по ложному пути. Работая над биографией, автор более спокоен: он имеет дело с историей, документами и почти нет необходимости что-либо придумывать. Но заканчивая биографию, уже мечтаешь о той творческой свободе, которая возможна в работе над романом...»

АНДРЕ СТИЛЬ — АВТОР ФИЛЬМА

Андре Стиль создал новый телевизионный фильм «Корреспондентка», посвященный жизни рабочей семьи. В интервью корреспонденту газеты «Юманите» писатель рассказал, что «Корреспондентка» — это прежде всего история дружбы двух детей, мальчика и девочки. Сначала они переписываются, а затем происходит встреча детей и их родителей, которые принадлежат к разным социальным слоям: отец мальчика — рабочий-металлист, мать работает воспитательницей в детском саду, а родители девочки — владельцы ресторана. Дети знакомятся легко и просто, контакт между родителями осуществляется сначала с большим трудом.

Главная идея фильма, подчеркнул А. Стиль, состоит в том, что в нашу эпоху ни в какой прослойке французского народа не может надолго сохраниться предвзятое отношение к рабочему классу. Но оно пока существует, с горечью заметил писатель. Доказательством то-

му служит и то, что еще совсем недавно рабочих не изображали на экранах телевидения, так же как и в литературе и театре. «Теперь это начинается. Пора! Невозможно, чтобы искусство оставалось закрытым для изображения реальности такого решающего значения, как рабочий класс во Франции,—заявил Андре Стиль.— Меня заинтересовала возможность показать по телевидению произведение, которое было бы чем-то средним между традиционным сценарием и репортажем, было бы непосредственно связано с жизнью. Вместо того чтобы писать сценарий, а затем искать актеров, я отправился на место действия будущего фильма с режиссером; мы искали реальных персонажей — чету рабочих, наиболее подходящих для замысла фильма. Я написал сценарий и диалоги после того, как мы их нашли и узнали многое из их жизни. Эта история могла бы произойти в жизни, и ее интерес, на мой взгляд, состоит именно в полной правдивости».

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Традиция проведения ежегодных международных театральных фестивалей в Нанси возникла в 1963 году по инициативе известного французского режиссера Джека Ланга. Цель устроителей этого праздника театра — показать по возможности все новое и своеобразное, что появляется в театральном искусстве, в том числе и в непрофессиональных коллективах. На каждом фестивале участникам предлагается новая тема. В этом году их было две — «Культура этнических меньшинств» и «Национальные традиции». В фестивале участвовали более 50 трупп из 28 стран, было показано 180 спектаклей.

Среди участников фестиваля пресса отмечает народные ансамбли Нижней Силезии и их спектакли, в которых возрождается традиция народных драматических игр, сохранившаяся в некоторых районах Польши со времен средневековья, японскую труппу, по-новому интерпретировавшую традиции театра Кабуки, бразильскую труппу, сделавшую интересную попытку отразить современные проблемы своей страны в постановке пьесы Брехта, мадридский театр Табано, поставивший пьесу Гарсиа Лорки «Выздоровление дона Кристобаля», национальные труппы Нигерии и Уганды, показавшие свои песни и пляски.

«Я признаю, что отсутствие постоянных профессиональных структур на фестивале придает ему эмпирический характер,— сказал руководитель фестиваля Джек Ланг корреспонденту «Франс нувель».— Тем не менее мы не просто открываем новые спектакли, но пытаемся создать возможно более полное представление о театральной жизни каждой страны».

ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОТКРЫТИЕ ДАЛЕКОЙ СТРАНЫ

Во Франции вышла книга Макомбо Бамботе «Принцесса Мандапу». Ее автор является представителем своей страны в ЮНЕСКО. Это его третье большое произведение. Ранее увидели свет роман-поэма «Две птицы из Убанги», книга для детей «Погребальная песнь герою Африки» и несколько стихотворений, напечатанных в журнале «Эроп».

Андре Стиль в «Юманите» дает высокую оценку новому произведению Макомбо Бамботе, который рассказывает о своей далекой для европейского читателя стране с большой поэтичностью, никоим образом не приукрашивая африканскую действительность начала нашего века, когда происходит действие книги. «С каждой новой строкой,— пишет Стиль,— мы как бы делаем еще один шаг в новом для нас мире».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЖУРНАЛ ЧЕШСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В конце сентября 1972 года в Праге вышел первый номер журнала Союза чешских писателей «Литерарни месичник».

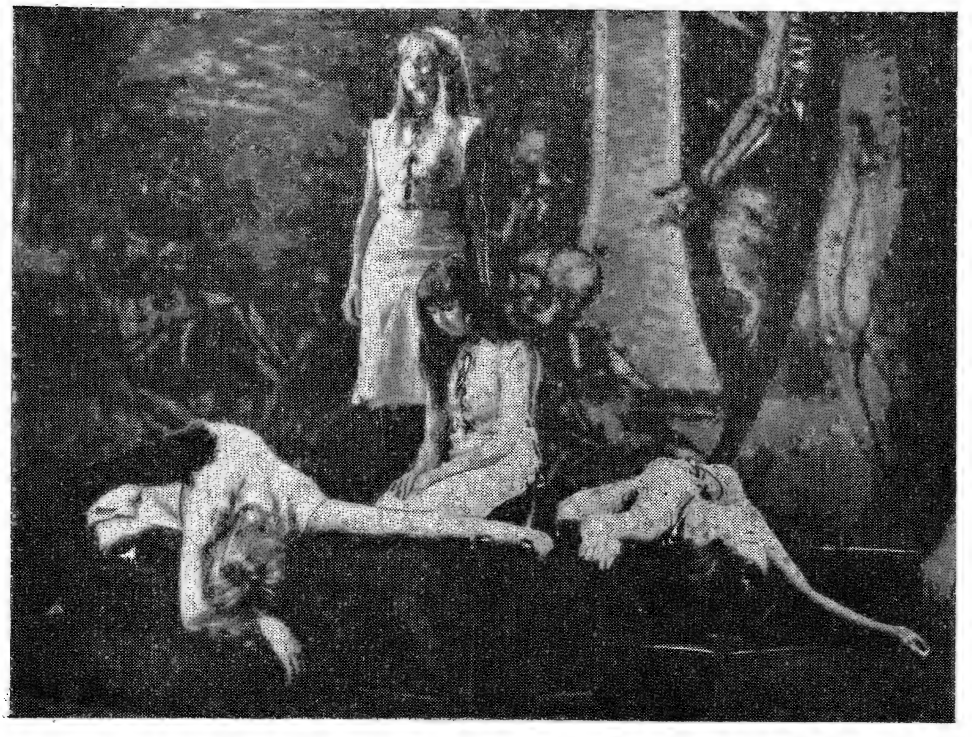
Более чем за год до этого события газета «Руде право» писала о настоятельной необходимости издания литературных журналов, без которых нарушаются контакты писателей, читателей и критики.

Председатель редакционного совета нового журнала Иржи Тауфер во вступительной статье «Счастливого пути», опубликованной в первом номере журнала за 1972 год, проанализировал условия, в которых начал выходить «Литерарни месичник», и остановился на его задачах и перспективах.

Журнал задуман как синтетическое литературное издание, призванное публиковать, оценивать, пропагандировать отечественную и зарубежную литературу. В нем четыре раздела. Первый, наиболее обширный, включает в себя произведения художественной литературы и публицистики чешских, словацких и зарубежных авторов.

Во втором разделе — «Документы» — в связи с различными событиями в современной общественной и политической жизни публикуются материалы, которые уже стали историей и помогают лучше увидеть смысл событий сегодняшнего дня. Например, во время подготовки Международного совещания по европейской безопасности журнал публикует статью Ромена Роллана «Будущая Европа», написанную в 1932 году в связи с антивоенным и антифашистским конгрессом в Амстердаме. К 55-летию Великой Октябрьской социалистической революции напечатаны высказывания о роли и значении СССР Ст. К. Неймана (1937), Зденека Неедлы (1923), Бедржиха Вацлавека (1936), Марии Майеровой (1952).

Третий раздел носит на-



Пражский театр музыки существует 24 года. Театр стремится синтезировать музыку и литературный текст. Драматический монтаж «Время любви» посвящен вечной памяти жертв второй мировой войны и мучеников из уничтоженных сел Лидице и Лежаки. Документы военного времени перемежаются стихами чешских поэтов; в монтаже используется музыка Сметаны, Мартину, Бетховена и Вагнера.
На снимке: сцена из драматического монтажа «Время любви».

(Фото «Прагопресс»)

звание «Дискуссии, взгляды, полемика». Здесь — статьи о проблемах критики, о роли библиотек в пропаганде чешской литературы, о документальной литературе.

И последний, четвертый, раздел — «Панорама». Это раздел рецензий, которому редакция журнала придает немалое значение. Рецензируется здесь и отечественная и иностранная литература. В этом же разделе помещается литературная хроника.

ШВЕЙЦАРИЯ

УСПЕХ РЕЖИССЕРА-ЛЮБИТЕЛЯ

Одним из наиболее ярких событий VIII фестиваля швейцарских фильмов в Со-

Кадр из фильма «Сезонник».

(Еженедельник «Вельтвохе»)

Швейцарский художник Ганс Эрни написал серию картин, посвященных великим ученым нашего времени. На фото: портрет Эйнштейна.

(Газета «Унита»)

лотурне стала 50-минутная лента Альваро Бицдари «Сезонник».

Герой фильма — итальянец, работающий в Швейцарии,— после смерти жены тайком привез к себе из Италии шестилетнего сына. Поскольку разрешения на это он не имеет, мальчика приходится прятать, ребенок лишен возможности посещать школу. Разоблачение грозит рабочему высылкой из страны. Все его попытки изменить положение остаются безуспешными. Фильм заканчивается документальными кадрами забастовки иностранных рабочих-сезонников в Берне.

Альваро Бицдари, режиссер-любитель, — итальянец, работавший в Швейцарии сезонником; он привлек к съемкам своих товарищей, все «артисты» в фильме — рабочие. По оценке швейцарского еженедельника «Вельтвохе», фильм напоминает о лучших традициях итальянского неореализма.

Демонстрация «Сезонника» в Солотурне закончилась необычно: среди зрителей стихийно начался сбор денег для того, чтобы фильм мог быть дублирован на немецкий язык.

ШВЕЦИЯ

ПОЭТИЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ

Сборник «Русская поэзия 1890—1930», изданный недавно в Швеции, знакомит читателей с творчеством крупнейших поэтов — В. Брюсова, А. Блока, В. Маяковского, Б. Пастернака, С. Есенина, А. Ахматовой, М. Цветаевой.

Часть произведений переведена на шведский язык впервые.

С особым восторгом встретила критика новый перевод поэмы А. Блока «Двенадцать», осуществленный Янгфельдом-Ардингом.

Составители антологии — литераторы и переводчики Бьерн Юлен, Ларс Эрик Блумквист, Гуннар Ардинг— задались целью донести до читателя не только литературные достоинства произведений, но и дыхание эпохи, колорит и многожанровость русской лирики конца XIX — начала XX века.

В книгу включены также литературоведческие работы Б. Эйхенбаума, В. Шкловского, К. Чуковского.

Антология сопровождена обширным историко-литературным комментарием, статьями монографического характера.

Газета «Ню даг» отмечает, что издание этой антологии — большой праздник для историков литературы и любителей поэзии.

ЮГОСЛАВИЯ

ЮБИЛЕЙ МИРОСЛАВА КРЛЕЖИ

7 июля 1973 года крупнейшему хорватскому писателю Мирославу Крлеже исполнилось 80 лет. Пожалуй, нет такого литературного жанра, в котором он не создал бы значительных произведений. Его поэзия и проза — непременная принадлежность антологий и хрестоматий, его драмы не сходят со сцен югославских театров, из статей, написанных для энциклопедических изданий Югославии, возникла целая книга «99 вариаций». Произведения Крлежи переведены на многие языки.

К юбилею писателя выпущен сборник его произведений для школ, а также издается серия из 20 книг Крлежи. Многие газеты и журналы печатают отрывки из его дневников последних лет.

На загребском ежегодном фестивале поэзии был проведен вечер, посвященный 80-летию Крлежи. В загребском драматическом театре «Гавела» лучшие артисты Югославии читали произведения юбиляра. Почти все театры страны приготовили новые спектакли по его произведениям.

Художественный совет Дубровницких летних игр включил драму Крлежи «Христофор Колумб» в программу фестиваля. В качестве театра предполагается использовать старый корабль, который во время спектакля поплывет по морю вместе с актерами и публикой.

Различные культурные мероприятия в связи с юбилеем Мирослава Крлежи будут продолжаться в течение всего года.

◆

Авторы этого номера

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА (род. в 1893 г.).

Известная болгарская поэтесса, лауреат Димитровской премии и Национальной премии мира. Автор многих книг стихов. Произведения Е. Багряны переведены на иностранные языки. Советские читатели знакомы с ее творчеством по поэтическому сборнику «Сердце человеческое», вышедшему в русском переводе, и неоднократно публиковавшимся стихотворениям в «Иностранной литературе» и других периодических изданиях. (Подробнее о ней и ее творчестве см. предисловие академика болгарской АН Петра Динекова.)

Публикуемые стихи взяты из сборников «От берега к берегу» («От бряг на бряг», София, Български писател, 1963) и «Контрапункты» («Контрапункти», София, Български писател, 1972).

■

ПЬЕР РУАНЕ — PIERRE ROUANET (род. в 1921 г.).

Французский журналист, политический комментатор. Сотрудничал в ряде органов французской печати: «Пари-матч», «Экспресс», «Франс обсерватёр», на радио и телевидении, затем был Генеральным секретарем Ассоциации парламентской прессы. В настоящее время работает в еженедельнике «Нувель обсерватёр». Пьер Руане — автор двух публицистических книг: «Мендес Франс у власти» («Mendès France au pouvoir», 1965) и «Помпиду» («Pompidou», 1969).

«Кастель» («Castell», Paris, Editions Grasset) — его дебют в художественной прозе. Повесть вышла в 1971 году и была отмечена премией «Энтералье».

■

ЛЮСИ ФОР — LUCIE FAURE (род. в 1908 г.).

Французская журналистка, писательница и общественный деятель. Получила образование в парижском лицее Ламартина. В годы войны и фашистской оккупации вместе с мужем Эдгаром Фором выехала в Северную Африку, где работала в Комиссии по иностранным делам созданного де Голлем Комитета национального освобождения. В 1943 году ею был основан литературно-политический журнал «Неф», директором которого она является и поныне. Избрана мэром Порт-Леней — небольшой коммуны в департаменте Юра. Является членом жюри одной из крупных литературных премий и членом Комитета по программам ОРТФ (радио и телевидение Франции). Награждена орденом Почетного легиона 2-й степени.

Перу Люси Фор принадлежат романы: «Смутные страсти» («Les passions indécises», 1961), «Девы Голгофы» («Les Filles du Calvaire», отмечен премией Севинье в 1964 г.), «Другая особа» («L'autre personne», 1968, удостоен премии Сент-Бёв), «Безумное несчастье» («Le malheur fou», 1970, удостоен премии Почета), «Хорошие дети» («Les bons enfants», 1972), сборник новелл «Вариации на тему лжи» («Variations sur l'imposture», Paris, Gallimard, 1965), одну из которых — «Двое» («Un couple») мы публикуем в этом номере.

■

АЛАН СИЛЛИТОУ — ALAN SILLITOE (род. в 1928 г.).

Английский писатель. Приобрел известность романом о жизни английского рабочего «В субботу вечером и в воскресенье утром» («Saturday Night and Sunday Morning», 1958). Кроме того, создал романы: «Ключ от двери» («Key to the Door», 1961), «Смерть Уильяма Постерса» («The Death of William Posters», 1965), «Дерево в огне» («A Tree on Fire», 1967), «Путешествия по Нигилону» («Travels in Nihilon», 1971), сборник рассказов «Дочь старьевщика» («The Ragman's Daughter», 1963).

А. Силлитоу — сын рабочего и сам с 14 лет работал на разных промышленных предприятиях. Вскоре после войны был призван в армию, где служил радистом в частях английских военно-воздушных сил в Малайе. Впоследствии, живя на Майорке, преподавал английский язык и впервые начал писать.

Побывав в нашей стране, А. Силлитоу написал книгу очерков «Дорога на Волгоград» («Road to Volgograd») и сборник стихов «Любовь в окрестностях Воронежа» («Love in the Environs of Voronezh», 1968).

«Иностранная литература» познакомила читателей с творчеством А. Силлитоу, опубликовав роман «Ключ от двери» (№№ 5—7, 1963), рассказ «Волшебный ящик» (№ 4, 1964), стихи (№ 12, 1972). На русском языке вышел также сборник рассказов «Одинокий бегун».

В этом номере мы публикуем его роман «Начало пути» («A Start in Life», London, W. H. Allen), вышедший в 1970 году.

■

КОНРАД ЦЕЛЬТИС — KONRAD CELTIS (1459—1508).

Немецкий поэт-лирик, основатель первых литературных обществ в Германии. Ему принадлежат книги стихов на латинском языке «Аморес» (1502), «Оды» (1513) и др.

(Об Ульрихе фон Гуттене и Конраде Цельтисе см. вступительную статью С. Апта).

УЛЬРИХ ФОН ГУТТЕН — ULRICH VON HUTTEN (1488—1523).

Немецкий писатель, публицист. Основные его сочинения написаны на латинском языке. Его перу принадлежат стихи, многочисленные памфлеты, эпиграммы, сатира, большое эпистолярное наследие, содержащее интересные портреты современников.

ПЕНЧО ДАНЧЕВ (род. в 1915 г.).

Болгарский критик и литературовед, Заслуженный деятель искусств, профессор по эстетике в Высшем институте театрального искусства, заместитель председателя Союза болгарских писателей. Автор многих работ по проблемам литературы и искусства. В нашем журнале напечатаны его статьи: «Лирическая летопись двадцатилетия» (№ 9, 1964), «Поэзия гражданского пафоса» (№ 9, 1969).

Публикуемая статья перепечатывается нами из сборника статей Пенчо Данчева «Современные проблемы и авторы» («Съвременни проблеми и автори», София, Български писател, 1973).

МАРИН ПРЕДА — MARIN PREDA (род. в 1922 г.).

Известный румынский писатель. (О нем и его творчестве — в предисловии М. Фридмана).

Мы публикуем отрывки из сборника эссе М. Преды «Возврата быть не может» («Imposibila intoarcere», Bucureşti, Editura Cartea Românească), вышедшего в 1971 году.

В этом номере под рубрикой «Идеи мира в наступлении» мы публикуем отклики трех зарубежных писателей.

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — JAMES ALDRIDGE (род. в 1918 г.).

Английский писатель и публицист, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Советским читателям хорошо знакомо творчество Д. Олдриджа по переведенным на русский язык романам «Дело чести», «Морской орел», «Дипломат», «Герои пустынных горизонтов», «Последний изгнанник». «Иностранная литература» напечатала его романы: «Не хочу, чтобы он умирал» (№ 11, 1959), «Сын земли чужой» (№№3—5, 1968), рассказ «Прощай, Анти-Америка!» (№ 2, 1972), несколько критических и публицистических статей.

МИГЕЛЬ ОТЕРО СИЛЬВА — MIGUEL OTERO SILVA (род. в 1908 г.).

Известный венесуэльский поэт и прозаик, академик, лауреат национальных литературных премий. В нашей стране в русском переводе вышли его романы «Лихорадка» «Мертвые дома», «Город в саванне». В нашем журнале напечатаны романы «Пятеро, которые молчали» (№ 3, 1965), «Когда хочется плакать, не плачу» (№ 7, 1972), отрывки из поэмы «Моя жизнь течет в море» («№ 10, 1969).

ЭКТОР МУХИКА — HÉCTOR MUJICA (род. в 1927 г.).

Венесуэльский писатель и журналист. Получил литературно-философское образование в университетах Каракаса, Парижа и Рима. В 1962 г. ему была присуждена премия Международной организации журналистов. В настоящее время Эктор Мухика является депутатом Национального конгресса Венесуэлы от коммунистической партии. Его перу принадлежит несколько сборников рассказов и эссе. В «Иностранной литературе» (№ 5, 1973) напечатаны его новеллы.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**
Адрес редакции: Москва 109017. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Сдано в набор 7/VI 1973 г. А 06463. Подписано к печати 9/VII 1973 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+1 вкл. Уч.-изд. л. 28,07. Зак. 1910.
Тираж 580.000 экз. (1-й завод 1 — 380.000 экз.)

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394